



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>









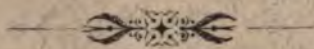
5264/68

ИЗЪ
ЖИЗНИ ИДЕЙ.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЯ СТАТЬИ

ПРОФ. С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ө. ЗВЛИНСКАГО.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1905



ИЗЪ
ЖИЗНИ ИДЕЙ.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЯ СТАТЬИ

ПРОФ. С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ө. ЗВЛИНСКАГО.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1905

1867
25



3392

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Давая своему сборнику заглавіе „Изъ жизни идей“, я имѣлъ въ виду опредѣлить его отношеніе къ тому, въ чемъ я вижу задачу своей жизни какъ ученаго, учителя и писателя. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ мои занятія античнымъ міромъ приняли сознательный и самостоятельный характеръ, онъ былъ для меня не тихимъ и отвлекающимъ отъ современной жизни музеемъ, а живою частью новѣйшей культуры; я видѣлъ преимущественное значеніе античности въ томъ, что она была *родоначальницей тѣхъ идей, которыми мы и нынѣ живемъ*. Изучая, такимъ образомъ, античность, если можно такъ выразиться, съ наклономъ къ современности, я намѣтилъ планъ гигантскаго научнаго зданія, которое бы обвиняло и біографію, и біологію тѣхъ идей, совокупность которыхъ составляетъ современную умственную культуру. Конечно, мнѣ было ясно, что выполненіе этой задачи превышаетъ силы отдѣльной личности; все же я черпалъ энергію и бодрость для своихъ научныхъ изслѣдованій въ созерцаніи моего, пока еще чисто призрачнаго зданія, и убѣжденъ, что оно можетъ сослужить такую же службу и другимъ.

Всѣ вошедшія въ этотъ сборникъ статьи—кромѣ одной—задуманы мною какъ составныя части этого зданія; не вездѣ эта связь ясна для посторонняго наблюдателя, тѣмъ не менѣе я смѣю увѣрить, что имѣется она вездѣ. Все же въ выборѣ

назначенныхъ для сборника статей я руководился также и однимъ вѣщнымъ соображеніемъ, внушеннымъ невозможностью издать теперь же сборникъ всѣхъ моихъ научно-популярныхъ статей. Большинство ихъ—сравнительно—было раньше напечатано въ „Вѣстникѣ Европы“; это слѣдующія:

1) Цицеронъ въ исторіи европейской культуры (1896 февр.); перепечатана въ болѣе полномъ видѣ какъ введеніе къ моему переводу рѣчей Цицерона (1901 у Карбасникова).

2) Античная гуманность (1898 янв.).

3) Художественная проза и ея судьба (1898 нб.).

4) Трагедія вѣры (1899 нб.).

5) Изъ экономической жизни древняго Рима (1900 авг.).

6) Умершая наука (1901 окт. и нб.).

7) Римъ и его религія (1903 янв. и февр.).

8) Мотивъ разлуки: Овидій—Шекспиръ—Пушкинъ (1903 окт.).

Ихъ я, какъ напечатанныхъ въ одномъ и притомъ общедоступномъ органѣ, въ настоящій сборникъ не включилъ; принятые же статьи были раньше напечатаны въ слѣдующихъ журналахъ, отчасти уже прекратившихъ свое существованіе:

I. Идея нравственнаго оправданія (публичная лекція въ пользу недостаточныхъ слушательницъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ)—„Міръ Божій“ 1899 февр.

II. Ифигенія—„Сѣверный Курьеръ“ 16 ш 1900.

III. Воскресшіе поэты:

1) Вакхилидъ, его оды и баллады — „Космополисъ“ 1898 мартъ—май.

2) Геродъ и его бытовья сценки (публичная лекція въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая) — „Филологическое Обозрѣніе“ 1892.

3) Менандръ и его комедіи — „Сѣв. Курьеръ“ 30 ix 1900.

IV. Антигона.—„Сѣв. Курьеръ“ 1 i 1900.

V. Первое свѣтопреставленіе. — „Вѣстникъ Всемирной Исторіи“ 1899 декабрь.

VI. Про нечистую силу—„Сѣв. Курьеръ“ 29 x 1900.

VII. Античный міръ въ поэзіи Майкова (рѣчь на вечерѣ въ честь поэта)—„Русскій Вѣстникъ“ 1899 июль.

VIII. Парламентаризмъ въ римской республикѣ — Сѣв. Курьеръ“ 29 vii 1900.

IX. Новый памятникъ древнеримскаго быта—„Міръ Божій“ 1904 июнь.

X. Остракологія—„Сѣв. Курьеръ“ 16 iv 1900.

XI. Рабочая пѣсенка—„Міръ Божій“ 1901 май.

XII. Нищѣ и античность—„Сѣв. Курьеръ“ 2 ix 1900.

XIII. Происхожденіе комедіи—„Научное Обзорѣніе“ 1903 янв.—февр.

XIV. Гейдельбергъ—„Сѣв. Курьеръ“ 13 vii 1900.

XV. Золотой вѣкъ — „Вѣстникъ Самообразованія“ 1903 № 2.

Конечно, это лишь выборка; изъ остальныхъ нѣкоторыя, надѣюсь, будутъ при случаѣ переизданы; другія за исчезновеніемъ интереса переизданію не подлежатъ. Не подлежатъ ему также, хотя и по другой причинѣ, и мои введенія къ нѣкоторымъ твореніямъ великихъ новѣйшихъ писателей, выходящихъ подъ редакціей С. А. Венгерова („Орлеанской Дѣвѣ“ Шиллера, „Комедія ошибокъ“, „Периклу“, „Антонію и Клеопатрѣ“, „Адонису“ и „Лукреціи“ Шекспира, „Гяуру“, „Абидосской невѣсты“ и „Осадѣ Коринѳа“ Байрона), а также и статьи въ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона (главныя: Филологія, Христіанство, Цицеронъ, Эсхилъ, Язычество и Теокрытъ) и Энциклопедіи Мейера-Южакова („Греческая литература“). Такъ какъ и онѣ имѣютъ своимъ предметомъ „жизнь идей“, то я счелъ позволительнымъ упомянуть и о нихъ въ предисловіи къ настоящему сборнику.

Θ. Зѣлинскій.

С.-Петербургъ. Октябрь 1904 г.

ИДЕЯ ПРАВСТВЕННОГО ОПРАВДАНИЯ,

ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНІЕ И РАЗВІТІЕ.

Великія нравственныя идеи въ своемъ распространеніи среди людей раздѣляютъ участь великихъ научныхъ истинъ: переходя изъ рукъ гения, впервые сдѣлавшаго ихъ доступными, въ руки посредственностей, онѣ на видъ остаются тѣмъ же, чѣмъ были въ началѣ, но теряютъ то, что въ нихъ было самымъ дорогимъ для насъ—ту незримую магнетическую силу, которая притягивала къ нимъ сердца. Въ настоящее время—не безъ гордости замѣчаютъ друзья прогресса—любой школьникъ знаетъ то, что нѣкогда стоило Копернику тридцатитрехлѣтнихъ трудовъ; это вѣрно, и эта гордость справедлива. Все же астрономъ-мыслитель предпочтетъ книгу *de revolutionibus orbium coelestium* великаго гуманиста самому изящному изъ новѣйшихъ изложеній коперниковской системы. Правда, что осилить ее будетъ стоить немалого труда, правда и то, что ея читатель не обезпеченъ отъ многочисленныхъ ошибокъ, которыя еще раздѣлялъ Коперникъ и которыя исправила позднѣйшая наука. Но эти неудобства искупаются однимъ громаднымъ, незамѣнимымъ преимуществомъ: читая ее, мы дѣлаемся свидѣтелями гигантскихъ усилій человѣческаго духа, отъ которыхъ не сохранилось болѣе слѣда въ ходячихъ изложеніяхъ того, что было ихъ результатомъ; мы видимъ въ полной дѣятельности вулканъ, по давно потухшей лавѣ котораго теперь безопасно гуляютъ прохожіе.

То же относится и къ нравственнымъ идеямъ: разница лишь въ томъ, что, будучи именно только идеями, а не истинами, научно доказанными и неопровержимыми, онѣ гораздо болѣе страдаютъ отъ того, что ароматъ оригинальности въ нихъ выдохся, и его смѣнилъ тотъ не всѣмъ пріятный запахъ жилого помѣщенія, которымъ посредственность неизбѣжно заражаетъ все то, чего она касается. Пускай геліоцентрическая система составитъ достояніе всякаго школьника, пускай она развивается въ скучныхъ произведеніяхъ убогихъ компиляторовъ—никто вслѣдствіе этого отъ нея не отвернется, не назоветъ ее „избитой“, „заѣзженной“, „пошлой“, не обратится отъ нея къ другой, болѣе новой и интересной системѣ. Здѣсь не то. Эпитетъ пошлости, безвредный для научной истины, убійственъ для нравственной идеи; и вотъ начинается скитаніе мыслей и чувствъ. Каждая новизны, желаніе во что бы то ни стало избѣгнуть пошлости—заставляетъ людей отъ здороваго обращаться къ болѣзненному и вымученному, отъ простаго къ замысловатому, отъ яснаго къ туманному; все хорошо, лишь бы оно было новымъ или, по крайней мѣрѣ, казалось таковымъ. Придетъ время, и это новое станетъ старымъ, избитымъ, пошлымъ и подвергнется двойному осужденію, и за болѣзненность, и за пошлость; и то забытое старое воскреснетъ и найдетъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ. Такъ было, такъ будетъ всегда.

И дурного тутъ нѣтъ ничего: всякая эпоха живетъ своей жизнью, и всякая жизнь интересна. Все же обреченному жить въ эпоху скитанія мыслей и чувствъ пріятно и отрадно обращаться къ тому времени, когда здоровое не было еще пошлымъ, а интересное — болѣзненнымъ, когда идеи, ставшія позднѣе ходячею монетой, еще только вырабатывались и, появляясь на свѣтъ, были насыщены той магнетической силой, которую создаетъ соединеніе двухъ элементовъ: здоровья и новизны. Въ этомъ именно и заключается прелесть античности для тѣхъ, кто умѣетъ ее понимать. Конечно, и античность не была той сплошной и однородной массой, какой ее себѣ представляютъ многіе у насъ; и она жила и развивалась, и въ ея предѣлахъ здоровое могло состариться и вызвать жажду новаго, хотя бы и болѣзненнаго. Все же въ своей совокупности она была

сводомъ здоровыхъ темъ, повторявшихся съ тѣхъ поръ въ неисчислимыхъ варіаціяхъ до нашихъ временъ и имѣющихъ повторяться, пока живъ будетъ міръ.

Съ одной изъ этихъ темъ я намѣренъ познакомить читателя въ нижеслѣдующихъ главахъ.

I.

Когда у насъ ставили „Орестею“ Танѣва, либретто которой цѣликомъ заимствовано изъ трилогіи того же имени Эсхила, наша публика отнеслась довольно-таки холодно къ творенію великаго греческаго трагика; нашлись даже наивные люди, порицавшіе родоначальника европейской драмы за „избитость“ обработаннаго имъ сюжета. Невѣрная жена боится возвращенія съ похода своего царственнаго мужа; когда же онъ возвращается, она убиваетъ его съ помощью своего новаго друга. Сынъ убитаго мститъ за его гибель; но проклятія его матери, воплощенныя въ богиняхъ-мстительницахъ—Эриніяхъ, изгоняютъ его изъ родины, и онъ обрѣтаетъ покой лишь послѣ того, какъ его оправдываетъ учрежденный божествомъ строгій и правый судъ. Какъ это все просто, ясно, здорово, т.-е., выражаясь на современномъ языкѣ, какъ шаблонно, избито, неинтересно!.. Конечно, отъ либреттиста нельзя было и требовать, чтобы онъ въ своей скромной передѣлкѣ сохранилъ тѣ черты подлинника, которыми болѣе всего дорожитъ мыслящій читатель, чтобы онъ сохранилъ слѣды усилій гиганта-пахаря, впервые работающаго на дѣвственной нивѣ человѣческой мысли. Онъ сдѣлалъ, чтò могъ: оставилъ и въ общемъ, и въ частностяхъ развитіе эсхиловой фабулы, прибавилъ отъ себя нѣсколько сценъ и ради ясности и ради эффекта,—и вышло то, чтò могло и должно было выйти.

Наша точка зрѣнія однако другая. Нашъ преданіе объ Орестѣ-матереубійцѣ интересуетъ не какъ преданіе и не какъ сюжетъ трагедіи или оперы, а исключительно какъ „носитель“ одной изъ важнѣйшихъ и величайшихъ нравственныхъ идей—идеи оправданія преступника. Дѣйствительно, чтò такое нравственное оправданіе? Оправданіе, это—возстановленіе душевнаго равновѣсія, утраченнаго при совершеніи грѣха или преступленія,

В. 11
43



3302

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Давая своему сборнику заглавіе „Изъ жизни идей“, я имѣлъ въ виду опредѣлить его отношеніе къ тому, въ чемъ я вижу задачу своей жизни какъ ученаго, учителя и писателя. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ мои занятія античнымъ міромъ приняли сознательный и самостоятельный характеръ, онъ былъ для меня не тихимъ и отвлекающимъ отъ современной жизни музеемъ, а живою частью повѣйшей культуры; я видѣлъ преимущественное значеніе античности въ томъ, что она была *родоначальницей тѣхъ идей, которыми мы и нынѣ живемъ*. Изучая, такимъ образомъ, античность, если можно такъ выразиться, съ наклономъ къ современности, я намѣтилъ планъ гигантскаго научнаго зданія, которое бы обнимало и біографію, и біологію тѣхъ идей, совокупность которыхъ составляетъ современную умственную культуру. Конечно, мнѣ было ясно, что выполненіе этой задачи превышаетъ силы отдельной личности; все же я черпалъ энергію и бодрость для своихъ научныхъ изслѣдованій въ созерцаніи моего, пока еще чисто призрачнаго зданія, и убѣжденъ, что оно можетъ сослужить такую же службу и другимъ.

Всѣ вошедшія въ этотъ сборникъ статьи—кромѣ одной—задуманы мною какъ составныя части этого зданія; не вездѣ эта связь ясна для посторонняго наблюдателя, тѣмъ не менѣе я смѣю увѣрить, что имѣется она вездѣ. Все же въ выборѣ

назначенныхъ для сборника статей я руководился также и однимъ вѣшнимъ соображеніемъ, внутреннимъ невозможностью издать теперь же сборникъ всѣхъ моихъ научно-популярныхъ статей. Большинство ихъ—сравнительно—было раньше напечатано въ „Вѣстникѣ Европы“; это слѣдующія:

1) Цицеронъ въ исторіи европейской культуры (1896 февр.); перепечатана въ болѣе полномъ видѣ какъ введеніе къ моему переводу рѣчей Цицерона (1901 у Карбасникова).

2) Античная гуманность (1898 янв.).

3) Художественная проза и ея судьба (1898 нб.).

4) Трагедія вѣры (1899 нб.).

5) Изъ экономической жизни древняго Рима (1900 авг.).

6) Умершая наука (1901 окт. и нб.).

7) Римъ и его религія (1903 янв. и февр.).

8) Мотивъ разлуки: Овидій—Шекспиръ—Пушкинъ (1903 окт.).

Ихъ я, какъ напечатанныхъ въ одномъ и притомъ общедоступномъ органѣ, въ настоящій сборникъ не включилъ; приняты же статьи были раньше напечатаны въ слѣдующихъ журналахъ, отчасти уже прекратившихъ свое существованіе:

I. Идея нравственнаго оправданія (публичная лекція въ пользу недостаточныхъ слушательницъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ)—„Міръ Божій“ 1899 февр.

II. Ифигенія—„Сѣверный Курьеръ“ 16 ш 1900.

III. Воскресшіе поэты:

1) Вакхилидъ, его оды и баллады — „Космополисъ“ 1898 мартъ—май.

2) Геродъ и его бытовья сценки (публичная лекція въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая) — „Филологическое Обозрѣніе“ 1892.

3) Менаандръ и его комедіи — „Сѣв. Курьеръ“ 30 ix 1900.

IV. Антигона.—„Сѣв. Курьеръ“ 1 i 1900.

V. Первое свѣтопреставленіе. — „Вѣстникъ Всемирной Исторіи“ 1899 декабрь.

VI. Про нечистую силу—„Сѣв. Курьеръ“ 29 x 1900.

VII. Античный міръ въ поэзіи Майкова (рѣчь на вечерѣ въ честь поэта)—„Русскій Вѣстникъ“ 1899 июль.

VIII. Парламентаризмъ въ римской республикѣ — Сѣв. Курьеръ“ 29 vii 1900.

IX. Новый памятникъ древнеримскаго быта—„Міръ Божій“ 1904 июнь.

X. Остракологія—„Сѣв. Курьеръ“ 16 iv 1900.

XI. Рабочая пѣсенка—„Міръ Божій“ 1901 май.

XII. Ницше и античность—„Сѣв. Курьеръ“ 2 ix 1900.

XIII. Происхожденіе комедіи—„Научное Обзорѣніе“ 1903 янв.—февр.

XIV. Гейдельбергъ—„Сѣв. Курьеръ“ 13 vii 1900.

XV. Золотой вѣкъ — „Вѣстникъ Самообразованія“ 1903 № 2.

Конечно, это лишь выборка; изъ остальныхъ нѣкоторыя, надѣюсь, будутъ при случаѣ переизданы; другія за исчезновеніемъ интереса переизданію не подлежатъ. Не подлежатъ ему также, хотя и по другой причинѣ, и мои введенія къ нѣкоторымъ твореніямъ великихъ повѣйшихъ писателей, выходящихъ подъ редакціей С. А. Венгерова („Орлеанской Дѣвѣ“ Шиллера, „Комедіи ошибокъ“, „Периклу“, „Антонію и Клеопатрѣ“, „Адонису“ и „Лукреціи“ Шекспира, „Гяуру“, „Абидосской невѣсты“ и „Осадѣ Коринѣа“ Байрона), а также и статьи въ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона (главныя: Филологія, Христіанство, Цицеронъ, Эсхилъ, Язычество и Теокрытъ) и Энциклопедіи Мейера-Южакова („Греческая литература“). Такъ какъ и онѣ имѣютъ своимъ предметомъ „жизнь идей“, то я счелъ позволительнымъ упомянуть и о нихъ въ предисловіи къ настоящему сборнику.

А. Змлинскій.

С.-Петербургъ. Октябрь 1904 г.

ИДЕЯ ПРАВСТВЕННОГО ОПРАВДАНИЯ,

ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНІЕ И РАЗВИТІЕ.

Великія нравственныя идеи въ своемъ распространеніи среди людей раздѣляютъ участь великихъ научныхъ истинъ: переходя изъ рукъ гения, впервые сдѣлавшаго ихъ доступными, въ руки посредственностей, онѣ на видъ остаются тѣмъ же, чѣмъ были въ началѣ, но теряютъ то, что въ нихъ было самымъ дорогимъ для насъ—ту незримую магнетическую силу, которая притягивала къ нимъ сердца. Въ настоящее время—не безъ гордости замѣчаютъ друзья прогресса—любой школьникъ знаетъ то, что нѣкогда стоило Копернику тридцатитрехлѣтнихъ трудовъ; это вѣрно, и эта гордость справедлива. Все же астрономъ-мыслитель предпочтетъ книгу *de revolutionibus orbium coelestium* великаго гуманиста самому изящному изъ новѣйшихъ изложеній коперниковской системы. Правда, что осилить ее будетъ стоить немалого труда, правда и то, что ея читатель не обезпеченъ отъ многочисленныхъ ошибокъ, которыя еще раздѣляли Коперникъ и которыя исправила позднѣйшая наука. Но эти неудобства искупаются однимъ громаднымъ, незамѣнимымъ преимуществомъ: читая ее, мы дѣлаемся свидѣтелями гигантскихъ усилій человеческого духа, отъ которыхъ не сохранилось болѣе слѣда въ ходячихъ изложеніяхъ того, что было ихъ результатомъ; мы видимъ въ полной дѣятельности вулканъ, по давно потухшей лавѣ котораго теперь безопасно гуляютъ прохожіе.

То же относится и къ нравственнымъ идеямъ: разница лишь въ томъ, что, будучи именно только идеями, а не истинами, научно доказанными и неопровержимыми, онѣ гораздо болѣе страдаютъ отъ того, что ароматъ оригинальности въ нихъ выдохся, и его смѣнилъ тотъ не всѣмъ пріятный запахъ жилого помѣщенія, которымъ посредственность неизбежно заражаетъ все то, чего она касается. Пускай гелиоцентрическая система составитъ достояніе всякаго школьника, пускай она развивается въ скучныхъ произведеніяхъ убогихъ компиляторовъ—никто вслѣдствіе этого отъ нея не отвернется, не назоветъ ее „избитой“, „заѣзженной“, „пошлой“, не обратится отъ нея къ другой, болѣе новой и интересной системѣ. Здѣсь не то. Эпитетъ пошлости, безвредный для научной истины, убійственъ для нравственной идеи; и вотъ начинается скитаніе мыслей и чувствъ. Жажда новизны, желаніе во что бы то ни стало избѣгнуть пошлости—заставляетъ людей отъ здороваго обращаться къ болѣзненному и вымученному, отъ простаго къ замысловатому, отъ яснаго къ туманному; все хорошо, лишь бы оно было новымъ или, по крайней мѣрѣ, казалось таковымъ. Придетъ время, и это новое станетъ старымъ, избитымъ, пошлымъ и подвергнется двойному осужденію, и за болѣзненность, и за пошлость; и то забытое старое воскреснетъ и найдетъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ. Такъ было, такъ будетъ всегда.

И дурного тутъ нѣтъ ничего: всякая эпоха живетъ своей жизнью, и всякая жизнь интересна. Все же обреченному жить въ эпоху скитанія мыслей и чувствъ пріятно и отрадно обращаться къ тому времени, когда здоровое не было еще пошлымъ, а интересное — болѣзненнымъ, когда идеи, ставшія позднѣе ходячею монетой, еще только вырабатывались и, появиваясь на свѣтъ, были насыщены той магнетической силой, которую создаетъ соединеніе двухъ элементовъ: здоровья и новизны. Въ этомъ именно и заключается прелесть античности для тѣхъ, кто умѣетъ ее понимать. Конечно, и античность не была той сплошной и однородной массой, какой ее себѣ представляютъ многіе у насъ; и она жила и развивалась, и въ ея предѣлахъ здоровое могло состариться и вызвать жажду новаго, хотя бы и болѣзненнаго. Все же въ своей совокупности она была

сводомъ здоровыхъ темъ, повторявшихся съ тѣхъ поръ въ неисчислимыхъ варіаціяхъ до нашихъ временъ и имѣющихъ повториться, пока живъ будетъ міръ.

Съ одной изъ этихъ темъ я намѣренъ познакомить читателя въ нижеслѣдующихъ главахъ.

I.

Когда у насъ ставили „Орестею“ Танѣева, либретто которой цѣликомъ заимствовано изъ трилогіи того же имени Эсхила, наша публика отнеслась довольно-таки холодно къ творенію великаго греческаго трагика; нашлись даже наивные люди, порицавшіе родоначальника европейской драмы за „избитость“ обработаннаго имъ сюжета. Невѣрная жена бонится возвращенія съ похода своего царственнаго мужа; когда же онъ возвращается, она убиваетъ его съ помощью своего новаго друга. Сынъ убитаго мститъ за его гибель; но проклятія его матери, воплощенные въ богиняхъ-мстительницахъ—Эриніяхъ, изгоняютъ его изъ родины, и онъ обрѣтаетъ покой лишь послѣ того, какъ его оправдываетъ учрежденный божествомъ строгій и правый судъ. Какъ это все просто, ясно, здорово, т.-е., выражаясь на современномъ языкѣ, какъ шаблонно, избито, неинтересно!.. Конечно, отъ либреттиста нельзя было и требовать, чтобы онъ въ своей скромной передѣлкѣ сохранилъ тѣ черты подлинника, которыми болѣе всего дорожитъ мыслящій читатель, чтобы онъ сохранилъ слѣды усилій гиганта-пахаря, впервые работающаго на дѣвственной нивѣ человѣческой мысли. Онъ сдѣлалъ, чтò могъ: оставилъ и въ общемъ, и въ частностяхъ развитіе эсхиловой фабулы, прибавилъ отъ себя нѣсколько сценъ и ради ясности и ради эффекта,—и вышло то, чтò могло и должно было выйти.

Наша точка зрѣнія однако другая. Нашъ преданіе объ Орестѣ-матереубійцѣ интересуетъ не какъ преданіе и не какъ сюжетъ трагедіи или оперы, а исключительно какъ „носитель“ одной изъ важнѣйшихъ и величайшихъ нравственныхъ идей—идеи оправданія преступника. Дѣйствительно, чтò такое нравственное оправданіе? Оправданіе, это—возстановленіе душевнаго равновѣсія, утраченнаго при совершеніи грѣха или преступленія,

это — выздоровленіе заболѣвшей души. Подобно идеѣ выздоровленія, и идея оправданія — идея вѣчная и не старѣющая; она такъ же дѣйствительна для насъ, какъ дѣйствительна небесная Лира, ласкающая насъ по ночамъ тѣмъ же тихимъ, таинственнымъ свѣтомъ, какимъ много вѣковъ назадъ она ласкала болѣе воспріимчивые глаза современниковъ Перикла. И если читатель при чтеніи нижеслѣдующихъ страницъ не почувствуетъ, что рѣчь идетъ о непосредственно близкихъ его сердцу интересахъ, что передъ нимъ раскрывается книга его собственной души, — то пусть онъ винитъ лишь неумѣлость толкователя, не справившагося со своею задачею, не смогшаго правильно передать то, что онъ правильно вычиталъ и уразумѣлъ.

Само собою разумѣется, что, говоря о происхожденіи и развитіи идеи оправданія, мы должны перенестись въ тѣ времена, когда вообще зародились и развивались нравственные идеи, т.-е. въ античность; но, быть можетъ, покажется страннымъ, что авторъ, собираясь прослѣдить происхожденіе и развитіе нравственной идеи, обращается не къ философамъ-моралистамъ, а къ міеологіи, что онъ беретъ ее не въ отвлеченномъ видѣ, а въ оболочкѣ ея міеа-носителя. Чтобы выяснитъ это, необходимо сказать нѣсколько словъ о томъ, что такое эта античная, т.-е. греческая міеологія, и какъ ее слѣдуетъ понимать.

Греческая „міеологія“, какъ ее обыкновенно называютъ, т.-е. повѣствовательная часть греческой религіи, представляетъ удивительное, единственное въ своемъ родѣ явленіе; плохо о ней судятъ тѣ, которые видятъ въ ней нѣчто единое, установившееся, недвижимое; въ ней все живетъ, все движется, все растетъ, расцвѣтаетъ и вянетъ; отъ величавыхъ концепцій Эсхила до изящныхъ арабесокъ Овидія очень далеко, едва ли не дальше, чѣмъ отъ Овидія до опереточной міеологіи Оффенбаха. Былъ у древнихъ народовъ красивый обычай, перешедшій позднѣе и къ христіанскимъ, — посвящать трофеи своихъ побѣдъ надъ врагами въ храмъ своего родного божества, такъ что этотъ храмъ давалъ въ вещественныхъ свидѣтельствахъ внѣшнюю исторію своего народа. Но кромѣ этихъ каменныхъ храмовъ, былъ у нихъ и храмъ незримый, нерукотворный, въ который они посвящали трофеи не внѣшнихъ, а внутреннихъ

побѣдъ, живыя свидѣтельства своего нравственнаго и умственнаго прогресса; этимъ храмомъ была ихъ родная мифологія. Мифъ—естественная, необходимая форма, въ которую облакалась идея, не находившая еще для выраженія самой себя готоваго отвлеченнаго языка; всякое измѣненіе въ міросозерцаніи имѣло послѣдствіемъ органическое измѣненіе мифовъ; кто сдумѣлъ бы представить намъ греческую мифологію въ ея историческомъ развитіи, тотъ далъ бы этимъ самымъ—въ вносказательной формѣ—исторію эволюціи греческой народной души. Въ нижеслѣдующемъ данъ опытъ такого развитія на одномъ изъ многочисленныхъ мифовъ греческой религіи—на мифѣ объ Орестѣ-матереубійцѣ. Правда, работа, которую я имѣю въ виду, должна быть изслѣдованіемъ, изслѣдованіемъ филологическимъ; здѣсь же дано, для удобства читателей-нефилологовъ, не изслѣдованіе, а повѣствованіе. Изслѣдователь отъ извѣстнаго переходитъ къ менѣе извѣстному, руководясь въ нашей области данными этимологіи, исторіи литературы и культуры, сравнительной мифологіи; повѣствователь переходитъ отъ болѣе ранняго къ болѣе позднему, пользуясь результатами трудовъ изслѣдователя. Въ данномъ же случаѣ именно болѣе позднее является болѣе извѣстнымъ и наоборотъ; нашъ путь, поэтому, прямо противоположенъ тому, котораго долженъ былъ бы держаться изслѣдователь. Прошу это помнить при чтеніи нижеслѣдующихъ страницъ.

II.

Первой идеей, представившейся младенческому уму человѣка, когда для него, наконецъ, занялась заря сознательной жизни, была идея его зависимости отъ силъ природы; эти послѣднія, въ сумеркахъ зарождающагося сознанія, стояли передъ нимъ туманными великанами со сверхчеловѣческой мощью, но съ человѣческими страстями и стремленіями. Таковы были боги первобытнаго человѣчества. Ихъ могло быть много; но особенно близкими были ему тѣ, дѣйствія которыхъ, вслѣдствіе своей повторяемости, болѣе всего вліяли на его жизнь, власть которыхъ онъ чувствовалъ надъ собой съ особенной силой. Ежедневно ночь убиваетъ день, ежегодно зима убиваетъ лѣто;

ежедневно человекъ долженъ былъ искать убѣжища отъ страховъ ночи, ежегодно отъ страданій зимы; онъ дѣлалъ это съ твердой надеждой, что царство обоихъ этихъ жизневраждебныхъ началъ будетъ непродолжительно: придетъ Солнце-богатырь и сорветъ сверкающіе доспѣхи побѣжденной ночи; придетъ Солнце-богатырь и разрушитъ туманную твердыню побѣжденной зимы. Таковы были главные мѣны первобытнаго человечества; мы встречаемъ ихъ на всемъ протяженіи земного шара.

Новая эра началась тогда, когда человечество, оставивъ колею чисто животной, физической эволюціи, вступило на путь сознательнаго умственнаго прогресса; началась только для тѣхъ народовъ, которымъ, по неисповѣдимымъ законамъ природы, былъ назначенъ этотъ путь. Для арійскихъ народовъ этотъ моментъ наступилъ, насколько мы можемъ судить, уже послѣ отдѣленія восточной ирано-индійской вѣтви; вотъ почему тѣ мѣны, о которыхъ рѣчь будетъ тотчасъ, встречаются у греческихъ и германскихъ, но не у персидскихъ и индійскихъ племенъ.

Соотвѣтствующая новой эрѣ новая идея была послѣдовательнымъ развитіемъ тѣхъ двухъ старыхъ идей, перенесеніемъ ихъ въ болѣе высокую, умственную сферу; и здѣсь мы имѣемъ ту же борьбу житнетворнаго и жизневраждебнаго начала, дня и ночи, лѣта и зимы, только еще ступенью выше. Временной единицей новой идеи были уже не сутки и не годъ, а болѣе крупный періодъ, относящійся къ году приблизительно такъ же, какъ годъ относится къ суткамъ. *Все, что имѣло начало, будетъ имѣть и конецъ; но за концомъ будетъ новое начало*; эта великая идея, на которую навела человека гибель дня подъ натискомъ ночи и гибель лѣта подъ натискомъ зимы съ ожидаемымъ въ обоихъ случаяхъ торжествомъ Солнца-богатыря—эта идея была перенесена на великое лѣто жизни человечества. И оно имѣло свое начало: было время, когда и люди, подобно всѣмъ прочимъ животнымъ, жили по законамъ своей родительницы Земли; она ихъ одѣвала, она ихъ кормила, она ихъ надѣляла всѣмъ тѣмъ знаніемъ, въ которомъ они нуждались для того, чтобы, проживъ положенный имъ вѣкъ, передать „свѣточъ жизни“ другому поколѣнію,—тѣмъ загадочнымъ для биолога, чудеснымъ для простаго мыслящаго человека знаніемъ,

которое мы называемъ инстинктомъ. Такъ было нѣкогда, но уже давно, очень давно; то былъ „золотой вѣкъ“, царство Земли и ея силъ. Теперь не то: остальные твари живутъ еще по законамъ Земли, за что и вкушаютъ ея дары и пользуются исходящимъ отъ нея знаніемъ, но человѣкъ ихъ нарушаетъ. Человѣкъ живетъ въ открытой враждѣ съ Землей: онъ остріемъ заступа и плуга разрываетъ широкую грудь Земли, заставляя ее производить посѣянные имъ плоды; онъ остріемъ сѣкиры разрушаетъ ея вѣковой зеленый плащъ; онъ остріемъ кирки пробиваетъ себѣ доступъ въ ея внутренности—in viscera Terrae. Не Земля его научила такъ насиловать ее; это было дѣломъ мятежнаго Духа, возставшаго противъ Земли и ея силъ. Побѣда Духа надъ Землей и ея силами положила начало человѣческой культурѣ; тогда разгнѣванная вѣщная Земля скрыла свое знаніе. Ощущью ищи вѣрнаго пути, страдай, чтобы твой мучительный опытъ пошелъ тебѣ въпрокъ, погибай, чтобы твоя смерть послужила урокомъ другимъ, — таковъ былъ новый законъ Духа, за которымъ послѣдовалъ человѣкъ. Этому Духа древніе греки называли Зевсомъ или, вѣрнѣе, возвели въ роль этого Духа своего древнѣйшаго бога неба и дня, предвѣчнаго (выражаясь мифологически) супруга предвѣчной Земли. „Это ты, — говоритъ Эсхилъ въ своей глубокомысленной молитвѣ Зевсу, — повелѣлъ человѣка по пути сознанія, ты повелѣлъ, чтобы слово: *страданіемъ учись* стало закономъ“.

Итакъ, Зевсъ во главѣ своихъ силъ одержалъ побѣду надъ Землей и ея силами—Титанами; Земля смирилась, но не навсегда. Она знаетъ, что великое дѣло человѣческой культуры, имѣя начало, должно имѣть и конецъ; зная это, она „задумала славное дѣло“ предательства и убійства противъ своего побѣдопоснаго супруга. Онъ вѣдь не знаетъ, что онъ „обреченъ“; свое знаніе она оставила при себѣ; и вотъ она тайно дѣлаетъ своего Змѣя—змѣй былъ у древнихъ символомъ гибельной силы Земли—или своихъ Змѣевъ (число безразлично), своихъ Гигантовъ. Придетъ время, и Зевсъ со своими силами падетъ подъ натискомъ Гигантовъ, наступитъ великая зима въ жизни человечества. Но и она не будетъ вѣчной; предсказывая неизбежную гибель человѣческой культуры, древняя мудрость и тутъ, какъ это было естественно, открывала ей надежду на возро-

ждение; придетъ Солнце-богатырь, придетъ сынъ того убитого Духа; онъ отмститъ за отца, онъ поразитъ Землю и взлелѣянаго ею Змѣя—и наступитъ новое свѣтлое царство духа, новое великое лѣто.

Такова общая мысль древнѣйшей германской и греческой мифологій; несмотря на открывавшуюся въ далекой перспективѣ надежду, ихъ характеръ былъ грустный, такъ какъ гибель представлялась болѣе близкой, чѣмъ возрожденіе, и эта гибель была неотвратима. Да, неотвратима; для выраженія этой неотвратимости былъ созданъ—тоже общій обѣимъ мифологіямъ—миръ о Гераклѣ-Сигурдѣ, намѣченномъ рокомъ спасителѣ боговъ, который гибнетъ, не успѣвъ совершить своего подвига, гибнетъ не отъ руки враговъ, а отъ руки той Дѣвы, для которой онъ дороже всего на свѣтѣ. Германцы покорились неотвратимости своихъ „сумерекъ боговъ“, своей *Götterdämmerung*, но греки преодолѣли ее путемъ новаго прогресса, наступившаго много времени послѣ ихъ отдѣленія отъ остальныхъ вѣтвей арійскаго племени и принадлежащаго поэтому имъ однимъ. Объ этомъ будетъ рѣчь тотчасъ; теперь же окинемъ еще разъ взоромъ только-что развитый нами главный миръ религіи Зевса, общій германскому и греческому племени.

Земля, „задумавшая славное дѣло“ (по-гречески: Клитемнестра), живетъ усмиреной, но въ душѣ мятежной супругой Зевса, „обреченнаго“ (по-гречески Агамемнона). Задумала она свое дѣло при помощи Змѣя-Эгисѳа; придетъ время, когда Агамемнонъ подъ ихъ ударами погибнетъ, и Клитемнестра съ Эгисѳомъ будутъ царствовать надъ людьми. Но и этому царству наступитъ конецъ; придетъ сынъ Агамемнона, Солнце-богатырь, мстителъ за убитого; отъ его руки падутъ и Эгисѳъ и Клитемнестра, и онъ унаслѣдуетъ царство своего отца.—Уже въ этой формѣ мифа мы имѣемъ и мужеубійство, и матереубійство; но оба они еще не ощущаются, какъ нарушенія нравственнаго закона. Пока названные лица хотя смутно сознавались, какъ олицетворенія физическихъ началъ, нравственная сторона дѣла оставалась надъ порогомъ сознанія. Нуженъ былъ великій религіозный переворотъ въ жизни греческаго народа для того, чтобы физическая сторона была предана забвенію, и нравственная, въ силу которой нашъ мифъ сдѣлался носителемъ

иден оправданія, выступила на первый планъ; этимъ переворотомъ была *реформа религіи Зевса подѣ влияніемъ религіи Аполлона*.

III.

Всякая религія, содержащая ученіе о мессіи, содержитъ именно въ немъ зародышъ своего собственнаго разрушенія; рано ли, поздно ли, но обѣщанный мессія долженъ явиться и увлечь за собою сердца. Мессіанскіе элементы древнегерманской религіи подготовили почву для торжества христіанства; для греческой же религіи Зевса необходимость реформы, соотвѣтственно болѣе быстрому росту греческой культуры, явилась много ранѣе. Въ неопредѣлимое точнѣе время, въ эпоху возникновенія древнѣйшихъ гомерическихъ поэмъ, культъ свѣтлой божественной четы, Аполлона и Артемиды (Діаны), сталъ распространяться по Греціи. Проникъ онъ туда съ Востока: для Гомера Аполлонъ еще—троянскій богъ. Быть можетъ, его родина еще восточнѣе; по крайней мѣрѣ, персы, вторгаясь въ Элладу, оказывали уваженіе Аполлону и Артемидѣ, признавая въ нихъ своихъ родныхъ боговъ. Но какъ бы тамъ ни было, древнѣйшіе слѣды указываютъ на Трою: тамъ за неприступными утесами Иды есть блаженная страна вѣчнаго „свѣта“, Ликія (Lucia = Lucía), населенная благочестивымъ „загорнымъ“ народомъ — гинерборейцами. Тамъ обычное мѣстопробываніе Аполлона; съ этой своей святой горы онъ спускается къ смертнымъ.

Оттуда его культъ распространился на западъ; въ греческую территорію онъ проникъ чрезъ ту же историческую тѣснину, чрезъ которую и позже вторгались побѣдоносные враги—черезъ Термопилы. Эта мѣстность была полна воспоминаній о Гераклѣ, безвременно погибшемъ спасителѣ боговъ; воспоминанія эти были отличной почвой для воспріятія новой религіи: гдѣ погибъ Гераклъ, тамъ торжествовалъ Аполлонъ. Изъ Термопилъ культъ новаго бога двинулся далѣе на юго-западъ, въ срединную часть Греціи; здѣсь была гора Парнасъ и на ней самое древнее святилище Земли. Его-то и занялъ Аполлонъ, являясь во всѣхъ смыслахъ обѣщаннымъ религіей Зевса мессіей; здѣсь онъ убилъ

Змѣя, взлелѣяннаго Землей, исторгъ у нея значіе, которое она скрывала, и основаль свой древнѣйшій дельфійскій храмъ и оракулъ. Парнасъ сталъ святой горой Аполлона, главнымъ центромъ его культа рядомъ съ Ѳермопилами. Связь между этими двумя центрами существовала и въ историческое время: всегда собранія такъ называемыхъ амфиктіоновъ (т.-е. представителей отъ государствъ, обязавшихся защищать Дельфійскій храмъ) начинались въ Ѳермопилахъ или, какъ ихъ проще называли, въ Пилахъ, но продолжались на святой горѣ въ Дельфахъ. Эта же связь получила и мифологическое выраженіе, довольно своеобразное,—въ раздвоеніи личности Аполлона на Аполлона-представителя Пилъ и Аполлона-представителя горы; первый былъ нареченъ Пиладомъ, второй (отъ греческаго *oros*—„гора“) Орестомъ. Такъ-то возникла въ фантазіи грековъ эта знаменитая и понынѣ чета.

Подъ влияніемъ культа Аполлона древнѣйшая религія Зевса была реформирована. Аполлонъ убилъ Змѣя, взлелѣяннаго Землей. Змѣя, грозившаго гибелью Зевсу,—стало быть, этой гибели не будетъ: вѣчность царству Зевса обезпечена. Но все, что началось, должно и кончиться; царство Зевса кончиться не должно,—значить, оно не могло имѣть и начала. Зевсъ предвѣченъ и вѣченъ. Нѣтъ ему гибели; нѣтъ и причинъ гибели, нѣтъ вражды между нимъ и Землей; когда религія Аполлона проникла и въ древнѣйшій центръ культа Зевса, въ Додону, она устами вдохновенной жрицы-пророчицы новаго бога провозгласила въ двухъ стихахъ сущность происшедшей реформы:

Есть Зевсъ, былъ онъ и будетъ; воистину молвию, великъ Зевсъ!
Заждетъ плоды вамъ Земля, величайте же мать Землю!

Конечно, дореформенная религія, имѣвшая въ своемъ основаніи борьбу Духа и Земли, была глубокомысленнѣе новой, но зато новая была жизнерадостнѣе: можно было свободнѣе вдохнуть, не чувствуя близъ себя пасти Змѣя, не думая о тяготящей надъ богами и надъ культурой человѣчества гибели.

Что же касается стариннаго мифа религіи Зевса, мифа о Зевсѣ-Агамемнонѣ и Землѣ-Клитемнестрѣ, то и онъ былъ дополненъ подъ влияніемъ новой религіи. Обѣщанный Солнце-богатырь сталъ, конечно, Аполлономъ, а именно Аполлономъ

святой горы, гдѣ былъ убитъ Змѣй, Орестомъ; Аполлонъ же привелъ съ собою и свою сестру, „лучезарную“ Артемиду-Электру. Все же роль этой послѣдней была довольно неопредѣленной, такъ какъ она не была органической, первоначальной частью мѣа. Но со всѣми этими дополненіями нашъ мѣъ не могъ долѣе оставаться богословскимъ мѣомъ: Зевсъ-Агамемнонъ вѣдъ погибаетъ отъ руки Земли-Клитемнестры; по религіи же Аполлона, Зевсъ былъ вѣченъ и жилъ въ мирѣ съ Землей. И вотъ божественные элементы мѣа мало-по-малу предаются забвенію: передъ нами уже не Зевсъ-Агамемнонъ, не Земля-Клитемнестра, а просто Агамемнонъ, Клитемнестра, Эгисей, Орестъ, Электра;—къ счастью, въ Спартѣ сохранился до историческихъ временъ культъ „Зевса-Агамемнона“, какъ живое доказательство первоначально богословскаго характера всего мѣа. вмѣстѣ съ Зевсомъ и царство его спустилось съ неба на землю: тотъ Астаръ греческой религіи — „бѣлый“ городъ боговъ, въ которомъ былъ царемъ Зевсъ-Агамемнонъ, былъ локализованъ въ Греціи то какъ пелазгическій, то какъ ахейскій „Аргосъ“. Весь масштабъ измѣнился: разъ гигантскіе и туманные образы сѣдой старины были низведены до человѣческой нормы и стали ясны и пластичны—къ ихъ дѣяніямъ стала приложима и человѣческая оцѣнка: съ утратой богословскаго элемента выдвинулся на первый планъ элементъ нравственный. Клитемнестра стала просто невѣрной женой, замыслившей вмѣстѣ со своимъ любовникомъ убійство своего супруга; Орестъ сталъ вѣрнымъ сыномъ, отомстившимъ за смерть своего отца... Кстати: онъ сдѣлалъ это по приказанію Аполлона, подъ святой горой котораго онъ воспытывался; въ этомъ сохранился слѣдъ первоначальнаго тождества Ореста съ Аполлономъ святой горы. Всѣ эти человѣческія дѣйствія требовали человѣческой мотивировки; ее далъ первый поэтъ, обработавшій нашъ мѣъ — авторъ такъ называемой киклической поэмы „о возвращеніи богатырей“ (Nostoi), приписываемой въ древности Гомеру. Человѣческая же мотивировка разсчитана на возбужденіе человѣческихъ же чувствъ симпатіи и антипатіи. Весь мѣъ построенъ такъ, чтобы наши симпатіи были на сторонѣ предательски убитаго царя и его мстителя, юнаго богатыря Ореста; но съ матереубійцей мы симпатизировать не можемъ—вотъ

почему въ поэзиі замѣчается тенденція выдвинуть убійство Орестомъ Эгисѳа, безчестнаго обольстителя супруги своего царя, и предать забвенію убійство имъ самой Клитемнестры. „Или ты не слышалъ“, говорить въ Одиссеѣ Аѳина Телемаху,—

„Славу какую стяжалъ среди смертныхъ Орестъ богоравный
Тѣмъ, что Эгисѳа сразилъ нечестивца,—того, что коварно
Смерти Атрида предалъ? За отца своего отомстилъ онъ;
Такъ же и ты, дорогой,—ты не даромъ могучъ и прекрасенъ—
Мужественъ будь, дабы добрымъ тебя также словомъ почтили“.

И мы можемъ быть увѣрены, что современемъ нравственность взяла бы свое. Клитемнестра была бы устранена изъ мифа и какъ непосредственная исполнительница казни надъ своимъ супругомъ, и какъ жертва мести со стороны своего сына; и тутъ, и тамъ ея мѣсто занялъ бы Эгисѳъ, а ей досталась бы второстепенная роль — роль кающейся грѣшницы, которую не трудно было бы простить побѣдоносному сыну. Это, повторяю, несомнѣнно случилось бы,—если бы не религіозная реакція восьмого и седьмого вѣковъ. Нашъ мифъ имѣлъ счастье или несчастье попасть въ это реакціонное теченіе, и оно, сохраняя его въ его первоначальной формѣ, придало ему новое содержаніе, такое, о которомъ до тѣхъ поръ и рѣчи не было.

Центромъ этой религіозной реакціи былъ тотъ же дельфійскій оракулъ на святой горѣ Аполлона.

IV.

Въ гомерическомъ гимнѣ въ честь Аполлона-делосскаго богиня острова Делоса, которому суждено было сдѣлаться мѣстомъ рожденія новаго бога, говорить по этому поводу роженіицѣ:

Властолюбивъ, говорятъ, будетъ сынъ Аполлонъ твой, Латона;
Первымъ онъ быть пожелаетъ боговъ среди сонма безсмертныхъ,
Первымъ средь смертныхъ людей.

Властолюбіе было отличительной чертой культа Аполлона въ Греціи или, говоря правильнѣе, той небольшой кучки жрецовъ и жрицъ, которая вѣдала этотъ культъ въ Дельфахъ. Исторія не сохранила памяти объ индивидуальныхъ дѣяніяхъ

каждаго и каждой изъ нихъ, и это жаль: она лишила насъ этимъ знакомства съ цѣлымъ рядомъ выдающихся своимъ умомъ и силой, беззавѣтно преданныхъ своему дѣлу и вѣрующихъ людей... Подлинно ли вѣрующихъ? Прошли, къ счастью, тѣ времена, когда передовые люди могли представлять себѣ умныхъ руководителей религіозной силы человѣчества только лицемѣрами; мы знаемъ теперь (или, по крайней мѣрѣ, могли бы знать), что искренней вѣрѣ легко поддержать въ человѣкѣ тотъ священный огонь, благодаря которому его жизнь становится сплошнымъ подвигомъ на благо человѣчества, но что выдержанное въ теченіе цѣлой жизни (не говоря уже о цѣломъ рядѣ поколѣній) лицемѣріе есть нѣчто чудовищное, превосходящее человѣческія силы. И если бы дельфійскій храмъ сохранилъ портреты своихъ верховныхъ жрецовъ, мы безъ труда признали бы въ одномъ изъ нихъ—Григорія Великаго, въ другомъ—Григорія VI, въ третьемъ—Иннокентія III. Святая гора въ Дельфахъ и святой престолъ въ Римѣ—поразительно схожія явленія; объ этомъ сходствѣ намъ не разъ придется вспоминать.

Но, какъ я сказалъ, индивидуальныя дѣянія дельфійскихъ жрецовъ забыты; мы можемъ судить только о коллективныхъ дѣяніяхъ дельфійскаго бога. Ихъ цѣлью была, съ одной стороны, духовная гегемонія надъ эллинами и, если возможно, также и надъ другими народами (поскольку тутъ роль играла политика, о ней рѣчь будетъ ниже); съ другой стороны, сочетаніе нравственнаго элемента съ религіознымъ, чуждое древней дореформенной религіи Зевса. Положимъ, въ этомъ отношеніи религія Аполлона стоитъ не особнякомъ—ту же цѣль поставили себѣ и обѣ другія новыя религіи, религія Деметры (Цереры) и Діониса (Вакха). Разница состоитъ, однако, въ томъ, что эти двѣ религіи старались достигнуть своей цѣли путемъ тайныхъ обществъ; ихъ аденты должны были дать посвятить себя въ элевсинскія или орфическія *таинства*. Напротивъ, религія Аполлона стремилась къ своей цѣли открыто, не зная никакихъ таинствъ; дельфійскій храмъ былъ открытъ для всѣхъ, всѣхъ одинаково встрѣчалъ вырѣзанный надъ его дверьми глубокомысленный девизъ: „познай самого себя“.

Радостной вѣстью новой религіи былъ, какъ мы видѣли,

миръ Зевса и Земли. Самъ дельфійскій храмъ стоялъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда находилось самое славное святилище вѣщей богини; умиловленіе Земли стало главнымъ требованіемъ Аполлоновой религіи. Но Земля была не только кормилицей смертныхъ, той, которая „зидетъ имъ плоды“: она же принимала ихъ души, когда наступала ихъ смерть. Вотъ почему *култъ души* сдѣлался главнымъ предметомъ вниманія Аполлона. Удивительна была въ этомъ отношеніи безпечность въ эпоху паденія религіи Зевса, изображенную въ Гомеровскихъ поэмахъ. Ея главное правило—„мертвый въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся живущій“,—пока очередь не дойдетъ и до тебя; а тамъ и тебя приметъ обитель Анда, и ты будешь навѣки отдѣленъ отъ міра живыхъ. Убьютъ у тебя сына или близкаго родственника—это причинитъ тебѣ извѣстное огорченіе или ущербъ, въ возмѣщеніе котораго ты можешь требовать отъ убійцы соотвѣтственной суммы наслажденій, другими словами—виры; но онъ имѣетъ дѣло исключительно съ тобой и съ твоимъ огорченіемъ, а не съ убитымъ. Убитый самъ по себѣ никакихъ правъ не имѣетъ, онъ „въ гробѣ мирно спи“.

Теперь не то. Подъ легкимъ покровомъ гомеровской безпечности въ народѣ сохранились смутныя представленія первобытной эпохи анимизма, согласно которымъ мертвый не спитъ мирно въ гробѣ, а требуетъ себѣ дани отъ живущихъ, страшно карая тѣхъ, которые ему въ ней отказываютъ; согласно которымъ онъ, въ случаѣ убійства, не довольствуется ролью простого объекта сдѣлки между убійцей и своимъ ближайшимъ родственникомъ, а требуетъ крови убійцы, страшно карая тѣхъ, которые ему въ ней отказываютъ. Вотъ эти-то представленія (мы встречаемъ ихъ въ видѣ непонятыхъ пережитковъ даже въ гомеровскихъ поэмахъ) дали религіи Аполлона точку опоры для реформы, которую мы, именно по этой причинѣ, можемъ назвать религіозною реакціею. *Право души* было объявлено священнымъ, независимо отъ правъ пережившихъ покойнаго родственниковъ; принимать виру стало безнравственнымъ. Если гдѣ-нибудь въ Греціи приключалось какое-либо несчастье, будь то чума, или неурожай, или какое-нибудь страшное преступленіе, и люди обращались съ запросомъ въ дельфійскій храмъ,—то это несчастье объявлялось карой со стороны души какого-нибудь

погибшаго мужа, разгнѣванной тѣмъ, что ей отказывали въ уходѣ, или что ея убійцы остались безнаказанными. Въ теченіе ближайшихъ за реформой столѣтій вся Греція покрылась могилами такихъ „героевъ“, какъ ихъ называли, культъ которыхъ былъ государственнымъ дѣломъ. Слѣду прибавить, что въ этой примѣси къ новой религіи не было ничего мрачнаго. Правда, живущіе должны были удѣлять часть своихъ заботъ мертвымъ; но зато они сами съ большимъ спокойствіемъ могли думать о своей собственной смерти, зная, что и о нихъ не забудутъ. Этого было для начала достаточно; дальнѣйшіе шаги были сдѣланы религіями Деметры и Діониса, провозгласившими безсмертіе души и вѣчное блаженство добрыхъ и предавшими эти свѣтлые догматы Платону, а черезъ Платона—намъ.

Въ культѣ душъ, повторяю, ничего мрачнаго не было; но вотъ гдѣ была опасность возникновенія мрачнаго, анти-соціального института. Въдѣ если убитый могъ быть умиловленъ только кровью убійцы, пролитой своимъ мстителемъ,—то это значило, что теперь мститель долженъ былъ сдѣлаться убійцей, крови котораго въ правѣ требовать убитый имъ первый убійца, и такъ далѣе; это значило, что каждое убійство должно сдѣлаться первымъ звеномъ цѣпи убійствъ, имѣющихъ прекратиться лишь съ уничтоженіемъ всего племени, гдѣ оно произошло. А между тѣмъ какой же другой исходъ оставался, разъ принятіе виры считалось безнравственнымъ? — Исходъ былъ придуманъ Аполлономъ; онъ былъ такого рода, что, благодаря ему, Аполлонъ дѣйствительно сталъ первымъ среди сонма безсмертныхъ боговъ, руководителемъ совѣсти смертныхъ. Исходъ этотъ гласилъ такъ: *„Нельзя откупиться деньгами отъ пролитой крови; одинъ только Аполлонъ можетъ отпустить человеку совершенное имъ убійство, очищая его отъ его грѣха“*. Самъ Аполлонъ убилъ взлѣбляннаго Землей Змѣя, спустился къ царю преисподней и несъ у него рабскую службу въ теченіе одного „великаго года“. Этой службой онъ очистилъ себя и приобрѣлъ право очищать другихъ. Такимъ образомъ, религія устами Аполлона объявляла себя посредницей между человѣкомъ и его совѣстью; чистъ тотъ, кому Аполлонъ отпустилъ его грѣхъ; преступенъ тотъ, кому онъ его не отпустилъ.

Таковы были двѣ новыя истины аполлоновой религіи.

Первая объявляла священнымъ право убитаго на кровавую мсть; вторая обѣщала убійцѣ прощеніе при посредничествѣ дельфійскаго бога. Или, говоря правильнѣе, таково отвлеченное выраженіе этихъ истинъ; но въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь, люди не были еще приучены думать отвлеченно — они думали мнѣологически. Новыя истины требовали для своего выраженія мнѣологической формы.

V.

Шло ли на встрѣчу этому требованію преданіе, которому посвященъ настоящій очеркъ, — преданіе объ Орестѣ-матереубійцѣ?

У грековъ, какъ это, впрочемъ, естественно, мать считалась самымъ священнымъ для человѣка существомъ. Когда въ „Облакахъ“ Аристофана сынъ, нравственно развращенный новомоднымъ софистическимъ воспитаніемъ, доказываетъ отцу, что съ точки зрѣнія разума онъ, сынъ, имѣетъ полное право наставлять своего отца побоями, отецъ его внимательно слушаетъ и даже, не будучи въ состояніи справиться съ его софистикою, соглашается съ нимъ; но когда молодой человѣкъ пытается доказать то же самое и по отношенію къ своей матери, чаша терпѣнія переполняется: отецъ его проклинаетъ и въ отчаяніи отправляется поджечь домъ его учителя. Матереубійство было, поэтому, изъ всѣхъ физически возможныхъ преступленій самымъ страшнымъ, самымъ возмутительнымъ. И вотъ причина, почему мифъ объ Орестѣ, имѣющій своимъ центромъ матереубійство, былъ какъ нельзя болѣе пригоднымъ для выраженія новыхъ истинъ аполлоновой религіи.

Роковая непреложность какого-нибудь требованія выступать тѣмъ сильнѣе, чѣмъ непреодолимѣе представляется то препятствіе, надъ которымъ оно въ концѣ концовъ торжествуетъ. Въ данномъ случаѣ первое требованіе гласитъ такъ: „сынъ убитаго долженъ умилостивить его справедливый гнѣвъ кровью его убійцы“. Возникалъ вопросъ: безусловно ли? „Да, — отвѣчалъ Аполлонъ, — безусловно“. Даже если убійцей была родная мать мстителя? „Да“. — Второе требованіе гласитъ такъ: „если убійца хочетъ, чтобы его грѣхъ былъ отпущенъ, пусть онъ обратится къ Аполлону; кого очиститъ Аполлонъ, тому нечего бояться гнѣва

убитаго". Опять возникает вопрос: безусловно ли? И опять Аполлонъ долженъ былъ отвѣтить: „да, безусловно“. Даже если убитой была родная мать? „Да“.—Эти два отвѣта долженъ былъ заключать мнѣ-носитель новыхъ истинъ аполлоновой религіи. Первый изъ нихъ уже былъ данъ мнѣомъ объ Орестѣ, но только въ его первоначальной формѣ, а не въ той, которую, подъ вліяніемъ нравственно-поэтическихъ соображеній, придали ему пѣвцы гомеровской школы. Что касается второго отвѣта, то въ самомъ мнѣ онъ еще не заключался, но очень легко могъ быть внесенъ въ него; для этого Дельфамъ нужно было только подвергнуть его соотвѣтственной редакціи, чтобъ они и сдѣлали.—Вотъ какимъ образомъ мнѣ объ Орестѣ-матереубійцѣ попалъ въ реакціонно-реформенное теченіе восьмого вѣка, исходившее изъ дельфійскаго храма; выборъ Дельфовъ долженъ былъ остановиться на немъ тѣмъ болѣе, что онъ уже и безъ того, въ послѣднемъ развитіи своей богословской формы, содержалъ въ себѣ аполлоновскій элементъ въ лицѣ Ореста и его сестры Электры, изъ которыхъ первый былъ, какъ мы видѣли, первоначально самимъ Аполлономъ святой горы, а вторая—сестрой его, Артемидой.

Отношеніе другъ къ другу обѣихъ редакцій нашего мнѣа, гомеровской и дельфійской, лучше всякихъ отвлеченныхъ разсужденій покажетъ намъ существенность религіозной реформы, состоявшейся между той и другой; будетъ, поэтому, полезнымъ представить читателю ту и другую. Первую мы можемъ разсказать словами самого Гомера въ „Одиссеѣ“; вторая намъ не сохранилась, но такъ какъ подъ ея вліяніемъ находились и нѣкоторыя позднѣйшія поэмы, и въ особенности фигурные памятники, то мы имѣемъ и о ней довольно точное представленіе.

Что касается, прежде всего, гомеровской редакціи, то она состоитъ въ слѣдующемъ. Отправляясь подъ Трою, Агамемнонъ оставилъ своего младенца-сына Ореста и свое царство, Аргось, подъ властью своей жены Клитемнестры. Воспользовавшись его отсутствіемъ, его двоюродный братъ Эгисѣй сталъ склонять ее къ измѣнѣ. Она долго сопротивлялась ему: „сердцемъ она одарена была добрымъ“, говоритъ Гомеръ, явно стремящійся ее выгородить; къ тому же ея мужъ, уѣзжая, оставилъ ее

подъ охраной пѣвца—да, именно пѣвца; въ этой маленькой подробности сказывается гордость эпическихъ поэтовъ, чувствовавшихъ себя нравственной силой до тѣхъ поръ, пока этой роли не потребовала для себя религія. Но вотъ неизбежное совершилось: пѣвецъ-хранитель былъ удаленъ на пустынный островъ, гдѣ онъ сталъ добычею хищныхъ птицъ, а Клитемнестра стала супругой Эгисѣа. Нѣкоторое время спустя Троя пала; Агамемнонъ съ добычей, среди которой находилась троянская царевна Кассандра, вернулся въ свой родной Аргосъ. Эгисѣъ, увѣдомленный объ его прибытіи, вышелъ къ нему на встрѣчу и пригласилъ его на пиръ; и вотъ, за дружеской трапезой, онъ убилъ его, „какъ быка убиваютъ за яслями“. Умирая, Агамемнонъ услышалъ жалобный голосъ—голосъ Кассандры, пораженной на смерть ударомъ Клитемнестры; долго метался онъ на землѣ, Клитемнестра же ушла, не закрывъ даже глаза убитому мужу. Вотъ, значитъ, въ чемъ ея преступленіе; убійцей мужа она по этой редакціи не была.—Семь лѣтъ царствовалъ Эгисѣъ надъ Аргосомъ; на восьмой годъ Орестъ вернулся изъ Аѳинъ (какъ онъ туда попалъ, объ этомъ ниже, гл. VII), убилъ Эгисѣа и торжественно со всѣми аргосцами отпраздновалъ тризну по „преступной матери и трусливомъ Эгисѣѣ“.—Это послѣднее мѣсто очень характерно. Лишь вскользь упоминаетъ пѣвецъ о томъ, что и Клитемнестра погибла, онъ не хочетъ дѣлать изъ нея предмета вниманія; главное—Эгисѣъ, онъ былъ и убійцей Агамемнона, и жертвой мести со стороны его сына. Итакъ, тризна отпразднована; чтѣ же дальше?—Что дальше? Орестъ сталъ царемъ и прославился какъ мститель за своего отца; его ставили въ примѣръ и другимъ, какъ хорошаго и вѣрнаго сына.—А Клитемнестра съ Эгисѣомъ?—О нихъ далѣе и рѣчи нѣтъ; „спящій въ гробѣ мирно спитъ“.—Такова гомеровская редакція; рассмотримъ теперь вслѣдъ за ней редакцію дельфійскую.

Клитемнестра дала себя обольстить Эгисѣу и съ нимъ вмѣстѣ задумала убійство Агамемнона, живя въ Лаконикѣ, въ городѣ Амиклахъ, близъ Спарты (эта новая локализациа была введена подъ вліяніемъ политической эволюціи, о которой рѣчь будетъ ниже). У Эгисѣа, однако, главнымъ побужденіемъ была не любовь и не жажда власти; на немъ лежалъ долгъ кровавой

мести за своихъ маленькихъ братьевъ, варварски убитыхъ отцомъ Агамемнона; ихъ тѣнь требуетъ возмездія; за убійцу, котораго уже нѣтъ, долженъ пасть его сынъ. Преступленіе было совершено непосредственно послѣ того, какъ Агамемнонъ со своимъ вѣрнымъ глашатаемъ Талѣбіемъ вернулся изъ-подъ Трои; когда онъ вошелъ въ купель, чтобы омыться послѣ долгаго путешествія, Клитемнестра надѣла на него длинный плащъ, на подобіе рубашки безъ рукавовъ, чтобы онъ не могъ защищаться, а затѣмъ сѣкирой убила его; Эгисей же непосредственнаго участія въ преступленіи не принималъ. Онъ дѣйствовалъ черезъ Клитемнестру; поэтъ дельфійской Орестей нарочно выдвигаетъ на первый планъ ее, чтобы объектомъ кровавой мести для сына была родная мать—мы видѣли, почему именно этотъ пунктъ былъ драгоцѣненъ для Дельфовъ. Сынъ этотъ былъ тогда еще малолѣтнимъ. Разумѣется, Эгисей бы его не пощадилъ, его, въ которомъ онъ долженъ былъ видѣть будущаго мстителя за смерть отца и постоянную угрозу для себя самого; къ счастью, кормилица мальчика въ-время тайно увела его и передала Талѣбію, а этотъ увезъ его изъ страны къ давнишнему кунаку Агамемнона, царю фокейской Крисы у подножія святой горы Аполлона; тотъ и воспиталъ его вмѣстѣ съ собственнымъ сыномъ, Пиладомъ. Когда онъ выросъ, онъ обратился къ дельфійскому богу съ вопросомъ, что ему дѣлать; богъ пригрозилъ ему страшнымъ наказаніемъ въ случаѣ, если бы онъ уклонился отъ долга кровавой мести, и велѣлъ ему хитростью бороться съ силой. Послѣ этого отвѣта Орестъ съ Пиладомъ и Талѣбіемъ отправились въ Амиклы. Въ то же время и Клитемнестра приснился страшный сонъ: будто она своей грудью кормитъ маленькаго змѣя, и этотъ змѣй впицается зубами въ ея грудь и вмѣсто молока высасываетъ ея кровь. Встревоженная сномъ, виновникомъ котораго она считаетъ своего покойнаго мужа, она посылаетъ свою дочь Электру вмѣстѣ со старой кормилицей принести умилюстительныя возліянія на его могилу. И вотъ, у могилы Агамемнона, гнѣвная тѣнь котораго незримо стоитъ въ центрѣ событій, происходитъ тайный разговоръ между братомъ и сестрой; цѣль его—открыть троимъ посланцамъ дельфійскаго бога доступъ въ царскія палаты. Это удается; увидѣвъ Эгисея на престолѣ

своего отца, Орестъ бросается на него съ мечомъ въ рукѣ. Тщетно царскіе тѣлохранители спѣшатъ на помощь: Пиладъ не даетъ имъ приблизиться къ царю. Тогда Клитемнестра, съ сѣкирой въ рукахъ, — той самой, которой она раньше убила мужа — заступаетъ за Эгисоа; но Талейбій вырываетъ ее изъ ея рукъ, а Орестъ, покончивъ съ Эгисеомъ, тутъ же убиваетъ и свою мать, несмотря на всѣ ея мольбы.

А дальше?... Въ этомъ и заключается характерная черта дельфійской редакціи, что она ставитъ этотъ вопросъ, не существующій для гомеровской эпохи. Убіиство матери сыномъ вызываетъ изъ преисподней богинь-мстительницъ Эринній; онѣ преслѣдуютъ убійцу, не давая ему покоя; онъ не можетъ оставаться въ Амиклахъ, онъ бѣжитъ на сѣверъ, къ храму того бога, который руководилъ его душой. И Аполлонъ не оставилъ его: очистивъ его, онъ далъ ему лукъ и стрѣлы, чтобы защищаться отъ преслѣдованія Эринній. Преисподняя безсильна противъ стрѣлъ, отъ которыхъ нѣкогда погибъ великій Змѣй; Эринній вернулись въ свою мрачную обитель, и Орестъ окончательно занялъ престолъ своего отца.

VI.

Съ точки зрѣнія аполлоновой религіи преданіе объ Орестѣ было установлено навсегда въ только что представленной формѣ и болѣе развиваться не могло; вся Греція, видѣвшая въ Аполлонѣ „бога“ вообще, приняла его въ этомъ видѣ. Дальнѣйшее видоизмѣненіе нашего преданія было послѣдствіемъ дальнѣйшей эволюціи нравственныхъ идей, которая состоялась, однако, не на почвѣ аполлоновой религіи, а какъ протестъ противъ нея. Исходнымъ пунктомъ для этого протеста были Аѣины; такъ какъ ему способствовала политическая эволюція ближайшихъ за дельфійской реакціей столѣтій, то мы должны здѣсь прежде всего поговорить о ней, и въ связи съ ней — *о политическомъ значеніи преданія объ Орестѣ вообще.*

Подъ вліяніемъ эпической поэзіи Агамемнонъ давно успѣлъ превратиться для грековъ въ историческое лицо; это былъ тотъ царь, который, въ силу унаслѣдованной отъ предковъ власти, созвалъ прочихъ греческихъ царей въ общій походъ противъ

варваровъ. Всѣ они тогда послушно явились на его зовъ: и престарѣлый владыка мессенскаго Пилоса, и ретивый вождь ѳессалійскихъ мирмидонянъ, и юные начальники аѳинскаго народа, и царь сосѣдней братской Спарты, и хитроумный князь далекой Иѳаки. Иначе и быть не могло: на то у Агамемнона былъ священный, богоданный жезлъ, происхожденіе котораго было прекрасно извѣстно пѣвцамъ-гомеридамъ:

Тотъ жезлъ былъ Гефеста работой;
 Мастеръ Гефестъ его Зевсу подвѣсь, повелителю неба;
 Зевсъ же Гермесу вручилъ, своему быстроногому сыну;
 Тотъ его Пелопу-князю, наѣздику отдалъ лихому;
 Пелопъ Атрею оставилъ, народовъ чтобъ былъ влстелиномъ;
 Царь же Атрей, умирая, богатому отдалъ Ѳіесту;
 Тотъ, наконецъ, Агамемнону далъ, дабы правилъ державно,
Многихъ царемъ острововъ и всего его Аргоса ставя.

Такъ-то Агамемнонъ сталъ царемъ надъ царями, управляя „всѣмъ Аргосомъ“, т.-е. всей Греціей, земнымъ отраженіемъ небеснаго Аргоса-Асгарда, „бѣлаго города“ боговъ. По смерти Агамемнона богоданный жезлъ захватилъ Эгисѳъ, и народы съ ропотомъ повиновались ему; послѣ Эгисѳа онъ достался законному наслѣднику Оресту, освободившему отъ позора отчій домъ; но что же съ нимъ случилось дальше? Кому, послѣ Ореста, достался богоданный жезлъ, „многихъ царемъ острововъ и всего его Аргоса ставя“?—Этого никто не зналъ; по изложеннымъ выше причинамъ имя Ореста было первоначально послѣднимъ именемъ генеалогіи Атридовъ.

Греческая исторія начинается съ переселенія племенъ, разрушившихъ доисторическую героическую культуру, о которой намъ дали представленіе раскопки Шлимана—точно такъ же, какъ исторія новой Европы начинается съ великаго переселенія народовъ, разрушившихъ римскую имперію. И здѣсь, и тамъ за эпохой переселенія послѣдовала долгая эпоха броженія, во время которой о главенствѣ одного народа или царя надъ другимъ не могло быть и рѣчи; но мало-по-малу изъ числа племенъ выдѣлилось одно, самое сильное и могущественное, и выставило требованіе, чтобы другія подчинились ему. Это требованіе поддерживалось прежде всего силою, какъ это и естественно; но не менѣе естественнымъ было и желаніе къ силѣ присо-

единить право. Право состояло въ восстановленіи связи между новой гегемоніей и старой; тѣмъ для королей франковъ была римская корона, дѣлавшая ихъ наслѣдниками Цезарей и Августовъ, тѣмъ для новыхъ властителей въ Греціи былъ богоданный жезлъ Агамемнона и Ореста, послѣднихъ царей надъ царями, послѣднихъ носителей гегемоніи въ героической Греціи. Тутъ переходъ совершился даже еще естественнѣе: вѣдь замокъ Агамемнона, по разсказамъ поэтовъ, стоялъ въ „златомъ обильныхъ Микенахъ“, на восточномъ полуостровѣ Пелопоннеса—немудрено, что ореолъ его славы озарилъ тотъ народъ, который занялъ этотъ полуостровъ. Здѣсь, недалеко отъ разрушенныхъ Микенъ, былъ построенъ городъ Аргосъ, одно имя котораго дѣлало его наслѣдникомъ власти надъ гомеровскимъ Аргосомъ, т.-е. Греціей; первый періодъ греческой исторіи былъ періодомъ преобладанія Аргоса надъ другими племенами—по крайней мѣрѣ, въ Пелопоннесѣ. Оно продолжалось до седьмого вѣка, когда аргивскій царь Фидонъ въ послѣдній разъ воплотилъ въ своей особѣ величіе Аргоса, какъ перваго среди пелопоннесскихъ государствъ; но уже при его ближайшихъ потомкахъ Аргосъ потерялъ гегемонію. Она никогда болѣе къ нему не вернулась; отъ всего минувшаго величія ему ничего не осталось, кромѣ воспоминаній и звучаваго горькой ироніей славнаго имени „благаго города“ боговъ.

Паденіе Аргоса было возвышеніемъ Спарты; оно состоялось въ послѣднюю половину седьмого вѣка. Будучи политически единой (а не раздѣленной на удѣлы, подобно Аргосу), завладѣвъ, къ тому же, сосѣдней Мессеніей,—она была, безъ всякаго сомнѣнія, самымъ могущественнымъ въ Греціи государствомъ и могла помышлять о гегемоніи. Сила для этого у нея была; но было ли право? Нѣтъ, право было тамъ, гдѣ стояли развалины древняго города Атридовъ, въ Аргосѣ... Въ этомъ затруднительномъ положеніи Спарта поступила точно такъ же, какъ въ средніе вѣка поступали саксонскіе и швабскіе герцоги, мечтавшіе объ императорской коронѣ. Тѣ обращались въ Римъ; Спарта обратилась въ Дельфы. Соперничество германскихъ князей доставило святому престолу въ Римѣ, кромѣ духовной, и свѣтскую власть; соперничество греческихъ племенъ доставило святой горѣ Аполлона, кромѣ духовной ге-

гемоніи, о которой рѣчь была выше, и гегемонію свѣтскую. Спарта стала на два безъ малаго столѣтія мечомъ Эллады; но рука, поднимавшая этотъ мечъ, находилась въ Дельфахъ.

Дѣйствительно, гегемонія Спарты была гораздо болѣе на руку Дельфамъ, нежели гегемонія Аргоса, который, сильный своимъ правомъ, могъ прекрасно обходиться безъ нихъ. Право это имѣло основаніемъ не допускающую никакого сомнѣнія гомеровскую традицію, согласно которой Агамемнонъ, вождь эллиновъ, княжилъ именно въ Аргосѣ и Микенахъ; недвусмысленность этой традиціи позволяла аргосцамъ признать въ древнѣйшихъ героическихъ гробницахъ Микенъ гробницы Агамемнона, Клитемнестры и Кассандры. Всему этому съ помощью Дельфовъ былъ созданъ противовѣсъ. Прежде всего была сочинена, въ противовѣсъ гомеровской традиціи, та *дельфійская Орестея*, о которой рѣчь была выше; главная цѣль ея, какъ мы видѣли, была нравственно религіозная, но не трудно было заодно удовлетворить и политическимъ требованіямъ минуты, что и было сдѣлано: вопреки Гомеру, не Аргосъ и не Микены, а спартанскія Амиклы были объявлены столицей Агамемнона. Именно Амиклы были очень удобны для этой цѣли; это былъ очень древній городъ, въ немъ были старинныя героическія гробницы, которыя современемъ могли пригодиться. Все же Дельфы дѣйствовали медленно, исподволь. Въ Амиклахъ правился древній культъ богини Александры: ее-то отождествили съ пророчицей Кассандрой, которая была убита вмѣстѣ съ Агамемнономъ. Спартанскій культъ Зевса Агамемнона, восходившій еще къ космогонической формѣ міѳа, тоже долженъ былъ сослужить свою службу, хотя мы объ этомъ ничего точнаго не знаемъ. Все это было хорошо, но недостаточно: вѣдь богоданный жезлъ Агамемнона по праву перешелъ къ Оресту, онъ былъ послѣднимъ носителемъ эллинской гегемоніи; что же случилось съ Орестомъ? Слабость Аргоса состояла именно въ томъ, что онъ на этотъ вопросъ никакого отвѣта дать не могъ; а Спарта съ помощью Дельфовъ могла. Мы видѣли, что именно въ дельфійской традиціи Орестъ, какъ носитель дельфійской идеи оправданія, игралъ первенствующую роль; его очистилъ Аполлонъ—въ чемъ же состояло это очищеніе? Знать это могли одни только Дельфы, и они это знали: онъ велѣлъ

ему привезти изъ Таврической земли кумиръ своей божественной сестры, Артемиды. Теперь дѣло обстоило очень просто; гдѣ находился этотъ кумиръ, тамъ и Орестъ провелъ свои послѣдніе дни. Гдѣ же онъ находился? Въ Греціи было нѣсколько древнѣйшихъ кумировъ этой богини; который же изъ нихъ былъ Таврическимъ? Рѣшить этотъ вопросъ могли одни Дельфы, какъ высшій авторитетъ въ духовныхъ дѣлахъ, и они рѣшили его въ пользу Спарты. Спартанскій кумиръ былъ объявленъ тѣмъ, который нѣкогда былъ привезенъ Орестомъ; въ подтвержденіе этого новаго откровенія была пущена въ оборотъ благочестивая легенда. Кумиръ этотъ, вѣдали Дельфы, былъ забытъ во время всеобщаго смятенія, послѣдовавшаго за переселеніемъ племенъ, но вотъ (въ 9-мъ в.) нѣкто Астрабакъ со своимъ братомъ его открыли и, неосторожно его коснувшись, сошли съ ума; учредите же культъ „герою“ Астрабаку! Культъ былъ учрежденъ, и подлинность спартанскаго кумира этимъ всенародно засвидѣтельствована. Орестъ привезъ кумиръ Таврической Артемиды въ Спарту — значить, онъ царствовалъ здѣсь; любители Гомера могли построить себѣ золотой мостъ предположеніемъ, что онъ здѣсь женился на дочери спартанскаго царя Менелая. Теперь недоставало только одного, самаго главнаго, — недоставало самого Ореста. Гдѣ находились останки послѣдняго носителя всеэллинской гегемоніи? Знать и указать это могъ только Аполлонъ, которому было извѣстно все; онъ долго медлилъ, но, наконецъ, въ 6-мъ вѣкѣ рѣшился выдать Спартѣ великую тайну: по указаніямъ Дельфовъ состоялось „перенесеніе останковъ“ Ореста въ Спарту, рассказъ о которомъ, интересный не одной только своей наивною, сохранился у Геродота.

Такъ-то Дельфы и покровительствуемая ими Спарта шествовали все дальше по наклонной плоскости, первымъ шагомъ по которой была замѣна Микенъ Амиклами въ дельфійской Орестей; все болѣе и болѣе вѣчные интересы вѣры и нравственности скрывались съ преходящими интересами политики. Дельфійская Орестей облетѣла всю Элладу, находя себѣ распространителей въ лицѣ первостепенныхъ поэтовъ шестого вѣка, Стесихора, Симонида, Пиндара, не говоря о художникахъ; въ рукахъ Спарты находились оба палладіума всеэллинской геге-

моніи, кумиръ Таврической Артемиды и останки Ореста,—что значило противъ такихъ вѣскихъ доказательствъ свидѣтельство свѣтскихъ пѣвцовъ, прославлявшихъ Аргосъ и Микены! И вотъ священное право Спарты, какъ законной наслѣдницы Агамемнона и Ореста, становится догматомъ въ Элладѣ; когда, въ виду персидскаго погрома, сиракузскій царь Гелонъ условіемъ помощи, о которой его просили, поставилъ требованіе, чтобы его избрали начальникомъ греческихъ войскъ,—спартанскій посолъ гордо отвѣтилъ ему: „застонетъ же Пелопидъ Агамемнонъ, узнавъ, что спартанцы дали отнять у себя гегемонію Гелону и сиракузянамъ!“ Такова была незыблемая опора священнаго права Спарты.

Со Спартой торжествовали и Дельфы; ихъ духовная гегемонія въ Элладѣ была неоспорима, мало того: въ качествѣ главнаго распорядителя греческой колонизаціи они въ значительной мѣрѣ руководили внѣшней политикой Греціи. Одно было нехорошо, и дельфійскіе жрецы при своей политической мудрости врядъ ли могли ошибаться на этотъ счетъ: отдавъ Спартѣ Ореста, Дельфы навѣки связали себя съ ней и лишили себя возможности, на случай, если бы этотъ ихъ мечъ притуился, прибѣгнуть къ другому.

VII.

Притуился онъ въ началѣ пятаго вѣка, въ эпоху персидскаго погрома, когда Спарта была вынуждена подѣлиться своей гегемоніей съ новымъ и маловліятельнымъ до тѣхъ поръ государствомъ—Аѣинами. Легко было себѣ представить, что этотъ дѣлежъ не болѣе, какъ временная мѣра, что Аѣины, гордясь своими заслугами и сознаніемъ своей физической и интеллектуальной силы, будутъ стремиться къ тому, чтобы весь богоданный жезлъ Агамемнона перешелъ въ ихъ руки. При такомъ положеніи дѣлъ ихъ отношеніе къ Дельфамъ не могло быть дружелюбнымъ: къ нравственному антагонизму, о которомъ рѣчь будетъ въ слѣдующей главѣ, прибавился антагонизмъ политическій.

Въ этомъ отношеніи роль Аѣинъ сильно напоминаетъ роль Венеціи къ исходу среднихъ вѣковъ. Какъ извѣстно, Венеція

во всемъ, что касается религіи, была вѣрной дочерью католической церкви — врядъ ли гдѣ-либо можно было найти такое обиліе и богатство храмовъ, такую глубокую и шепетильную набожность, какъ въ городѣ св. Марка; это, однако, не мѣшало ему быть самымъ яркимъ противникомъ расширенія свѣтской власти папъ. Не иначе и „богобоязненныя Аѣины“, какъ ихъ называли, относились къ святой горѣ Аполлона. Нигдѣ не было такого количества храмовъ, нигдѣ праздники не обходились съ такимъ благолѣпіемъ, какъ въ городѣ Паллады; мало того — врядъ ли гдѣ-либо такъ часто обращались въ религіозныхъ дѣлахъ къ дельфійскому богу, новый храмъ котораго былъ отстроенъ въ значительной мѣрѣ на аѣинскія деньги. И все это ничуть не мѣшало Аѣинамъ въ политическихъ вопросахъ выступать противъ интересовъ Дельфовъ. Ничто не характеризуетъ лучше оригинальности этого двойственного положенія, какъ счастливый для Аѣинъ исходъ „священной войны“ пятого вѣка: этимъ исходомъ, съ одной стороны, уничтожалась свѣтская власть Дельфовъ, т.-е. независимость ихъ территоріи отъ окружающаго ее фокидскаго государства, — съ другой стороны, аѣинскимъ посламъ выговаривалось право первымъ быть допускаемыми къ дельфійскому оракулу.

Нечего говорить, что Аѣинамъ въ ихъ стремленіи къ гегемоніи нельзя было разсчитывать на поддержку Дельфовъ; а все же было желательно узаконить эти стремленія возстановленіемъ связи между древней гегемоніей Атридовъ и новой, о которой мечтали Аѣины. Было желательно, да, но не болѣе; время брало свое, и политическая міѳологія начинала терять кредитъ. Все же нѣкоторые шаги въ этомъ направленіи были сдѣланы, хотя, насколько мы можемъ судить, не государствомъ. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ со Спартой все еще стоялъ поруганный ею царственный Аргосъ, увѣнчанный ореоломъ своихъ великихъ воспоминаній; стали помышлять о томъ, чтобы по возможности ближе связать его съ Аѣинами. Первый, въ головѣ котораго возникла эта мысль, былъ въ то же время первый аѣинянинъ, задумавшій осуществить идею аѣинской гегемоніи — тиранъ Писистратъ; имѣя уже власть въ своихъ рукахъ, онъ женился на аргивянкѣ и далъ сыну, котораго она ему родила, гордое имя „начальникъ войска“ (Гегесистратъ), воскрешая

этимъ память о героическомъ начальникѣ греческаго войска Агамемнонѣ; а что эта аргивянка была изъ царскаго рода, видно изъ того, что вслѣдствіе ихъ брака аргосцы стали союзниками аѳинянъ. Правда, гомеровская традиція, на которой Аргосъ основывалъ свои права, была вытѣснена дельфійской; тѣмъ желательнѣе было для Писистрата водворить первую во всѣхъ ея правахъ. Его заботы объ очищеніи и распространеніи гомеровскихъ поэмъ извѣстны; взамѣнъ ихъ онъ могъ требовать, чтобы слѣпой пѣвецъ подтвердилъ своимъ свидѣтельствомъ нѣкоторыя, не вполне достовѣрныя, но любезныя аѳинянамъ вѣрованія. Мы знаемъ о нѣкоторыхъ „поправкахъ“, введенныхъ въ текстъ Гомера именно въ Аѳинахъ и въ правленіе Писистрата, и врядъ ли ошибемся, относя къ нимъ и затронутое выше (гл. V) загадочное мѣсто, согласно которому Орестъ вернулся въ Аргосъ не изъ Дельфовъ, а изъ Аѳинъ. А если Аѳины вскормили юнаго птенца убитаго микенскаго орла, то не естественно ли, что, побивувъ Аргосъ послѣ убійства матери и давъ себя очистить Аполлону, онъ *вернулся изъ Аѳины*? Такъ-то въ Аѳинахъ зарождается вѣрованіе: не въ Аргосъ и подавно не въ Спарту вернулся очищенный богомъ Орестъ, носитель идеи всеэллинской гегемоніи, а въ Аѳины; въ Аѳинахъ богоданный жезлъ Атридовъ пустилъ новые отпрыски. Вернулся же онъ, какъ мы видѣли выше (гл. VI), съ древнимъ кумиромъ Таврической Артемиды: и вотъ такой кумиръ, которымъ обладала одна аттическая деревня, былъ объявленъ тождественнымъ съ тѣмъ, который Орестъ привезъ изъ Тавриды; для вѣщней вразумительности Писистратъ учредилъ этому кумиру культъ въ аѳинскомъ кремлѣ.

Случилось это въ VI вѣкѣ, когда политическая міеологія еще пользовалась кредитомъ. Дельфы были встревожены; очень вѣроятно, что упомянутое выше „перенесеніе останковъ“ Ореста въ Спарту, состоявшееся именно въ эпоху Писистрата, было отвѣтомъ Дельфовъ на его новшества. Но этого было мало. Писистратъ и его родъ сталъ ненавистенъ Дельфамъ, и они настояли на его изгнаніи изъ Аѳинъ. А когда, съ благословенія дельфійскаго бога, состоялся походъ персовъ на Элладу, то среди добычи, увезенной персами изъ разоренной Атики, находился и мнимо-таврическій кумиръ Артемиды. Ясно,

что безобразный чурбанъ ничѣмъ не могъ прельщать царя золотой Персіи; но зато его устраненіе изъ Аттики было очень желательно для Дельфовъ, дѣйствовавшихъ тогда заодно съ персами.

Но и удаленіе кумира не могло ослабить вѣру въ событіе, о которомъ онъ нѣкогда свидѣтельствовалъ; пускай Таврическая Артемида теперь вторично попала къ варварамъ—все же до тѣхъ поръ она была въ Атикѣ, будучи оставлена въ ней Орестомъ. Аѣинская трагедія пятого вѣка охотно занималась Орестомъ, намѣренно подчеркивая его связь съ Аѣинами на зло Дельфамъ и Спартѣ—въ этомъ состоялъ для Аѣинъ *политическій* интересъ преданія объ Орестѣ-матерубійцѣ, независимо отъ *нравственнаго*, къ которому мы перейдемъ вскорѣ. Понятно, что интересъ этотъ увеличился въ ту войну, которая должна была рѣшить споръ о гегемоніи между Аѣинами и Спартой,—въ войну пелопоннесскую. Спарта все еще владѣла останками, которые она съ согласія Дельфовъ выдавала за останки Ореста; это беспокоило набожную часть аѣинскаго населенія. Могъ ли Орестъ доставить побѣду тому городу, который до сихъ поръ еще не учредилъ культа въ его честь? И вотъ требованіе объ учрежденіи культа герою Оресту стало раздаваться все настоятельнѣе; мотивировалось оно тѣмъ, чѣмъ обыкновенно мотивировались такіа требованія: гнѣвомъ героя, отъ котораго терпѣли въ глухую полночь запоздалые прохожіе по пустыннымъ, неосвѣщеннымъ улицамъ Аѣинъ. Но времена были уже не тѣ: просвѣщеніе свило себѣ прочное гнѣздо въ Аѣинахъ конца V вѣка, и то, что столѣтіемъ раньше показалось бы важнымъ дѣломъ, теперь возбуждало только смѣхъ; къ сильному огорченію набожныхъ людей, слово „герой Орестъ“ стало кличкой ночныхъ безобразниковъ, надѣлявшихъ робкихъ обывателей побоями съ очень матеріальною цѣлью—стянуть у нихъ хитонъ или плащъ.

Со всѣмъ тѣмъ страна Паллады чувствовала себя дочерью повелителя эллиновъ Агамемнона и законной наслѣдницей его власти. Отчаянно боролась она за нее, но успѣхъ не былъ на ея сторонѣ. Тотъ самый Геллеспонтъ, который видѣлъ нѣкогда торжество Агамемнона, былъ свидѣтелемъ уничтоженія послѣднихъ аѣинскихъ силъ; вскорѣ городъ сдался спартан-

скому военачальнику Лисандру и его союзникамъ, отдавая въ его руки свою судьбу. Жестокія предложенія дѣлались тогда въ палаткѣ Лисандра и на военномъ совѣтѣ, и за товарищеской трапезой: чѣмъ болѣе кто раньше дрожалъ передъ могуществомъ Аѳинъ, тѣмъ болѣе желалъ онъ теперь стереть ненавистный городъ съ лица земли, жителей продать въ рабство, а страну обратить въ пастбища. Тогда, говоритъ Плутархъ, одинъ изъ сотрапезниковъ запылъ первую хорическую пѣснь изъ Эврипидовой Электры:

Агамемнона славная дочь!
Мы приходимъ, Электра, къ тебѣ,
Въ твой убогій, нецарственный домъ...

Намекъ былъ понятъ; онъ тронулъ присутствующихъ до слезъ. Аѳины не были разрушены, но гегемонію они потеряли: жезлъ Агамемнона перешелъ къ тому городу, въ которомъ находилась признанная могила его сына.

Вторично Спарта стала мечомъ Эллады; подъ ея предводительствомъ возобновилась война съ вѣковымъ восточнымъ врагомъ. Чтобы засвидѣтельствовать передъ всѣми историческую связь спартанской гегемоніи съ героической гегемоніей Атридовъ, спартанскій царь Агесилай задумалъ открыть походъ, по примѣру Агамемнона, жертвоприношеніемъ въ Авлидѣ. Но Авлида была на беотійской территоріи; Оивы, которымъ было суждено пожать плоды раздора между обоими могущественными греческими государствами, воспротивились затѣѣ Агесилая, и она не удалась. Это авлидское жертвоприношеніе— послѣдняя попытка использовать обаяніе легенды о гегемоніи Атридовъ, о которой мы знаемъ; въ послѣдовавшее время она окончательно отошла въ область поэзіи. Мифотворная сила греческаго народа изсякла, и кредитъ политической мифологіи былъ подорванъ навсегда.

VIII.

Изложеніе наше зашло впередъ, чтобы до конца прослѣдить вліяніе политической эволюціи на развитіе интересующаго насъ мифа; теперь прошу читателя вернуться къ тому

мѣсту, гдѣ у насъ оборвалась нить развитія нравственныхъ идей въ связи съ развитіемъ того же міа. Дельфійская Орестея должна была возвѣстить міру двѣ новыя истины: во-первыхъ, что право души на кровавую месть есть право священное и неукоснительное, чѣмъ бы ни приходился убійца мстителю; во-вторыхъ, что Аполлонъ можетъ очистить преступника во всякомъ случаѣ, какимъ бы грѣхомъ онъ себя ни запятналъ. Опасныя послѣдствія первой истины предупреждались второй: мститель терялъ право на кровавую месть, если убійца былъ очищенъ Аполлономъ; но вторая истина дѣлала Аполлона и его дельфійскихъ замѣстителей руководителями совѣсти всѣхъ вѣрующихъ эллиновъ. Не встрѣтъ дельфійскій богъ отпора этимъ своимъ притязаніямъ,—вся исторія греческой культуры получила бы сакральный, теократическій характеръ; политикой Греціи стала бы воля дельфійской коллегіи, ея философій—дельфійскія славословія въ честь побѣды свѣтлокудраго бога надъ великимъ Змѣемъ, взлелѣаннымъ Землей.

Но онъ встрѣтилъ отпоръ; встрѣтилъ его со стороны Аѣинъ. Аѣиняне по-своему справились съ пережитками анимизма въ своихъ вѣрованіяхъ и обычаяхъ. Съ одной стороны, врожденная ихъ вдумчивость не позволяла имъ одобрить исходъ, найденный безпечной и легкомысленной Іоніей Гомера,—исходъ, при которомъ душа убитаго являлась только объектомъ сдѣлки между его убійцей и его ближайшимъ родственникомъ, и причиненное послѣднему огорченіе уравнивалось соотвѣтственной суммой наслажденій: принимать виру считалось въ Аѣинахъ такимъ же безнравственнымъ поступкомъ, какъ и въ Дельфахъ. Но, съ другой стороны, и найденный въ Дельфахъ исходъ не соотвѣтствовалъ аѣинскому міросозерцанію, такъ какъ онъ оставлялъ безъ вниманія одно изъ важнѣйшихъ началъ аѣинской души, то самое, которое сдѣлало Аѣины источникомъ человѣческой культуры — *гражданственность*. При всемъ своемъ коренномъ различіи, іонійскія и дельфійскія рѣшенія задачи сходились въ одномъ: согласно имъ, человѣкъ былъ въ принципѣ чѣмъ-то обособленнымъ и самодовлѣющимъ. У іонійцевъ убійца имѣлъ дѣло исключительно съ ближайшимъ родственникомъ убитаго; по дельфійскому ученію, къ этимъ двумъ сторонамъ прибавлялась третья—душа убитаго, требовательная

и мстительная; но ни тамъ, ни здѣсь не принималась во вниманіе община, къ которой принадлежалъ и убитый, и убійца, и мститель. Въ Аѣннахъ именно эта община заявляла о своихъ правахъ. Она говорила убійцѣ: „человѣкъ, котораго ты убилъ, былъ моимъ гражданиномъ; убивая его, ты оскорбилъ меня“; она же говорила и мстителю: „человѣкъ, котораго ты преслѣдуешь, мой гражданинъ и стоитъ подъ моимъ покровительствомъ; прежде чѣмъ допустить его преслѣдованіе, я должна убѣдиться, что онъ виновенъ. Поэтому, я намѣрена быть судьей между тобой и имъ; если я признаю его виновнымъ, то онъ мною же будетъ наказанъ, но если я его оправдаю, то ты долженъ его пощадить“. Этимъ въ древнюю этику вводилось новое начало; вопреки притязаніямъ дельфійскаго бога, община себѣ присвоивала отомщеніе и право воздать.

Вещественнымъ символомъ этого права былъ аѣинскій *Ареопагъ*; великое значеніе этого стариннаго судилища состояло въ томъ, что оно, творя строгій и правый судъ по убійствамъ, дѣлало невозможнымъ и взаимное истребленіе гражданъ, требуемое древнѣйшимъ анимизмомъ, и нравственное ихъ растлѣніе приниманіемъ виры у свѣжей могилы убитаго, дозволяемое іонійскимъ раціонализмомъ, и, наконецъ, униженіе человѣческой совѣсти передъ волей бога и его замѣстителя-жреца, проповѣдываемое въ Дельфахъ. Произошло убійство,—убійца и мститель являлись на Аресовъ холмъ; убійца становился на „камень Обиды“, мститель на „камень Непримиримости“; оба излагали дѣло кратко, сухо, безъ всякихъ попытокъ выставить себя въ хорошемъ свѣтѣ и разжалобить судей—такъ требовалъ обычай. Выслушавъ обоихъ, коллегія судей-ареопагитовъ постановляла свой приговоръ по большинству голосовъ; если голоса раздѣлились, то полагали, что незримо присутствующая богиня-покровительница города, Паллада-Аѣина, присоединяла свой голосъ къ тѣмъ, которые были поданы въ пользу обвиняемаго, и этотъ „голосъ Аѣины“ его спасалъ. Вообще же, предвидя осужденіе, преступникъ могъ еще до конца слѣдствія оставить городъ: жалкая участь изгнанника была почти равносильна смерти. Но если онъ былъ оправданъ, то онъ возвращался къ своему очагу и продолжалъ состоять подъ покровительствомъ законовъ.

А душа убитого? Неужели аѳинскій исходъ былъ возвращеніемъ къ іонійскому раціонализму?—Нѣтъ; душа убитого или, вѣрнѣе, ея замѣстительницы и заступницы Эриніи предполагались присутствующими тутъ же, въ мрачной пещерѣ подъ Аресовымъ холмомъ. Вырывая у нихъ убійцу, община признавала, что она навлекаетъ на себя ихъ гнѣвъ, что процессъ между убійцей и мстителемъ еще не конченъ, а лишь возведенъ на болѣе высокую ступень, на которой сторонами будутъ — она, сама община, и „благодарныя богини“ (Эвмениды), какъ ихъ изъ уваженія называли. Чтобы умиловать ихъ, имъ учредили культъ, и этотъ культъ былъ дѣломъ государства; отъ оправданнаго обычай требовалъ только краткаго жертвоприношенія въ пещерѣ Эвменидъ, послѣ чего онъ могъ спокойно вернуться домой, въ увѣренности, что государство, оправдывая его, беретъ на себя его отвѣтственность передъ грозными силами преисподней.

Таковъ былъ исходъ, найденный въ Аѳинахъ: гуманность, гражданственность и религіозность были имъ одинаково удовлетворены. Зато же и гордились Аѳины своимъ Ареопагомъ. Казалось невозможнымъ, чтобы такое великое, благотѣльное учрежденіе было создано людьми ради людей; сама Аѳина, гласило преданіе, учредила въ своемъ любимомъ городѣ этотъ судъ, чтобы разсудить двухъ боговъ, Посидона и Ареса, изъ которыхъ первый обвинялъ второго въ убійствѣ своего смертнаго сына. Такъ-то Аресъ согласился предстать передъ судомъ; оттого-то, заключали далѣе, и само мѣсто суда получило имя „Аресова холма“—Ареопага.

Сознавали ли благочестивые аѳиняне VII и VI вѣковъ, что, преславляя свой Ареопагъ, они подкапывались подъ самое основаніе могущества всѣми чтимаго дельфійскаго бога? Очень вѣроятно, что нѣтъ: совмѣстимость противорѣчащихъ другъ другу религіозныхъ понятій свойственна человѣку въ эпоху юности его умственной культуры. Но долго она существовать не могла; при тщательности и глубинѣ аѳинскаго мышленія должна была наступить пора, когда противорѣчіе сдѣлалось очевиднымъ, когда совѣсти аѳинянъ былъ предоставленъ выборъ между двумя исходами—либо отказаться отъ суда Паллады, либо, удерживая его, вступить въ открытую борьбу съ дельфійскимъ богомъ. Пора эта

наступила тогда, когда нравственный антагонизмъ между Аѳинами и Дельфами обострился антагонизмомъ политическимъ. Послѣ всего, что было сказано выше, намъ не покажется удивительнымъ, что сраженіе было дано на почвѣ все того же преданія объ Орестѣ-матереубійцѣ; знаменосцемъ Паллады былъ въ этомъ сраженіи родоначальникъ трагедіи Эсхиль.

IX.

Нѣтъ надобности пересказывать содержаніе всей эсхиловой Орестей. Само собою разумѣется, что права царственнаго Аргоса были восстановлены аѳинскимъ поэтомъ: не лаконскія Амиклы, какъ твердили Дельфы въ угоду своей союзницѣ Спартѣ, а аргосскія Микены были призваны столицей вожда эллиновъ. Но въ остальномъ Эсхиль старался держаться, гдѣ только можно было, дельфійской Орестей, чтобы тѣмъ рѣзче отгнать различіе въ основномъ пунктѣ. Ради этой своей главной цѣли, онъ пожертвовалъ даже невинной передержкой, внесенной Писистратомъ въ гомеровскую Орестею: не въ Аѳинахъ, а у подножія святой горы Аполлона воспитывался Орестъ. Нужно было представить его любимцемъ и ставленникомъ дельфійскаго бога для того, чтобы немощь этого бога выступила потомъ тѣмъ разительнѣе.

Душа убитаго Агамемнона взываетъ о мщеніи; Аполлонъ возлагаетъ эту обязанность на его сына. Узнавъ о волѣ бога, чистый юноша безропотно идетъ исполнить свой тяжелый подвигъ; на него, на своего владыку и покровителя, упоаетъ онъ въ минуту сомнѣній и душевной борьбы:

Не выдастъ насъ державный Аполлонъ!
Его глаголь, раскатамъ грома равный,
Святую мѣсть изгнаннику внушилъ.
Ему внималъ я; въ сердцѣ леденѣла
Живая кровь; и онъ мнѣ такъ вѣщалъ:
„За казнь отца убійцѣ казнить ты долженъ
И жизнь за жизнь, и кровь за кровь взыскать;
Не то — своей отвѣтишь ты душою
И тяжкихъ бѣдъ обузу понесешь“.
Онъ мнѣ сказалъ, какъ родителей караетъ
Убитаго разгнѣванная тѣнь;

Я знаю все: таинственный недугъ
 Свирѣпою тутъ челюстью сѣдаетъ
 Всю кожу ихъ; лишай покроетъ блѣдный
 Повисшую, изорванную плоть,
 И зацвѣтетъ все тѣло въ язвахъ гнусныхъ.
 Другую мечь Эриннии нашьютъ,
 За кровь отца ослушника терзая:
 Нѣтъ болѣ сна мнѣ; рой видѣній страшныхъ.
 Въ полночной тѣмѣ предстанетъ предо мной,
 На ложѣ думъ покой мнѣ отравляя.

И все-таки онъ не увѣренъ въ себя; вернувшись тайно со своимъ другомъ на родину, онъ хочетъ прежде всего помолиться на могилѣ своего отца, — этимъ начинается дѣйствіе средней драмы эсхиловой трилогіи, вся первая часть которой, происходя у гробницы Агамемнона, насквозь проникнута тяжелымъ, могильнымъ воздухомъ. Но и убитый почувалъ приближеніе мстителя: изъ своей подземной обители онъ наслалъ страшный сонъ на невѣрную жену, и она въ первый разъ рѣшается умиловить его душу: по ея приказанію, ея дочь Электра съ прислужницами отправляется почтить возліяніями прахъ покойнаго.

Все это мы знаемъ уже изъ дельфійской Орестей. Но тамъ роль Электры могла оставаться неопредѣленной, такъ какъ она служила лишь внѣшнимъ рычагомъ дѣйствія; здѣсь же мы имѣемъ передъ собою драму, а драма нуждается въ характеристикѣ, въ психологическомъ обоснованіи того, что въ ней происходитъ. Характеристику Электры можно дать въ немногихъ словахъ: въ ней живетъ душа ея убитаго отца. Только въ одномъ чувствуетъ она себя дочерью своей матери: „Точно волкъ кровожадный, — говоритъ она, — неумолима моя душа: въ этомъ мое материнское наслѣдіе“. Она знаетъ за собой эту черту и боится ея; трогательна ея молитва на могилѣ отца: „Родитель мой! Не дай мнѣ сдѣлаться такой, какова моя мать; сохрани въ смиреніи мое сердце, въ чистотѣ мои руки“. Да, это трагическая фигура; читая ея слова, мы чувствуемъ, что она имѣетъ всѣ данныя для того, чтобы современемъ самой сдѣлаться героиней трагедіи. Но здѣсь ея роль второстепенная; герой — Орестъ, отъ него зависитъ все. Покорный волѣ бога, онъ рѣшился исполнить возложенный на него подвигъ; но устоитъ ли эта рѣшимость противъ впечатлѣній родной земли,

противъ вида дворца, въ которомъ живетъ его мать? Опытъ сомнѣнія овладѣли его душой; чтобы побороть ихъ, онъ пошелъ помолиться на могилѣ отца. И отецъ внялъ его мольбѣ и выслалъ ему на встрѣчу ту, въ которой живетъ его душа, — Электру. Встрѣча брата и сестры обставлена нѣсколько сложнѣе, чѣмъ въ дельфійской Орестеѣ; подробности этой обстановки вызвали позднѣе насмѣшку Еврипида, но на современниковъ Эсхила онѣ произвели сильное впечатлѣніе. Электра не знаетъ ни сомнѣній, ни колебаній; жажда мести за отца — основная черта ея характера, она наполняетъ все ея существо. Она рада прибытію брата, но лишь постольку, поскольку она видитъ въ немъ „возстановителя дома ея отца“; она не чуждается и дѣвичьихъ мечтаній о замужествѣ, о собственномъ домѣ, но потому только, что она надѣется въ день своей свадьбы принести на могилу отца обильныя пожертвованія изъ того отцовскаго наслѣдія, котораго ей теперь не выдаютъ. Такъ-то теперь у гробницы Агамемнона происходитъ свиданіе Ореста и Электры; она (вмѣстѣ со старшей прислужницей) рассказываетъ брату объ участи отца, о своей собственной жалкой жизни, наконецъ, о снѣ, навѣянномъ убитымъ на ихъ мать; подъ вліяніемъ этихъ рассказовъ прежняя рѣшимость возвращается къ Оресту.

Этимъ роль эсхиловой Электры кончена; исполнивъ то, чего отъ нея требовалъ отецъ, она возвращается въ домъ матери. На сценѣ остается Орестъ со своимъ другомъ. Планъ ихъ простъ: вызвать изъ чертоговъ царя и царицу, сообщить имъ живую вѣсть о смерти мстителя и, обманувъ этимъ ихъ подозрительность, добиться возможности исполнить волю бога и убитаго. Но Эгисѳа нѣтъ; къ пришельцамъ выходитъ Клитемнестра, высокая и блѣдная, горделивая въ сознаніи того неслыханнаго, неизгладимаго позора, которымъ она окружила себя. Не радостна ей сообщенная вѣсть; и мы сознаемъ, что не одно только материнское чувство въ ней зашевелилось. Жизнь научила ее гордо носить передъ чужими бремя своего грѣха, но въ уединеніи оно тяготило ее, и къ страху, съ которымъ она вспоминала о Дельфахъ и растущемъ въ нихъ мстителѣ, примѣшивалась нѣкоторая слабая надежда. Въдъ этотъ мститель — то самое дитя, которое она нѣкогда родила,

будучи честной супругой славного мужа; онъ былъ единственнымъ символомъ ея потерянной чистоты, онъ одинъ не былъ забрызганъ той „кровоавой грязью“, въ которую ея новый бракъ втянулъ и ее, и ея дочь, и весь ея домъ. Пока живъ былъ Орестъ, жила надежда на конечное примиреніе съ міромъ чести и добра; его смерть увѣковѣчила ея позоръ.

Все же она не забываетъ и о долгѣ гостепріимства; солнце зашло, пора путникамъ на покой. Посылаютъ за Эгисѡмъ; тѣмъ временемъ сумерки увеличиваются; когда онъ приходитъ, густой мракъ покрылъ всю сцену—самая подходящая обстановка для того, что имѣетъ теперь свершиться. Полный радостнаго нетерпѣнія, Эгисѡ слѣшитъ во дворецъ къ чужестранцамъ, чтобы услышать подтвержденіе пріятной вѣсти; тамъ его и настигаетъ смерть. Все это происходитъ быстро, какъ нѣчто побочное и маловажное; главное — впереди. Вызванная подивившимся крикомъ, Клитемнестра выходитъ на сцену: „Что случилось?“ „Мертвые убиваютъ живыхъ!“ слышитъ она въ отвѣтъ. Слова эти объясняютъ ей все; рѣшившись защищаться до послѣдней возможности, она посылаетъ слугу за сѣкирой—той проклятой сѣкирой, которой она нѣкогда убила мужа. Поэтъ нарочно упоминаетъ объ этой чертѣ дельфійской Орестен, чтобы отбѣнить свое отступленіе отъ нея въ слѣдующемъ. Еще до возвращенія слуги Орестъ выходитъ изъ мужской половины дворца; въ рукахъ у него обгаренный кровью Эгисѡа мечъ, предъ нимъ безоружная мать.

Безоружная, да,—но зато мать. Она знаетъ это. „Остановись!“ кричитъ она изступленному сыну, разрывая одежду, покрывающую ея грудь; „пощади лоно, на которомъ я такъ часто тебя убаюкивала, пощади грудь, молокомъ которой я тебя вскормила!“ Передъ этимъ видомъ рѣшимость вторично оставляетъ Ореста: „Что дѣлать, Пиладъ? — спрашиваетъ онъ: — могу я пощадить свою мать?“ Пиладъ стоитъ тутъ же при немъ; онъ неотступно и молчаливо сопровождалъ его, какъ нѣмой свидѣтель того, о чемъ знали только они, да святая гора Аполлона; здѣсь онъ въ первый и единственный разъ нарушаетъ свое молчаніе. „А воля Феба? — говоритъ онъ: — а клятва твоя? Всякую вражду предпочти враждѣ бога“. Вотъ, значить, что даетъ рукъ Ореста рѣшительный толчекъ: не голосъ сердца,

не воспоминаніе объ отцѣ, не увѣщанія сестры—все это пересилилъ видъ обнаженной материнской груди; первымъ и послѣднимъ двигателемъ кроваваго дѣла остается воля дельфійскаго бога.

Наконецъ, все свершено; при первомъ свѣтѣ утренней зари мы опять видимъ Ореста, передъ нимъ съ одной стороны — трупы казненныхъ, съ другой — роковой плащъ, въ которомъ былъ убитъ Агамемнонъ. Кругомъ народъ; прежде чѣмъ занять опять престолъ отца, Орестъ долженъ оправдать передъ аргосцами свой поступокъ. Возволнованнымъ голосомъ произноситъ онъ краткое, но сильное слово; народъ его одобряетъ. Да, убійство царя было возмутительнымъ дѣломъ; да, убійца постигла поздняя, но справедливая кара. Итакъ, всѣ сочувствуютъ Оресту; что же онъ не сходитъ съ амвона, не возвращается въ свой дворецъ?.. Онъ продолжаетъ стоять на томъ же мѣстѣ, неуверенно смотря то на убитую мать, то на окровавленный плащъ отца; точно не сознавая, гдѣ онъ находится, отдается онъ влеченію своей блуждающей мысли:

Виновна ты? Иль нѣтъ? Но вотъ свидѣтель,
Кровавый плащъ изобличить тебя:
Эгисеа мечъ оставилъ слѣдъ на ткани,
И бурое старинное пятно
Понимай блескъ порфиры разрушаетъ.
Въ чужой землѣ изгнанникомъ я выросъ,
Но этотъ день сознанье мнѣ вернулъ.
Твою, отецъ, оплакалъ я кончину,
Ты отомщенъ; но горю нѣтъ конца—
И въ траурѣ стоять передо мною
Сестра и мать и весь мой родъ,—и вашъ
Побѣдный кликъ терзаетъ сердце мнѣ!

Напрасно голоса изъ народа стараются успокоить юношу,—что значать ихъ блѣдныя утѣшенія! Да, всякая жизнь полна печалей, никто не вышелъ чистымъ изъ ея омута, но при чемъ все это здѣсь?

Нѣтъ, нѣтъ, постойте, дайте досказать!
Чѣмъ кончится все это,—я не знаю;
Видъ коленъ умчался конь ретивый
Души моей, поводья ускользаютъ
Изъ рукъ; умоумъ не въ силахъ управлять я.

Я слышу: Ужась пѣснь свою играетъ,
 И сердце пляшетъ подъ ея напѣвъ..
 Пока въ умѣ созванія искры тлѣютъ,
 Взываю къ вамъ; я въ правѣ былъ, друзья,
 Ее убить, противную богамъ
 Преступницу, что мнѣ отъ сгубила.
 Самъ Аполлонъ отвагу мнѣ внушилъ;
 „Послушавшись, грѣха не сотворишь ты“,
 Сказалъ онъ мнѣ; „ослушавшись...“, по нѣтъ!
 Тѣхъ ужасовъ языкъ не перескажетъ.
 Смотрите же: паломникомъ иду я,
 Святую вѣтвь десницей поднимая,
 Въ срединный храмъ, на очагъ гдѣ Феба
 Его огонь горитъ неугасимый.
 Васъ я прошу все видѣнное вами
 Въ своей душѣ, друзья, запечатлѣть
 И рассказать въ тотъ день, когда со странствій
 На родину вернется Менелай.
 Простите-жъ всѣ; оставить васъ я долженъ:
 Я мать свою своей убилъ рукою —
 Ни жизнь, ни смерть той славы не сотрутъ!

Вотъ гдѣ впервые изъ-подъ дельфійской концепціи мелькаетъ новое, невѣдомое доселѣ начало. Самъ богъ внушилъ юношѣ, что онъ не сотворитъ грѣха, исполняя его волю, и юноша повѣрилъ ему; всѣ одобряютъ его: и сестра, и другъ, и весь народъ; всѣ признаютъ волю бога непогрѣшимой, — и все же онъ не чувствуетъ себя спокойнымъ. Тщетно старается онъ опереться о тотъ свой посохъ, который до тѣхъ поръ служилъ ему столь надежной опорой, — посохъ ускользаетъ у него изъ рукъ; какая-то таинственная сила говоритъ ему, что онъ все-таки неправъ, что есть нѣчто, противъ чего самъ богъ безсиленъ.

Еще одно мгновеніе — и расшатанный умъ Ореста уступитъ напору этой новой силы; овладѣвающее имъ *безуміе* поэтъ, слѣдуя народнымъ представленіямъ, воплотилъ въ образъ ужасныхъ богинь-мстительницъ подземной тьмы. Не паломникомъ, нѣтъ, — точно звѣрь, преслѣдуемый стаей псовъ, мчитъ Орестъ къ храму-средоточію Земли, гдѣ надъ останками сраженнаго Змѣя горитъ неугасимый огонь на очагѣ Феба.

X.

И все-таки до сихъ поръ протестъ противъ дельфійской Орестей заключался въ одномъ только настроеніи, вызванномъ поэтомъ; сама фабула измѣнена не была. И тамъ Орестъ оставялъ свою родину, гонимый Эриніями; спасаясь отъ нихъ, онъ бѣжалъ въ Дельфы, и Аполлонъ, очистивъ его, далъ ему свои стрѣлы, съ помощью которыхъ онъ отогналъ отъ себя своихъ мучительницъ. Согласится ли Эсхиль увѣковѣчить въ своей поэмѣ торжество дельфійскаго бога надъ силами Земли и смутной совѣстью человѣка? Согласится ли онъ подтвердить дельфійскій догматъ, что Аполлонъ властенъ отпускать человѣку его грѣхъ?

Орестъ въ Дельфахъ, но Эриніи съ нимъ; Аполлонъ очистилъ своего просителя, но Эриніи не удаляются; онъ только заснулъ и далъ преступнику нѣсколько вздохнуть и опомниться, но онъ не оставляетъ его и готовы вновь его преслѣдовать, лишь только онъ покинетъ священную обитель. И Аполлонъ сознаетъ свое безсиліе. „Бѣги,—говоритъ онъ Оресту,—и не давай усталости побѣдить тебя; онъ не отстанутъ отъ тебя, все равно, будешь ли ты держать путь по матеріку или чрезъ море. Но *иди къ городу Паллады и, подойдя къ ея храму, ухватись обѣими руками за ея старинный кумирь. Тамъ найдемъ мы судей надъ тобой и ими; властвуя надъ убѣдительнымъ словомъ, мы обрѣтемъ спасеніе для тебя*“.

Вся дальнѣйшая драма только развитіе этой новой исторической мысли, благодаря которой аѳинская гражданственность восторжествовала надъ дельфійскимъ теократизмомъ. Не полновластнымъ господиномъ совѣсти, нѣтъ,—защитникомъ преслѣдуемаго преступника является Аполлонъ въ Аѳины, передъ судъ Паллады. Вяла Паллада рѣчамъ обѣихъ сторонъ; но и она не рѣшается произнести приговоръ, который явился бы закономъ, извнѣ навязаннымъ человѣческой совѣсти. *Пусть человѣческая личность ищетъ себѣ опоры и оправданія во мнѣніи совокупности лучшихъ изъ равныхъ себѣ*,—вотъ завѣтъ Паллады грядущимъ временамъ — *всѣмъ временамъ*, какъ она сама объявляетъ. Учреждается судъ на „Аресовомъ холмѣ“; сходятся двѣнадцать ареопагитовъ, избранныхъ изъ числа лучшихъ аѳинскихъ граж-

данъ; выслушавъ увѣщанія обѣихъ сторонъ—Эринній и Аполлона, — они молча подають свои голоса. При счетѣ голосовъ число оказывается равнымъ за и противъ Ореста; но Паллада присоединила свой голосъ къ тѣмъ, которые были поданы въ его пользу, и онъ признается оправданнымъ. Остается одно: умило-стивить гнѣвъ Эринній, собирающихся проклясть страну, которая приютила и оправдала матереубійцу; сама Паллада ихъ умило-стивляетъ учрежденіемъ имъ культа на томъ же Аресовомъ холмѣ.

Орестъ чувствуетъ, что грѣхъ ему отпущенъ; съ жаромъ благодаритъ онъ богиню, спасшую его и его домъ, и обѣщаетъ ей и ея городу на вѣки вѣчные дружбу и помощь своихъ потомковъ, т.-е. аргосцевъ. Оставимъ политическій характеръ этихъ послѣднихъ обѣщаній; для насъ достаточно одного: что, будучи оправданъ судомъ Ареопага, Орестъ чувствуетъ себя свободнымъ отъ грѣха; оправданъ же онъ былъ даже не большинствомъ, а только равенствомъ голосовъ. Для чего понадобилась поэту эта послѣдняя фикція? Почему, желая представить въ своей драмѣ оправданіе Ореста, не представилъ онъ его единогласнымъ? Потому, что онъ хотѣлъ противопоставить рѣзкой и безусловной аксіомѣ дельфійскаго теократизма столь же рѣзкую и безусловную аксіому аѣинской гражданственности. „Ты найдешь себѣ опору и оправданіе во мнѣніи совокупности лучшихъ изъ равныхъ тебѣ“, гласилъ заветъ Паллады. И тутъ возникалъ вопросъ: безусловно ли? И Паллада отвѣчала: „Да, безусловно“. Даже если мнѣніе выразится только большинствомъ, даже—если только равенствомъ голосовъ? „Да“.

Итакъ, одинъ голосъ рѣшаетъ участь подсудимаго и, что важнѣе, сомнѣнія совѣсти грѣшника въ ту или другую сторону. Но если это такъ, то гдѣ же совокупность? Сознавалъ ли поэтъ это затрудненіе? О, да, сознавалъ. „Честно ведите счетъ голо-самъ, чужестранцы,—говоритъ Аполлонъ ареопагитамъ,— тща-тельно слѣдя, чтобы при разборѣ не случилось ошибки. Отсут-ствие одного голоса можетъ причинить великое горе; прибавленіе одного голоса можетъ вновь поднять пошатнувшійся домъ“. Но, говоря такъ, онъ только подчеркиваетъ затрудненіе, а не раз-рѣшаетъ его. И снова возникаетъ томительный, проклятый вопросъ: „могу ли я считать, что нашелъ себѣ опору и оправ-даніе во мнѣніи совокупности лучшихъ изъ равныхъ мнѣ, если

эта совокупность сводится къ одному лишь голосу?" И на этотъ вопросъ Эсхиль отвѣта не нашелъ.

Но поэтъ Паллады можетъ утѣшать себя сознаніемъ, что и тѣ двадцать слишкомъ вѣковъ, которые прошли со времени постановки его трагедіи, искомага отвѣта не нашли. Пока процвѣтала античная культура, идея афинской гражданственности росла и крѣпла, заслоняя собой потухающій ореолъ святой горы Аполлона и не давая ожить тлѣющимъ подъ золой искрамъ іонійскаго индивидуализма. Пришло время, пала и она; данный на вѣчныя времена завѣтъ Паллады былъ забытъ; возникъ новый принципъ, который мы, такъ какъ онъ сознательно отдѣлилъ правосудіе отъ нравственности, имѣемъ полное право, именемъ исторіи, назвать безнравственнымъ: принципъ, что правосудіе должно блюсти исключительно интересы государства и его главы и имѣть поэтому своимъ единственнымъ органомъ чиновника, получающаго свою власть отъ главы государства. Возникъ, говоря проще, инквизиціонный судъ императорской эпохи. Въ сравненіи съ нимъ даже іонійскій индивидуализмъ могъ быть названъ прогрессомъ; гнѣвно стучался онъ въ расшатанныя стѣны римскаго государства, въ лицѣ сѣверныхъ племенъ съ ихъ правомъ сильнаго, съ ихъ вирой. Когда эти стѣны рушились, когда германскіе варвары наводнили всю область римской культуры отъ Каледонскихъ горъ до Сахары, тогда первый циклъ въ исторіи цивилизаціи былъ завершенъ. Человѣчество вернулось на ту ступень своего развитія, на которой мы застали его въ эпоху гомеровскихъ поэмъ. Начинается новый циклъ, новый кругъ; несмотря на значительное различіе въ радіусахъ, эти два круга концентричны.

Затронутое здѣсь мнѣніе объ отношеніи новой культуры къ древней находится въ полномъ согласіи съ теоріями новѣйшей исторической науки; но оно самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчитъ взглядамъ, усердно распространяемымъ тѣми, которые привыкли черпать свои историческія свѣдѣнія изъ третьихъ и десятыхъ рукъ: согласно этимъ взглядамъ, культура древняго міра представляется какъ бы дѣтствомъ, культура среднихъ вѣковъ—какъ бы юностью, культура новыхъ временъ—какъ бы возмужалостью человѣчества. Взглядъ этотъ однако ошибоченъ,

а такъ какъ ошибка, которую онъ содержитъ, ошибка въ высшей степени вредная, дѣлающая невозможнымъ самое пониманіе исторіи развитія человѣчества, то онъ долженъ быть опровергаемъ самымъ энергичнымъ образомъ. Нѣтъ, древняя культура обнимаетъ всю жизнь южнаго человѣчества, его дѣтство, юность, возмужалость и старость; именно въ этой завершенности заключается ея цѣнность для насъ—и еще въ томъ, что она не стоитъ отдѣльно отъ нашей культуры, а заключается въ ней, какъ изъ двухъ концентрическихъ круговъ меньшій заключается въ большемъ. Впрочемъ, указанный выше ошибочный взглядъ, какъ уже было замѣчено, давно оставленъ историками; онъ держится среди экономистовъ, но исключительно вслѣдствіе ихъ недостаточнаго знакомства съ культурой древняго міра. Несомнѣнно правильное мнѣніе, что экономическое развитіе античной эпохи прошло чрезъ всѣ стадіи, которыя суждено было пройти и экономическому развитію новой Европы, уже нашло себѣ авторитетныхъ и энергичныхъ поборниковъ и вскорѣ, надѣюсь, окончательно восторжествуетъ.

Что въ области нравственности дѣло обстоитъ не иначе, на это указываетъ уже самый фактъ связи и взаимодѣйствія культурныхъ силъ. И если бы кто взялся прослѣдить развитіе идеи нравственнаго оправданія въ исторіи культуры сѣвернаго человѣчества, начавшейся съ эпохи переселенія народовъ, — онъ нашелъ бы, конечно, большое число варіацій, подчасъ очень замысловатыхъ, обусловливаемыхъ множествомъ и разнообразіемъ боровшихся между собою въ различныя времена теченій. И если онъ въ этомъ множествѣ и разнообразіи потеряетъ прямую нить органическаго развитія, то вотъ ему нашъ совѣтъ — обратиться отъ новаго міра къ древнему, гдѣ онъ найдетъ, вмѣсто несмѣтнаго числа смущающихъ и утомляющихъ зрѣніе узоровъ—простые и отчетливые контуры рисунка; если онъ, твердо запечатлѣвъ въ своей памяти этотъ рисунокъ, затѣмъ вернется къ новому міру, ему такъ же легко будетъ разобраться въ его замысловатыхъ узорахъ, какъ мы въ музыкальныхъ композиціяхъ, помня основную тему, легко разбираемся въ самыхъ трудныхъ и сложныхъ ея варіаціяхъ.

Позволимъ же себѣ, прежде чѣмъ окончательно разстаться съ нашей темой, прослѣдить ее среди того лабиринта узоровъ,

которымъ новый міръ покрылъ унаслѣдованныя отъ античности простыя и ясныя нравственныя идеи.

Въ началѣ его развитія, повторяемъ, мы опять встрѣчаемъ идею оправданія въ той безпечной и неглубокомысленной формѣ, которую мы знаемъ еще по гомеровской Юніи, — согласно ей, оправданіе сводится къ простому возмѣщенію причиненнаго ущерба, къ вирѣ. И трудно сказать, сколько времени продержалась бы эта примитивная форма, если бы германцы продолжали сидѣть за рубежомъ романскаго міра; но, вступивъ на почву романизма, они вступили въ область, озаряемую солнцемъ культуры. Подъ лучами этого солнца и развитіе нравственныхъ идей новыхъ властелиновъ міра пошло быстрѣе; успѣхъ, выпавшій на долю первобытному германскому индивидуализму, оказался непрочнымъ. Дельфійскій ореоль, потухшій на Парнассѣ, вновь засіялъ на Ватиканской горѣ; снова раздался давнишній кличъ, такъ сладко убаюкивающій человѣческую совѣсть: „чистъ тотъ, кому я отпускаю его грѣхъ; грѣшенъ тотъ, кому я его не отпускаю“. И міриады паломниковъ, потянувшихся въ Римъ съ единственной цѣлью получить отпущеніе грѣховъ и вновь обрѣсти утерянную чистоту, дали ясное, непреложное свидѣтельство о могуществѣ нравственной силы, живущей въ сердцѣ человѣка. Ореоль этотъ сіяетъ и понынѣ, но блескъ его уже не тотъ; разладъ, внесенный эпохой Возрожденія въ единство средневѣковаго міросозерцанія, далъ свои плоды и тутъ. Правда, понадобилось не мало времени, чтобы слабое деревцо, взошедшее въ туманахъ крайняго сѣвера, но подкрѣпленное жизнотворнымъ сокомъ возродившейся античной культуры, могло вырасти и осѣнить весь цивилизованный міръ — для насъ это время наступило всего лѣтъ сорокъ тому назадъ. Но, какъ бы тамъ ни было, это — наше время; постѣ двухъ слишкомъ тысячелѣтій мы встрѣчаемъ величайшій изъ всѣхъ нравственныхъ вопросовъ на томъ же мѣстѣ, на которомъ его оставилъ Эсхиль. И мы повинемся данному на вѣчныя времена завѣту Паллады: „Ищи себѣ опоры и оправданія, человѣческая личность, во мнѣніи совокупности лучшихъ изъ равныхъ тебѣ!“ Даже, робко спрашиваетъ наша совѣсть, даже если эта совокупность сводится къ одному только голосу, дающему перевѣсъ тому или другому мнѣнію? — „Что дѣлать — да!“

ИФИГЕНІЯ.

I.

Два упрека не переставали раздаваться по адресу Еврипида въ теченіе всей его — не очень долгой для тѣхъ здоровыхъ временъ — жизни: его обвиняли и въ неуваженіи къ родной вѣрѣ, и въ ненависти къ женщинѣ. Въ обоихъ упрекахъ заключалась часть истины, но именно только часть. Правда, что поэтъ мыслитель, въ умѣ котораго жилъ, дѣйствовалъ и страдалъ духъ Зевса, подчасъ пренебрежительно судилъ о томъ, что исходитъ отъ Земли и льнетъ къ Землѣ, о религіи и женщинѣ... объ естественномъ симбіозѣ которыхъ прошу вспомнить рѣзкія, но мѣткія слова Мефистофеля; но толпа, въ силу неизмѣнно присутствующаго ей симплизма, слишкомъ поторопилась сдѣлать свои обобщенія. Привыкшая создавать по своему подобію образъ своихъ великихъ людей, она не сумѣла понять и оцѣнить того, что ея противникъ былъ и поэтомъ, и мыслителемъ; что, какъ мыслитель, онъ умѣлъ терпѣливо собирать осколки Голубиной книги истины, разбившейся при своемъ паденіи на землю, и не довольствовался какимъ-нибудь случайно найденнымъ ея осколкомъ; а, какъ поэтъ, умѣлъ воплощать борющіяся мысли и превращать логическую антиномію въ трагическій конфликтъ. Толпа не понимала Еврипида; зато онъ ее прекрасно понималъ, а потому и не старался быть понятымъ ею: лишь послѣ его смерти Аины увидѣли тѣ двѣ трагедіи, въ которыхъ онъ отвѣтилъ на оба вышеупомянутыхъ упрека и разъяснилъ своимъ

современникамъ свое отношеніе и къ религіи, и къ женщинѣ. Трагедію вѣры онъ воплотилъ въ своихъ „Вакханкахъ“, трагедію женственности—въ своей „Ифигеніи Авлидской“.

II.

Мы видимъ въ „Вакханкахъ“ трагедію вѣры, въ „Ифигеніи“ трагедію женственности; надъ обѣими поэты работали, можно сказать, одновременно, а потому и не удивительно, что главная тема одной трагедіи звучитъ, въ качествѣ побочной, также и въ другой. Въ „Вакханкахъ“ женщина избрана носительницей и религіознаго экстаза, и протеста противъ него; равнымъ образомъ въ „Ифигеніи“ сосудомъ идеи избранъ самый соблазнительный для религіознаго человѣка рассказъ изъ священнаго преданія эллиновъ—тотъ самый, на который почти четыре вѣка спустя ссылается римскій поэтъ-вольнодумецъ Лукрецій, стараясь разубѣдить своего друга Меммія въ нечестивомъ характерѣ своей антирелигіозной поэмы:

Вотъ я чего опасаясь: ты можешь подумать, мой Меммій,
Что нечестиваго званья ты вкусишь начала и вступишь
На преступленія путь. О, не бойся: *религія* чаще
Людямъ являла примѣръ нечестивыхъ, преступныхъ дѣяній.
Иль ты не знаешь, въ Авлидѣ какъ жертвенникъ дѣвы Діаны
Дѣвичья кровь осквернила? какъ Ифигенію заклали
Эллинской рати вожди, наилучшіе, первые мужи?..
Столькихъ совѣтчицей золь могла быть религія людямъ!

И нѣтъ сомнѣнія, что и нашъ поэтъ могъ бы выдвинуть этотъ благодарный мотивъ: оскорбленная въ своихъ самыхъ священныхъ чувствахъ Клитемнестра, мать героини, могла бы точно такъ же потребовать къ отвѣту жестокое божество, какъ это дѣлаетъ въ „Вакханкахъ“ другая мать, невольная дѣтоубійца Агава. Но, быть можетъ, именно по этой послѣдней причинѣ—этого не случилось; лишь изрѣдка слышимъ мы сдержанный ропотъ побочной темы, въ словахъ хора, напри-
мѣръ (пер. И. О. Анненскаго):

Твой духъ высокъ, царевна-голубица,
Но злы оиѣ—богиня и судьба.

Вообще же грозная прихоть богини оставлена вдали, какъ необъяснимое, но и не подлежащее объясненію рѣшеніе рока.

Греческое войско собралось въ Авлидѣ, готовое къ отплытію въ Трою; но нѣтъ ему попутныхъ вѣтровъ и не будетъ, *пока Агамемнонъ, общій вожь соединенныхъ греческихъ племенъ, не принесетъ въ жертву богинѣ авлидскаго побережья Артемидѣ (Діанѣ) свою старшую дочь Ифигенію*. Прямого приказанія тутъ нѣтъ: Ифигенія можетъ оставаться въ чертогахъ отца, никакой кары за это не будетъ; придется только, по необходимости, распустить войско, отказаться отъ похода, проститься съ мечтами о побѣдѣ и славѣ.

III.

Въ этомъ завязка трагедіи; и въ этомъ также причина, почему она, несмотря на варварскій мотивъ человѣческаго жертвоприношенія, не перестаетъ быть близкой и нашему сердцу. Власть и дѣятельность, побѣда и слава не даромъ даются человѣку: кто къ нимъ стремится, тотъ долженъ быть способенъ принести имъ въ жертву болѣе кроткіе и нѣжные идеалы, ютящіеся въ глубинѣ его сердца; несмѣтное число разъ повторялась необходимость жестокаго выбора, поведшаго къ жертвоприношенію Ифигеніи... Разумѣется, читатель не долженъ думать, что въ этихъ словахъ заключается вся „идея“ Ифигеніи; они высказаны лишь для того, чтобы ему легче было признать родственныя черты въ грандіозномъ обликѣ героической старины. Идея не заключается въ мнѣѣ, какъ ядро въ шелухѣ; она живетъ въ немъ, какъ душа живетъ въ тѣлѣ. Одухотворенный идеей мнѣѣ — особый психофизическій организмъ, развивающійся по своимъ собственнымъ законамъ; въ возможности созиданія такихъ организмовъ состоитъ преимущество философской поэзіи передъ отвлеченной философіей.

Власть и дѣятельность, слава и побѣда зовутъ Агамемнона въ долину Скамандра, подъ стѣны Трои; этимъ самымъ они требуютъ смерти Ифигеніи. Послѣ упорной борьбы, онъ рѣшилъ исполнить это требованіе: его гонцы скачутъ въ Аргосъ, чтобы вернуться оттуда съ царевной. Все ли рѣшено теперь? Съ точки зрѣнія *древнѣйшей* трагедіи — все. Эсхилъ представилъ намъ въ своемъ „Агамемнонѣ“ и борьбу въ сердцѣ царя и ея исходъ; какъ ни показалось ему ужаснымъ поставленное бо-

гинеи условіе—онъ смирился, „склонилъ выю подъ ярмомъ Необходимости“; по его приказанію, мужи подняли дѣву надъ жертвенникомъ, сдерживая повязкою ея миловидныя уста, чтобы они въ минуту предсмертнаго ужаса не изрекли проклятія его дому. . Это — преступленіе, и поэтъ это сознаетъ; а, между тѣмъ, „смерть пожинается на нивѣ грѣха“. За убитую жепцину-голубицу отомстила женщина-змѣя. Ею Клитемнестра въ началѣ не была; она стала ею послѣ того, какъ ея дочь была принесена въ жертву власти и славѣ ея супруга.

Иного рода исходъ даетъ намъ посмертная трагедія Еврипида.

IV.

Гонцы усакали въ Аргосъ; скоро они вернутся оттуда вмѣстѣ съ царевной, которую имъ, несомнѣнно, выдала довѣрчивая царица Клитемнестра. Да и какъ было не выдать? Царь писать ей въ своемъ письмѣ, что ихъ дочери предстоить свадьба съ самымъ славнымъ изъ эллиновъ, съ Ахилломъ... Но въ теченіе ночи мучительная борьба вновь разгорѣлась въ душѣ царя, и этотъ разъ побѣдило сердце: онъ пишетъ женѣ новое письмо съ приказомъ оставить дочь въ Аргосѣ, и передаетъ это письмо вѣрному старику-рабу Клитемнестры. Письмо перехватываетъ Менелай. Менелай болѣе прочихъ пострадалъ бы, если бы не состоялся походъ, предпринятый ради него; происходить горячая сцена между нимъ и братомъ. Доводы Менелая внушены себялюбіемъ, и опровергнуть ихъ не трудно: стоитъ ли ради Елены жертвовать Ифигеніей? Дѣло вовсе не въ немъ:

Но Эллада, царь, Эллада! Ей за что-жъ терпѣть обиды?

Иль въ угоду царской дочкѣ намъ отдать на посмѣянье

Наши славныя угрозы?..

Такъ-то власть и дѣятельность, побѣда и слава являются намъ въ другомъ облигѣ: это уже не награда, отъ которой можно и отказаться, это *долгъ* — долгъ война передъ соратниками, долгъ царя передъ подданными. Конфликтъ обостряется: этотъ мужской, воинскій, царскій долгъ встаетъ передъ нами въ такомъ грозномъ, всеподавляющемъ величій, что его тор-

жество надъ женскимъ чувствомъ любви и нѣжности кажется намъ обезпеченнымъ.

Сама судьба приходитъ ему на помощь: Ифигенія уже здѣсь, въ греческомъ станѣ, и сопровождаетъ ее Клитемнестра, не пожелавшая отказаться отъ своего материнскаго права самой выдать свою дочь замужъ, самой нести передъ нею брачный факель. Даже Менелай смягченъ предстоящимъ горемъ; онъ мирится съ братомъ, совѣтуетъ ему пощадить дочь, но—Эллада, Эллада! Призракъ долга, разъ будучи вызванъ, уже не удаляется; ярмо Необходимости плотно сидитъ на плечахъ, его не страхнешь.

V.

Но и на другой сторонѣ силы не меньше. Тайна раскрыта: Клитемнестра узнала, зачѣмъ ее съ дочерью вызвали изъ Аргоса. Она заручилась могущественнымъ средствомъ спасенія; но прежде чѣмъ имъ воспользоваться, она хочетъ просьбами склонить царя. Ей „Эллада“ ничего не говоритъ; она стоитъ за свои женскія права, а эти права ясны, несомнѣнны, непреоборимы. Подобно большинству гречанокъ, она вышла за своего мужа не по любви, а по волѣ родителей; но, разъ ставъ его женой, она была ему покорна и вѣрна, свято охраняя честь его и его дѣтей—тѣхъ четверыхъ дѣтей, которыхъ она ему родила. А онъ какъ ей намѣренъ отплатить?

... Скажи, подумалъ ли, когда
Въ походъ уйдешь надолго ты, что будетъ,
Что будетъ съ сердцемъ *матери* ребенка,
Котораго зарѣжешь ты, Атридъ?
Какъ эта мать на ложе мертвой птички
Осуждена глядѣть, и на гнѣздо
Пустое, дни за днями, одиноко
Глядѣть, и плакать, и припоминать...

„Подумалъ ли?“—О, да, разумѣется, подумалъ; но эти думы не въ силахъ сорвать ярмо Необходимости, отъ нихъ только больнѣе становится разрываемому на части родительскому сердцу... Нечего дѣлать, нужно прибѣгнуть къ послѣднему, крайнему средству.

VI.

Это средство—Ахиллъ. Славный сынъ русалки, воспитанный въ одиночествѣ горь мудрымъ Кентавромъ, чуждъ всякаго — какъ мы сказали бы теперь — „соціального инстинкта“. И ему „Эллада“ ничего не говоритъ, такъ какъ онъ видитъ въ ней надоѣдливую помѣху для своей личной воли, а его воля страстна, могуча и чиста, точно вихрь съ Пеліонскихъ высотъ. Онъ возмущенъ тѣмъ, что Агамемнонъ воспользовался его именемъ для своего коварнаго замысла. О бракѣ онъ не помышляетъ—Ифигенія онъ никогда не видѣлъ и въ первый разъ о ней слышитъ, но это все равно: дѣвушка, которая разъ была названа „невѣстой Ахилла“, онъ въ обиду не дастъ. Правда, онъ одинъ; вся „Эллада“ противъ него, даже его собственная дружина почти вся его оставила, не желая жертвовать общимъ благомъ ради красивой мечты. Но зато онъ — первый въ войскѣ богатырь, непобѣдимый сынъ морской богини; онъ придетъ, станетъ рядомъ съ жертвенникомъ, вооруженный съ головы до ногъ, во главѣ оставшихся ему вѣрными воиновъ, — и горе тому, кто подыметъ ножъ на его названную невѣсту. Въ войскѣ это знаютъ, и всеобщее возмущеніе растетъ; Одиссей, представитель соціальной силы, разжигаетъ страсти воиновъ противъ молодого безумца. Видно, быть жаркому бою; эллинская кровь въ изобиліи ороситъ алтарь дѣвственной богини.

... Не Ахиллъ герой нашей драмы; но справедливость требуетъ, чтобы мы мимоходомъ указали на эту замѣчательную личность, предвоплотившую въ себѣ весь средневѣковый рыцарскій романтизмъ, съ его безразсудной отвагой, съ его беззаветнымъ благородствомъ, съ его преданностью женщинѣ и ея правамъ.

VII.

Не Ахиллъ герой нашей драмы; ея героиня — представительница женственности, Ифигенія. Что такое Ифигенія? Это — прелестный, нѣжный цвѣтокъ, выросшій подъ прохладной сѣнью терема, при благосклонномъ покровительствѣ той же богини-дѣвы, Артемиды. Будучи гордостью своего отца и сама гордясь

имъ, этимъ образомъ всѣхъ совершенствъ въ ея глазахъ, она мирно росла навстрѣчу тому времени, при мысли о которомъ ей дѣлалось и сладко и жутко — времени, когда ей придется назвать другого человѣка своимъ супругомъ, быть хозяйкой и царицей въ другомъ домѣ, въ другой странѣ. И вотъ, это время явилось, для ея дѣвичьихъ грезъ нашелся, вѣрнѣе — былъ ей названъ — опредѣленный предметъ. Слово „свадьба“ зазвучало въ ея ушахъ, вызывая къ полному расцвѣту все ея юное существо... и вдругъ этотъ прекрасный миражъ исчезъ, другое слово коснулось ея слуха — страшное слово: смерть, смерть отъ руки того, кого она боготворила, — ея отца. Вся ея молодость возмущается противъ этой угрозы; протестъ — вѣчный, раздражающій протестъ жизни противъ уничтоженія — внушаетъ ей ея первыя слова:

О, не губи безвременно меня!
Глядѣть на свѣтъ такъ сладко, а спуститься
Въ подземный мракъ такъ страшно — пощади!

Она говоритъ это отцу, и отецъ ей отвѣчаетъ:

... Эллада мнѣ велитъ
Тебя убить, ей смерть твоя угодна...
Но если кровь, вся наша кровь, дитя,
Нужна ея свободѣ, чтобы варваръ
Въ ней не царилъ и не безчестилъ женъ --
Атридъ и дочь Атрида не откажутъ.

Эллада? Что ей Эллада? Что она тутъ понимаетъ? Но она *любитъ* того, отъ кого она слышитъ эти слова, и эта любовь ей замѣняетъ всѣ объясненія, всѣ доказательства; цѣпи жизни слабеютъ, она различаетъ гдѣ-то, въ туманной дали, какой-то новый идеалъ, который она любить на вѣру, такъ какъ ему служить любимый ею человѣкъ. Все же ея рѣшеніе еще не принято; она безпомощно плачетъ на рукахъ матери: зачѣмъ, зачѣмъ все это!

Является Ахиллъ. Она хочетъ скрыться отъ него, съ именемъ котораго она породнила свои дѣвичьи грезы, но скрыться негдѣ; она видитъ его, блистающаго красотой и отвагой, готоваго пролить свою кровь за ту, которую безъ его вѣдома нарекли его невѣстой — видно, смерть не такъ ужъ страшна. Это — второй урокъ любви. Пусть правда на ея сторонѣ —

она видитъ и вѣрить, что и ея отецъ правъ, и что эти двѣ правды вступятъ другъ съ другомъ въ убійственный бой, если ихъ не примирить любовь. Отецъ указалъ ей цѣль, женихъ указалъ ей и путь: теперь она болѣе не колеблется. Не подъ гнетомъ насилія, нѣтъ — добровольно отдаетъ она себя въ жертву за отца, за жениха, за войско, за ту „Элладу“, любить которую ее научили любимыя уста; ея свободная, вдохновляемая любовью воля разобьетъ ярмо Необходимости.

Такова сила смиренницы. Ей не дана творческая отвага, созидаящая идеалы жизни; ей даны любовь и вѣрность, а съ ними — способность воспринимать и беречь сѣмя идеала, зароняемое въ ея душу любимымъ человекомъ, беречь его до самозабвенія, до жертвы... Такъ, видно, понималъ жещину Еврипидъ.

ВОСКРЕСШІЕ ПОЭТЫ.

I.

Вакхилидъ.

1.

Вскрылась еще одна давно забытая могила греческой, т.-е. общечеловѣческой поэзіи; еще разъ дана намъ возможность внимать рѣчи, замолкшей болѣе чѣмъ пятнадцать вѣковъ тому назадъ. Вскрылась эта могила, какъ и прежнія, въ классической странѣ могилъ, въ Египтѣ, святыя пустыни котораго понынѣ обладаютъ силой, признанной за ними еще Платономъ—силой сохранять въ своей неприкосновенности слѣды культуръ, которыя на сѣверѣ періодически уносятъ и стираютъ съ лица земли повторяющіеся на немъ въ опредѣленные промежутки времени перевороты; рѣчь же, вновь проснувшаяся послѣ пятнадцативѣкового молчанія, принадлежитъ лирическому поэту пятаго вѣка до Р. Х. *Вакхилиду* кеосскому, одному изъ числа девяти „каноническихъ“ представителей греческой лирики, пользовавшемуся во время процвѣтанія античной культуры сравнительно умѣреннымъ успѣхомъ у грековъ, почти никакимъ у римлянъ и совсѣмъ заброшенному съ тѣхъ поръ, какъ умеръ тотъ императоръ, любимцемъ котораго онъ былъ—Юліанъ Отступникъ.

Высокій интересъ, внушаемый трагической личностью послѣдняго язычника на римскомъ престолѣ, невольно сообщается

и поэту, котораго онъ такъ охотно читалъ; при всемъ томъ, нельзя не сознаться, что если бы намъ предоставили по собственному выбору воскресить одного изъ лирическихъ поэтовъ Элады, то мы всякому другому отдали бы предпочтеніе передъ Вакхилидомъ. Объ этомъ поэтѣ и древніе были не то чтобы очень высокаго мнѣнія; что же касается насъ, то мы не имѣли достаточныхъ данныхъ для того, чтобы этому—сравнительно—не особенно одобрительному отзыву древности противопоставить свой; изъ скудныхъ отрывковъ, дошедшихъ до насъ благодаря цитатамъ позднѣйшихъ писателей, особенно выдавались два. Первый, самый крупный, прославляетъ миръ и его блага; это, насколько мы можемъ судить, первый по времени вздохъ тоски и надежды, вырвавшійся изъ груди вѣчно раздираемой кантональными войнами и междоусобицами Элады.

Великая эта богиня даруетъ смертнымъ и достатокъ и цвѣты сладкозвучныхъ пѣсень. По ея волѣ, въ честь боговъ багровое пламя пожираетъ на украшенныхъ жертвенникахъ бедра быковъ и длинношерстныхъ овецъ; по ея волѣ молодежь рѣзвится въ палестрахъ и наслаждается игрой флейтъ и вечерними пирушками. Тѣмъ временемъ желѣзныя рукоятки щитовъ покрываются тканями черныхъ пауковъ; острія копьевъ и лезвія мечей разѣдаетъ ржавчина; не слышенъ сигналъ мѣдной трубы, не вынужденъ внезапно покидать наши вѣки сонъ, улаждающій наше сердце. Зато улицы запружены гостями, спѣшащими на веселый шпръ; зато благодарственными пѣсни дѣтей возносятся къ небу“.

Другой сравнительно крупный отрывокъ въ игривой формѣ застольной пѣсни рисуетъ дѣйствіе вина на душу людей, эту „сладкую пытку“, какъ поэтъ выражается, заставляющую человека раскрыть свое сердце и обнаружить свои самые затаенные помыслы.

„Сладкая пытка гуляющей чарки не менѣе любви согрѣваетъ сердце; умъ восзаменяетъ надежда, скрытая въ діонисовыхъ дарахъ. И вотъ одинъ изъ гостей срываетъ стѣны городовъ и воображаетъ себя царемъ надъ всѣмъ народомъ; золотомъ и слоновой костью сверкаетъ его дворецъ; въ гавань входятъ тяжелыя суда, везущія изъ Египта благодатный хлѣбъ, высшее изъ богатствъ... вотъ какія думы волнуютъ сердце ширющаго!“

Это, повторяю, самые крупные изъ отрывковъ Вакхилида, сохраненныхъ намъ въ выдержкахъ позднѣйшихъ писателей;

есть и другіе, поменьше объемомъ, но едва ли не болѣе характерны своимъ содержаніемъ. Изъ нихъ особое вниманіе обращать на себя одинъ коротенькій отрывокъ, гласящій— съ сохраненіемъ въ переводѣ сжатости и нѣкоторой намѣренной темноты подлинника—такъ: „одинъ отъ другого мудръ. и въ старину, и теперь; не такъ-то, вѣдь, легко отыскать ворота несказаннаго еще“. Слова эти были поняты какъ защита подражательности; ихъ полемическій тонъ заставлялъ догадываться, что поэтъ имѣетъ въ виду обвиненіе со стороны какого-нибудь противника; такое обвиненіе не трудно было найти въ слѣдующихъ словахъ Пиндара: „мудръ тотъ, кто своимъ богатымъ знаніемъ обязанъ своей природѣ; напрасно съ нимъ стараются сравниться тѣ, что мудры ученіемъ—такъ вороны усердно кричатъ на божественную птицу Зевса“. Кстати и древніе говорятъ намъ о нѣкоторомъ антагонизмѣ между Пиндаромъ и Вакхилидомъ; кстати мы знали, что Вакхилидъ былъ племянникомъ глубокомысленнаго Симонида кеоскаго и могли предположить, что онъ и какъ поэтъ пошелъ по его слѣдамъ. Все это наводило само собой на представленіе о Вакхилидѣ какъ о поэтѣ-подражателѣ въ противоположность къ самобытному таланту Пиндара, и сужденіе о немъ въ новѣйшей литературѣ было не особенно лестное.

Теперь впервые намъ дана возможность судить о нашемъ поэтѣ не съ чужихъ словъ и не на основаніи скудныхъ отрывковъ и шаткихъ комбинацій, а собственнымъ умомъ и на основаніи цѣлаго ряда крупныхъ поэмъ: найденный въ Египтѣ неизвѣстно гдѣ и препровожденный въ Лондонъ неизвѣстно кѣмъ папирусъ содержитъ двадцать его стихотвореній, объемомъ въ тысячу слишкомъ стиховъ, которые теперь можно удобно читать въ чистенькомъ изданіи Кенъона (the poems of Bacchylides, from a papyrus in the British museum edited by Fred. Kenyon. Лондонъ. 1897) ¹⁾. Поэмы эти распадутся на двѣ категоріи: четырнадцать эпиникій, шесть балладъ.

Оба термина требуютъ объясненія. Что такое, прежде всего, *эпиникія*?

¹⁾ Изъ послѣднихъ самое удобное — изданіе Blass'a (Лейпцигъ, у Teubner'a).

2.

Бдкое—или, по крайней мѣрѣ, насмѣшливое—четверостишие Вольтера на Пиндара:

Divin Pindare,
Toi qui célébras autrefois
Les chevaux de quelques bourgeois
Et de Corinthe et de Mégare...

могло бы остаться совершенно неизмѣненнымъ и по отношенію къ Вакхилиду: и его эпиникии имѣютъ своею *внѣшнюю* цѣлью (отчасти) прославленіе бѣговыхъ коней—положимъ, не мегарскихъ и коринѣскихъ гражданъ, а сиракузскаго царя Іерона, но все-таки коней. Правда, только внѣшнюю цѣлью, и даже не столько цѣлью, сколько поводомъ; главнымъ содержаніемъ эпиникии будетъ все-таки нѣчто другое, именно увлекательный рассказъ изъ сѣдой, легендарной старины, а затѣмъ—болѣе или менѣе глубокомысленныя размышленія философско-нравственнаго характера. Все это такъ: тѣмъ не менѣе фактъ тотъ, что если бы гнѣдой жеребецъ Іерона Ференикъ (дѣйствительно, поэтъ сообщаетъ намъ и его кличку, и его масть) остался за флагомъ, то и первая олимпійская ода Пиндара, и пятая эпиникия Вакхилида остались бы не написанными, и можно не безъ основанія возразить, что безсловесной твари такая честь не по чину. Вольтеръ, повторяю, съ своей точки зрѣнія вполне правъ, и его насмѣшка свидѣлствуетъ о большей вдумчивости, чѣмъ неосмысленные восторги его предшественниковъ: видно, онъ привелъ объектъ своего мышленія въ непосредственную связь со своей личностью, между тѣмъ какъ тѣ безъ собственного чувства повторяли традиціонныя восторженныя слова. Бѣльшаго отъ той эпохи нельзя было и требовать. Но вотъ восемнадцатый вѣкъ, *saeculum philosophicum*, прошелъ и его смѣнилъ девятнадцатый, *saeculum historicum*; онъ открылъ то, что мы можемъ назвать исторической перспективой въ восприниманіи нами образовъ прошлаго. И если теперь историкъ—какъ это случилось недавно—говоря о Пиндарѣ, проводитъ слѣдующую параллель: „Это похоже на то, какъ если бы какой-нибудь Теннисонъ воспѣлъ лорда Розбери

за его побѣду на скачкахъ Дерби, причемъ восхваляли бы лошадь, жокея, шотландскую церковь, предковъ благороднаго лорда, городъ Эдинбургъ въ частности и всю Шотландію вообще, и упомянулъ бы о блестящемъ пиршествѣ, которымъ лордъ послѣ побѣды почтилъ своихъ друзей и особенно поэта“, то это пахнетъ уже анахронизмомъ. Остроумный историкъ оставилъ безъ вниманія одну довольно-таки существенную разницу: Теннисонъ подобнаго рода одой возбудилъ бы смѣхъ, между тѣмъ какъ Пиндаръ и Вакхилидъ не только никакого смѣха не возбуждали, но и прославились какъ „мудрые“ поэты.— Уже давно было выставлено требованіе, чтобы каждая литература служила предметомъ историческаго изслѣдованія не иначе, какъ въ связи съ тѣмъ обществомъ, для котораго она была назначена: постараемся удовлетворить этому требованію въ отношеніи Вакхилида и его эпики.

Для этого мы должны первымъ дѣломъ забыть о вольтеровскихъ буржуа; наше общество—общество аристократическое. И не оно только, но и все время, въ которое оно живетъ—время аристократическое; аристократическій складъ ума повсюду или паритъ, или, по крайней мѣрѣ, преобладаетъ. Это послѣднее обстоятельство выясняетъ намъ причину, почему поэтовъ, подобныхъ Пиндару и Вакхилиду, не было и не могло быть послѣ первой половины 5-го вѣка: когда въ Элладѣ возобладали Аѳины, а въ Аѳинахъ—демократія, тогда и поэты аристократическаго міросозерцанія перевелись. Разумѣется, мы не можемъ отрицать, что и побѣдители конца 5-го вѣка находили поэтовъ для прославленія своихъ побѣдъ; но это были поэты посредственные, въ родѣ того нелѣпаго панегириста, котораго осмѣялъ Аристофанъ въ своихъ „Птицахъ“. Впрочемъ, объ этомъ потомъ.

Оставляя въ сторонѣ политическія симпатіи и антипатіи и становясь на чисто человѣческую точку зрѣнія, мы должны признать, что люди, о которыхъ мы говоримъ—люди во многихъ отношеніяхъ прекрасные, здоровые тѣломъ и душой. Въ ихъ жилахъ, прежде всего, обязательно течетъ божеская кровь; надъ этимъ позволительно смѣяться теперь, но тогда въ это вѣрили. Въ тѣ два-три столѣтія, которыя предшествовали нашему, генеалогическая поэзія была великимъ дѣломъ эпохи;

вдохновенный пѣвецъ, черпавшій свою творческую силу, а съ ней и знаніе, непосредственно у Аполлона, ясно доказалъ каждому изъ нашихъ аристократовъ его божественное происхожденіе. Скептики могли справиться въ поэтическихъ „Каталогахъ“ и „*Θεογονία*“ Гесиода, составлявшихъ вмѣстѣ золотую книгу греческаго рыцарства: съ ихъ помощью можно было прослѣдить каждую родословную вплоть до исконнаго Хаоса. Будучи потомками боговъ, они и въ своей жизни старались уподобиться своимъ родоначальникамъ; они старались быть „легкоживущими“, подобно имъ. Необходимымъ средствомъ для этого было богатство; наши аристократы—люди богатые, очень богатые для своего времени и своего народа. Впрочемъ, нашъ терминъ „богатство“ тутъ не особенно удаченъ; отъ него несетъ затхлою атмосферой капитализма, между тѣмъ какъ отъ того богатства вѣетъ свѣжимъ запахомъ земли; это—сила, непосредственно отъ земли исходящая и, послѣ сравнительно небольшого круговорота, къ землѣ возвращающаяся. Въ этой разницѣ убѣждается всякій, кому приходится, при переводѣ Пиндара или (теперь) Вакхилида, передавать греческое слово *plutos*, за неимѣніемъ другого, черезъ „богатство“: онъ сразу почувствуетъ, что это по содержанію и окраскѣ далеко не то же. Нашъ аристократъ—не капиталистъ; какъ таковой, онъ сталъ бы предметомъ презрѣнія для собратьевъ и пѣвцовъ, тогдашнихъ творцовъ и представителей общественнаго мнѣнія. Чтò ему дастъ земля, то онъ немедленно пускаетъ въ оборотъ въ живую жизнь.

Что же это была за жизнь? Ея идеаль опредѣлялъ Солонъ въ своемъ двустишіи:

Счастливы, даны кому дѣти прекрасныя,—кони лихіе,—

Своры охотничьихъ исовъ,—гость изъ далекой страны.

Первыя сами собою понятны какъ условіе продолженія рода, какъ дальнѣйшіе носители исходящаго отъ боговъ-родоначальниковъ благословенія. Конь—живой символъ рыцарства всѣхъ временъ. Собаки необходимы аристократу для его излюбленной утѣхи, охоты. Гость же—нѣтъ, его значеніе не можетъ быть передано въ нѣсколькихъ словахъ, о немъ нужно сказать подробнѣе.

Гость изъ далекой страны—это, во-первыхъ, свѣдуцій и

словоохотливый (на то онъ эллинъ) рассказчикъ о томъ, что происходитъ на разныхъ концахъ греческаго міра, того міра, который, какъ никакая другая страна въ свѣтѣ, съумѣлъ совмѣстить въ себѣ самые различные типы людей и государствъ. Врядъ ли существовалъ когда-нибудь народъ, столь охочій до такихъ рассказовъ, какъ греки; но это еще далеко не все. Во-вторыхъ, гость—живой органъ народной молвы; какъ теперь онъ за столомъ своего хозяина рассказываетъ ему о томъ, что видѣлъ и слышалъ на бѣломъ свѣтѣ, такъ точно онъ въ другое время, у другихъ людей, расскажетъ и про теперешняго своего хозяина: нужно, чтобы онъ видѣлъ его домъ въ полномъ блескѣ. Угощенія, поэтому, — лучшее употребленіе, которое человѣкъ можетъ сдѣлать изъ своего богатства; они обезпечиваютъ ему славу, выше которой нѣтъ ничего на свѣтѣ. Если же гость къ тому же и пѣвецъ, подобно Пиндару или Вакхилиду, то всѣ двери предъ нимъ настежь раскрыты; нѣтъ во всей Греціи владыки, который бы сталъ гнушаться его. И пѣвецъ сознаетъ это; онъ понимаетъ, что дастъ своему царственному хозяину не менѣе того, что получаетъ отъ него; его рѣчь, поэтому, примодушна и полна достоинства. „Человѣку“, говоритъ Вакхилидъ Герону сиракузскому, старому и больному, накануне его смерти (эпиникия 3):

„Человѣку не дано, отбросивъ сѣдую старость, вернуть себѣ цвѣтущую молодость; но свѣтъ доблести не угасаетъ съ тѣломъ—муза растить его. Ты, Геронъ, явилъ смертнымъ самые прекрасные цвѣты богатства; добрымъ же дѣламъ не служить украшеніемъ молчаніе. Придетъ время—и люди по справедливости прославятъ благодарность медорѣчиваго кеоскаго соловья“.

Но и это еще не все. Помимо всего сказаннаго, гость, въ-третьихъ, часто самъ аристократъ, болѣе или менѣе вліятельный членъ правительства своей страны. Онъ дастъ убожище своему теперешнему хозяину, если бы тому,—послѣ одного изъ тѣхъ переворотовъ, которыми такъ богата исторія каждаго греческаго государства,—пришлось оставить свою родину; онъ и самъ, при такихъ же условіяхъ въ своей родинѣ, воспользуется его гостепріимствомъ. Такіе „союзы гостепріимства“ были поэтому важнѣйшимъ элементомъ политической жизни аристократической Греціи, которая вся была покрыта незримой

сѣтью, или, вѣрнѣе, большимъ множествомъ сѣтей такихъ союзовъ. И это были часто настоящія сѣти, въ которыя сплошь и рядомъ попадала политическая свобода отдѣльныхъ государствъ: полагаясь, кромѣ приверженцевъ изъ народной массы своего города, и на могущество своихъ загородныхъ „гостепріимцевъ“, вчерашній аристократъ захватывалъ въ свои руки бразды правленія и превращался въ тирана. Разумѣется, это была измѣна аристократическому принципу, которой не одобрялъ покровитель аристократической Греціи, дельфійскій Аполлонъ, и вдохновляемые имъ пѣвцы; все же соблазнъ былъ великъ, и устоять противъ него было трудно. Не одна только „сладкая пытка“ Діониса вызывала со стороны нашихъ бояръ такія признанія, какъ приведенное выше въ застольной пѣснѣ Ваххилида; многіе и въ трезвомъ состояніи склонны были думать такъ, какъ думаетъ одинъ изъ нихъ въ стихотвореніи Солонъ: „О, одинъ только день дайте мнѣ быть тираномъ Аѣинъ, а затѣмъ хоть шкуру съ меня дерите, хоть уничтожьте меня со всѣмъ моимъ родомъ!“ Ибо, поясняетъ тотъ же Солонъ, „если слишкомъ большое богатство достается въ удѣлъ человѣку съ неводержной душой, то пресыщеніе имъ рождаетъ въ немъ *спѣсъ* (hybris), а спѣсъ вводитъ въ *грѣхъ*“. Итакъ, нужно было уловить критическій моментъ, не дать возникнуть чувству пресыщенія, приводящему въ движеніе колесо бѣдствія; такова была главная задача нравственной философіи дельфійскаго Аполлона; не даромъ каждому, обращающему къ его оракулу, встрѣчало наставленіе „познай самого себя!“, вырѣзанное на дверяхъ его храма.

Такимъ критическимъ моментомъ была побѣда на одномъ изъ всеэллинскихъ празднествъ, и, главнымъ образомъ, *побѣда съ Олимпіи*. Здѣсь богатство нашего вельможи выступало въ своемъ полномъ блескѣ, не въ присутствіи однихъ только домохадцевъ и гостей, а передъ всѣми, можно сказать, эллинами, вселяя бодрость въ доброжелателей и страхъ въ недругахъ и завистникахъ; здѣсь сказывались, затѣмъ, результаты заключенныхъ союзовъ гостепріимства: по множеству людей, тѣснившихся вокругъ нашего вельможи, можно было воочию убѣдиться въ его могуществѣ и величіи. Все это вмѣстѣ составляло его реальную силу; прибавьте теперь къ ней идеальный невѣсомый элементъ—слова, провозглашаемыя глашатаемъ при самой торжѣ

ственной изъ всѣхъ возможныхъ въ Греціи обстановокъ: „побѣдилъ Геронъ, сынъ Диномена, сиракузянинъ“; прибавьте, при извѣстной, крайней впечатлительности эллиновъ, эту увѣренность въ томъ, что богиня Побѣда сочувствуетъ нашему герою—мудрено ли, что у него при этомъ голова начинаетъ кружиться, что „пытка Побѣды“ оказывается не менѣе дѣйствительной, чѣмъ „сладкая пытка“ Діониса? Сигіу присовокупить, что все это—вовсе не моя конструкція; какъ многозначительны, при всей своей простотѣ, слова, съ которыхъ Геродотъ начинаетъ свой рассказъ о килоновомъ преступленіи: „Былъ въ Аѣнахъ нѣкто Килонъ, человекъ, побѣдившій въ Олимпіи; онъ, возгордившись, возмечталъ о томъ, чтобы стать тираномъ своей родины“... Да что Килонъ, человекъ 7-го столѣтія! Два вѣка спустя, во время полного торжества демократіи, Алкивіадѣ пришлось защищаться въ народномъ собраніи по поводу побѣды, одержанной имъ въ Олимпіи.

Вотъ почему Олимпійская побѣда какого-нибудь Килона далеко не одно и то же, что побѣда лорда Розбери на скачкахъ Дерби; вотъ почему поэтъ, призванный говорить передъ побѣдителемъ въ этотъ критическій моментъ его жизни отъ имени того бога, который его вдохновлялъ, бога-покровителя всей аристократической Греціи,—вызывалъ не смѣхъ, а очень внимательное и напряженное настроеніе. Такимъ поэтомъ былъ и Вакхилидъ; посмотримъ, какъ отнесся онъ къ своей задачѣ въ тѣхъ своихъ эпиникияхъ, которыя намъ вернула невѣдомая египетская гробница.

3.

Разобъемъ для этого эпиникию на ея двѣ составныя части — часть, такъ сказать, официальную и часть неофициальную. Этого дѣленія требуетъ, какъ мы увидимъ тотчасъ, справедливость.

Официальная часть содержитъ то, что поэтъ *долженъ* былъ сказать по заказу побѣдителя. Тутъ только форма принадлежала ему, содержаніе было предписано, и уклониться отъ этого предписанія поэтъ не имѣлъ права. Вотъ малолѣтній Алексидамъ изъ Метапонта побѣдилъ въ Дельфахъ въ борьбѣ;

немного ранѣ онъ состязался также въ Олимпіи и, по мнѣнію своего отца, получилъ бы награду, если бы не интриги со стороны судей. Это убѣжденіе обиженного отца было закономъ для поэта, которому пришлось, такимъ образомъ, въ официальной части своей поэмы, говоря о побѣдителяхъ, его отца, его родинѣ и т. д., коснуться также и этого пункта. И вотъ онъ начинается (эпін. 11):

„Благодатная Побѣда, подруга людей! Отецъ твой — возсѣдающій на высокомъ престолѣ владыка небожителей; ты же, стоя рядомъ съ Зевсомъ на золотомъ Олимпѣ, вѣдаешь исходъ доблести для безсмертныхъ и смертныхъ. Будь же милостива, прекраснокудрая дочь справедливаго Зевса! благодаря тебѣ, вѣдь, и нынѣ праздничныя собранія удалыхъ юношей прославляютъ богочтимый градъ *Метапонтъ*, воспѣваютъ и дельфійскаго побѣдителя, красиваго сына *Фаиска*. Благосклоннымъ взоромъ встрѣтилъ его рожденный въ Делосѣ сынъ полногрудой Латоны; много вѣнковъ пало вокругъ *Алексиды* на равнину Кирры, въ награду за его могучую, побѣдоносную борьбу. Не видѣло солнце въ тотъ день, чтобы онъ хоть разъ упалъ на землю. Скажу даже, что онъ и на божественномъ ристалищѣ благочестиваго Пелопы у прекраснаго Алфея (т.-е. въ Олимпіи) увѣнчалъ бы свои кудри гостепріимной вѣтвью зеленой маслины и, счастливый, вернулся бы на свою богатую стадами родину — если бы кто-то не измѣнилъ прямого пути правосудія. Много ловкости обнаружилъ тогда нашъ смѣлый отрокъ; но богъ ли тутъ виновенъ, или блуждающее сужденіе людей, а только высшая награда была исторгнута у него изъ рукъ. Зато теперь ласковая Артемида даровала ему побѣду“, и т. д.

Или вотъ—Пиоей, тоже малолѣтній, сынъ Лампона эгинскаго, побѣждаетъ въ немейскихъ играхъ, въ такъ называемомъ панкратіи (соединеніе борьбы съ кулачнымъ боемъ); отецъ желаетъ, чтобы въ эпиникіи была, между прочимъ, выражена благодарность и учителю мальчика въ атлетическомъ искусствѣ, Менадру аѳинскому; исполняя его желаніе, Вакхилидъ поетъ (эпін. 13):

„Прославляйте, юноши, славную побѣду Пиоея и полезное ученіе Менадры. Его и у воли Алфея (т.-е. въ Олимпіи) много разъ почтила святая великодушная Аѳина (намекъ на родину Менадры), и вообще на всеэллинскихъ состязаніяхъ увѣнчала головы премногихъ мужей (учениковъ Менадры). Кого не подчинила себѣ дерзновенная Зависть, тотъ долженъ хвалить по справедливости этого умнаго человека. Конечно, нѣтъ у смертныхъ дѣла, котораго не коснулось бы злословіе; но правда привыкла побѣждать и всенокрающее время всегда возвеличиваетъ хорошее дѣяніе“.

Что мы здѣсь дѣйствительно должны говорить о желаніи заказчика, а не о доброй волѣ поэта, видно, помимо всего прочаго, изъ того, что и Пиндаръ, сочинившій эпиникию (5-ю немейскую) въ честь той же побѣды того же Писея, тоже не забываетъ учителя: „знай, говоритъ онъ побѣдителю, что счастье Менандра доставило тебѣ сладкую награду за твои труды; нѣтъ города лучше Аѣинъ, чтобы рождать зодчихъ для атлетовъ“.

Или вотъ еще—Геронъ побѣждаетъ на конскихъ скачкахъ въ Олимпіи; нужно съ честью помянуть коня, доставившаго побѣду своему хозяину. И тутъ желаніе побѣдителя одинаково обязательно для обоихъ поэтовъ, прославившихъ это торжество Герона,—и для Пиндара, посвятившаго ему свою знаменитую первую олимпійскую оду, и для Вакхилида, написавшаго по поводу его свою пятую эпиникию. Вакхилидъ отнесся къ своей задачѣ очень добросовѣстно:

„Гнѣдого Ференика, бурноногаго жеребца, видѣла златорукая Заря побѣждающимъ и у широкаго Алфея, и въ божественной Писонѣ (т.-е. въ Дельфахъ); касаясь Земли рукой, свидѣтельствую, что въ него ни разу, въ состязаніи, когда онъ стремился къ дѣлу, не попала пыль отъ переднихъ копей; быстрый, какъ Борей, но оберегалъ своего наѣздника, рвался онъ впередъ, добывая новую побѣду гостепріимному Герону“.

Пиндаръ и здѣсь короче: „сними китару съ гвоздя“, говоритъ онъ самъ себѣ, „если тебѣ наводить на пріятныя мечты красота Олимпіи и Ференика, когда онъ бѣжалъ вдоль Алфея, не нуждаясь въ бичѣ, и доставлялъ побѣду своему хозяину“—и только. Здѣсь, впрочемъ, благородная кличка жеребца (Pherēnikos—„побѣдоносецъ“) нѣсколько облегчала дѣло поэта; не всегда находился онъ въ столь счастливомъ положеніи, и Вакхилиду пришлось однажды (въ 14 эпиникии), вмѣстѣ съ побѣдителемъ, Клеоптолемомъ оессалійскимъ, воспѣть и его „славнаго коня Бурку“ (Pyrrhichos)—дѣлать было нечего.

Такова та часть эпиникии, которую я назвалъ выше „официальной“. Намъ вспоминаются художники итальянскаго Возрожденія, которымъ игумены монастырей или богатые жертвователи заказывали картины тоже съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы были изображены тѣ-то и тѣ-то, въ такомъ именно, а не въ другомъ видѣ, все равно, совмѣстимо ли это требованіе

съ требованіями художественности, или нѣтъ. При видѣ этихъ картинъ намъ становится жалко художника, который долженъ былъ цѣною такихъ уступокъ покупать себѣ право свободного художественнаго творчества; съ такими же точно чувствами должны мы относиться и къ поэтамъ эпиникій, имѣя въ виду заказные элементы ихъ поэмъ. Покладистый іоніецъ Вакхилидъ еще сравнительно легко уступалъ обычаю и волѣ вельможъ; но гордый Пиндаръ, оиванецъ родомъ и доріецъ душой, возставалъ противъ цѣпей, сковывавшихъ его свободный творческій духъ. Мы видѣли, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ его можно сопоставить съ Вакхилидомъ, онъ значительно короче его; въ небольшой по объему фразѣ, какъ бы нехотя и мимоходомъ, касается онъ тѣхъ прозаическихъ подробностей, которыя Вакхилидъ послушно развиваетъ въ цѣлыхъ строфахъ. Но у него есть и гораздо болѣе характерныя мѣста, показывающія, до какой степени ему было непріятно, когда отъ него требовали, чтобы вмѣстѣ съ побѣдителемъ была прославлена и его родня, чтобы были упомянуты братья, чтобы остался доволенъ отецъ, чтобы былъ польщенъ дѣдъ, а если у него есть и дядя, такъ чтобы не былъ забытъ и дядя. Въ одной одѣ (6 истмійской) онъ, послѣ роскошнаго описанія встрѣчи Геракла съ Теламономъ, слѣдующимъ образомъ продолжаетъ: „но я не могу долѣе прославлять ихъ доблести: я, вѣдь, пришелъ сюда, Муза, руководителемъ праздничныхъ хоровъ для Филакида, Писея и Евтимена; пусть же, по аргосскому обычаю (т.-е., какъ мы сказали бы, „лаконически“), все будетъ высказано въ немногихъ словахъ. Они одержали три побѣды въ панкратіи, изъ нихъ одну на Истмѣ, остальные въ тѣнистой Немей, какъ славные отроки, такъ и ихъ дядя“. Еще недвусмысленнѣе этого насмѣшливаго лаконизма другое мѣсто, повергнувшее въ недоумѣніе и древнихъ и новыхъ толкователей (въ 11 пивійской одѣ); сказавъ объ убійствѣ Агамемнона и его послѣдствіяхъ, поэтъ самъ себя обрываетъ и говоритъ: „Вспомни, однако, Муза, о своемъ дѣлѣ: ты, вѣдь, согласилась за плату уступить свой наемный голосъ — собирай же отовсюду свои мотивы, прославляй и отца, пивійскаго побѣдителя, и самого Орасидея...“ Не всегда такая фамильярность была допустима; нерѣдко личность побѣдителя требовала серьезнаго отношенія къ его

волѣ — тогда являлись на сцену мнимо-вдохновенныя гиперболы, дѣланые восторги и всѣ особенности выпяреннаго „пиндарическаго“ стиля, отъ которыхъ вѣетъ такимъ холодомъ на современнаго читателя. Положимъ, не всѣ мѣста въ этомъ родѣ заслуживаютъ осужденія; духъ поэта, могучій по природѣ, могучъ и въ оковахъ, и внимательный читатель не разъ и въ официальныхъ частяхъ эпиникий найдетъ перлы поэтическаго творчества — чаще у Пиндара, но изрѣдка и у Вакхилида. Сюда относится, въ особенности, одно мѣсто изъ пятой эпиникии послѣдняго. „Вашъ гость“, говоритъ онъ тутъ Герону, „служитель (музы) Ураніи о золотомъ вѣнкѣ, шлетъ свой гимнъ въ вашъ славный городъ...

Такъ орелъ, вѣстникъ державнаго Зевса, высоко въ эфирѣ разсѣкаетъ воздухъ своими быстрыми крыльями, смѣлый въ сознаніи своей неутомимой силы. Въ страхѣ спасаются отъ него сладкозвучныя птички; его же не удерживаютъ ни вершины просторной земли, ни вздымающіяся волны вѣчно-движущагося моря; онъ витаетъ въ безпредѣльномъ хаосѣ ¹⁾, порывы Зефира ласкаютъ его тонкія перья, и люди, легко узнавъ его, указываютъ на него другъ другу“.

Можно бы привести изъ Вакхилида еще два-три такихъ удачныхъ описанія; вообще же слѣдуетъ помнить, что не по такимъ мѣстамъ должно судить объ эпиникияхъ и ихъ поэтахъ; они — не болѣе какъ дань чужой, обязательной волѣ, которою поэтъ покупалъ право быть полнымъ хозяиномъ своего творчества въ другой, „неофициальной“ части эпиникии.

4.

У Вакхилида, какъ и у Пиндара, эта часть является и наиболѣе крупной по объему, и наиболѣе интересной по содержанию; состоитъ она изъ двухъ элементовъ, лирическаго и эпическаго. Второй обыкновенно въ поэмахъ предшествуетъ первому; все же мы, въ видахъ удобства изложенія, займемся сначала первымъ.

¹⁾ Хаосъ (буквально „пасть“) по первоначальному представленію — пустое пространство между землей и твердымъ сводомъ усѣяннаго звѣздами неба.

Вотъ тутъ-то и нужно представить себѣ, какъ можно оживленіе, обстановку, при которой исполнялась поэма. Богамъ отдана честь, происходитъ торжественный пиръ, вино льется рѣкой; на видномъ мѣстѣ, во всемъ блескѣ своего богатства, окруженный множествомъ гостей, такихъ же вельможъ, какъ и онъ самъ, — пируетъ хозяинъ, любимецъ Побѣды. Какія думы волнуютъ его сердце подъ двойнымъ опьяняющимъ воздействием успѣха и вина? Для какого дѣла воспользуется онъ явнымъ расположеніемъ къ нему боговъ?.. И вотъ, передъ нимъ поэтъ, „пророкъ“ (такъ онъ самъ себя называетъ) того бога, который для всей аристократической Греціи былъ высшимъ авторитетомъ не только въ религіозныхъ и нравственныхъ, но и въ политическихъ вопросахъ; что-то скажетъ онъ ему устами всѣхъ этихъ юношей, исполняющихъ его эпиникию? Съ довольной улыбкой прослушать побѣдитель вступленіе, прославляющее его побѣду; затѣмъ эта улыбка сошла съ его устъ, когда началась эпическая часть пѣсни, посвященная поэтическому пересказу какого-нибудь мифа, выборъ котораго не сразу понятенъ. Впрочемъ, нѣтъ и надобности понимать его сразу; эпиникия — подарокъ на всю жизнь. Побѣдитель откладываетъ свое сужденіе, и мы послѣдуемъ его примѣру; вотъ поэтъ снимаетъ личину мифа и прямо отъ себя говорить нашему вельможѣ слѣдующее (эпин. 1):

„Я утверждаю и всегда буду утверждать, что зародыши величайшей славы содержатъ въ себѣ *доблесть*; богатство же сопутствуетъ и низкимъ людямъ, оно лишь увеличиваетъ гордыню мужа... Если кто, будучи смертнымъ, получилъ въ удѣлъ здоровье, если онъ въ собственномъ имуществѣ находитъ средства къ жизни, то онъ можетъ поспорить съ первыми; всякой человѣческой жизни доступна радость, если ея не отравляютъ болѣзни, не придавливаютъ безнадежная бѣдность. Одинаково страстно и вельможа стремится къ высокой, и низкопоставленный къ скромной цѣли; успѣхъ во всѣхъ дѣлахъ не приноситъ радости смертнымъ, всегда преслѣдуютъ они то, что ускользаетъ отъ нихъ. Чей умъ волнуютъ легковѣсныя заботы, тотъ можетъ рассчитывать только на ту жизнь, которая ему дана; доблесть многотрудна, но, будучи осуществлена какъ должно, она оставляетъ и по смерти мужа вожделѣнный памятникъ неувядающей славы“.

Призадуматься тутъ есть надъ чѣмъ: поэтъ говоритъ о самой цѣли, о самомъ смыслѣ человѣческой жизни. Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, слѣдуетъ стремиться? Очень вѣроятно, что многіе

изъ современныхъ Вакхилиду вельможъ про себя отвѣтили бы на этотъ вопросъ: „къ богатству“—но именно только про себя; открыто они бы этого не высказали, но все-таки признали бы богатство очень желательнымъ средствомъ для другой цѣли. Поэтъ и этого не допускаетъ: не богатство человѣку нужно, а только достатокъ, т.-е. свобода отъ угнетающей и порабащивающей человѣка бѣдности. Разъ у насъ есть достатокъ и здоровье—всякая радость намъ доступна, и мы не уступаемъ въ счастіи ни одному богачу. И онъ, вѣдь, этотъ богачъ, не удовлетворенъ, и онъ видитъ передъ собою предметъ новыхъ стремлений; положимъ, этотъ предметъ значительнѣе нашего, но его стремленіе къ нему, а слѣдовательно и чувство неудовлетворенности—такое же, какъ у насъ. А если такъ, то ясно, что не въ этомъ направленіи должны мы искать цѣли своей жизни.

Цѣль эта—*aretâ*; у Платона мы переводимъ это слово черезъ „добродѣтель“, но тому смыслу, который оно имѣетъ у Вакхилида, болѣе соответствуетъ наше слово „доблестъ“, которымъ я его и перевелъ. Все же намъ не такъ-то легко опредѣлить, въ чемъ она состоитъ, такъ какъ мы должны при этомъ оставить въ сторонѣ не только христіанскую, но и сократовскую мораль. Намъ смущаетъ выраженіе: „если доблестъ *осуществлена*, какъ должно...“; что это такое, это осуществленіе (или, точнѣе, завершеніе) доблести?

Возьмемъ, какъ подспорье, другое мѣсто—начало 14-ой эпиникии.

„Счастливыи удѣлъ, ниспосланныи богами,—лучшее, чего можетъ желать для себя человѣкъ. Тяжкое несчастіе угнетаетъ и добраго, но, будучи побороено, какъ слѣдуетъ, оно же его дѣлаетъ сильнымъ и виднымъ среди всѣхъ. Не одно и то же равно почетно для всѣхъ; много доблестей у людей, но одна, дѣйствительно счастливая, впереди всѣхъ, это—доблестъ мужа, который во всякомъ дѣлѣ руководится правильнымъ разсудкомъ. Не приличествуетъ многострадальнымъ битвамъ игра лиры и звучные хоры; не приличествуетъ веселымъ пиршествамъ шумъ мѣдныхъ доспѣховъ. Въ каждомъ человѣческомъ дѣлѣ чувство приличія (*Kairos*) выше всего; поступай, какъ должно, и самъ богъ возвеличитъ тебя.

Вдумавшись немного, мы безъ труда поймемъ мысль поэта: *вездѣ и всегда быть на высотѣ положенія*—вотъ лучшая „доблестъ“.

Идеаль этотъ совмѣстимъ со всякимъ направлениемъ человѣческой жизни; безъ него всё эти направленія безцѣльны. „Каждый“, говоритъ поэтъ въ 10-й эпиникии.

„держится своей дороги, чтобы по ней достигнуть возвеличивающей человѣка славы; много у людей различнаго умѣнья. У одного—мудрость, у другого—дары Харитъ (т.-е. физическія достоинства) вызываютъ расцвѣтъ золотыхъ надеждъ; третій стремится къ знанію божьей воли; для четвертаго—дѣти предметъ его разнообразныхъ мечтаній; пятому—воздѣланныя поля, стада коровъ радуютъ сердце. Всему этому будущее даетъ неопредѣлимый исходъ; неизвѣстно, куда насъ направить судьба. Самое же лучшее—жить такъ, чтобы какъ можно болѣе добрыхъ прославляло тебя“.

Теперь мы догадываемся и о томъ, что такое „осуществленіе“, или „завершеніе“, доблести; это — то, что, помимо нашей доблести, нужно для того, чтобы какъ можно болѣе добрыхъ людей прославляло насъ: почетная извѣстность доблести, рожденная ею *добрая слава*. Вспомнимъ приведенныя выше слова поэта къ Иерону: „доброму дѣлу не приносить украшенія молчаніе“. И вотъ почему вакхилидовой *aretâ* болѣе всего соотвѣтствуетъ наше слово „доблестъ“: *aretâ* должна „блестѣть“, иначе она не „осуществлена“, не „завершена“. Иеронъ побѣждаетъ въ Олимпіи; „тутъ“, говоритъ Вакхилидъ (3-я эпиникии), „весь народъ воззвалъ: о, трижды блаженный мужъ! Получивъ отъ Зевса въ удѣлъ державнѣйшую почесть въ Элладѣ, онъ знаетъ, что не должно хоронить груду богатствъ подъ чернымъ покровомъ мрака“—такъ-то и богатство можетъ быть превращено въ доблестъ. По другой дорогѣ и малолѣтній Писеевъ эгинскій достигъ той же цѣли; „всевидная доблестъ“, говоритъ ему поэтъ (13-ая эпиникии), „не даетъ себя уничтожить, покрытая непросвѣтнымъ мракомъ ночи; окружая себя неустанной славой, она странствуетъ и по землѣ, и по вѣчно-движущемуся морю; она любитъ и многотимый островъ Эака (Эгину)“. Да, „всевидная доблестъ“! въ этомъ вся суть. А тому, чтобы она стала всевидною, можетъ содѣйствовать и поэзія; „прекрасное дѣяніе“, говоритъ поэтъ (9-ая эпиникии), „удостоившись подобающей ему пѣсни, восходить въ высокую обитель боговъ“.

Вотъ какого рода мысли внушаетъ Вакхилидъ столпамъ аристократической Греціи въ минуту, которая была для нихъ

кульминационнымъ пунктомъ въ ихъ жизни, но могла сдѣлаться и поворотнымъ пунктомъ. Не стремись къ болѣе полному счастью—ты ужъ достигъ всего, чего можетъ требовать для себя человекъ. Вся Эллада познала твою доблесть; она стала предметомъ пѣсни, увѣковѣчившей ее; чего же еще болѣе?

5.

Но не въ одной только лирической части своихъ одъ проводитъ Вакхилидъ эти и родственныя имъ мысли; онѣ же подлежатъ, прозрачнымъ покровомъ мѣла составляють содержаніе и эпической части. Правда, не всегда: иногда воспоминанія, связанныя съ родиной или родомъ побѣдителя, служили темой для нея. Наслѣдственность — ядро аристократической идеи; наследственна и доблесть; и она переходитъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, какъ благословеніе героевъ-родоначальниковъ. Впрочемъ естественно, поэтому, при случаѣ явнаго проявленія доблести на всеэллинскомъ состязаніи воздавать честь и этимъ героямъ-родоначальникамъ, отъ которыхъ она перешла къ побѣдителю. Но кромѣ нихъ предполагалось содѣйствовавшимъ побѣдѣ и родное божество того города, изъ котораго происходилъ побѣдитель; и оно, поэтому, могло требовать себѣ дани уваженія въ прославляющей побѣду пѣсни. Мы были уже знакомы съ этимъ благочестивымъ обычаемъ поэтовъ благодаря Пиндару; новая находка увеличила нашъ запасъ примѣровъ. Для первой изъ двухъ упомянутыхъ разновидностей мы можемъ теперь сослаться на 13-ю, для второй — на 11-ю эпиникию Вакхилида.

Герою 13-й эпиникии былъ тотъ Писей эгинскій, о которомъ рѣчь была не разъ. Островъ Эгина, изъ котораго онъ происходилъ, игралъ въ мѣтахъ славную роль, какъ родина справедливаго Эака, отца Пелея и Теламона и, слѣдовательно, дѣда Ахилла и Аянта, самыхъ могучихъ изъ сражавшихся подъ Троею богатырей. Зато и гордилась же Эгина этими своими „Эакидами“; нѣжность, съ которою эгинеты обходили ихъ память, могла считаться чѣмъ-то особеннымъ, даже и въ очень благочестивой на этотъ счетъ Греціи. Геродотъ рассказываетъ, что когда ѳиванцы, воюя съ аеинянами, попросили помощи у эгинетовъ, то тѣ пресерьезно отвѣтили имъ, что

отправятъ имъ на помощь Эакидовъ. Понадѣявшись на ихъ содѣйствіе, еиванцы дали битву, но были разбиты; тогда они вторично обратились къ своимъ союзникамъ и попросили ихъ, чтобы они Эакидовъ оставили себѣ, а имъ бы послали воиновъ. При такой живой и искренней вѣрѣ въ этихъ родныхъ героев не удивительно, что они упоминались на каждомъ мало-мальски значительномъ эгинскомъ празднествѣ; „не вкусны пѣсни моему сердцу, если въ нихъ нѣтъ Эакидовъ“, говоритъ Пиндаръ въ подобномъ случаѣ, съ той добродушной ироніей, которую мы уже знаемъ за нимъ. И Вакхилидъ въ указанной эпиникѣ прославляетъ Эакидовъ, Ахилла и Аянта; но онъ дѣлаетъ это безъ всякой ироніи, послушно слѣдуя за Гомеромъ; его похвѣствованіе, поэтому, для насъ и не особенно интересно.

Вторая изъ намѣченныхъ эпиникѣй — счетомъ 11-ая — посвящена Алексиду метанонтскому. Роднымъ божествомъ Метанонта была Артемида (Діана); поэтъ не сомнѣвается въ томъ, что именно она, эта „кроткая“ богиня, доставила побѣду мальчику, обиженному (какъ мы видѣли выше) въ Олимпіи. Ее, поэтому, и прославляетъ онъ въ главной, эпической части своей пѣсни; она и кроткая и могучая богиня и любитъ помогать обиженнымъ, обращающимся къ ея помощи.

„Ей зато нѣкогда и сынъ Абанта (тиринскій князь Претъ) воздвигъ жертвенникъ, свидѣтель многихъ молитвъ—онъ самъ и его красиво одѣтыя дочери, которыхъ передъ тѣмъ державная Гера изгнала изъ роскошныхъ чертоговъ ихъ отца, подвергнувъ ихъ умъ непреоборимой пыткѣ изступленія. Онъ или съ дѣвическими думами въ святилище порфиросной богини и говорили промежъ себя, что ихъ отецъ много богаче, чѣмъ свѣтлокудрая сопрестольница святого всесильнаго Зевса. Вскинула богиня и вселила разладъ мыслей въ ихъ душахъ; онъ бросились бѣжать въ густолиственные горы, издавая страшный крикъ, и оставили богозданный городъ Тиринъ“.

Затѣмъ поэтъ обстоятельно поясняетъ, почему Претъ, будучи сыномъ аргивскаго царя Абанта, жилъ не въ Аргосѣ, а въ Тиринѣ; послѣ этого экскурса онъ возвращается къ его дочерямъ.

„Оттуда-то бѣжали онъ, непорочныя темнокудрыя дочери Прета; его же сердце омрачилось, невѣдомая дотогѣ скорбь постигла его. Онъ пытался вонзить себѣ въ сердце двуострый мечъ, но соратники удержали его ласковыми рѣчами и силою рукъ. Тринадцать полныхъ мѣсяцевъ скитались онъ по тѣнистымъ лѣсамъ, бѣжа по направленію къ кормилицѣ овецъ Аркадіи; но когда ихъ отецъ дошелъ до прекрасно текущей рѣки Луса—

Прошу обратить вниманіе на своеобразную недомолвку: вѣдь поэтъ вовсе не сказалъ намъ раньше, что Претъ отправился искать своихъ дочерей! Съ этой особенностью повѣствовательнаго стиля Вакхилида мы встрѣтимся еще не разъ.

«... то онъ омылъ въ ней свое тѣло и затѣмъ, простирая руки къ яснымъ лучамъ быстроконной колесницы солнца, сталъ призывать прекрасную дочь Латоны о пурпуровомъ покрывалѣ, чтобы она освободила его дочерей отъ ихъ несчастнаго изступленія: „Я привесу тебѣ въ жертву двадцать непорочныхъ бурыхъ телокъ!“ Услышала его молитвы охотница-дочь могучаго отца; уговоривъ Геру, она прекратила богомерзкое бѣшенство увѣчанныхъ цвѣтами дѣвушекъ. И тотчасъ ей отмежевали участокъ земли, воздвигли алтарь, обогрили его кровью овецъ и учредили хороводъ женщинъ. Оттуда ты послѣдовала за любителями брани ахейцами въ рыцарскій городъ и, на счастье имъ, обитаешь въ Метапонтѣ, золотая владычица народовъ, и мои предки—разрушивъ, наконецъ, по волѣ безсмертныхъ боговъ, съ мѣднобронными Атридами прекрасный городъ Пріама, — вырастили тебѣ роскошную рошу у чистыхъ водъ Каса (повидимому, рѣка близъ Метапонта). Кто обладаетъ справедливымъ умомъ, тотъ во всякое время найдетъ безчисленное множество храбрыхъ дѣлъ ахейцевъ“.

Этими словами кончается не только эпическая часть эпиникии, но и вся эпиникия; конецъ, надобно сознаться, нѣсколько неожиданный, но только въ формальномъ отношеніи,—въ отношеніи же содержанія разсказъ конченъ, и мы ничего болѣе отъ поэта не ждемъ. Что же сказать о немъ, какъ о таковомъ? Я говорю здѣсь, разумѣется, не объ его филологическомъ интересѣ—это особая статья; мною о безуміи дочерей Прета было намъ извѣстено до сихъ поръ лишь въ немногихъ словахъ, связь метапонтскаго культа Артемиды съ аркадскимъ на рѣкѣ Лусѣ не была извѣстна вообще, такъ что съ этой точки зрѣнія новонайденая эпиникия сохранить свое значеніе. Но это, разумѣется, не заслуга поэта; если же говорить только о послѣдней, то сказать остается очень мало. Передъ нами положительно образчикъ довольно посредственной поэзіи; кто знаетъ эпическія части въ одахъ Пиндара—эти внезапно появляющіяся, ярко освѣщенные картины, на которыхъ нашъ взоръ покоится всего нѣсколько мгновеній, но которыя надолго запечатлѣваются въ нашемъ сердцѣ,—тотъ къ повѣствованію Вакхилида снисходительно не отнесется. Въ немъ недостаетъ непосредственнаго чувства, непосредственнаго участія поэта въ описываемыхъ

стенахъ; сила и оригинальность творчества замѣнена манеризмомъ, исправно снабжающимъ каждое вводимое представленіе какимъ-нибудь стоячимъ эпитетомъ; въ результатѣ получается впечатлѣніе сѣрвовой добропорядочности, отъ которой ни глазамъ не весело, ни душѣ не тепло. Будь всѣ повѣствованія Вакхилида въ томъ же родѣ, намъ пришлось бы только повторить сожалѣніе о томъ, что судьба вернула намъ именно его, а не кого-нибудь изъ остальныхъ восьми или семи лириковъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что не всѣ они въ томъ же родѣ. Оба разсмотрѣнныхъ только-что разсказа представляютъ ту общую черту, что поводъ къ ихъ приведенію былъ чисто внѣшній. Почему прославляются Эакиды? Потому, что побѣдитель былъ эгинетомъ, а Эакиды — родные герои Эгины. Почему прославляется Артемида? Потому, что побѣдитель былъ метапонтинцемъ, а Артемида — родная богиня Метапонта. Роль этихъ мифическихъ личностей, такимъ образомъ, такая же официальная, какъ и роль бурноногого жеребца Побѣдоносца или славнаго коня Бурки. А мы уже видѣли, что хотя Вакхилидъ и подчинялся безропотно требованіямъ этикета, но источникомъ поэтическаго вдохновенія этикетъ для него не служилъ. Оставимъ поэтому эти полуофициальные разсказы и перейдемъ къ тѣмъ, въ которыхъ поэтъ является полнымъ хозяиномъ своего предмета; сюда относятся обѣ крупныя оды въ честь Герона сиракузскаго.

Начнемъ съ пятой эпиникии; ея предметъ — побѣда только-что упомянутаго жеребца. Посвященные послѣднему прочувствованныя слова приведены были выше; отъ нихъ поэтъ такимъ образомъ переходитъ къ эпической части своей оды:

„Счастливъ, кому богъ удѣлилъ часть того, что есть прекраснаго на свѣтѣ, и далъ провести въ достаткѣ завидную для другихъ жизнь; полное же блаженство не досталось на долю ни одному изъ обитателей земли. Такъ нѣкогда и сокрушитель городовъ, необходимый сынъ громовержца Зевса“...

Ясное дѣло, что поэтъ говоритъ о Гераклѣ; онъ долженъ собственной жизнью подтвердить правило, что полнаго счастья смертному не дано. Положимъ, мысль эта не блещетъ оригинальностью — со временъ Гомера она встрѣчается въ греческой литературѣ очень часто. Но она была дорога и поэту, и богу,

отъ имени котораго онъ говорить, и была прилична случаю; а разъ есть сердечное участіе творца — мы можемъ ожидать, что онъ выкажетъ свою силу въ своемъ твореніи. Выслушаемъ же его разсказъ.

„... сныъ Зевса спустился въ обитель легконогой Персефоны, чтобы увести на свѣтъ изъ Аида злобнаго пса, отродье страшной Эхидны (т.-е. Кербера). Много душъ несчастныхъ смертныхъ увидѣлъ онъ тутъ у волнъ Кокита, точно листья, которые вѣтеръ крутитъ на отрогахъ Иды, кормилицы овецъ; среди нихъ выдавалась тѣнь снѣлаго коньеносца, Пореаонова внука (т.-е. Мелеагра). Когда его увидѣлъ дивный герой, Алкменинъ сынъ (Геракль), въ блескъ его доспѣховъ, онъ навелъ звонкую тетиву на крючокъ своего лука и, отрывъ колчанъ, вынулъ изъ него стрѣлу съ мѣдной оконечностью. Но душа Мелеагра приблизилась къ нему и, ясно его узнавъ, произнесла: „Сынъ великаго Зевса! Остановись на мѣстѣ, проясни свой духъ и не мечи бесполезно жестокой стрѣлы противъ душъ умершихъ: онъ не боится ея“. Такъ молвила она; удивился владыка, Амфитріоновъ сынъ, и возразилъ: „Какой богъ, какой смертный выросилъ такой отпрыскъ, и въ какой странѣ? И кто убилъ его? Навѣрное полногрудая Гера пошлетъ его убійцу и противъ моей головы; но это уже будетъ заботой свѣтлокудой Паллады..“

И вотъ, пока беззаботный богатырь, отогнавъ мысли о своей собственной гибели и поручивъ себя своей великодушной заступницѣ Паладѣ, молча любитъ на могучую тѣнь Мелеагра, послѣдняя подробно рассказываетъ ему о своей смерти: какъ разгнѣванная его царственнымъ отцомъ Артемиды наслала свирѣпаго вепря на его землю, охота на котораго — славная на всю Грецію калидонская охота — собрала самыхъ знаменитыхъ витязей тогдашней Эллады; какъ затѣмъ изъ-за шкуры убитаго звѣря Мелеагръ поссорился съ родней своей матери Алоеи, и въ происшедшей изъ этой ссоры битвѣ два брата Алоеи пали отъ его руки; какъ, наконецъ, послѣдняя, вѣвъ себя отъ горя, бросила въ огонь роковую головню, заключавшую въ себѣ, по опредѣленію рока, силу самого Мелеагра.

„Въ это время я убивалъ Климена, храбраго сына Деипила, встрѣтивъ его передъ башнями стѣны, между тѣмъ какъ другіе спасались въ древнюю твердыню Плевронъ; не надолго хватило мнѣ сладкой жизни. Я почувствовалъ, что силы оставляютъ меня; о, горе! съ плачемъ испустилъ я послѣднее дыханіе, несчастный, оставляя мою свѣтлую молодую жизнь“. Говорятъ, что непреклонный въ бою сынъ Амфитріона тогда въ первый и послѣдній разъ увлажнилъ слезой свои вѣки, сожалея объ участи несчастнаго мужа;

отвѣчая ему, онъ сказалъ: „Самое лучшее для смертныхъ—не родиться на свѣтъ, не видѣть лучей солнца; но вѣдь нѣтъ помощи отъ такихъ жалобъ. Нужно говорить о томъ, что возможно исполнить. Есть ли въ чертогахъ воинственнаго Энея (Онеуса, отца Мелеагра) незамужняя дочь, похожая ростомъ на тебя? Ее я бы охотно сдѣлалъ своей милой супругой“. Ему отвѣтила душа безстрашнаго Мелеагра: „Я оставилъ въ нашемъ дворцѣ Деяниру о вѣжливой шеѣ, не извѣдавшую еще дѣлъ золотой волшебницы — Афродиты“.

Здѣсь—конецъ эпической части поэмы: не далека и коонецъ поэмы вообще. Намъ онъ кажется неожиданнымъ, но не таковымъ является онъ знакомому съ греческой былиной читателю. Онъ зналъ, что Деянира — дѣйствительно будущая супруга Геракла и въ то же время, хотя и противъ своей воли, его будущая убійца: для него рассказъ былъ законченъ съ произнесениемъ этого имени—законченъ не только со стороны техники, но и со стороны идеи. „Смертному не дано полное счастье“—такова была идея лирической части; „думая завершить его, онъ готовитъ себѣ гибель“—вотъ логическій выводъ, данный въ нашемъ рассказѣ. Его герой—„непобѣдимый“ Гераклъ. При встрѣчѣ съ тѣнью могучаго богатыря онъ вздрагиваетъ; ему страшно подумать, что есть на землѣ существо достаточно сильное для того, чтобы убить его. Мысль: „убійца Мелеагра можетъ стать и моимъ убійцей“, осѣняетъ его на минуту, но только на минуту; онъ быстро прогоняетъ ее, поручая себя своей всегдашней защитницѣ Палладѣ, и съ восхищеніемъ всматривается въ призракъ своего собесѣдника, сохранившій, согласно представленіямъ грековъ, всю внѣшность живого Мелеагра. Все болѣе и болѣе плѣняетъ его мысль породниться съ нимъ, взять за себя его сестру—если у него такая есть, и если она похожа на него. Рассказъ Мелеагра о своей гибели трогаетъ его до слезъ—онъ уже смотритъ на него какъ на своего брата; но предостереженіе, которое этотъ рассказъ содержитъ, онъ пропускаетъ мимо ушей. Съ такою же беззаботностью, какъ и раньше, онъ отгоняетъ отъ себѣ мрачныя мысли и тотчасъ проситъ себѣ въ жены его сестру, забывая о томъ, что сестра Мелеагра въ то же время дочь Алэен, его убійцы. Такимъ-то образомъ онъ готовитъ себѣ гибель въ ту самую минуту, въ которую мечтаетъ завершить свое счастье женитьбой на сестрѣ перваго въ Элладѣ богатыря.

Стоить ли послѣ этого разсказа о Гераклѣ и Мелеагрѣ вспоминать о тѣхъ, о которыхъ мы говорили выше — про Артемиду и про Эакидовъ? Развѣ только для того, чтобы лишній разъ подчеркнуть разницу между свободнымъ полетомъ ничѣмъ не связаннаго духа и его послушнымъ движеніемъ по предначертанной колеѣ. Не этотъ ли свободный полетъ и разумѣлъ поэтъ, когда онъ — въ приведенномъ выше (въ концѣ § 3) отрывкѣ изъ той же пятой эпиники — сравнивалъ свою пѣснь съ орломъ, котораго „не удерживаютъ ни вершины просторной земли, ни вздымающіяся волны вѣчно движущагося моря?“

Закончу эту часть своего очерка третьей эпиникіей Вакхилида, написанной въ честь того же Іерона; это — во многихъ отношеніяхъ самая замѣчательная изъ всѣхъ.

Она застала могучаго сиракузскаго владыку уже на одрѣ смерти. Въ послѣдній разъ проявилъ онъ свою „всевидную доблесть“ своей побѣдой на колесницѣ въ Олимпіи; чтобы увѣковѣчить память о ней, онъ посвятилъ нѣсколько золотыхъ треножниковъ въ храмъ того бога, который, будучи покровителемъ аристократической формы правленія, все-таки милостиво отнесся къ нему, хотя тревожныя для всей Сициліи обстоятельства и заставили его управлять Сиракузами на началахъ единовластія. Ясно было, что обыкновенный тонъ эпиникій былъ въ данномъ случаѣ неумѣстенъ; печего было призывать къ умѣренности человѣка, покончившаго свои счеты съ землей и ея надеждами и имѣвшаго передъ собой вѣчность. Вакхилидъ понялъ это; въ немногихъ словахъ касается онъ самой побѣды и вызванныхъ ею привѣтственныхъ возгласовъ въ честь побѣдителя, который „знаетъ, что не должно хоронить богатство подъ чернымъ покровомъ мрака“; вспомнивъ о богатомъ дарѣ, отправленномъ Іерономъ въ Дельфы, онъ продолжаетъ:

„Да, бога, бога должно возвеличивать; въ этомъ — самое прочное счастье. Зато нѣкогда и владыку укротительницы коней Лидіи, Креза, спасъ Аполлонъ, когда — во исполненіе непреложной воли Зевса — Сарды были взяты войскомъ персовъ. Доживъ до многослезнаго дня, до котораго онъ не надѣялся дожить, Крезъ не хотѣлъ дожидаться рабства; приказавъ воздвигнуть костеръ перелъ своимъ дворцомъ о мѣдныхъ стѣнахъ, онъ взомелъ на него вѣстѣ со своей благородной женой и своими прекраснотрудными дочерьми. Плакали навзрыдъ дѣвушки; онъ же, простирая свои руки къ вы-

сокому ээиру, воскликнулъ: «Непроборимый рокъ! гдѣ же благодарность боговъ? гдѣ владыка Аполлонъ? Вотъ несмѣтная полчища враговъ надвигаются на домъ Аліатта (отца Креза); огнемъ истребляется нашъ городъ; кровь обогрѣла волны золотоснаго Пактола; въ безчестіи уводятъ женщинъ изъ прекрасныхъ чертоговъ. Что прежде было ненавистно, то теперь мило; смерть — самая желанная участь». Такъ сказалъ онъ и велѣлъ любимому рабу зажечь его деревянный домъ. Вскрикнули дѣвушки и обвинили руками шею милой матери; вѣдь явная смерть — самая горькая для смертныхъ. — Но когда уже забѣгалъ по костру сверкающими змѣйками страшный огонь, Зевсъ наслалъ черную тучу и потушилъ бурое пламя. Не бываетъ вѣроятнымъ то, что создаетъ забота боговъ: Аполлонъ тогда унесъ къ гиперборейцамъ старца и поселилъ его тамъ съ его легконогими дочерьми за его благочестіе, за то, что онъ болѣе даровъ, чѣмъ кто-либо изъ смертныхъ, посвятилъ въ божественныя Дельфы».

Можно быть очень хорошимъ знатокомъ античнаго міра и все-таки остаться пораженнымъ этимъ рассказомъ. Что это? Мнѣ? Нѣтъ, это — *легенда*; его смыслъ — тотъ же, что и смыслъ всякой легенды: оправданіе божества, *теодицея*. Не забудемъ, что гиперборейцы и ихъ страна, это — рай аполлоновой религіи; есть даже основанія полагать, что гора гиперборейцевъ была Монсальватомъ греческихъ вѣрованій. „Ни на кораблѣ, ни пѣшкомъ“, говоритъ Пиндаръ, „не найдешь ты чудеснаго пути къ сборищу гиперборейцевъ... Радуется Аполлонъ ихъ вѣчному веселью и славословіямъ... И муза не чуждается ихъ нравовъ: всюду кружатся хороводы дѣвъ, всюду раздается голосъ лиры и шумные напѣвы флейтъ; увѣнчавъ волосы золотистой лавровой вѣтвью, они благодушно шируютъ. Ни болѣзни, ни гибельная страсть не нависли надъ этимъ благословеннымъ племенемъ; они живутъ, не зная ни трудовъ, ни раздоровъ, не боясь гнѣва слишкомъ справедливой Немесиды“ — той Немесиды, которая караетъ, какъ нѣчто преступное, стремленіе человѣка къ слишкомъ полному счастью. И вотъ къ ихъ-то сонму приобщаетъ Аполлонъ старца Креза съ его семьей, чтобы и онъ благодушно пировалъ, увѣнчавъ голову золотистой лавровой вѣтвью, чтобы и его дочери кружились въ хороводахъ блаженныхъ дѣвъ; за что? Былъ ли онъ въ родствѣ съ богами, подобно Менелая, которому вѣщая дочь морского царя говорить (въ Одиссеѣ):

Ты-жъ, Менелай, не умрешь: на окраинѣ міра земного
Боги тебя поселятъ, въ Елисейской блаженной долині;

Сладостно жизнь тамъ течетъ, какъ вѣгдѣ, для людей землеродныхъ;
 Ихъ тамъ не мучать ни свѣгъ, ни порывы Борея, ни ливень;
 Нѣтъ; океана тамъ волны прохладою вѣчно дышать,
 Вѣчно тамъ съ шепотомъ вѣжнымъ заскаетъ Зефиръ челоуѣка.
Это — за то, что Елены супругъ ты и зять Громовержца.

Или былъ онъ посвященъ въ элевсинскія и орфическія мистеріи, сулившія вѣчное блаженство своимъ адептамъ и кромѣ нихъ—никому? Нѣтъ; за что Крезъ былъ удостоенъ раи, это намъ говорить самъ поэтъ: „за благочестіе“. Это — единичное свидѣтельство; никто не счелъ бы раньше возможной такую мысль для пятого вѣка, для доплатоновскаго міросозерцанія. Положимъ, поэтъ самъ тутъ же и поясняетъ: „за то, что онъ болѣе даровъ, чѣмъ кто-либо изъ другихъ, посвятилъ въ божественныя Дельфы“, и по этому поясненію мы сразу узнаемъ пропасть между чистой эсхатологіей Платона и грубоватой греческой, которой слѣдуетъ Вакхилидъ; но при всемъ томъ мысль, что челоуѣкъ награждается раемъ за добрыя дѣла, за личныя заслуги—явленіе поразительное для той эпохи, о которой мы говоримъ.

Интересъ нашей эпипикии не исчерпывается, однако, этой сакрально-нравственной стороною; въ ней есть и сакрально-политическая, пожалуй, еще болѣе интересная.

Чтобы понять ее, нужно представить себѣ во всей его соблазнительной красотѣ золотой сонъ дельфійской коллегіи середины VI вѣка. Духовная ея гегемонія въ Элладѣ была общепризнана; многочисленныя греческія колоніи распространили ея славу и на окраины цивилизованнаго міра; и вотъ Крезъ, властелинъ золотой Лидіи, самый могущественный изъ извѣстныхъ эллинамъ царей, обращается въ Дельфы съ богатыми приношеніями, прося совѣта для задуманной имъ войны. Въ случаѣ утвердительнаго отвѣта со стороны Дельфовъ, благополучный исходъ войны сулитъ имъ не болѣе и не менѣе, какъ всемірную духовную гегемонію; но былъ ли онъ вѣроуѣтенъ? Повидимому, да; во всякомъ случаѣ, Дельфамъ онъ показался таковымъ; съ благословенія Аполлона Крезъ двинулся въ походъ противъ Кира. Результатомъ было разрушеніе лидійской державы и плѣненіе самого Креза; золотой сонъ Дельфовъ исчезъ, оставивъ послѣ себя горькое сознаніе страшной поли-

тической ошибки, грозившей въ корень подорвать обаяніе дельфійскаго бога. „Смотри“, говоритъ Гермесъ Харону у Лукіана, „вотъ Крезъ посвящаетъ Аполлону Пнѣйскому золотые кирпичи, въ благодарность за оракулъ, отъ котораго онъ и погибнетъ немного спустя“—страшныя слова, но болѣе чѣмъ естественныя послѣ того, что произошло. Все же они были произнесены лишь скептикомъ эпохи упадка античнаго міра; въ нашу эпоху народъ былъ еще довѣрчивъ, и концомъ всего случившагося былъ новый отпрыскъ на волшебномъ деревѣ греческой саги—легенда, о которой я только-что говорилъ, и которую мы имѣемъ полное право назвать *дельфійской* легендой. „Аполлонъ“—таковъ ея смыслъ—„далъ Крезу не меньше, а больше противъ того, чего онъ требовалъ: онъ требовалъ удачи на землѣ, Аполлонъ же далъ ему въ награду за его благочестіе вѣчное блаженство въ раю“. А посему—продолжаемъ словами поэта—„бога, бога должно возвеличивать; въ этомъ самое прочное счастье“.

Какъ легко узнаемъ мы во всемъ этомъ ту—какъ ее называетъ Гейне—„колыбельную пѣсню о небесахъ, которой всегда убаюкивали большое дитя, именуемое народомъ“; но кто бы могъ подумать, что она слышалась на землѣ въ столь раннюю эпоху?

6.

Что же, однако, сказать о томъ цѣломъ, отдѣльныя части котораго мы разобрали въ трехъ предыдущихъ главахъ? Что она въ своей совокупности, эпипикія первой половины 5-го вѣка?

Мы легче поймемъ это, перенесшись мыслями въ болѣе позднее время—такъ поколѣнія на два. На аѣинской сценѣ исполняется комедія Аристофана „Птицы“. Смѣлый аѣинянинъ Пнѣетеръ основалъ городъ Тучекукуевскъ, могучую столицу птичьяго царства, и совершаетъ по этому поводу обычное жертвоприношеніе. Священнодѣйствіе, однако, прерывается приходомъ непрошеннаго гостя—поэта.

Поэ́тъ (*восторженно*).

Сей градъ блаженный и святой,
Тучекукуевскъ, Муза, днесь
Въ хвалебной пѣснѣ ты воспой...

П и е е т е р ь.

Что за напасть? Ты кто? Скажи, любезный!

П о э т ь.

Я—льющій медовыхъ потоки рѣчей,
Божественныхъ Музъ легконогій служитель,—
Глаголомъ Омира вѣщая.

П и е е т е р ь.

Вотъ оно что! ты—рабъ. Но какъ же, братецъ,
Себѣ ты гриву отостигъ такую?

П о э т ь.

О, нѣтъ, человѣче! Пить предъ тобой,
Божественныхъ музъ легконогій служитель,—
Глаголомъ Омира вѣщая.

П и е е т е р ь (*косясь на дырявый плащъ поэта*).

Что налегкѣ ты—это я, братъ, вижу.
А все-жъ, пить, скажи мнѣ: чего ради
Нелегкая сюда тебя несетъ?

П о э т ь.

Тучекукуевскъ, градъ вашъ, я воспѣлъ
Въ зѣло прекрасныхъ хороводныхъ одахъ,
Въ кивлическихъ и въ Симонида стигѣ.

П и е е т е р ь.

Когда же ихъ ты сочинить успѣлъ?

П о э т ь.

Давно, давно сей градъ я прославлю.

П и е е т е р ь.

Вотъ диво-то! А я его рожденья
Десятодневъ сегодня лишь справляю,
Сегодня лишь младенцу имя даю!

П о э т ь (*улыбаясь*).

Мгновенна-бо вѣсть сладкозвучныя Музы,
Что быстрая прыть вѣтроногихъ коней.

(*одохновенно*)

Се ты, владыка Геронъ,
Этнейска града повелитель!
Ты, іереевъ нареченъ
Священнымъ именемъ, родитель!

Рабу смиренну твоему
Даруй, о, вождь отчизны славной,
Что пожелаешь дать ему,
Кивкомъ главы твоей державной!

П и е е т е р ь (*обращаясь къ своимъ*).

Намъ вѣкъ съ нимъ, господа, не развязаться,
Коли не дать чего-нибудь. Вотъ, ты:
Въ плащъ небось, въ фуфайкѣ щеголяешь;
Сними-жъ фуфайку и пинту дай
Премудрому (*поэту*):

Бери фуфайку! Грѣйся!
И то морозомъ вѣть отъ тебя.

П о э т ь (*беретъ фуфайку*).

Охотно Муза сладкогласа
Твою, о, царь, пріемлетъ мзду;
Но ввемли: се, съ высотъ Парнаса
Къ тебѣ я съ Пиндаромъ иду.

П и е е т е р ь (*съ отчаяніемъ*).

Боги! Когда-жъ отстанетъ онъ отъ насъ?

П о э т ь.

Въ равнинахъ Скиѣи пустынной
Дрожа скитается Стратонъ,
Зане, глупецъ, тулупъ овчинный
Стяжать не умудрился онъ.

(*Показывая фуфайку*).

Безславно риза невелика
Ко плоти отошла моей,
Плаща лишившись Владыка,
Ты мой глаголь уразумѣй.

П и е е т е р ь.

Уразумѣлъ: фуфайки, значить, мало,
Подай и плащъ. Ужъ такъ и быть!

(*Одному изъ своихъ*).

Сними;

Пинту радъ я прислужиться. (*Поэту*)

Другъ мой:

Бери и—улепетывай.

Поэтъ.

Теку.

А дома оду сочиню такую:

Обитель мразовъ, дрожи градъ,
Златопрестольная, воспой!
Въ небесну ширь, гдѣ снѣгъ и холодъ,
Проникъ я смѣлою стопой.
Ура! (*Уходитъ*).

Пиетеръ (*ворчитъ*).

Отъ мразовъ ты, положимъ, обезпеченъ,
Въ чужой одѣвшись плащъ. Да богъ съ тобой!
А все-жъ не думалъ я, что эта сволочь
Про городъ нашъ пронюхаетъ такъ скоро.

Что это за поэтъ? Опреѣленное лицо или типъ? Мы этого не знаемъ, да оно и неважно; и въ томъ и въ другомъ случаѣ это—прямой потомокъ Пиндаровъ и Вакхилидовъ. Переведенная сцена изъ Аристофана даетъ намъ вѣрное понятіе о вырожденіи эпиникии и всей родственной ей такъ называемой энкоміастической (т.-е. хвалебной) лирики и объ ея безпочвенности въ Аѣинахъ конца 5-го вѣка.

Что же измѣнилось? Все, или почти все.

Прежде всего мы не встрѣчаемъ того политическаго строя, которымъ обуславливалась жизнеспособность эпиникии. Мы знаемъ уже, что строй этотъ—строй аристократическій; въ Аѣинахъ же аристофановой эпохи торжествовала демократія, чѣмъ дальше, тѣмъ больше. — Во-вторыхъ, и религіозный складъ умовъ—если можно такъ выразиться—сталъ нѣсколько инымъ. Поэтъ эпиникинъ былъ пророкомъ Аполлона; обаяніе же Аполлона было въ Аѣинахъ Аристофана уже не тѣмъ, что раньше въ аристократической Греціи Пиндара и Вакхилида. Положительно, дельфійскому богу не везло въ политикѣ послѣ неудачи съ Крезомъ, которую онъ такъ мило прикрылъ разсказанной Вакхилидомъ легендой. Не Аполлонъ, а Діонисъ былъ въ Аѣинахъ богомъ-покровителемъ поэзіи; драма и ди-ѳирамбъ возобладали надъ пѣаномъ и эпиникией.

Но главное то, что нравственный идеалъ, выработанный въ эпоху эпиникии, потерпѣлъ крушеніе. Какъ хорошо въ своемъ родѣ, какъ законченно было то міросозерцаніе, выста-

влявшее „всевидную доблесть“, *pasiphanès aretè*, высшею цѣлью человѣческихъ стремленій! И поэзія находила при немъ свое законное мѣсто, свое неотъемлемое право на существованіе. Она содѣйствовала „завершенію доблести“, она дѣлала ее „всевидной“, прославляя имя и дѣянія доблестнаго мужа. Мы въ правѣ увлекаться этимъ идеаломъ и эпохой, его выработавшей; это была счастливая, жизнерадостная эпоха. Но она носила въ себѣ зародышъ своей гибели; есть мысли, которыя достаточно ясно формулировать для того, чтобы ихъ опровергнуть. Этика Вакхилида ставила завершеніе доблести въ зависимость отъ внѣшнихъ условій; съ этимъ отвѣтомъ человѣку примириться нельзя. Началась долгая, суровая работа мысли, результатомъ которой было превращеніе внѣшней *aretè* во внутреннюю, доблести въ добродѣтель, идеала эпиникии въ идеалъ философіи Сократа и Платона. Софисты первые уронили идеалъ эпиникии, уронили именно тѣмъ, что высказались за него, но, поступая со строгой послѣдовательностью, дали ему такое толкованіе, которое привело бы въ ужасъ благочестивыхъ „пророковъ Аполлона“, Пиндара, Симонида—и племянника и подражателя послѣдняго, нашего Вакхилида. Въ „Государствѣ“ Платона софистъ Эрасимахъ съ жаромъ отстаиваетъ положеніе, что человѣкъ несправедливый, но пользующійся славой справедливости, гораздо счастливѣе мужа справедливаго, но въ этомъ качествѣ непризнаннаго. Могъ бы Вакхилидъ его опровергнуть? Нѣтъ; вѣдь ясно, что „всевидная доблесть“ на сторонѣ перваго. Вотъ почему Платонъ въ своемъ боевомъ діалогѣ, написанномъ противъ софистовъ, въ „Протагорѣ“, выставляетъ отца греческой софистики союзникомъ и сподвижникомъ Симонида: онъ выступаетъ тамъ защитникомъ и толкователемъ одной эпиникии послѣдняго и терпитъ крушеніе вмѣстѣ съ ней.

Да, идеалъ эпиникии долженъ былъ погибнуть для того, чтобы надъ нимъ восторжествовалъ идеалъ философіи; но это не уменьшаетъ ни его поэтического, ни его культурно-историческаго значенія и интереса. Намъ нравятся эти сильные тѣломъ и душою герои Пиндара и Вакхилида, прерывающіе свои шумныя застольныя бесѣды для того, чтобы выслушать пѣвца, говорящаго имъ о ложномъ и объ истинномъ счастьѣ,

о достоинствѣ различныхъ стремленій человѣка, о смыслѣ и о цѣнѣ его жизни. Намъ нравится ихъ интересъ къ высшимъ вопросамъ бытія; мы видимъ, это тѣ самые люди, къ которымъ чрезъ два поколѣнія и вѣчно ищущій Сократъ будетъ обращаться со своими вопросами, чтобы узнать, наконецъ, какъ человѣкъ себя понимаетъ. Намъ нравится и данный имъ отвѣтъ, „всевидная доблестъ“, этотъ душистый и пышный цвѣтокъ, выросшій на нивѣ ихъ мысли; мы знаемъ, что это не пустоцвѣтъ, что когда онъ завянетъ и засохнетъ, то изъ него вырастетъ здоровый и спасительный плодъ—идея добра.

А поэтому намъ нравится и эпиникия Вакхилида. Читая ее, мы сознаемъ, что мы не на какой-нибудь болѣе или менѣе интересной отдаленной тропинкѣ, нѣтъ, что мы остаемся на столбовой дорогѣ умственного и нравственного прогресса человѣчества. Но именно то, что составляетъ главный интересъ вакхилидовой эпиникии, затрудняетъ въ то же время и ея пониманіе; чтобы ее понять, мы должны были перенестись въ то общество, изъ котораго и для котораго она возникла.

7.

Иное дѣло—*баллады* того же поэта, вторая и меньшая часть его наслѣдства, выданнаго намъ, наконецъ, таинственной египетской могилой. Терминъ этотъ, выбранный мною для обозначенія шести послѣднихъ поэмъ Вакхилида, происхожденія новѣйшаго; но такъ какъ, съ одной стороны, общаго античнаго термина для всѣхъ шести намъ не предложить (только про двѣ, съчетомъ вторую и третью, можно сказать, что онѣ были или пэанами или гипорхемами), а съ другой стороны, онѣ, по своему содержанію, болѣе всего приближаются къ тому типу лирико-эпической поэзіи, который мы называемъ балладой,—то позволительно будетъ, впредь до дальнѣйшихъ филологическихъ изслѣдованій, удержать предложенный мною терминъ.

Подобно эпиникиямъ, и баллады Вакхилида назначены не для чтенія, а для исполненія. Одна изъ нихъ, третья, кончается словами: „Возрадуйся, Аполлонъ, пѣснямъ хора кеосцевъ и ниспошли имъ богоданную счастливую судьбу“, изъ

которыхъ мы заключаемъ, что она была назначена къ исполненію на празднествѣ кеосцевъ, земляковъ поэта, въ честь Аполлона. Изъ сильно пострадавшаго начала второй баллады можно вывести заключеніе, что она должна была быть исполнена дельфійцами на праздникъ того же бога. Пятая озаглавлена: „Іо. Для аѳинянъ“, шестая: „Идась. Для лакедемонянъ“, что наводитъ насъ на такого же рода предположенія и относительно ихъ назначенія; и мы имѣемъ, разумѣется, полное право распространить эту аналогію также и на оставшіяся баллады, первую и четвертую. Но, кромѣ этихъ преимущественно внѣшнихъ примѣтъ, ничто не связываетъ балладу съ ея назначеніемъ; она понятна и безъ него, понятна теперь такъ же, какъ и тогда. Этимъ она рѣзко отличается отъ эпикіи.

Впрочемъ, одного требуетъ и она: знанія міеологіи. Дѣйствительно, всѣ баллады міеологическаго содержанія и, кромѣ того, рассчитаны на людей, до нѣкоторой степени свѣдущихъ въ міеахъ. Вакхилидъ, поэтому, не представляетъ читателю своихъ героев, полагаясь на то, что они и такъ извѣстны; но это не все. Гораздо замѣчательнѣе слѣдующая черта. Законченность не обязательна для балладъ Вакхилида; онѣ могутъ не имѣть начала, могутъ не имѣть конца. Мы встрѣтились уже съ этой особенностью въ эпикіяхъ; но тамъ эпическая часть была лишь арабеской, болѣе или менѣе искусно вплетенной въ лирическую поэму. Гораздо разительнѣе она въ балладахъ, при ихъ исключительно эпическомъ содержаніи. Поясню сказанное на примѣрахъ.

Первая баллада озаглавлена: „Атенориды, или требованіе о возвращеніи Елены“; изъ перваго слова мы догадываемся, что главную роль въ ней играли сыновья того Атенора, который, будучи троянцемъ, сочувствовалъ грекамъ, за что и далъ свое имя одной части послѣдняго круга Дантова ада, назначенной предателямъ своего отечества. Говорю: догадываемся; такъ какъ начало баллады намъ не сохранено, то мы и объ его композиціи судить не можемъ. Въ сохранившейся же части рассказано, какъ греческихъ пословъ, въ томъ числѣ Менелая, ввели въ совѣтъ царя Пріама. Менелай первый начинаетъ говорить: „Друзья брани, троянцы“, сказать онъ, „высоко-

державный, всевидящій Зевсъ не виновенъ въ великихъ бѣдствіяхъ, постигающихъ смертныхъ; всѣмъ доступна, для всѣхъ достижима прямая Правда, подруга священной Законности и мудрой Ѳемиды; блаженны тѣ люди, которые ее избираютъ своей правительницей. Напротивъ, ни передъ чѣмъ не останавливающаяся Кривда (hybris), расцвѣтающая въ хитрой лжи, въ неразумныхъ излишествахъ—она быстро можетъ дать человѣку чужое богатство и силу, но столь же быстро низвергаетъ его въ глубокую пропасть гибели; она погубила и гордыхъ гигантовъ, сыновъ Земли“. Здѣсь—конецъ баллады: даже продолженіе рѣчи Менелая не сообщено. Въ этомъ—спѣшу замѣтить это—сомнѣнія быть не можетъ; нельзя предположить, что конецъ баллады намъ только не сохраненъ, такъ какъ въ метрическомъ отношеніи поэма закончена.

Такую же странность встрѣчаемъ мы во второй балладѣ, посвященной послѣднему жертвоприношенію Геракла. Начинается она словами: „Мы поемъ, какъ нѣкогда смѣлый сынъ Амфитріона оставилъ городъ Эхалию добычею пламени...“; затѣмъ идетъ рассказъ о благодарственномъ жертвоприношеніи Геракла по случаю взятія этого города „Тогда“, продолжаетъ поэтъ, „непреоборимый рокъ подсказалъ Деянирѣ многослезную хитрость, когда она узнала горькую вѣсть о томъ, что безстрашный сынъ Зевса ведетъ бѣлорукую Іолу женой въ свой богатый домъ. О, несчастная, о, горемычная, что задумала она! Погубила ее могучая зависть и мрачная завѣса передъ тѣмъ, чему суждено было исполниться, когда на цвѣтистой рѣкѣ Ликормѣ она приняла отъ Несса роковой, чудесный даръ“. И опять конецъ; въ чемъ состояла хитрость Деяниры и какой она имѣла планъ—объ этомъ ничего не сказано.

Темноты тутъ, разумѣется, нѣтъ никакой. Слушатели Вакхилида знали—да и мы это знаемъ—что Менелай въ главной части своей рѣчи требовалъ возвращенія ему Елены и что это его требованіе уважено не было; они знали, что Деянира, чувствуя себя оставленной своимъ мужемъ Геракломъ, прибѣгла къ мнимо-любвному средству, подаренному ей нѣкогда коварнымъ кентавромъ Нессомъ, и противъ своей воли отравила имъ своего мужа во время его благодарственного жертвоприношенія. Очевидно, Вакхилидъ отнесся

къ своему дѣлу иначе, чѣмъ къ нему отнесся бы современный поэтъ. Мы требуемъ отъ поэмъ законченности композиціи независимо отъ того, предполагаетъ ли авторъ свой сюжетъ извѣстнымъ читателямъ или нѣтъ; и нѣтъ надобности доказывать, что наше требованіе справедливо. Точно такъ же понимали свою задачу и древніе поэты, писавшіе поэмы родственнаго характера, начиная, приблизительно, съ Теоокрита—о болѣе раннихъ мы представленія не имѣемъ. У Вакхилида не то. Греческая сага—это рѣка, текущая вдоль лѣса по равнинѣ. Вотъ черезъ просѣку заглянуло солнце и ярко освѣтило небольшое пространство этой рѣки. Ему дѣла нѣтъ до того, что освѣщенное имъ пространство не имѣетъ ни начала, ни конца; и мы любуемся игрою лучей на поверхности волнъ, ничуть не смущаясь незаконченностью этой картины. Такъ, повидимому, и современники Вакхилида охотно мирились съ тѣмъ, что ихъ поэтъ освѣщалъ своимъ талантомъ лишь произвольно выбранный имъ уголокъ всѣмъ знакомой саги.

Съ историко-литературной точки зрѣнія это явленіе интересно. Не Вакхилидъ былъ изобрѣтателемъ баллады; таковымъ должны мы считать Стесихора, отъ поэмъ котораго сохранились лишь отрывки. Если законченность не обязательна для Вакхилида, то она подавно не обязательна и для этого гораздо болѣе древняго поэта. Такимъ образомъ наша находка освѣщаетъ намъ цѣлую область ранней греческой лирики, о которой мы до сихъ поръ ничего сказать не могли.

Но если законченность и не обязательна для балладъ Вакхилида, то это не значить еще, чтобы она въ нихъ отсутствовала совсѣмъ. Мы познакомились до сихъ поръ лишь съ двумя его балладами; всѣхъ же шесть. Правда, о шестой, въ виду незначительности сохранившагося отрывка, ничего сказать нельзя; но уже въ пятой—въ Іо—мы имѣемъ если не законченный, то, по крайней мѣрѣ, цѣльный рассказъ. Приключенія Іо доведены до конца; недостаетъ, однако, объединяющей идеи, фокуса, такъ сказать, композиціи, а потому и законченности за этой балладой признать нельзя. А такъ какъ по своимъ поэтическимъ достоинствамъ она стоитъ не выше рассказа о дочеряхъ Прета въ 11-ой эпиникии, то мы ее можемъ оставить въ сторонѣ. Остаются, такимъ образомъ, двѣ: третья и четвертая;

изъ нихъ послѣдняя закончена, если не по формѣ, то по идеѣ, первая же — и въ томъ, и въ другомъ отношеніи. Начнемъ, однако, съ той, т.-е. съ четвертой баллады.

По преданію, аѣинскій царь Эгей, приживъ отъ трезенской царевны сына Тесея, оставилъ его у матери. Прощаясь съ ней, онъ приподнялъ огромный камень и, положивъ подъ него свой мечъ, опустилъ обратно; женѣ же сказалъ, чтобы она тогда только отправила сына къ нему, когда онъ будетъ настолько силенъ, чтобы добыть изъ-подъ камня его мечъ. Затѣмъ потекли годы; Эгей состарился, и его душой овладѣла (послѣ расправы съ Ясономъ) злая волшебница Медея. Но вотъ намѣченный Эгеемъ и затѣмъ забытый имъ срокъ наступилъ: Тесей явился. Никто его не узналъ, кромѣ Медеи; предчувствуя, что этотъ юноша положить конецъ ея власти, она возбудила подозрѣніе стараго царя противъ него и уговорила его поднести ему ядъ въ привѣтственномъ кубкѣ. Принимая кубокъ изъ рукъ отца, Тесей, согласно обычаю, отстегнулъ свой мечъ и положилъ его на столъ; по этому мечу отецъ его призналъ и еще во-время успѣлъ вышибить у него изъ рукъ отравленный кубокъ. Медея убѣдилась, что ея дѣло проиграно, и спаслась бѣгствомъ.

Все это поэтъ предполагаетъ извѣстнымъ своимъ слушателямъ; онъ переноситъ насъ въ тотъ моментъ, когда вѣсть о приближеніи таинственнаго юнаго богатыря была принесена въ Аѣины. Вся баллада состоитъ изъ разговора между Эгеемъ и Медеей, начинается она въ истинно-былинномъ стилѣ такъ: „Царь священныхъ Аѣинъ, властитель веселыхъ іонійцевъ! Отчего недавно мѣднозвонная труба заплѣла воинственную пѣснь? Недругъ ли во главѣ войска переступаетъ границы нашей земли? Или злодѣи-разбойники силой уводятъ стада овецъ, обижая пастуховъ? Или что другое озабочиваетъ твое сердце? Говори; я полагаю, что если какой-либо смертный располагалъ силой отважныхъ юношей, то располагаешь ею и ты, сынъ Пандіона и Креусы!“ Эгей объясняетъ ей въ чемъ дѣло, рассказываетъ ей о подвигахъ юнаго незнакомца, о томъ, какъ онъ истребилъ разбойниковъ; „боюсь, — заключаетъ онъ свой рассказъ, — что это кончится чѣмъ-то недобрымъ“. Медея еще болѣе встревожена; опасенія за самой себя слышатся въ ея

дальнѣйшихъ вопросахъ: „А кто этотъ человѣкъ, по твоимъ извѣстіямъ, и откуда? Съ какой свитой приходитъ онъ? Ведетъ ли большую рать съ браннымъ оружіемъ? Или шествуетъ въ однихъ только своихъ доспѣхахъ, точно купецъ-скиталецъ по чужой землѣ, — онъ, столь стойкій, могучій и смѣлый, что смогъ усмирить великую силу тѣхъ мужей? Видно, самъ богъ его посылаетъ творить судъ надъ дурными людьми. Трудно вѣдь человѣку, всегда творящему зло, избѣгнуть зла самому; все можетъ совершиться въ долгомъ времени“. Отвѣтъ Эгея не особенно успокоителенъ; онъ описываетъ ей осанку и вооруженіе юноши и заключаетъ словами: „Въ глазахъ его сверкаетъ багровое пламя вулкана; онъ — отрокъ на порогѣ юности, но знающій утѣху Ареса, войну и мѣдный шумъ битвъ; направляется же онъ въ царство доблести — Аѣины“. Этимъ знаменательнымъ словомъ кончается баллада. Поэтъ описалъ одинъ только моментъ — возникновеніе тревоги въ душѣ Медеи, но это описаніе едино и законченно. Его фокусъ — озабоченныя слова, въ которыхъ Медея по участи убитыхъ Тесеемъ разбойниковъ догадывается объ участи, ожидающей ее самое: „самъ богъ посылаетъ его творить судъ надъ дурными людьми; трудно вѣдь человѣку, всегда творящему зло, избѣгнуть зла самому“.

Но эта четвертая баллада при всѣхъ своихъ неоспоримыхъ достоинствахъ не выдерживаетъ сравненія съ *третьей*, озаглавленной „Молодежь и Тесей“; такъ какъ эта послѣдняя должна быть признана вѣнцомъ не только балладъ, но и всѣхъ поэмъ Вакхилида, то мы имѣемъ право заняться ею обстоятельнѣе.

8.

„Корабль о черной кормѣ, увозившій храбраго Тесея и съ нимъ двѣ седмицы прекрасной іонійской молодежи, уже разсѣкалъ волны Критскаго моря; мощно надували бѣлый парусъ сѣверные вѣтры, по волѣ славной владычицы брани, эгидоносицы Аѣины“.

Такова обстановка, въ которую поэтъ прямо переноситъ своихъ слушателей; остальное они знали сами. Явившись въ Аѣины, Тесей, сынъ Эгея — который, однако, былъ только его

земнымъ отцомъ, между тѣмъ какъ его мистическимъ, божественнымъ отцомъ былъ, по вѣрованіямъ грековъ, владыка моря Посидонъ—засталъ этотъ городъ данникомъ царя Миноса; въ видѣ дани онъ долженъ былъ посылать ему ежегодно семь отроковъ и семь дѣвушекъ на съѣденіе заключенному въ лабиринтъ чудовищу Минотавру. Желая или освободить свое отечество отъ этого позора, или погибнуть, Тесей взялся сопровождать тѣхъ отроковъ и дѣвушекъ, которымъ въ томъ году выпалъ печальный жребій; среди послѣднихъ же находилась и красавица Эрибея. Миносъ лично явился за своей добычей; и вотъ они вмѣстѣ отправляются въ Критъ.

„Ранили сердце Миносу лютые дары Киприды, увѣнчанной нѣгой богини; не смогъ онъ долѣе удержать своей руки отъ дѣвушки, коснулся ея бѣлаго лица. Вскрикнула Эрибея, призвала мѣдноброннаго Пандіонова внука; взглянулъ на нихъ Тесей — грозно сверкнули черные зрачки подъ его бровями, страшная боль взволновала ему душу. И онъ сказалъ:

„—Сынъ великаго Зевса! нечестно управляешь ты сердцемъ въ своей груди; удержи, герой, свою гордую силу. Что намъ назначила всемогущая воля боговъ, что намъ приноситъ опустившаяся чашка вѣсовъ справедливости—рокъ свой мы выполнимъ, когда наступитъ часъ; ты же не давай хода своимъ обиднымъ помысламъ. Пускай тебя зачала въ ложѣ Зевса подъ отрогами Иды благородная красавица, дочь Феника—вѣдь и меня дочь богатаго Питоея родила морскому Посидону, а темнокудрья Нереиды даровали ей золотую фату. Поэтому я прошу тебя, вожь кносійцевъ, воздержаться отъ многослезной гордыни; не хочу я видѣть веселаго свѣта безсмертной Зари, если ты кого-либо изъ моихъ молодыхъ спутницъ подчинишь себѣ противъ ея воли. Нѣтъ! прежде мы испытаемъ силу своихъ рукъ, а что будетъ дальше—рѣшитъ богъ“.

„Такъ сказалъ мужъ о доблестномъ копѣѣ, удивляя пловцовъ своей гордой отвагой. Вскипѣлъ зять Солнца (Миносъ); сталъ онъ думать новую, коварную думу.

„—Сильный отецъ мой Зевсъ“, сказалъ онъ, „услышь меня! Если правда, что тебѣ меня родила бѣлорукая финикіянка, то ниспосли съ неба, какъ ясное знаменіе, быструю огневолосяю молнію. (Къ Тесею:) Если же и тебя трезненская Эра родила

сотрясателю земли Посидону, то (*снимая кольцо съ руки*), бросившись смѣло въ обитель твоего отца, принеси мнѣ съ глубины моря вотъ это прекрасное золотое украшеніе моей руки. А слышитъ ли мою молитву всѣмъ управляющій владыка молніи Кронидъ—это ты узнаешь тотчасъ“.

„Услышавъ могучій Зевсъ безмѣрную молитву; великую славу подарить онъ Миносу, желая сдѣлать всевидной честь своего милого сына. Сверкнула молнія; Минось, увидѣвъ вождѣльное чудо, простеръ руки къ святому ээиру, воинственный мужъ, и сказалъ:

„—Ты видишь, Ѡесей, этотъ ясный даръ Зевса? Бросься же и ты въ шумящее море; а отецъ твой, Кронидъ Посидонъ, доставитъ тебѣ высшую славу на зеленой землѣ“.

„Такъ сказалъ онъ; у того же не содрогнулась душа. Ставъ на плотную палубу, онъ прыгнулъ; мирно приняла его морская пучина. Возликовалъ въ душѣ своей сынъ Зевса и — *велмѣ пустить по вѣтру прекрасный корабль*; но судьба готовила другой исходъ. Быстро понеслось судно; сѣверный вѣтеръ изо всей силы дулъ позади него. Вздогнули всѣ дѣти аэинянъ, когда герой бросился въ море, и слезы полились по ихъ нѣжнымъ щекамъ; они ждали горькой участи для него.

„Тѣмъ временемъ морскіе дельфины быстро понесли великаго Ѡесея къ дому его отца; онъ вошелъ въ чертогъ боговъ. Съ трепетомъ увидѣлъ онъ святыхъ дочерей блаженнаго Нерей; отъ ихъ дивныхъ тѣлъ исходила заря, точно отъ пламени, золотыя тѣсмы обвивали ихъ волосы; весело выступали онѣ въ хороводѣ своими гибкими ногами. Онъ увидѣлъ, затѣмъ, и дорогую супругу своего отца, прекрасноокую Амфитриту; она облачила его въ пурпуровый плащъ и возложила на его кудри драгоцѣнный вѣнецъ—тотъ вѣнецъ съ алыми розами, который ей нѣкогда подарила на ея свадьбѣ коварная Афродита.

„Нѣтъ для разумныхъ людей ничего невѣроятнаго въ томъ, что творится по волѣ боговъ: онъ появился у корабля о красивой кормѣ. О, въ какихъ помыслахъ застигъ онъ кносского вождя, когда онъ вышелъ невредимымъ изъ моря, на удивленіе всѣмъ, съ дарами боговъ, блиставшими вокругъ его членовъ! Тутъ дѣвушки въ новомъ весельи съ радостнымъ крикомъ привѣтствовали его; далеко огласилось море; а вблизи юноши запѣли пѣанъ своимъ мягкимъ голосомъ.

„Аполлонъ делосскій! Возрадуйся пѣснямъ хора кеосцевъ и ниспошли имъ богоданную счастливую судьбу“.

* * *

Какъ было сказано выше, наша баллада имѣетъ въ рукописи два заглавія: „Молодежь“ и „Θεσεί“. Я желалъ бы предложить третье: „Медовый мѣсяцъ делосскаго союза“.

Читатель догадается, что я хочу завести рѣчь объ аллегорическомъ толкованіи нашей баллады, и, пожалуй, будетъ склоненъ отнестись недовѣрчиво къ этой попыткѣ. Замѣчу, поэтому, тутъ же, что вопросъ о допустимости или недопустимости аллегорическаго толкованія долженъ быть рѣшаемъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отдѣльно: будучи, напр., недопустимымъ у Шекспира, оно не только допустимо, но и прямо необходимо у Данте. Что же касается возникшихъ въ 5-мъ вѣкѣ до Р. Х. мифовъ — а мы имѣемъ полное основаніе полагать, что нашъ принадлежитъ къ ихъ числу — то они всѣ могутъ быть названы небесными проекціями земныхъ явленій. Особенно же это касается тѣхъ, героемъ которыхъ мы видимъ Θεσεί. Будучи первоначально довольно темнымъ мѣстнымъ героемъ, какихъ было въ Греціи множество, онъ въ эпоху тирана Писистрата входитъ въ славу какъ идеальный царь-объединитель Аттики. Но полный расцвѣтъ его почитанія состоялся лишь въ 5-мъ вѣкѣ и связанъ съ именемъ того человѣка, который былъ завершителемъ „делосскаго“ союза іонійскихъ морскихъ государствъ подъ главенствомъ Аѣинъ—Кимона. Въ 469 г. Кимонъ съ благословенія дельфійскаго бога—который былъ расположенъ къ нему за его аристократическую и спартанофильскую политику—перенесъ (мнимые) останки Θεσεί въ Аѣины, учредилъ ему культъ и выстроилъ храмъ, носившій его имя. Стѣны этого храма были расписаны современными художниками, Полигнотомъ и Микономъ; объ одной изъ картинъ этого послѣдняго позднѣйшій очевидецъ, Павсаній, говорить слѣдующее: „Распись третьей стѣны для незнакомыхъ съ преданіемъ неясна, отчасти по винѣ времени, отчасти же потому, что Миконъ изобразилъ не все. Отвезъ въ Критъ Θεσεί, а съ нимъ и остальныхъ отроковъ и дѣвушекъ, Миносъ

воспылалъ страстью къ Перибей (sic). Когда же Тесей ему воспротивился, онъ въ гнѣвъ среди другихъ оскорбительныхъ рѣчей сказалъ ему и то, что онъ не сынъ Посидона, такъ какъ не въ состояніи принести ему обратно его перстень, если онъ броситъ его въ море. Сказавъ это, Миносъ, говоря, бросилъ перстень; Тесей же вышелъ изъ моря съ этимъ перстнемъ и съ золотымъ вѣнкомъ, подаркомъ Амфитриты“.

Нѣтъ надобности доказывать, что картина Микона — точная иллюстрація къ балладѣ Вахилида. А такъ какъ обѣ онѣ — и картина и баллада — приблизительно одновременны, связь же картины съ политикой Кимона засвидѣтельствована, то позволительно догадываться о такой же связи также и для баллады. Теперь же вспомнимъ, что баллада была написана для хора города Кеоса, который былъ однимъ изъ іонійскихъ государствъ, входившихъ въ составъ делосскаго союза; прибавимъ къ этому, что она была исполнена въ честь „делосскаго“ Аполлона, покровителя этого союза; все это не можетъ не навести насъ на мысль, что прославляемый поэтомъ Тесей — олицетвореніе главенства Аѳинъ надъ делосскимъ союзомъ іонійскихъ государствъ.

А теперь присмотримся ближе къ содержанію баллады. Она сводится къ двумъ дѣйствіямъ: заступничеству за Эрибею и приключенію съ кольцомъ. Въ обоихъ противникомъ Тесея былъ критскій царь Миносъ; если Тесей — представитель Аѳинъ, какъ главы делосскаго союза, то что такое Миносъ? Отвѣтъ не можетъ быть сомнительнымъ: представитель Спарты, какъ главы всѣхъ греческихъ государствъ, не исключая и Аѳинъ, до сравнительно недавняго времени. Для этой роли онъ годился какъ нельзя лучше: Критъ былъ еще въ эпоху Гомера дорическимъ государствомъ, отца же Миноса Зевса и спартанцы называли своимъ родоначальникомъ. А если такъ, то и смыслъ приключенія съ кольцомъ выясняется сразу. Миносъ бросаетъ въ море свое кольцо; Тесей добываетъ его, доказывая этимъ свое происхожденіе отъ владыки моря Посидона. Спарта теряетъ главенство надъ морскими государствами (гегемонію на морѣ, какъ говорили проще) и оно переходитъ къ Аѳинамъ, какъ первостепенной въ Греціи морской державѣ. До какой степени этотъ символизмъ удобопонятенъ, показываетъ всѣмъ

известный родственный обряд обрученія венеціанскаго дожа съ Адриатикой.

Переходъ морской гегемоніи отъ Спарты къ Аѳинамъ былъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ дальновидной политикиThemistocles и Саламинской побѣды; но въ тѣ времена люди во всѣхъ историческихъ событіяхъ доискивались личныхъ мотивовъ, и причиной утраты Спартой гегемоніи была выставлена гордость (hybris) спартанскаго царя Павсанія и оскорбленія, которыя отъ него претерпѣвали союзники іонійцы. Именно эти оскорбленія повели къ тому, что іонійцы отложились отъ спартанцевъ и стали искать заступничества у Аѳинъ—такъ повѣствуютъ всѣ греческіе историки, начиная Геродотомъ, продолжая Фукидидомъ и Исократомъ и кончая Плутархомъ. Такъ представляетъ дѣло и Вакхилидъ: Миносъ оскорбляетъ Эрибею, одну изъ „іонійскихъ“ дѣвушекъ-спутницъ Тесея (прошу замѣтить, что Вакхилидъ не безъ умысла называетъ отроковъ и дѣвушекъ, сопутствующихъ Тесею, „іонійской молодежью“, хотя это были, разумѣется, аѳиняне и аѳинянки); Тесей заступаетъ за нее, вступаетъ въ споръ съ Миносомъ и въ этомъ спорѣ побѣждаетъ.

Интереснѣе всего то, что аллегорія Вакхилида, у котораго дѣвушка является символической представительницей оскорбленныхъ Павсаніемъ союзниковъ, была современемъ облечена въ плоть и кровь и превратилась въ настоящую легенду; эту легенду, какъ нельзя лучше подтверждающую правильность нашего толкованія, мы читаемъ у Плутарха въ біографіи Кимона. „Видя, что Павсаній обращается съ союзниками грубо и своевольно и допускаетъ много безчинствъ вслѣдствіе своего необузданнаго нрава и своей безразсудной сѣси, Кимонъ сталъ ласково принимать обижаемыхъ и человеколюбиво съ ними обращаться; такъ-то онъ незамѣтно, не съ помощью оружія, а обходительностью и добрымъ словомъ завоевалъ гегемонію надъ Элладой: большинство союзниковъ обратилось къ нему и къ Аристиду, не будучи въ состояніи выносить тяжелый нравъ и высокомеріе Павсанія. Говорятъ, между прочимъ, что Павсаній однажды велѣлъ привести къ себѣ, для разврата, византійскую дѣвушку, дочь знатныхъ родителей, по имени Клеонику; запуганные родители, за невозможностью сопроти-

вленія, отправили дѣвушку; она же, попросивъ спальниковъ убрать огонь, стала молча въ темнотѣ подходить къ ложу Павсанія, который уже спалъ. При этомъ она наткнулась на свѣтильникъ и нечаянно опрокинула его; Павсаній, услышавъ шумъ, испугался, схватилъ лежащій тутъ же кинжалъ—воображая, что къ нему приближается какой-то недругъ—и ударилъ имъ дѣвушку. Она упала и тотчасъ отъ удара умерла; но съ тѣхъ поръ и Павсанія оставилъ покой. Ночью, во время сна, ея тѣнь являлась ему и гнѣвно шептала ему стихъ:

Близокъ возмездіа часъ! человѣку на гибель надменность.

Это и было главной причиной того, что возмущенные союзники, съ Кимономъ во главѣ, осадили его и заставили уйти изъ Византіи“.

Разумѣется, наша баллада не нуждается въ этомъ толкованіи для того, чтобы быть понятной—я самъ сказалъ выше, что она понятна и такъ для всѣхъ, кто мало-мальски знакомъ съ греческой міѳологіей. Нѣтъ: второй ея смыслъ существуетъ параллельно съ первымъ, ничуть не подчиняя его себѣ. Главный его интересъ—историческій; онъ живѣе, чѣмъ какое бы то ни было историческое повѣствованіе свидѣтельству о довѣріи іонійскихъ союзниковъ къ Аѳинамъ въ первые годы аѳинской морской гегемоніи. Вотъ почему я выше предложилъ озаглавить нашу балладу: „Медовый мѣсяцъ делосскаго союза“.

9.

Успѣхъ Вакхилида, сказалъ я выше, былъ сравнительно умѣреннымъ у грековъ и почти ничтожнымъ у римлянъ. Последнее неудивительно и неважно; ни Пиндаръ, ни Симонидъ, въ силу характера своей поэзіи, не могли пользоваться успѣхомъ у другого народа, кромѣ своего. Важно первое обстоятельство; оно повліяло на оцѣнку Вакхилида въ новѣйшей литературѣ, причемъ, какъ это бываетъ часто, сравнительное пренебреженіе было замѣнено абсолютнымъ. Вотъ, ради примѣра, отзывъ о Вакхилидѣ въ наиболѣе распространенномъ изъ руководствъ греческой словесности—въ руководствѣ Криста

(Christ): „Его поэзія была только отзвукомъ величавой гениальности Симонида; ему недоставало самородной силы оригинальнаго творчества. Равнымъ образомъ и въ стилѣ онъ пошелъ не дальше опрятной гладкости“. Мнѣ думается, что теперь, послѣ открытія подлинныхъ поэмъ Вакхилида, этотъ приговоръ долженъ быть признанъ несправедливымъ. Никто не поставитъ новонайденнаго представителя греческой лирики выше того, который до послѣдняго времени былъ для насъ ея единственнымъ представителемъ, выше Пиндара: сравнительная оцѣнка древнихъ останется въ силѣ. Но онъ займетъ почетное мѣсто въ пантеонѣ древней поэзіи, немного ниже своего старшаго собесѣдника.

„Великъ буду я среди великихъ, малъ среди малыхъ“, гордо сказалъ про себя однажды этотъ послѣдній. И онъ былъ правъ; нужно умѣть возвыситься душою до надгорныхъ сферъ мысли, чтобы оцѣнить суровыя красоты пиндаровой музыки. Кто на это неспособенъ, для того Пиндаръ останется первообразомъ выпренняго пѣстическаго паренія и болѣе ничѣмъ. Вакхилидъ этихъ словъ про себя повторить бы не могъ. Онъ—поэтъ *общедоступный*; въ этомъ его главное отличіе отъ Пиндара. Древніе говорятъ намъ, что царь Іеронъ предпочиталъ его этому послѣднему, и что это предпочтеніе, оказываемое его сопернику, возмущало гордую душу еиванскаго поэта. Тщетно искали мы подтвержденія этому извѣстію въ новонайденныхъ поэмахъ; но, допуская его достоверность, мы безъ труда его поймемъ.

Вакхилидъ доступнѣе Пиндара, прежде всего, по своей внѣшней формѣ. Какъ легко и плавно льется его стихъ, какъ естественны и незамысловаты его конструкціи! Все у него ясно, все удобопонятно; можно прочесть много его стиховъ одинъ за другимъ, не испытывая непріятнаго чувства, что то или другое мѣсто лишь наполовину понято, что слѣдовало бы прервать чтеніе, чтобы тщательно вникнуть въ его смыслъ. Это, безъ сомнѣнія, заслуга, и заслуга немалая—тѣмъ болѣе, если подумать о тѣхъ трудностяхъ въ самой technikѣ стихосложенія лирическихъ поэмъ, которыя приходилось ему преодолѣть, о тѣхъ мудреныхъ лирическихъ схемахъ, отъ которыхъ въ глазахъ рябитъ у непривычнаго читателя, и которыя поэтъ долженъ былъ неуклонно соблюдать въ строгомъ соотвѣтствіи строкъ

и эподовъ. Надобно признать, Вакхилидъ съ замѣчательной легкостью владѣлъ стихомъ; это — Овидій греческой лирики.

Доступнѣе онъ Пиндара, во-вторыхъ, и по идейному содержанію своихъ поэмъ. Врядъ ли онъ когда-либо ощущать ту трагическую неудовлетворенность истиннаго поэта-творца, не находящаго выраженія тому, что волнуетъ его грудь, — ту неудовлетворенность, въ сознаніи которой Мицкевичъ однажды сказалъ, что „мысль извращаетъ чувство, а слово извращаетъ мысль“. Мы чувствуемъ ее не разъ у Пиндара, когда онъ, гнѣвно отбрасывая мысль, не желающую укладываться въ словѣ, прибѣгаетъ къ образу, или, наоборотъ, разрушаетъ образъ мыслью; но Вакхилидъ — совершенно другая натура: мягкій и податливый, онъ жилъ въ полномъ мирѣ со своими мыслями; свѣтлое, безмятежное настроеніе господствуетъ въ его поэмахъ. Онъ глубоко вѣруетъ въ свой идеалъ „всеобщей доблести“ и говорить о немъ въ сознаніи, что и всѣ окружающіе въ него вѣруютъ.

Эпиникия, послѣднимъ поэтомъ которой онъ былъ, умерла вмѣстѣ съ нимъ, но умерла по-гречески: съ улыбкой на устахъ.

II.

Геродъ

И ЕГО БЫТОВЫЯ СЦЕНКИ.

Истекшій 1891 годъ надолго останется памятнымъ въ исторіи классической филологіи; онъ принесъ намъ, не говоря о болѣе мелкихъ новинкахъ, два крупныхъ и драгоцѣнныхъ дара — книгу Аристотеля о государствѣ аѣнскомъ и бытovskyя сценки Герода. Какой счастливой случайности обязаны мы этими двумя находками — объ этомъ соблюдается пока тѣмъ, кому знать надлежитъ, упорное и знаменательное молчаніе; лишь самый фактъ случайности остается несомнѣннымъ, а съ установленіемъ этого факта устраняется всякая надобность задавать себѣ вопросъ о связи между обоими крупными приращеніями греческой письменности. Тѣмъ не менѣе, благодаря второй случайности, связь

эта существуетъ; историкъ греческой словесности, желающій опредѣлить мѣсто Герода въ интересующей его наукѣ, долженъ будетъ избрать исходной точкой Аристотеля и новонайденный его трактатъ; солидный и серьезный опытъ ученѣйшаго изъ греческихъ философовъ и игривыя картинки одного изъ наименѣе серьезныхъ греческихъ поэтовъ находятся въ довольно тѣсной причинной связи другъ съ другомъ, и только установленіе этой связи даетъ намъ возможность правильно судить о послѣднемъ.

Въ третью четверть четвертаго вѣка до Р. Х. родительница нашей культуры представляла печальную, безотрадную картину— безотрадную не потому, что ея содержаніемъ была отчаянная и безнадежная борьба лучшихъ греческихъ государствъ за свою независимость, а потому, что въ этихъ самыхъ государствахъ люди измѣльчали и не были болѣе въ силахъ нести тяжелое бремя геройства, завѣщанное имъ предками. Все же въ этой мрачной картинѣ мы находимъ одно мѣсто, освѣщенное самыми яркими лучами солнца,—мѣсто, гдѣ нашѣлъ себѣ убожище геній прогресса, давно уже покинувшій народное вѣче и поле брани. Это мѣсто—роща Аполлона Ликейскаго въ Аѣинахъ, гдѣ училъ и бесѣдовалъ Аристотель. Никогда до этого и никогда послѣ этого опытъ организаціи и централизаціи науки не былъ сдѣланъ въ столь широкихъ размѣрахъ и съ такой надеждой на успѣхъ. Я не буду говорить здѣсь о самомъ руководителѣ, этомъ единственномъ человѣкѣ, знавшемъ рѣшительно все, что было доступно знанію въ тѣ времена,—а этого было гораздо болѣе, чѣмъ склонны думать люди, незнакомые съ представителями греческой науки; едва ли не важнѣе учености Аристотеля, которой онъ никому завѣщать не могъ, была его организаторская дѣятельность. Онъ назначалъ каждому изъ своихъ учениковъ соотвѣтствующую его таланту работу; подъ его руководствомъ и при его непосредственномъ участіи образовался этотъ кладъ учености, который остался послѣ смерти учителя достояніемъ его школы и продолжалъ носить имя того, кто былъ душой общества и наложилъ на общее дѣло печать своего духа. Кладъ этотъ состоялъ, какъ извѣстно, изъ трехъ категорій сочиненій: 1) сочиненій, дающихъ *эмпирическіе матеріалы* къ отдѣльнымъ наукамъ; 2) сочиненій, имѣющихъ

содержаніемъ *философско-теоретическое изложеніе* этихъ наукъ, и 3) сочиненій популярныхъ, назначенныхъ для болѣе широкаго круга читателей. О послѣднемъ разрядѣ мы ничего почти не знаемъ; ко второму принадлежать всѣ сохранившіяся намъ подлинныя сочиненія Аристотеля, кромѣ одного—именно трактата о государствѣ Аѳинскомъ, единственнаго представителя перваго разряда.

Этотъ трактатъ содержитъ довольно пространное изложеніе какъ исторіи, такъ и системы аѳинской конституціи и былъ частью очень обширнаго сочиненія, носившаго заглавіе *πολιτεῖαι* и имѣвшаго содержаніемъ систему и, повидимому, исторію конституцій 158-ми почти исключительно греческихъ государствъ. Вотъ какихъ исполинскихъ размѣровъ былъ субстратъ, на которомъ Аристотель воздвигъ небольшое по объему зданіе своей „политики“. Мы знаемъ, что и для другихъ философско-теоретическихъ сочиненій Аристотеля существовали въ древности такіе субстраты: намъ они не сохранены.

Но родной сестрой политики, по мнѣнію Аристотеля, была этика. Обѣ эти науки превосходятъ важностью всѣ остальные, обѣ онѣ имѣютъ практическую и притомъ общую цѣль: эта цѣль—осуществленіе идеи добра. Нельзя думать, чтобы философъ, построившій свою „политику“ на такомъ огромномъ фундаментѣ, какъ 158 книгъ *πολιτεῖων*, свою „этику“ создать апріорнымъ путемъ; другими словами, мы должны допустить сочиненіе, относившееся къ „этикѣ“ Аристотеля точно такъ же, какъ его 158 книгъ *πολιτεῖων* относятся къ его „политикѣ“. Ставя вопросъ такимъ образомъ, мы почти что рѣшаемъ его; дѣйствительно, мы получаемъ пропорцію, три члена которой извѣстны, а при такихъ условіяхъ неизвѣстный четвертый членъ можетъ быть опредѣленъ безъ всякихъ затрудненій. Этотъ неизвѣстный членъ будетъ имѣть содержаніемъ описаніе опредѣленнаго числа человѣческихъ характеровъ, подобно тому, какъ *πολιτεῖαι* имѣли содержаніемъ описаніе опредѣленнаго числа государственныхъ конституцій; но, конечно, характеры эти не будутъ характерами опредѣленныхъ лицъ—современниковъ Аристотеля, что было бы нескончаемо и бессмысленно. Въ этомъ отношеніи методъ автора нашего *х'*а долженъ былъ существенно отличаться отъ метода автора „политикъ“. Чтобы воз-

двинуть прочное основаніе эмпирической этики, недостаточно было копировать характеры встрѣчныхъ лицъ; надобно было предварительно, путемъ наблюденія и психологическаго анализа, выдѣлать въ сложномъ механизмѣ характера данной личности существенное среди случайнаго, дать этому существенному наименованіе, прослѣдить это существенное въ характерахъ другихъ лицъ, у которыхъ оно проявляется съ большей силой, и такимъ образомъ найти типическаго представителя того существеннаго, о которомъ идетъ рѣчь; его-то портретъ необходимъ для эмпирической этики, и собраніе такихъ портретовъ будетъ именно сочиненіемъ, котораго мы доискиваемся, *х'омъ* нашей пропорціи. Другими словами: субстратомъ Аристотелевой этики была обширная *этологія*, построенная на тѣхъ же началахъ и по тому же методу, какъ и медицинская патологія; это послѣднее сравненіе мы будемъ имѣть въ виду и въ дальнѣйшемъ ходѣ нашего разсужденія.

Сочиненіе, о которомъ идетъ рѣчь, дѣйствительно существовало въ древности; оно ходило подъ именемъ *Θεοφράστη*, лучшаго друга и ученика Аристотеля, и носило заглавіе *περί ἡθῶν*. Намъ оно извѣстно довольно точно благодаря сохранившимся тремъ извлеченіямъ, содержащимъ описанія тридцати характеровъ. Конечно, извлеченіе никогда не можетъ замѣнить подлинника; къ тому же въ данномъ случаѣ экскерпторы не только тщательно пропустили все, что было сказано Теофрастомъ о цѣли его сочиненія, но одинъ изъ нихъ еще прибавилъ отъ себя предисловіе, долго вводившее въ заблужденіе читателей. Очевидно, экскерпторъ самъ заблуждался; онъ дѣлалъ извлеченіе изъ сочиненія, въ которомъ было описано много дурныхъ и смѣшныхъ сторонъ человѣческаго характера; не мудрено, что онъ приписалъ этому сочиненію цѣль моралистическую: „дабы наши сыновья стали лучше, видя по оставленнымъ имъ въ назиданіе примѣрамъ, какіе люди наиболѣе достойны того, чтобы съ ними поддерживать сношенія“, какъ онъ самъ выражается въ предисловіи. Не такъ давно Теофрастъ попалъ даже въ сатирики. Одинъ нашъ современникъ пожелалъ подарить русской публикѣ переводъ одного извлеченія изъ его *περί ἡθῶν*, но по незнанію пересолитъ и—очевидно съ желаніемъ сдѣлать свой переводъ интереснѣе—написать

его такимъ крѣпкимъ слогомъ, какой навѣрное никогда не грезилося даже экскерптору, не говоря уже о тонкомъ и благо-воспитанномъ Теофрастѣ; на основаніи-то этого перевода одинъ критикъ — не филологъ, впрочемъ, — сначала произвелъ Теофраста въ сатирики, а затѣмъ выбранилъ его за его блѣдность и отсутствіе сатирической соли. На самомъ же дѣлѣ сочиненіе Теофраста имѣетъ не моралистическій и уже, конечно, не сатирический, а исключительно этологическій характеръ. Моралистъ Сенека и сатирикъ Ювеналъ описываютъ человѣческіе пороки съ цѣлью возбудить отвращеніе къ нимъ, — этологъ Теофрастъ описываетъ тѣ же пороки съ цѣлью изученія ихъ; первые пишутъ страстнымъ и гнѣвнымъ, послѣдній — спокойнымъ и дѣловымъ тономъ. Насколько Теофрастъ отличается отъ моралистовъ и сатириковъ, настолько онъ приближается къ медикамъ, изучающимъ болѣзни человѣческаго тѣла и объясняющимъ намъ, по какимъ симптомамъ можно узнать какую болѣзнь. Возьмемъ, ради примѣра, начало десятой характеристики: „о скарествѣ (*μικρολογία*): подъ скарествомъ мы понимаемъ превосходящую разумную мѣру бережливости по отношенію къ деньгамъ; скарестнымъ мы называемъ человѣка, который, напримѣръ, уступаая свой домъ друзьямъ для собранія, взскакиваетъ по $\frac{1}{2}$ обола съ человѣка, или, видя, что его рабъ разбилъ горшокъ или сковороду, дѣлаетъ ему соотвѣтствующій вычетъ изъ его порціи, или не позволяетъ поднять упавшую съ его дерева маслину или финикъ и т. д.“ Таковы всѣ тридцать характеристикъ; сперва идетъ опредѣленіе болѣзни души, затѣмъ симптомы, по которымъ она узнается. Не трудно представить себѣ, какую важность должно было имѣть обширное сочиненіе, изъ котораго извлечены сохранившіеся намъ жалкіе экскерпты, для такой этики, каковой была этика Аристотеля, въ которой проводилось ученіе о *virtus in medio*, о томъ, что каждая добродѣтель есть качество среднее между двумя пороками, бережливость, напримѣръ, качество среднее между скарествомъ и расточительностью. А если такъ, то мы, конечно, не ошибемся, признавая Аристотеля вдохновителемъ этого столь необходимаго для его всенаучной лабораторіи сочиненія.

Постараемся представить себѣ этотъ фактъ во всей его

важности. Аристотелю понадобилась, въ числѣ другихъ сочиненій, образующихъ его стройную энциклопедію человѣческихъ знаній, также и этика, разборъ нравственныхъ свойствъ человѣческой души. Каждый изъ его предшественниковъ, имѣя дѣло съ подобнаго рода задачей, просто изложилъ бы то, до чего онъ додумался бы своимъ умомъ, основываясь на томъ, чему научила его жизнь. Аристотель поступаетъ иначе; онъ говоритъ своимъ ученикамъ: „идите въ народъ и наблюдайте за всѣми; не гнушайтесь неприглядныхъ чертъ людей, съ которыми вы будете имѣть дѣло; онѣ для васъ важнѣе ихъ свѣтлыхъ сторонъ, подобно тому какъ для медиковъ больные люди важнѣе, чѣмъ здоровые. Не пренебрегайте мелочами; онѣ легче всего ускользаютъ отъ наблюдателя, а между тѣмъ именно онѣ составляютъ характеры тѣхъ людей, которые, въ свою очередь, составляютъ общество. Не увлекайтесь; вы должны постоянно помнить, что вы—естествоиспытатели, и что единственное чувство, которое вы должны ощущать при видѣ предмета вашихъ наблюдений,—любопытность“. Такъ приблизительно долженъ былъ выразиться Аристотель. Его устами наука устранила преграду, отдѣлявшую ее до тѣхъ поръ отъ жизни. Про Сократа Цицеронъ говоритъ, что онъ свелъ философію съ неба и поселилъ ее въ хижинахъ людей; Аристотель сдѣлалъ то же самое съ наукой: онъ объявилъ весь окружающій насъ міръ ея предметомъ. Послѣдствія этого слова были чрезвычайно замѣчательны. До тѣхъ поръ эллины, можно сказать, не знали реализма въ полномъ смыслѣ слова: въ высокомъ искусствѣ, включая туда и поэзію, онъ подчинялся идеализму, въ низменномъ былъ низведенъ до карикатуры: произведеніе искусства должно было или облагораживать челоѣка своей красотой, или веселить его своей уродливостью; чувство простой и безпристрастной любознательности не предполагалось существующимъ у публики. Теперь все это мѣняется; вся окружающая насъ пустая и мелочная жизнь была объявлена интересной — и вотъ реализмъ широкой струей вливается въ искусство и поэзію. Скульптура ощущаетъ на себѣ его вліяніе; ваятели изображаютъ, рядомъ съ богами и героями, обыкновенныхъ и грубыхъ фізіономій пастуховъ, рыбаковъ, деревенскихъ бабъ и мальчишекъ; живопись слѣдуетъ примѣру скульптуры, — создается

жанръ. Въ поэзіи комедія прежде всего поддается новому теченію; она изгоняетъ карикатуру и пасквиль и превращается въ ту картину нравовъ, которая и понынѣ до нѣкоторой степени плѣняетъ насъ въ твореніяхъ Мольера — до нѣкоторой степени, такъ какъ то, что было естественнымъ и реальнымъ у Менандра, сдѣлалось условнымъ у его французскаго подражателя. Вообще поэзія благодаря своимъ твердо выработаннымъ формамъ мало годилась для воспріятія новаго содержанія; тѣмъ не менѣе теченіе реализма было столь мощно, что эти формы не устояли. Если не считать трагедій, о судьбѣ которой въ тѣ времена мы слишкомъ мало знаемъ, то всѣ отрасли поэзіи, продолжавшія свое существованіе, прониклись реализмомъ. Въ этомъ отношеніи первое мѣсто принадлежитъ чело-вѣку, котораго мы привыкли считать творцомъ такъ называемой александрійской поэзіи — *Каллимаху*. Какой родъ поэзіи, казалось бы, менѣе доступенъ реализму, чѣмъ гимны въ честь боговъ? Тѣмъ не менѣе реализмъ проникаетъ и туда; въ гимнѣ Каллимаха въ честь Артемиды мы находимъ очень интересную въ этомъ отношеніи картинку. Описывается, какъ малолѣтняя Артемиды отправилась къ Киклопамъ добывать себѣ вооруженіе; поэтъ рисуетъ намъ жилище Киклоповъ, ихъ страшный видъ, ихъ работу. Подруги Артемиды—всѣ онѣ были девятилѣтними дѣвочками—перепугались при видѣ этихъ чудовищъ; поэтъ ихъ извиняетъ (ст. 64): „Имъ не грѣшно было испугаться ихъ; даже тѣ дочери блаженныхъ, которыя не очень маленькія, не могутъ безъ страха видѣть Киклоповъ; и когда кто-либо изъ дѣвочекъ не слушается своей матери, тогда мать стращаетъ свою дочку Киклопомъ,—и вслѣдъ затѣмъ изъ угла дома вылѣзаетъ Гермесъ, выпачкавъ все тѣло сажей, и пугаетъ дѣвочку; она же, закрывъ личико руками, бросается на лоно матери“. Все это могло произойти и, безъ сомнѣнія, часто происходило въ семейной жизни современниковъ Каллимаха. Гермесъ здѣсь просто—проказникъ старшій братъ, приходящій на помощь матери не столько съ педагогическою цѣлью, сколько для своего удовольствія, чтобы самому посмѣяться на счетъ трусихи-сестры. Конечно, поэтъ не постарался объяснить намъ, какимъ образомъ у небожителей завелась вся эта дѣтвора; онъ прекрасно знаетъ, что никто изъ его современниковъ не за-

дасть ему такого вопроса. Читая такіе гимны, невольно вспоминаешь релігіозную живопись временъ Возрожденія, когда художники такъ же мало стѣснялись со своими сюжетами и вводили обстановку обыденной жизни въ изображеніи священныхъ сценъ; параллель эта тѣмъ удачнѣе, что въ обоихъ случаяхъ сигналъ ко вторженію реализма въ искусства былъ данъ наукой.

Послѣ гимновъ сдалась и эпическая поэзія; тотъ же Каллимахъ посвятилъ прекрасный эпосъ „Гекалу“ описанію угощенія аѳинскаго царя Ѳесея деревенской старушкой Гекалой, при чемъ были описаны съ большимъ реализмомъ, какъ сама хозяйка, такъ и убранство ея убогой хижины и скромныя блюда, которыми она потчевала своего высокаго гостя; этотъ примѣръ нашелъ себѣ подражателей. Тѣмъ не менѣе надобно сознаться, что это проникновеніе старыхъ формъ новымъ содержаніемъ было само по себѣ противно духу реализма,—по крайней мѣрѣ того реализма, котораго требовалъ Аристотель. Въ комедіи нашъ интересъ сосредоточивается на фабулѣ, а фабула въ слишкомъ широкихъ размѣрахъ пользуется моментомъ случайности, чтобы быть вполне реалистичной. Въ гимнахъ и эпосахъ выступаютъ боги и герои,—реализмъ играетъ второстепенную роль. Новое содержаніе требовало новой формы; это прекрасно понялъ современникъ Каллимаха, одинъ изъ лучшихъ поэтовъ Эллады — *Ѳеокритъ*. Слѣшу замѣтить, что Ѳеокритъ не былъ реалистомъ; онъ былъ скорѣе поэтомъ романтическаго направленія, можно даже сказать, что въ этомъ заключается его главная сила. Но въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ онъ уступаетъ новымъ вѣяніямъ и приближается къ Каллимаху, а въ одномъ даже заходитъ значительно далѣе его. Это стихотвореніе — „Праздникъ Адониса“; его ядро — гимнъ въ честь этого несчастнаго любимца Афродиты. Итакъ, мы опять имѣемъ дѣло съ гимнической поэзіей; дана возможность, стало быть, сравнить Ѳеокрита съ Каллимахомъ, и результатъ сравненія рѣшительно въ пользу Ѳеокрита. Реалистическій элементъ не внесенъ Ѳеокритомъ въ самый гимнъ, какъ это было сдѣлано Каллимахомъ; ему посвящена особая бытовая сценка, вышнимъ образомъ соединенная съ гимномъ. Одна женщина-мѣщанка навѣщаетъ другую; поболтавъ другъ съ дружкой всласть

главнымъ образомъ о своихъ мужьяхъ, онѣ отправляются на праздникъ Адониса, слушаютъ гимнъ въ его честь и затѣмъ возвращаются домой. Фабула, стало быть, самая простая; не она привлекаетъ къ себѣ нашъ интересъ. Для самого поэта самымъ главнымъ былъ, повидимому, гимнъ, но насъ плѣняетъ не онъ, а именно обѣ собесѣдницы-мѣщанки и ихъ пустыя рѣчи, дышашія естественностью и жизненной правдой. Повидимому, авторъ этого стихотворенія изучалъ людей именно такъ, какъ этого требовалъ Аристотель; онъ почти что уже нашелъ форму, въ которой нуждалась поэзія съ тѣхъ поръ какъ къ ней было предъявлено требованіе чистаго реализма—форму этологической поэмы. Я говорю „почти что“, такъ какъ Теокрытъ не только оставилъ въ своемъ стихотвореніи чуждый реализму элементъ — именно гимнъ въ честь Адониса, — но даже сдѣлалъ его ядромъ всего стихотворенія. Чтобы осуществить форму этологической поэмы, оставалось сдѣлать еще одинъ шагъ впередъ — отбросить совсѣмъ это ядро и оставить одну только сценку. Теокрытъ этого шага не сдѣлалъ очевидно потому, что онъ былъ въ душѣ не реалистомъ, а романтикомъ.

До 1891 года мы должны были предполагать, что этотъ шагъ вовсе не былъ сдѣланъ. Теокрытъ оставался для насъ самымъ реалистическимъ поэтомъ такъ называемаго эллинистическаго періода. Нынѣ же, благодаря счастливой находкѣ, мы знаемъ, что этотъ пробѣлъ былъ восполненъ послѣдователемъ и почитателемъ Теокрита — именно тѣмъ поэтомъ, которому посвященъ настоящій очеркъ. *Геродъ* представляетъ собою предѣльную точку въ томъ направленіи греческой мысли, исходной точкой котораго было поставленное Аристотелемъ требованіе, чтобы путемъ изученія характеровъ окружающихъ насъ людей былъ заложенъ фундаментъ достаточно солидный для того, чтобы нести на себѣ зданіе эмпирической этики; чего достигъ въ дѣловой, ученой прозѣ Теофрастъ, къ чему стремились, каждый въ своей области, Мевандръ, Каллимахъ, Теокрытъ, то осуществилъ Геродъ. Его мы должны считать творцомъ этологической поэмы, всецѣло посвященной изображенію нравовъ окружающихъ насъ людей, безъ всякихъ побочныхъ соображеній, притомъ изображенію ихъ ради одной только

любезности, а не въ видахъ проповѣди или сатиры. Еще разъ подчеркиваю эту послѣднюю разницу: Геродъ, подобно Теофрасту, былъ этологомъ, а не моралистомъ или сатирикомъ.

Въ этомъ его значеніе: онъ понялъ, въ чемъ состояло требованіе его времени, и создалъ тотъ родъ поэзіи, который наиболѣе соответствовалъ этому требованію. Отсюда слѣдуетъ, что онъ былъ замѣчательнымъ человѣкомъ, но далеко еще не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ великимъ поэтомъ. Напротивъ, Теокрытъ, какъ поэтъ, стоитъ выше его, и если мы затрудняемся произнести то же сужденіе относительно Каллимаха, то виною тому, по всей вѣроятности, несчастная случайность, лишившая насъ возможности читать его Гекалу и Этюи. Не всегда реформаторы бываютъ великими людьми; очень часто человѣкъ дѣлается реформаторомъ не столько благодаря своимъ положительнымъ качествамъ, сколько благодаря одному отрицательному — отсутствію сердечной теплоты, привязывающей насъ къ традиціи, хотя бы и сто разъ признанной нами отжившею свой вѣкъ. Но, какъ я уже сказалъ, Геродъ, во всякомъ случаѣ, поэтъ замѣчательный и заслуживающій того, чтобы мы познакомились съ нимъ ближе — т.-е., говоря точнѣе, съ его стихотвореніями, такъ какъ объ его жизни мы почти ничего не знаемъ. Въ первой его сценѣ читается восторженная похвала Египту и его „доброму царю“; отсюда мы можемъ заключить, что Геродъ жилъ при дворѣ египетскаго царя или, по крайней мѣрѣ, намѣревался посѣтить этотъ дворъ, подобно Теоокриту; тамъ же упоминается „святня боготворенной четы брата-сестры“ и упоминается при такой обстановкѣ, что мы принуждены считать царя, о которомъ говоритъ Геродъ, тождественнымъ съ тѣмъ, который посвятилъ своимъ родителямъ эту святню, т.-е. съ Птолемеемъ III Еввергетомъ (247 — 222). Двѣ другія сценки имѣютъ театромъ дѣйствія островъ Косъ, но такъ какъ герои этихъ сценокъ представлены чужестранцами, то ясно, что самъ поэтъ не былъ родомъ изъ Коса; это доказывается еще и тѣмъ фактомъ, что онъ писалъ не на дорическомъ, а на іоническомъ нарѣчій. Въ одной изъ этихъ сценокъ, именно въ четвертой, одна изъ собесѣдницъ съ апломбомъ называетъ живописца Апелла эфесцемъ, хотя не было никакой надобности называть

его родину, да къ тому же Апеллъ родился не въ Эфесѣ, а въ Колофонѣ, и только впоследствии получилъ гражданскія права въ Эфесѣ. Это наводитъ насъ на мысль, что герои нашего поэта, а съ ними и онъ самъ были эфесцами. Заключение это подтверждается однимъ мѣстомъ въ первой сценкѣ, именно выраженіемъ „хоромы нашей богини“ въ смыслѣ „рай земной“; отсюда видно, что городъ, о которомъ идетъ рѣчь, славился культомъ одной богини, а это какъ нельзя лучше подходитъ къ Эфесу, обладавшему именно въ тѣ времена роскошнымъ храмомъ Артемиды. Вотъ и все, что мы знаемъ о личности нашего поэта.

Зато мы должны быть благодарны судьбѣ, возвратившей намъ недавно семь полныхъ его стихотвореній, каждое длиною среднимъ числомъ въ 100 стиховъ. Каждое стихотвореніе представляетъ собою законченную сценку изъ быта маленькихъ людей — современниковъ и, повидимому, земляковъ Герода. Фабула, какъ и слѣдовало ожидать, вездѣ отличается простотой и обыденностью; высокаго полета мыслей и красоты слога мы требовать не въ правѣ; точно такъ же естественность и, такъ сказать, безнамѣренность подбора исключали нравоучительную или сатирическую тенденцію. Поэтъ пишетъ безъ всякой задней мысли; онъ какъ бы говоритъ читателю: „кому интересно послушать рѣчи кумушекъ и богомолокъ, самодурокъ-барынь и сердитыхъ матушекъ, строгихъ учителей и проказниковъ-мальчугановъ, ремесленниковъ и людей неопрятной профессіи, — тотъ можетъ взять въ руки мою книжку; но пусть онъ ничего не требуетъ, кромѣ голыя правды; мои герои говорятъ стихами, а не прозой, но во всемъ остальномъ они — точные снимки съ тѣхъ, которыхъ вы ежедневно можете найти на улицахъ и у прилавка, на папертяхъ храмовъ и въ засѣданіи суда, въ убогихъ хижинахъ и еще болѣе убогихъ квартиркахъ третьяго этажа; кому не интересны подлинники, тому не совѣтую заниматься и этими моими портретами“. Въ этомъ существенная разница между Геродомъ и Менандромъ, даже совершенно независимо отъ фабулы: Менандръ при всемъ своемъ реализмѣ остается художникомъ, Геродъ не болѣе какъ добросовѣстный копистъ.

Въ нашъ вѣкъ фотографической живописи и экспериментальнаго романа такое отношеніе автора къ своему сюжету

является вполне естественнымъ; съ этой точки зрѣнія можно сказать, что Геродъ избралъ для своего воскресенія очень удобный моментъ; но отсюда еще далеко не слѣдуетъ, чтобы Геродъ былъ въ наши дни писателемъ вполне понятнымъ и для тѣхъ, кто можетъ завести съ нимъ знакомство только при посредничествѣ переводчика. Всѣмъ извѣстно, какъ трудно передать на чужомъ языкѣ особенности народной рѣчи: именно то, что въ подлинникѣ сразу поражаетъ насъ своей жизненной правдой, въ переводѣ выходитъ безцвѣтнымъ и даже книжнымъ. И все-таки переводъ остается, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, единственнымъ средствомъ, которымъ мы располагаемъ для того, чтобы дать представленіе о Геродѣ лицамъ, не имѣющимъ возможности читать его въ подлинникѣ; необходимо только, чтобы они прониклись убѣжденіемъ, что это очень недостаточное сходство, и что въ подлинникѣ они нашли бы навѣрное превосходнымъ то, что въ переводѣ кажется имъ только сноснымъ.

Возьмемъ, ради примѣра, третью сценку. Метротима, женщина преклонныхъ лѣтъ, входитъ, въ крайнемъ волненіи, въ домъ своего ближайшаго родственника, учителя Ламприска, ведя за руку своего сына Коккала, здороваго мальчугана приблизительно 12 — 14 лѣтъ. Слишкомъ много у нея накипѣло на душѣ; ея рѣчь льется какъ потокъ, и по всему видно, что она кончить не скоро, хотя цѣль своего посѣщенія она высказала уже съ первыхъ словъ. „Да благословяте тебя, Ламприскъ, любезныя музы и дадутъ тебѣ испытать всякую радость и насладиться жизнью! Вели рабу поднять этого негодяя себѣ на плечи и дай ему такую порку, чтобы его скверная душа осталась ему на однѣхъ губахъ. Онъ совершенно разорилъ меня бѣдную своей игрой въ „орла и рѣшетку“; да, бабокъ ему теперь уже мало; онъ придумалъ для меня еще болѣе тяжкое наказаніе. Спроси-ка его, гдѣ квартира его учителя—куда мнѣ каждое тридцатое число (охъ, ужъ это мнѣ тридцатое число!) приходится идти съ платой, хотя бы я навзрыдь плакала—не скоро найдется онъ отвѣтить тебѣ; зато вертепъ, гдѣ живутъ носильщики и бѣглые рабы—этотъ онъ твердо знаетъ и другому показать можетъ. Бѣдная доска, которую я исправно натираю воскомъ каждый мѣсяцъ, лежитъ сиротой у ножки его кровати—той, что ближе къ стѣнѣ; онъ ненави-

доть ее пуще смерти, а если и возьметъ когда-либо въ руки, то и тогда ничего путнаго не напишетъ, а только весь воскъ соскоблеть. Бабки (нетронутыя) валяются во всѣхъ мѣшкахъ и сѣткахъ; онѣ лоснятся точно наша бутылочка съ масломъ, которой мы постоянно пользуемся. Въ грамотѣ онъ ни аза не разберетъ, если ему не твердить пять разъ одно и то же; на-медни отецъ заставилъ его разбирать по складамъ слово „Маронъ“ — такъ этотъ грамотей Марона превратилъ въ Симона, такъ что я сама себя прозвала душой за то, что вмѣсто того, чтобы учить его пасти ословъ, даю ему хорошее воспитаніе, думая найти въ немъ подспорье на черный день. Другой разъ, когда мы — или я, или его отецъ, подслуховатый и подслѣповатый старикъ — велимъ ему сказать какое-нибудь мѣсто изъ трагедіи, приличное его возрасту, такъ онъ цѣдитъ, какъ сквозь дыравый мѣшокъ: „Аполлонъпокровитель.....ловцовъ“. „Да вѣдь это“, говорю я, „сумѣетъ сказать тебѣ, несчастный, даже твоя матушка, никогда не обучавшаяся грамотѣ, да и любой фригіецъ“. А попробуй-ка посильнѣе постращать его — такъ онъ или три дня не знаетъ порога нашего дома и тѣмъ временемъ разоряетъ свою мать, бѣдную старуху, или взберется на крышу и сидитъ тамъ, вытянувъ ноги и опустивъ голову, точно мартышка. А мнѣ-то каково видѣть его тогда, какъ ты думаешь! И не столько его самого жалко, сколько черепицъ, которыя крошатся точно хворостъ, такъ что при приближеніи зимы меня заставляютъ платить по три полушки за каждую черепицу. Плачешь, да ничего не подѣлаешь: всѣ жильцы въ одинъ голосъ твердятъ, что это сдѣлалъ Метротиминъ сынъ Коккалъ — и чувствуешь, что это правда, такъ что даже раскрыть ротъ совѣстно... Уже пожалуйста, Ламприскъ, если хочешь, чтобы вотъ эти богини дали тебѣ счастье и удачу для твоей дальнѣйшей жизни“... Тутъ мальчуганъ, разумно молчавшій до тѣхъ поръ, не можетъ побороть свое нетерпѣніе и грубо обрываетъ мать, называя ее по имени: „Только языка своего, Метротима, не сули ему, благо у него свой есть, такой же длинный“. Но тутъ чаша переполняется, и слѣдуетъ жестокая расправа, очень подробно описанная Геродомъ. Подъ конецъ проказникъ дѣлается „пестрѣе змѣи“; но Метротимъ кажется, что все еще недостаточно; Ламприскъ общается ей прoder-

жать ея сына нѣсколько времени у себя, подъ домашнимъ арестомъ, и познакомить его въ это время основательно, подъ аккомпаниментъ розги, съ книгой; это общаніе ее успокоиваетъ, и она уходитъ рассказать обо всемъ мужу.

Я нарочно привелъ *in extenso* жалобу Метротимы; въ ней заключается главный интересъ нашей сценки съ бытовой точки зрѣнія. Нѣтъ надобности доказывать, что эта женщина отнюдь не комическій персонажъ. Она уже на склонѣ лѣтъ, она почти что вдова, такъ какъ ея старый мужъ, „страдающій и глазами и ушами“, къ работѣ очевидно неспособенъ. Она—глава семьи; ея сына сосѣди называютъ „сыномъ Метротимы“, а не по отчеству; отца, стало быть, какъ бы не существуетъ. Она очень бѣдна: ей трудно платить учителю грамоты его ничтожное мѣсячное жалованье, трудно отдать нѣсколько полшекъ за разбитыя черепицы. За свои трудовые гроши она рѣшила дать сыну хорошее воспитаніе, надѣясь на будущее; но этотъ сынъ развивается такъ, какъ часто развиваются мальчики, не чувствующие надъ собою авторитета отца; наука ему не по вкусу, зато онъ дружится съ людьми самой сомнительной нравственности и играетъ съ ними въ азартныя игры на деньги, взятые у матери, или—что еще вѣроятнѣе—вырученныя за проданную домашнюю утварь. Таково горе этой маленькой семьи. Все же поэтъ постарался о томъ, чтобы портретъ его героини вышелъ не слишкомъ гармоничнымъ; онъ внесъ въ ея горе тотъ диссонансъ, который присущъ неподдѣльному горю по крайней мѣрѣ тѣхъ людей, которые не приобрѣли путемъ строгаго самоизученія и самовоспитанія нѣкоторой, можно сказать, гладиаторской выправки. Здѣсь, прежде всего, комическая нотка: нескончаемость рѣчи бѣдной старушки, приводящей не только всякіе пустяки изъ жизни ея сына, но и сдѣланныя ею по поводу этихъ пустяковъ довольно пустыя замѣчанія. Здѣсь, во-вторыхъ, добрая доля наивнаго эгоизма; можно не придавать значенія словамъ Метротимы, что ей жаль не сына, который можетъ полетѣть съ крыши и сломать шею, а черепицъ; эти слова она могла сказать въ сердцахъ. Но она открыто сознается, что, давая сыну хорошее воспитаніе, она думаетъ о себѣ; это очень тонкая и правдивая черта. Материнская любовь, такимъ образомъ, не особенно велика; мнѣ думается,

что современный реалистъ остался бы вполне доволенъ характеромъ этой матери.

Послѣ матери займемся типомъ супруги; мы встрѣчаемъ его въ первой сценкѣ. Метриха, хорошенькая молодка, вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ оставлена своимъ мужемъ Мандрисомъ; онъ уѣхалъ,—ну, разумѣется, туда, куда уѣзжали тогда предприимчивые люди, въ Египетъ, къ „доброму царю“ Птолемею Евергету; о тонкомъ панегирикѣ этому послѣднему была рѣчь выше. Въ это-то скучное время отсутствія мужа ее посѣщаетъ ласковая старушка Гиллида, „тетка Гиллида“, какъ ее называетъ Метриха; судя по всему, она врядъ ли могла свободно навѣщать свою молодую подругу въ бытность ея мужа. Метриха ей рада: есть съ кѣмъ поболтать; а чтобы болтать можно было безъ стѣсненій, прислуга высылается изъ комнаты. Предосторожность оказывается умѣстной: старушка „рѣчь ведетъ обинякомъ“, но цѣль, къ которой она стремится, довольно ясна. „Давно ты уже вдовой сидишь, дитятко мое? Вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ Мандрисъ уѣхалъ въ Египетъ, уже десять мѣсяцевъ прошло, а написалъ ли онъ тебѣ хоть одну букву съ тѣхъ поръ? Позабылъ онъ тебя; вотъ что: полюбилось ему вино изъ новой чарки. А въ Египтѣ живетъ хорошо—охъ, какъ хорошо! Чего тамъ только нѣтъ! и богатство, и слава, и зрѣлища, и царская милость. А женщины тамъ столько, сколько звѣздъ на небесномъ сводѣ; и всѣ онѣ первыя красавицы, не хуже тѣхъ трехъ богинь, что нѣкогда предстали передъ Парисомъ на горѣ Идѣ“. Сравненіе это для этихъ богинь вовсе не лестно; набожная Гиллида сознаетъ это и бормочетъ про себя: „авось онѣ не разслышали, что я про нихъ сказала“, а затѣмъ снова обращается къ своей собесѣдницѣ: „Такъ зачѣмъ же ты, бѣдняжка, сиднемъ сидишь дома („кресло грѣешь“, какъ она картинно выражается)? Сама не успѣешь оглянуться, какъ наступитъ старость, и пропадетъ твоя красота. Перестань тосковать, повеселись денька два или три съ новымъ другомъ. Нехорошо кораблю стоять на одномъ якорѣ. Неровенъ часъ, нагрянетъ буря... ну, не пугайся, дитятко, да хранить тебя боги отъ нея—но вѣдь буря можетъ разразиться хоть сейчасъ; такъ вотъ тогда-то онъ, этотъ другъ, спасетъ тебя и не дастъ вѣтрамъ унести тебя въ море. Всяко бываетъ“. „Чего же тебѣ

надо?" — спрашивает ошеломленная Метриха. — „А насъ никто не подслушиваетъ?" — „Нѣтъ, никто". — „Такъ вотъ слушай". Тутъ Гиллида рисуеъ своей подругѣ портретъ идеальнаго юноши, который разъ увидалъ ее на одномъ празднествѣ и съ тѣхъ поръ забыть не можетъ; если вѣрить Гиллидѣ, онъ видѣлъ себя, онъ изнываетъ, но все-таки обнаруживаетъ достаточно здраваго смысла, какъ видно изъ того, что онъ обратился со своими жалобами не къ вѣтрамъ и листьямъ деревьевъ, подобно герою Каллимаха, а къ опытной Гиллидѣ, и притомъ, какъ показываетъ слѣдующее, не съ пустыми руками. Зато та описываетъ его въ самыхъ яркихъ краскахъ. Какъ подобаетъ благородному эллину, онъ нѣсколько разъ былъ побѣдителемъ на пиѣическихъ и истмическихъ играхъ — не чета Мандрису, стало быть. Онъ невѣроятно богатъ; при этомъ онъ человекъ смиренный и добрый, мухи не обидитъ; онъ — алмазъ непорочный. Онъ сверхъ того щедръ и подаритъ подругѣ такую вещь, о которой она даже мечтать не смѣла. „Послушайся меня", заключаетъ искутельница свою рѣчь, „клянусь богами, я говорю это изъ любви къ тебѣ". Но это увѣреніе не помогаетъ; Метриха, при всей своей неопытности, поняла, чего требуютъ отъ нея. Она не падаетъ въ обморокъ, не обрушивается на старуху съ проклятіями и бранью, а только строго и не безъ скрытой угрозы замѣчаетъ ей: „Недаромъ, Гиллида, слово молвится: волосъ бѣлѣетъ, и умъ тупѣетъ. Клянусь возвращеніемъ Мандриса и милой Деметрой, другой бы я этихъ рѣчей не простила; я проучила бы ее такъ, что она запѣла бы у меня другимъ голосомъ, и впредь считала бы порогъ моего дома своимъ врагомъ. Да и тебя я прошу обращаться съ такими рѣчами къ уличнымъ щеголихамъ, а не ко мнѣ. Пускай уже Писіева дочь, Метриха, грѣетъ себѣ кресло; не будутъ, по крайней мѣрѣ, люди смѣяться въ глаза Мандрису". Итакъ, соблазнительница потерпѣла полную неудачу; но Метриха прекрасно понимаетъ, что такихъ людей, какъ Гиллида, надобно или не знать вовсе, или — разъ завязавъ съ ними знакомство — беречь. Она призываетъ прислугу, чѣмъ заодно заставляетъ старуху дать разговору другое направленіе, и велитъ ей принести для гостя чарку добраго вина. Гиллида сначала ворчитъ, но пить не отказывается; только при уходѣ она посы-

лаетъ во тьму кромѣшную неговорчивую подругу и желаетъ долгой юности двумъ другимъ кліенткамъ, которыми она, очевидно, имѣетъ основаніе быть довольной.

Сценка съ Метротимой стояла особнякомъ въ древней литературѣ; настоящую мы въ состояніи сопоставить съ тремя аналогичными произведеніями: во-первыхъ, съ одной сценой въ комедіи Плавта „*Mostellaria*“ (ст. 177 сл.), встрѣчавшейся, вѣроятно, и въ греческомъ подлинникѣ, обработанномъ Плавтомъ,—въ комедіи Филемона, современника Менандра; во-вторыхъ, съ элегіей Овидія (*Amores* I, 7); въ третьихъ, съ сценой Лукіана („Разговоры гетеръ“, 7). Главный мотивъ вездѣ одинъ и тотъ же: пожилая женщина предлагаетъ молодой красавицѣ, ради богатыхъ подарковъ и обезпеченія въ будущемъ, измѣнить обѣту вѣрности. Второстепенныя различія въ фабулѣ мы можемъ оставить безъ вниманія, такъ какъ не въ фабулѣ заключается главный интересъ сценокъ Герода; ограничимся одной этологіей. Въ этомъ отношеніи самый сильный недочетъ оказывается на сторонѣ Овидія; красавица не охарактеризована вовсе, или почти что вовсе; про нее сказано только, что она краснѣетъ. Что же касается старухи, то она является у Овидія вѣдьмой въ буквальномъ смыслѣ слова: она своими чарами стягиваетъ луну съ небосклона, вызываетъ тѣни умершихъ, летаетъ по воздуху и т. д.; подобно Геродовой Гиллидѣ, и она любитъ выпить, но у нея эта страсть, по которой она и названа Дипсадой, превосходитъ всякую разумную мѣру: поэтъ насъ увѣряетъ, что она никогда не встрѣчаетъ утренней зари въ трезвомъ видѣ. Новый другъ, котораго она рекомендуетъ красавицѣ, обладаетъ только однимъ качествомъ: онъ неизмѣримо богатъ. Она пускается въ длинное разсужденіе о томъ, что это качество замѣняетъ всѣ остальные. Присмотрѣвшись ближе, мы замѣчаемъ, что въ этомъ разсужденіи и заключается главный интересъ элегіи, что все остальное—не болѣе какъ рамка къ нему; другими словами—поэтъ преслѣдовалъ не этологическую, а моралистическую цѣль; а если такъ, то несправедливо и сравнивать его съ Геродомъ. Гораздо ближе къ Героду въ этомъ отношеніи Плавтъ, *alias* Филемонъ. Филолахетъ, честный юноша, выкупилъ за отцовскія деньги прекрасную невольницу Филематию, и ему угрожаетъ поэтому

жестокій нагоняй со стороны строгаго родителя; въ ожиданіи этого послѣдняго онъ пришелъ полюбоваться на свое новое счастье и случайно дѣлается свидѣтелемъ разговора Филематіи съ ея старой прислужницей Скафой. Скафа говоритъ Филематіи приблизительно то же, что Гиллида Метрихѣ. Но странное дѣло! Сопоставляя Плавта съ Геродомъ, мы находимъ, что у Герода все просто, естественно, у Плавта шаржировано и шаблонно. Шаржъ мы можемъ оставить на совѣсти римскаго поэта, допуская, что подлинникъ этимъ грѣхомъ грѣшенъ не былъ; но и тогда перевѣсъ окажется на сторонѣ Герода. Почему это? Потому, что у Филемона эта сцена существуетъ ради фабулы, у Герода—ради себя самой. Фабула требуетъ, чтобы Филематія была изображена идеаломъ душевной чистоты; это необходимо для того, чтобы наши симпатіи оставались на сторонѣ юноши, пренебрегшаго ради нея отцовской волей; во имя этой цѣли поэтъ нѣсколько поступился полной естественностью, между тѣмъ какъ Геродъ ничѣмъ связанъ не былъ. Этотъ примѣръ очень поучителенъ: онъ какъ нельзя лучше доказываетъ, что только бытовая сценка, а не комедія, могла быть той формой, въ которой нуждалась этологическая поэма. А если такъ, то мы заранее должны будемъ относиться съ особеннымъ интересомъ къ тому автору, у котораго мы заимствовали нашу третью параллель—Лукіану. Дѣйствительно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ бытовой сценкой, такой же, какъ и сценка Герода, только написанной прозой, а не стихами, отъ чего естественность, разумѣется, можетъ только выиграть. Но, къ сожалѣнію, это только такъ кажется; при болѣе внимательномъ изученіи сборника, къ которому принадлежитъ и наша сценка, именно „Разговоръ гетеръ“, дѣлается очень вѣроятнымъ, что его сценки представляютъ собою переложеніе въ прозу сценъ, заимствованныхъ изъ комедій Менандра и его сподвижниковъ, при чемъ главная задача автора состояла, разумѣется, въ томъ, чтобы избѣжать характера отрывочности, осторожно порвать нити, связывавшія избранныя имъ сцены съ фабулой всей комедіи, такъ, чтобы онѣ являлись цѣльными и законченными. Это ему прекрасно удалось въ нашей сценкѣ. Этотъ разъ искусительница — родная мать; она недовольна тѣмъ, что ея дочь отталкиваетъ отъ себя

всѣхъ богатыхъ и щедрыхъ юношей, которые желали бы ухаживать за нею, и ладить только съ однимъ невзрачнымъ молодымъ человѣкомъ низкаго происхожденія и безъ всякаго состоянія. Дочь защищаетъ свой поступокъ, но не такъ, какъ это дѣлаетъ Филематія Плавта. Она не говоритъ: „Я его одного люблю, я хочу быть ему вѣрной“. Въ той бѣдной средѣ, въ которую насъ вводитъ авторъ, любовь и вѣрность составляютъ лишь часть пышнаго наряда гетеры; въ немъ блистаютъ лишь на улицѣ и въ кругу веселящейся молодежи; дома его не носятъ, такъ какъ онъ плохо гармонировалъ бы съ реализмомъ голыхъ стѣнъ и битой утвари. Дѣвушка говоритъ, что ея бѣдный другъ общалъ ей то, чего не привыкли общаться, и подавно не привыкли сдерживать богатые юноши — общалъ жениться на ней. „Общаль!“ вздыхаетъ мать; но дочь тоже понимаетъ, что она играетъ съ большимъ рискомъ для себя — съ рискомъ потерять свою молодость и все-таки остаться ни съ чѣмъ. Она дѣлаетъ такъ не потому, чтобы была увѣрена въ успѣхѣ, а потому, что не видитъ для себя другой возможности пристроиться; съ этимъ должна согласиться и мать. Какъ видно изъ этого эскиза, по части реализма Лукіанъ не уступаетъ Героду, въ чемъ, впрочемъ, нѣтъ большой заслуги, если сообразить, что онъ жилъ четырьмя столѣтіями позже его. За Геродомъ остается лишь одно преимущество — неподражаемая прелесть народной рѣчи.

Познакомимся теперь съ третьимъ изъ женскихъ типовъ Герода — съ самодуркой-барыней. Имя ей — Битинна. Если бы я имѣлъ возможность привести въ точномъ переводѣ всѣ ея рѣчи — мнѣ не трудно было бы выставить ее настоящей родоначальницей героинь „Пошехонской старины“. Но точность переводчика имѣетъ свои предѣлы; познакомиться съ грубымъ цинизмомъ, который характеризуетъ эту женщину въ ея сношеніяхъ со своей челядью, можно только въ подлинникѣ. Относительно содержанія я долженъ ограничиться краткимъ намекомъ: рѣчь идетъ о Гастронѣ, красавцѣ-рабѣ Битинны, котораго та приревновала къ какой-то другой женщинѣ, Амфитеѣ. Наша барыня изображена вообще женщиной съ необузданными страстями и склонной къ насилию; а тутъ еще предметъ ея ревливой ненависти является вмѣстѣ съ тѣмъ ея рабомъ, ея полной собственностью. Не-

чего и говорить, что происходит сцена, достойная самых темных временъ крѣпостного права. Битинна велитъ другому рабу, Пиррію, вязать „лакомку“ Гастрона, да потуже, и отвести въ мельницу, служившую въ то же время и застѣнкомъ для провинившихся рабовъ. Запленнымъ мастеромъ состоялъ нѣкто Гермонъ; ему Битинна велитъ передать Гастрона, чтобы онъ наградила ея бывшего любимца кнутомъ, давъ ему тысячу ударовъ въ спину и тысячу въ животъ: „смотри, не забудь“, говоритъ она Пиррію: „тысячу сюда и тысячу сюда; слышалъ?“ Пиррій уходитъ, уводя съ собой Гастрона на вѣрную смерть. Тутъ поэтъ прибавилъ новую интересную черту: повидимому, прочимъ рабамъ приходилось не мало терпѣть отъ прихотей Гастрона, пока онъ пользовался милостями барыни; зато съ какой радостью набросился на него теперь этотъ самый Пиррій, съ какимъ наслажденіемъ влечетъ онъ его на пытку, поскорѣе, чтобы Битинна не успѣла опомниться! Но Битинна все-таки опомнилась; въ самомъ дѣлѣ, что она сдѣлала? Убьютъ въ ея отсутствіе ея раба, не давъ ему и сотни ударовъ, пропадутъ даромъ три мины, которыя она заплатила за него и, главное — не надъ кѣмъ ей будетъ болѣе изливать свою злобу. „Скорѣе, скорѣе, раба“, говоритъ она прислужницѣ, „зови ихъ обратно, пока они еще недалеко“. Эта прислужница, Кидилла, играетъ интересную роль въ этомъ гадкомъ хозяйствѣ. Она, дѣвушка съ добрымъ сердцемъ, имѣетъ большую власть надъ своей въ корень испорченной госпожей; послѣдняя — неизвѣстно какими судьбами — вскормила ее, какъ она сама выражается, на своихъ собственныхъ рукахъ и любить не менѣе родной дочери. Кидилла рада; она пускается въ догонку за удаляющимися. „Пиррій, остановись! Или ты оглохъ? Тебя зовутъ! Господи, что это такое! Подумають, что ты тащишь какого-то гробокрадцу, а не товарища-раба! Не совѣстно ли тебѣ съ такой силой волочить его на пытку? Смотри, Пиррій, не пройдетъ пяти дней, какъ я увижу твои собственные ноги въ тѣхъ же оковахъ, которыя ты приготовилъ для него“. Пиррій волей-неволей возвращается. Тѣмъ временемъ Битинна успѣла придумать другое наказаніе. „Его ты введи сюда и оставь связаннымъ“, говоритъ она Пиррію, „а самъ пойди за Косіемъ — тѣмъ, что клеймить рабовъ, и вели

ему придти сюда съ иглами и чернилами. Будешь ты у меня пестрымъ“, говоритъ она съ злорадствомъ Гастроу, „не такъ, такъ иначе“. Но тутъ Кидилла вступается за несчастнаго. „Прости его“, говоритъ она жестокой госпожѣ, „если хочешь, чтобы твоя дочь осталась живой, если хочешь выдать ее замужъ и ласкать малютокъ-внучатъ“. Но Битинна слишкомъ оскорблена; ей честь, о которой она имѣетъ очень своеобразныя понятія, слишкомъ глубоко ранена. „Не мучьте меня, Кидилла“, говоритъ она, „а то я вонъ убѣгу изъ дома. Какъ! мнѣ отпустить этого негоднаго раба? Да вѣдь послѣ этого первая встрѣчная можетъ по праву плюнуть мнѣ въ лицо. Нѣтъ! коль скоро онъ не умѣетъ вести себя по-человѣчески, пускай хоть клеймо на его лбу научить его знать, кто онъ“. „Но вѣдь черезъ пять дней двадцатое число и праздникъ Гереній“, замѣчаетъ Кидилла. Это въ самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ на барыню: она отпускаетъ раба, но только на время. „Дай намъ только справиться съ чествованіемъ мертвыхъ, и будетъ тебѣ праздникъ послѣ праздника“. Такимъ образомъ сцена кончается угрозой, но мы ей болѣе не вѣримъ: черезъ пять дней гнѣвъ Битинны успѣетъ остыть. Гастронъ опять поправится ей за тѣ же качества, за которыя нравился раньше, и предсказаніе Кидиллы относительно Пиррія сбудется. Дѣйствіе нашей сценки, такимъ образомъ, закончено.

Перейдемъ къ болѣе отрадной картинѣ. Четвертая сценка вводитъ насъ въ храмъ Асклесія, повидимому въ Косѣ. Нѣкая Коккала съ подругой пришла помолиться богу и принести ему пѣтуха въ жертву за исцѣленіе отъ болѣзни; она творитъ молитву, а затѣмъ, вмѣстѣ съ подругой, разсматриваетъ художественныя произведенія, которыми наполненъ храмъ. Эта тема сразу вызываетъ сравненіе съ идилліей Θεокрита „Праздникъ Адониса“, о которой рѣчь была выше. Результатъ сравненія можетъ быть высказанъ въ немногихъ словахъ: идиллія Θεокрита живѣе и поэтичнѣе, сценка его подражателя однообразнѣе и реалистичнѣе. Начнемъ съ самой молитвы. У Θεокрита она сплошь написана торжественнымъ и поэтичнымъ слогомъ и изобилуетъ прекрасными картинами: „Владычица, возлюбившая Гольги, Идалій и высокій Эриксъ, золотомъ играющая Афродита! сколь прекраснымъ

привели тебѣ Адониса отъ вѣчно текущаго Ахеронта, на двѣнадцатый мѣсяцъ, нѣжною Гору; самыя медленныя среди блаженныхъ любезныя Горы, но съ радостью встрѣчаютъ ихъ всѣ смертныя, такъ какъ онѣ всегда что-либо съ собою приносятъ. Киприда, Діонина дочь! ты, какъ гласитъ преданіе среди людей, сдѣлала безсмертною изъ смертной Беренику, вливъ амбросію въ грудь женщинѣ; въ благодарность тебѣ, многоименная и многотимая, Береникина дочь, Арсиноя, чудной красоты, какъ Елена, всѣмъ, что только есть прекраснаго, украшаетъ Адониса“ и т. д. Въ молитвѣ героини нашего Герода тоже встрѣчается нѣсколько гомерическихъ словъ, но они производятъ у нея такое же впечатлѣніе, какъ церковнославянскія слова въ устахъ нашихъ богадѣленокъ. „Слава тебѣ, владыка Пѣанъ, хранящій Трикку, обитающій въ миломъ Косѣ и Эпидаврѣ; слава и твоей родительницѣ Коронидѣ и Аполлону; слава и Гигіѣ, которой ты касаешься своей десницей; слава и тѣмъ, кому посвящены эти жертвенники; Панацеѣ и Эпіонѣ и Іасѣ; слава и Подалирію и Махаону, исцѣлителямъ отъ жестокихъ болѣзней, разрушившимъ домъ и стѣны Лаомедонта; слава всѣмъ богамъ и богинямъ, поселившимся у твоего очага, отецъ Пѣанъ! Примите милостиво отъ меня на ужинъ этого пѣтуха, глашатая моей хижины, котораго я приношу вамъ въ жертву. Наша жизнь—жизнь бѣдная и трудная, а то мы принесли бы тебѣ быка или жирную свинью ради болѣзней, которыя ты снялъ съ насъ, воснувшихъ насъ, владыка, своими цѣлительными руками“. Служитель принялъ отъ нихъ пѣтуха, и богомолки, въ ожиданіи его отвѣта, остаются однѣ на паперти, среди чудныхъ статуй. Вторая женщина, повидимому, уже раньше бывала въ Косѣ; она объясняетъ своей подругѣ то, что она видитъ; та приходитъ ото всего въ восторгъ. Нечего и говорить, что на нее болѣе всего дѣйствуютъ изображенія реалистическія. „Смотри, душенька, на эту дѣвочку, съ какой жадностью она глядитъ вверхъ на яблоко; такъ и кажется, что она тутъ же духъ испуститъ, если ей его не дадутъ! Нѣтъ, ты смотри, Кинна, ради Мойръ, какъ этотъ мальчишка душитъ стараго гуся! Если бы я не знала, что онъ изъ камня, я бы подумала, что онъ вотъ-вотъ у моихъ ногъ загопочетъ!

Право, современемъ люди сумѣютъ и въ камни влить жизнь“. Последнее замѣчаніе Коккалы намъ особенно интересно, такъ какъ группа, къ которой оно относится—мальчикъ, дунащій гуся—намъ сохранена. Ея подруга, Кинна, какъ женщина, выдавая виды, не выражаетъ своего энтузіазма; она знаетъ, что самое лучшее онѣ увидятъ въ самомъ храмѣ, куда, однако, еще не пускаютъ. Не пускаютъ другихъ, но Кинна увѣрена, что ее и Коккалу, благодаря ея протекціи, выпустятъ. „Иди за мной, душенька“, говоритъ она подругѣ, „и я покажу тебѣ такую вещь, какой ты еще отъ роду не видывала. Эй, Кидилла“, зоветъ она прислужницу, „поди-ка, кликни служителя“. Но Кидилла сама поглощена окружающей и невиданной роскошью; она, какъ бы очнувшись, удивленно смотритъ на госпожу. Та вѣт себя. „Тебѣ говорить“, кричитъ она въ сердцахъ, „чего ты зазѣвалась? А она и вниманія не обратила на мои слова и стоитъ, выпучивъ глаза на меня пуще рака! Говорить тебѣ: иди и позови служителя!—Что за тварь! Ни въ праздникъ, ни въ будни нельзя похвалить тебя; вездѣ ты меня бѣсишь. Зато клянусь тебѣ, Кидилла, вотъ этимъ самымъ богомъ—хоть и не хочется мнѣ сердиться, все-таки ты заставляешь меня—клянусь, повторяю: придетъ тотъ день, когда ты почешешь свою глупую башку!“ Подруга старается успокоить расхоловавшуюся Кинну. „Не давай во всемъ воли своему сердцу, Кинна; она вѣдь раба, а у рабы уши тупостью законопачены“. Между тѣмъ народу стало прибывать; двери храма отворяются, поднимаютъ занавѣсь. У Коккалы глаза разбѣгаются: въ храмѣ картинная галлерея, и какихъ только картинъ тамъ нѣтъ! „Смотри, Кинна, что за чудныя вещи! Ну, кто бы не подумалъ, что это написала какая-нибудь новая Аѳина? Слава ей, владычицѣ! Мнѣ кажется, если уколоть этого самаго мальчика—у него ранка будетъ; а куски говядины у него на сковородѣ—они какъ будто прыгаютъ, точно горячіе! А серебряный ухватъ! Вотъ вытаращили бы глаза Міелль и Патевискъ, Лампріоновъ сынъ (ювелиры, повидимому)! они подумали бы, что онѣ и взаправду серебряный. А вотъ этотъ быкъ съ проводникомъ и женщиной, идущей вслѣдъ, и вотъ этотъ носастый, и этотъ курносый—тихая жизнь у нихъ такъ и смотреть изъ глазъ! Право, если

бы это мнѣ, какъ женщинѣ, не было неловко, я завизжала бы, какъ бы быкъ меня не забодать—смотри, какъ онъ косится другимъ глазомъ!“ Кинна гордо улыбается: „Да, милая моя, счастливыя руки у эфесца Апелла на всякія картины; про него нельзя сказать, что онъ одно умѣетъ, а другого нѣтъ; случится ему приняться за бога — онъ и бога сумѣетъ изобразить. Такъ-то, душенька: кто не смотритъ съ восторгомъ на него и на его работы, того слѣдуетъ повѣсить внизъ головой въ мастерской скорняка!“ Здѣсь разговоръ обѣихъ пріятельницъ прерываетъ приходъ служителя, который объявляетъ имъ, что богъ очень милостиво принялъ ихъ приношеніе; послѣ краткихъ хозяйственныхъ распоряженій со стороны Коккалы подруги удаляются.

Такова наша сценка; въ ней молитвы чередуются съ созерцаніемъ предметовъ искусства, последнее опять прерывается бранью по адресу рабы; все вмѣстѣ составляетъ живую картину дѣйствительности. Только одно мѣсто нашей поэмы производитъ впечатлѣніе чего-то дѣланнаго; это — панегирикъ Апеллу; оно и навело меня на мысль, что поэтъ былъ самъ эфесцемъ и хотѣлъ почтить память своего великаго земляка. Но—чтобы вернуться къ составнымъ частямъ нашей сценки—молитвы встрѣчаются у Герода только здѣсь; онѣ интересны съ сакральной точки зрѣнія и найдутъ себѣ мѣсто рядомъ съ другими молитвами, въ особенности съ однородными пѣснями-пѣанами въ честь Асклепія, которыя обнаружили раскопки послѣднихъ лѣтъ. Художественные восторги тоже встрѣчаются только здѣсь; мѣсто имъ отнынѣ въ сборникѣ археологическихъ свидѣтельствъ изъ древности—*Schriftquellen* Овербека. Ни въ какой сборникъ не войдетъ интересная развѣ только съ культурно-исторической точки зрѣнія перебранка съ рабыней; между тѣмъ она является излюбленной темой Герода. Не беремся рѣшать вопроса, была ли въ Греціи тупость рабынь больше или сварливость хозяекъ; какъ бы то ни было, но въ древнѣйшемъ греческомъ памятникѣ, въ которомъ выступаетъ современная хозяйка со своей рабыней—въ „Лисистратѣ“ Аристофана (ст. 184) обращеніе первой къ послѣдней имѣетъ слѣдующую гуманную форму: „Гдѣ Скиоена? Ты чего зазѣвалась? Дай-ка намъ пить“, и т. д. У Герода это—

неизбѣжный тонъ; даже добродѣтельная Метриха прогоняетъ прислугу фразой, которую можно передать такъ: „ну, поворачивайся, раба!“ Во второй и третьей сценкахъ рабынь нѣтъ, четвертая—наша; о героинѣ пятой сценки, самодуркѣ Битинѣ, рѣчь была выше; шестая—имѣющая содержаніемъ „интимный разговоръ“ двухъ подругъ, въ сущность котораго мы вникать не будемъ—начинается со слѣдующей картины. Къ мѣщанкѣ Кориттѣ приходитъ ея подруга Метрѣ; она вѣжливо приглашаетъ ее присѣсть, но оказывается, что и присѣсть некуда; прислуга не догадалась принести кресло посѣтителницѣ. Вспыльчивая Кориттѣ выходитъ изъ себя: „Обо всемъ должна я сама распорядиться; ты же, дура, ничего не сумѣешь сдѣлать отъ себя. Что это, право! глыбой какой-то, а не рабой, торчишь ты въ домѣ; зато, когда тебѣ отсыпаютъ крупу, ты всѣ крупинки считаешь, и если хоть чуточку просыпать, ты цѣлый день ворчишь и кипятишься, такъ что даже стѣнамъ тошно дѣлается“. Тѣмъ временемъ раба пошла за кресломъ, но видя, что оно все въ пыли, считаетъ своимъ долгомъ предварительно почистить его. Это еще болѣе бѣситъ хозяйку. „Это ты теперь вздумала его гладить и чистить, когда въ немъ потребность? Злодѣйка, кланяйся этой моей подругѣ; не будь ея, дала бы я тебѣ отвѣдать моей ладони“. Подруга тоже не изъ благодушныхъ; она не успокаиваетъ хозяйку, какъ это дѣлаетъ богомолка Коккала, а только соболѣзнуетъ ей. „Ахъ, милая Кориттѣ, ты несешь такое же ярмо, какъ и я; и мнѣ, точно собакѣ, приходится лаять и скалить зубы на этихъ проклятыхъ; однако, о чемъ я пришла поговорить съ тобою...“ Недогадливая раба опять не замѣчаетъ, что подруги желаютъ быть наединѣ. „Убирайтесь вы отсюда“, кричитъ Кориттѣ, сопровождая свое приказаніе непонятнымъ для насъ ругательствомъ, „только уши да языкъ у васъ есть, всего другого какъ бы не бывало“. Раба, разумѣется, уходитъ и возвращается только къ концу сценки провожать уходящую гостью; конецъ, къ сожалѣнію, сильно пострадалъ въ рукописи, все же изъ отрывковъ видно, что ей и тутъ достается отъ ея неугомонной госпожи.

Отъ восьмой сценки были обнародованы сначала только первые три стиха; но самое заглавіе „Сновидѣніе“ позволяло

намъ догадываться, что содержаніемъ сценки было нѣчто похожее на забавный сонъ пряхи въ „Лягушкахъ“ Аристофана, или на сонъ рыбака въ 21 идилліи Θεокрита. Теперь, благодаря нѣсколькимъ новымъ лоскуткамъ, число стиховъ достигло тридцати; къ сожалѣнію, то мѣсто, гдѣ начинается разсказъ сновидѣнія, сильно попорчено; гораздо лучше сохранилось начало—новая варіація на излюбленную тему Герода. Просыпается хозяйка, и начинается содомъ. „Вставай, раба Псилла; будетъ тебѣ храпѣть! Наша свинья, чего добраго, издохнетъ отъ жажды. Ужъ не ждешь ли ты, пока солнце тебя не прожаритъ? И какъ это у тебя, безчувственной, бока не болятъ отъ этого спанья! А ночи нынче девятичасовыя! Вставай, говорятъ, зажги свѣтильникъ, если хочешь, и пусти свинью пасться. Ты еще ворчишь? Видно, у тебя затылокъ чешется, и будетъ чесаться до тѣхъ поръ, покуда я не приглажу его палкой. Мегаллида, глупая, и ты спишь сномъ Эндиміона? Твоя работа, видно, не очень тревожитъ тебя; а у насъ нѣтъ даже повязки на праздникъ, и на весь домъ не найдется даже одной маленькой шкурки шерсти. Вставай, дура“. И такъ далѣе.

Какъ видно, служанкамъ не очень хорошо жилось въ изображаемомъ Геродомъ обществѣ; о положеніи рабовъ — кромѣ совершенно особаго типа, Гастропа въ пятой сценкѣ — мы узнаемъ гораздо меньше. Виною тому то обстоятельство, что почти всѣ сценки Герода имѣютъ содержаніемъ женскую жизнь. Мужчины выступаютъ на первый планъ только въ двухъ, *второй*, которую я пропускаю съ умысломъ, и *седьмой*. Эта послѣдняя очень интересна; ее я приберегу къ концу.

Она озаглавлена „Сапожникъ“; дѣйствіе происходитъ въ мастерской самого героя, сапожника Кердона; къ нему является покупательницей нѣкая Метрѡ, мѣщанка повидимому, и съ ней двѣ подруги; третья почему-то не рѣшается войти и останавливается у дверей. „Вотъ, Кердонъ“, говоритъ Метрѡ, „я привела къ тебѣ своихъ подругъ; авось у тебя найдется показать имъ хорошую работу, достойную твоихъ рукъ“. „Не даромъ, Метрѡ, я такъ люблю тебя“, любезно отвѣчаетъ сапожникъ, и тотчасъ зоветъ раба: „Дримилъ, вынеси женщинамъ большую скамейку. У, тебя зовутъ! Опять заснулъ? Эй, Пистъ, дай ему хорошенько въ морду, чтобы онъ страхнулъ эту свою

спячку. А то лучше шиломъ "... Порча текста не даетъ перевести дословно продолженія этой рѣчи; все же видно, что Дримиль скамейку наконецъ приносить. Затѣмъ второй рабъ, Пистъ, по приказанію хозяина, отпираетъ шкафы одинъ за другимъ. Сначала разсматриваются сандалии; Кердонъ восхваляетъ свой товаръ: „Любуйся, Метрѳ: вотъ подошва, самая первѣйшая изъ всѣхъ подошвъ. Посмотрите и вы, женщины: каблукъ какъ приделанъ, точно мѣдными гвоздями прибитъ. Никакого изъяна тутъ нѣтъ;“ никто не скажетъ, что въ этой сандалии одно хорошо, а другое нехорошо, нѣтъ, вся она чудо какъ хороша. А цвѣтъ какой!“ и т. д. Нѣсколько далѣе онъ приснащиваетъ свою рѣчь обычными у торговцевъ его гильдіи завѣреніями: „Да откажутъ мнѣ боги во всѣхъ радостяхъ жизни, если я лгу. Я вѣдь не то, что другіе; тѣ только и норовятъ, чтобы содрать съ покупателей крупный барышъ, а по части искусства куда имъ до меня!“ Затѣмъ онъ распространяется о своей горемычной жизни, но видя, что покупательницъ эти подробности не интересуютъ, переходитъ къ дѣлу. „А впрочемъ“, говоритъ онъ, „не въ словахъ пужается коммерція, а въ деньгахъ; если эта пара тебѣ не нравится Метрѳ, то мальчикъ принесетъ другую, затѣмъ еще одну, пока вы не убѣдитесь сами, что Кердонъ сказалъ вамъ сущую правду“. Дѣйствительно, приносятъ столько разнаго товару, что отъ однихъ названій голова кругомъ идетъ; Метрѳ, однако, возвращается къ той парѣ, которая была показана первой. Наступаетъ психологическій моментъ. „Сколько возьмешь за ту первую пару?“ спрашиваетъ Метрѳ, „только смотри, не слишкомъ громко греми, а то мы убѣжимъ“. Кердонъ отвѣчаетъ уклончиво: „Нѣтъ, ты сначала вникни во всѣ достоинства этой работы, а затѣмъ уже сама назначь цѣну; коли будешь знать товаръ, никакого подвоха тебѣ отъ меня не будетъ. А затѣмъ я уже знаю, коли тебѣ нужна настоящая сапожничья работа, ты и цѣну назовешь такую—клянусь тебѣ моей сѣдой головой, изъ которой уже и волосы вылѣзаютъ,—чтобы искусному мастеру было чѣмъ закусить“. Храбрится Кердонъ, а самъ про себя молитву творить: „Ой, не оставьте меня, Гермесъ и Убѣда, благодѣтели мои! Если и теперь неводъ вернется пустымъ, я право не знаю, чѣмъ намъ посолить похлебку“. „Ты что бор-

мочешь?" спрашивает Метрѣ; "говори ясно, какая цѣна этой парѣ". "Ужъ право", отвѣчаетъ Кердонъ, "какой бы стороной ни показать ее, меньше чѣмъ за мину ее уступить нельзя; даже если бы сама Аѣнна ее покупала, она не выторговала бы ни одной полушки". Метрѣ только смѣется. "Не даромъ въ твоей лавченкѣ", говоритъ она, "такъ много всякаго добра. Береги тщательно свой товаръ; къ двадцатому числу Тавреона мѣсяца Геката справляетъ свадьбу Артакены, тутъ-то ей башмаки и понадобятся; тогда-то, можетъ быть, онѣ и принесутъ тебѣ то, что ты запросилъ, навѣрное принесутъ; только сшей себѣ мѣшокъ, а то твои мины ласки растаскають". — "Ужъ какъ хочешь", говоритъ Кердонъ, "а только сама Геката не получить этой пары за меньшее, чѣмъ за мину, и Артакена не получить". Такъ дѣло и разстраивается; къ счастью, подружки Метрѣ оказываются болѣе стоворчивыми, въ особенности одна молодая женщина, которую Кердонъ осыпаетъ своими любезностями, такъ что въ концѣ концовъ обѣ стороны остаются очень довольны другъ другомъ.

Таково сочиненіе, которому лишь теперь, послѣ двухъ слишкомъ тысячелѣтій, было суждено занять вновь подобающее ему мѣсто во всемірной литературѣ. Само собою разумѣется, что его научный интересъ далеко не исчерпывается вышесказаннымъ. Для филолога драгоцѣнна между прочимъ и его форма; Геродъ пользуется т. н. "хромымъ ямбомъ", вполне сознательно, какъ это обнаружила послѣдняя находка, подражая древнему Гиппонакту, отъ котораго намъ сохранились лишь жалкіе отрывки; а такъ какъ слѣдующій поэтъ, писавшій этимъ стихомъ — баснописецъ Бабрій—жилъ около пятисотъ лѣтъ позже Герода, то легко понять, какой интересъ должны представлять, съ чисто филологической точки зрѣнія, стихи Герода. Загадочное "вступленіе" римскаго сатирика Персія, написанное тѣмъ же ямбомъ, дѣлается для насъ понятнѣе благодаря Героду; при естественнымъ родствѣ этологическаго направленія съ сатирическимъ представляется очень вѣроятнымъ, что Персій просто ему подражалъ. Лингвистика тоже не осталась въ проигрышѣ; сценки Герода написаны тѣмъ же іоническимъ діалектомъ, какъ и исторія Геродота, но вслѣдствіе своего драматическаго характера и предпочтенія, которое въ нихъ оказывается низ-

менной, вульгарной рѣчи, доставляютъ намъ очень много новаго по части языка. Къ тому же рѣчь Герода испещрена всякими пословицами и поговорками; любители древняго *folk-lore'a* и специально пословицъ найдутъ здѣсь обильную жатву. О реаліяхъ я и не говорю; громадная важность нашей находки для этой области классической филологіи достаточно явствуетъ изъ ея содержанія.

Обо всемъ этомъ я упоминаю лишь вскользь: въ видахъ единства я рѣшилъ ограничиться одной только историко-литературной стороной интересующаго насъ сочиненія. Обыкновенно тотъ, кто одно какое-нибудь литературное явленіе разсматриваетъ съ особенной обстоятельностью, дѣлается склоннымъ преувеличивать его значеніе. Постараемся избѣжать этой ошибки; бросимъ издали прощальный взглядъ на Герода, представляя себѣ его въ обществѣ прочихъ греческихъ поэтовъ, которые никогда не переставали быть учителями человѣчества; тогда правильная перспектива возстановится сама собой. Впрочемъ и тутъ выясненные выше факты помогутъ намъ вѣрно оцѣнить интересное литературное явленіе, о которомъ идетъ рѣчь, въ ряду другихъ явленій.

Мы видимъ, что реализмъ въ греческой поэзіи явился тогда, когда окружающая человѣка среда пошлой обыденности была объявлена интересной; мы видѣли также, что это послѣднее событіе, если его можно такъ назвать, было дѣломъ науки. Отсюда слѣдуетъ, что Геродъ и родственные ему поэты, если таковые были, принадлежатъ болѣе греческой наукѣ, чѣмъ греческой поэзіи; терминъ „ученой поэзіи“, примѣняемый обыкновенно къ поэзіи александрійскаго періода, является въ данномъ случаѣ совершенно уместнымъ, хотя и въ нѣсколько иномъ смыслѣ. Каково же наше отношеніе къ греческой наукѣ? Ее, прежде всего, мало кто знаетъ, но весьма естественнымъ причиняемъ, но мнѣніи большинство людей о ней довольно невысокаго; греки предполагали движеніе солнца вокругъ земли, не знали о существованіи Америки, считали воду элементомъ, не имѣли понятія объ электричествѣ, и т. д. Затѣмъ, если кто беретъ на себя трудъ ознакомиться съ греческой наукой, то въ результатѣ получается обыкновенно очень пріятное разочарованіе; оказывается, что греки знали очень много такихъ

научныхъ истинъ, которыя мы склонны принимать за открытія новѣйшаго времени, что они умѣли строить довольно сложныя машины. Чѣмъ болѣе изслѣдователь углубляется въ свой предметъ, тѣмъ болѣе исполняется онъ уваженія къ нему. На этомъ-то и слѣдуетъ остановиться трезвому человѣку; фантасты, правда, идутъ нерѣдко далѣе и доказываютъ, смотря по своей специальности, что древніе предвосхитили у новѣйшихъ ученыхъ бактериологію и антисептическое лѣченіе, что они знали электричество, хотя и въ формѣ тайнаго ученія, что имъ были извѣстны взрывчатые вещества, не уступающія по своей силѣ пороху, и т. д. Конечно, относительно Герада такія крайности невозможны уже потому, что онъ слишкомъ доступенъ. Мы можемъ требовать для него только нѣкоторой доли того уваженія, которое люди свѣдущіе воздаютъ греческой наукѣ, какъ необыкновенно раннему и сравнительно очень мощному проявленію наблюдательной силы человѣческаго ума. На этомъ мы останавливаемся; нѣтъ причины опасаться, чтобы кто-нибудь не вздумалъ ставить поэта Метротимы и Кердона въ одинъ рядъ съ знаменитыми писателями-реалистами новѣйшихъ временъ.

Не таково наше отношеніе къ великимъ поэтамъ Эллады, начиная Гомеромъ и кончая Еврипидомъ; ихъ никто не станетъ читать съ той снисходительной и поощрительной улыбкой, съ которой издавшій виды человѣкъ привѣтствуетъ первый успѣхъ сильнаго, но еще незрѣлаго таланта. Всякій, кто имѣлъ счастье прочесть и понять ихъ произведенія въ подлинникѣ—переводъ показываетъ лишь изнанку узора—знаетъ, что онъ имѣлъ передъ собой не первую, слабую попытку молодого еще чело-вѣчества, возобновленную съ тѣхъ поръ съ гораздо болѣе серьезнымъ успѣхомъ, а нѣчто единственное въ своемъ родѣ, чего не превзошли и не могутъ превзойти всѣ послѣдовавшіе поэты всѣхъ временъ. Таковы преимущества идеальной поэзіи; ея представители не чужіе лучи отражаютъ, а свѣтятъ своимъ свѣтомъ и согрѣваютъ насъ теплотой своего сердца; они сообщаютъ намъ не то, что они подслушали, а то, что они почувствовали и до чего додумались.

А со всѣмъ тѣмъ ничто не мѣшаетъ намъ съ интересомъ относиться къ новонайденному предшественнику новѣйшихъ

изъ новыхъ писателей; слѣдуетъ только помнить, что не онъ и не кто-либо изъ его сподвижниковъ стараго и новаго времени, а пѣвецъ „Прометея“ былъ Прометеемъ нашей культуры.

III.

Менандръ.

I.

Чудно живетъ филологу въ наши дни и въ нашемъ отечествѣ. Врядъ ли кому-либо приходится такъ же часто и такъ же мучительно испытывать ту волнующую, изнуряющую смѣну настроеній, тепла и холода, радости и горя, восторга и отчаянія, тотъ гетевскій разладъ чувствъ: *himmelhoch jauchzend—zu Tode betrübt*.

Съ одной стороны—одиночество... Нѣтъ, хуже: безпре-
станная, безошадная травля; отвергнуты, осмѣяны, оклеветаны и мы сами, и наша дѣятельность, и тотъ идеалъ гуманности, отъ котораго мы отказаться не можемъ, такъ какъ его превосходство доказано всѣми доводами исторіи и логики, такъ какъ въ его исповѣдываніи мы чувствуемъ себя заодно со всѣми лучшими людьми всѣхъ лучшихъ временъ. Дошло до того, что мы въ этой неравной борьбѣ рады уже не другу, нѣтъ, — а только честному противнику, честно дѣйствующему честнымъ мечомъ разума, умѣющему насъ выслушивать и вникать въ наши доводы, признающему общіе и одинаково обязательные для обѣихъ сторонъ законы логики, — такому, однимъ словомъ, которому можно послѣ спора сердечно пожать руку. Пожалѣешь о такомъ противникѣ, когда имѣешь передъ собою людей, говорящихъ, подобно молодому Кирсанову: „мы лозимъ, потому что мы — сила“; вѣдь право же, лучше имѣть дѣло съ мечомъ, чѣмъ съ оглоблей... Да что мечъ! Иногда даже эти „господа сильные“ кажутся сравнительно сносными; бываютъ хуже. Бываютъ фальсификаторы, отравители общественнаго мнѣнія, путемъ замалчиванія и подтасовыванія фактовъ, а то и вольныхъ вымысловъ, выдающіе ложь за правду

и зло за добро. Это они стараются увѣрить своихъ читателей, будто „Западъ протестуетъ противъ классическаго образованія“, между тѣмъ какъ имъ должно быть извѣстно, что протестуетъ не „Западъ“, а лишь нѣкоторыя партіи на Западѣ; будто „прошла та пора, когда люди могли искать въ античной цивилизаціи отвѣты на волнующіе современность вопросы“, между тѣмъ какъ эта пора либо прошла вмѣстѣ съ самой античной цивилизаціей, либо не прошла и не пройдетъ никогда, и мы въ дѣйствительности никогда еще не были такъ близки къ античности, какъ именно теперь. Но это только цвѣточки; эти люди не посовѣстились эксплуатировать противъ насъ печальную харьковскую исторію, не обождая даже разъясненій о томъ, какая темная сила получила такую власть надъ несчастнымъ юношей, что ему легче стало убить человѣка, чѣмъ выучить книжку... Нѣтъ, лучше оглобля, чѣмъ ядѣ.

Съ другой стороны—кипучая дѣятельность подъ животворящимъ солнцемъ науки, захватывающій интересъ выдвигаемыхъ вопросовъ, небывалый еще доселѣ универсализмъ и широта взглядовъ. Сопротивленіе матеріи, заставлявшее въ прежнія времена филолога расходовать свою жизнь на провѣрку и объясненіе памятниковъ, въ значительной степени побѣждено; подземный фундаментъ заложенъ—можно смѣло, на вольномъ воздухѣ, заниматься постройкой самого зданія. Къ тому же, знаменательный для современной умственности девизъ эволюціонизма придалъ особое значеніе источникамъ культуры, а слѣдовательно — нашей, филологической работѣ, такъ какъ эти источники текутъ въ нашей области, и ихъ обнаруженіемъ заняты мы. Но это еще не все. Еще въ мою бытность студентомъ наличный составъ античной литературы считался болѣе или менѣе законченнымъ; развѣ только, полагали, въ неизслѣдованныхъ монастыряхъ Востока можетъ скрываться какая-нибудь новинка,—но и эта надежда, вслѣдствіе многократныхъ разочарованій, признавалась слабой. Теперь вскрылась новая богатѣйшая сокровищница, о которой раньше никто и помышлять не смѣлъ: вѣрные пески Египта возвращаютъ вклады, довѣренныя имъ много столѣтій тому назадъ, воскресають память исчезнувшихъ событій, призраки становятся реальностью. Мы получили сочиненіе Аристотеля объ аѳинской конституціи,

получили оригинальныя бытовыя сценки греческаго Горбунова— поэта Герода, получили оды и баллады Вакхилида, сверстника Пиндара. Но это только наиболѣе крупныя дары; болѣе мелкія находки то и дѣло всплываютъ наружу то здѣсь, то тамъ. Вотъ нашли стихотвореньице Саффо, вотъ—открывки изъ міоографической поэмы Гесіода, вотъ—пару сатиръ древнѣйшаго сатирическаго поэта Архилоха, вотъ—сцену изъ потерянной трагедіи Еврипида. И этимъ сокровищница еще далеко не исчерпана: опять слышно о крупнѣйшей литературной находкѣ, сдѣланной въ Египтѣ... какъ вы думаете, гдѣ? Въ чревѣ погребенныхъ крокодиловъ! Положительно, чувствуешь себя въ какой-то сказочной атмосферѣ.

Да, чудно живетъ филологу на нашемъ вѣку. Думая о той, первой сторонѣ своего существованія, онъ не разъ будетъ склоненъ воскликнуть съ древнимъ Гесіодомъ:

Лучше бы съ прѣвными жилъ я людьми—илъ поэзіе родился!

Напротивъ, стоитъ ему углубиться въ свою науку, освѣжить свои глаза широкими горизонтами, которые она открываетъ ему,—и исчезнетъ досада и уныніе, и ему припомнятся слова бойца-гуманиста Гуттена: „наука цвѣтетъ, силы пробуждаются; теперь жизнь стала сладка!“

II.

Къ числу поэтовъ, образъ которыхъ, благодаря египетскимъ находкамъ, съ каждымъ годомъ становится рельефнѣе и опредѣленнѣе, принадлежит и Менандръ. Его имя—не только одно изъ мелодичнѣйшихъ, но также одно изъ извѣстнѣйшихъ именъ древности: Менандръ, это—родоначальникъ современной комедіи. Его гениемъ античная комедія правовъ была поставлена на такую высоту, на которой она могла стать образцомъ для комедіи новѣйшихъ народовъ; преемственность тутъ наблюдается полная и непрерывная до послѣднихъ временъ, и, напримѣръ, толстовская Таня въ „Плодахъ просвѣщенія“ черезъ посредство мольтеровскихъ Лизеттъ восходитъ прямо къ Доридамъ и Писадамъ нашего поэта. Но народамъ новой Европы глава древней комедіи сталъ извѣстенъ не непосредственно, а въ передѣлкахъ римскаго комика Теренція, ориги-

нальные его комедии исчезли. Намъ это исчезновеніе представляется прямо загадочнымъ: Менандръ былъ послѣ Гомера самымъ популярнымъ поэтомъ древности, никого такъ часто и такъ усиленно не читали, какъ его; и все-таки судьба его не пощадила. Правда, благодаря этой популярности, намъ сохранено довольно много цитатъ изъ него, а также закругленных отрывковъ, вошедшихъ въ составъ древнихъ хрестоматій; но эти отрывки, преимущественно моралистическаго характера, не давали намъ опредѣленнаго представленія о томъ, что самое интересное въ комедіи—о діалогѣ. Не давали его, разумѣется, и римскія передѣлки Теренція, который къ тому же, по непонятнымъ намъ причинамъ, остановился въ своемъ выборѣ не на лучшихъ и извѣстнѣйшихъ пьесахъ своего образца; такимъ образомъ, намъ приходилось мириться съ мыслью, что имя одного изъ важнѣйшихъ представителей всемірной литературы такъ и останется для насъ именемъ.

Нынѣ не то. Благодаря находкамъ новѣйшихъ временъ—послѣдняя изъ которыхъ стала извѣстной лишь въ нынѣшнемъ (1900) году, мы знаемъ болѣе или менѣе точно, что такое представлялъ изъ себя Менандръ. Найдены цѣлыя крупныя сцены, принадлежавшія къ тремъ его любимѣйшимъ и славнѣйшимъ пьесамъ—къ комедіямъ „Видѣніе“, „Земледѣлецъ“ и „Отрѣзанная коса“; комбинируя ихъ съ сохранившимися отрывками и посторонними извѣстіями, мы можемъ на значительномъ протяженіи возстановить фабулу, а она въ свою очередь позволяетъ намъ отнестись съ должной сознательностью и къ техникѣ діалога, о которой свидѣлствуютъ найденныя сцены.

Читатели не посѣтуютъ на меня, если я попытаюсь въ краткихъ характеристикахъ познакомить ихъ съ тремя означенными драмами воскресающаго (если такъ можно выразиться) поэта.

III.

„Видѣніе“.

Первая изъ нихъ построена на мотивѣ „покинутой дѣвушки“. Нѣкая афинянка, очутившись въ этомъ горькомъ положеніи, воспитываетъ при себѣ дитя своей любви—дѣвочку;

современемъ судьба становится ласковѣе къ ней, ей удается выйти за хорошаго, зажиточнаго человѣка—вдовца, имѣвшаго подрастающаго сына отъ перваго брака. Заходитъ рѣчь объ участи дѣвочки; вдовецъ бы не прочь принять ее въ свой домъ, но его братъ рѣшительно противъ этого. „Какъ! Принять безприданницу въ домъ? А сынъ? А наследство?“ Нечего дѣлать; пришлось молодой женѣ разстаться съ дочерью. Она помѣстила ее, однако, у сосѣдей и продолжала видѣться съ ней, благодаря слѣдующей продѣлкѣ, вполне понятной для того, кто знаетъ строгость греческой религіи и непрочность греческихъ частныхъ построекъ. Именно: она прорыла изъ одной своей комнаты большое отверстіе въ сосѣдній домъ и затѣмъ, замаскировавъ его зеленью, сказала, что обращаетъ комнату въ запретную для мужчинъ часовню въ честь какой-то своей женской богини. Такъ ее дочь могла безпрепятственно приходить къ ней. Прошло такимъ образомъ нѣсколько лѣтъ; сынъ вдовца, Фидій, сталъ юношей. И вотъ онъ однажды, войдя невзначай въ запретную комнату своей мачихи, увидѣлъ въ ней красавицу-дѣву, которая при его появленіи внезапно исчезла; юноша, пораженный, остановился, но его безъ труда убѣдили, что мнимая дѣва была лишь „видѣніемъ“. Тѣмъ не менѣе Фидій почувствовать по исчезнувшей очень реальную тоску, самъ не будучи въ состояніи отдать себѣ въ ней отчета; его разговоръ по этому поводу съ вѣрнымъ дядькой составляетъ содержаніе одной изъ найденныхъ сценъ.

Дядька не питаетъ ни малѣйшаго сочувствія къ настроенію своего молодого хозяина, которое ему кажется просто „дурью“; хлѣбъ дорожаетъ, люди голодаютъ—вотъ это дѣйствительное бѣдствіе, а ему чего мало? Юноша возражаетъ:

Фид. Однако, чудакъ ты, мнѣ не по себѣ, мнѣ тяжело...

Дядька. Гдѣ дурь, тамъ непремѣнно и дряблость.

Фид. Прекрасно; надо же мнѣ избавиться отъ этого; чтѣ ты мнѣ посоветуешь?

Дядька. Чтѣ посоветую? Вотъ послушай. Будь у тебя, Фидій, настоящая болѣзнь, тебѣ бы нужно было искать настоящаго лѣкарства; но у тебя ея нѣтъ—слѣдовательно, и лѣченіе пустое. Пустое къ пустому; но ты вообрази, что оно тебѣ помогаетъ. Пусть натрутъ тебя бабы со всѣхъ сторонъ и окуратъ тебя сѣрой, изъ трехъ ключей окропи себя водой, подбавивъ соли, чечевицы...

Здѣсь рукопись обрывается: дальнѣйшее развитіе дѣйствія угадать, однако, не трудно. Разумѣется, психологія мудраго дядьки терпитъ полное фіаско: юноша избавляется отъ своего недуга только тогда, когда „видѣніе“ дѣлается реальностью и соединяется съ нимъ узами брака. Тогда назрѣваетъ вопросъ: кто отецъ невѣсты? Древняя комедія любила эффектные совпаденія: очень вѣроятно, что отцомъ дѣвушки оказался тотъ самый строгій братъ вдовца, который такъ противился ея принятію въ новую семью ея матери.

Я долженъ замѣтить, что сцены изъ „Видѣнія“ по способу своего нахожденія стоятъ особнякомъ. Ихъ рукопись составляла внутреннюю часть переплета одной книги въ синайскомъ монастырѣ св. Екатерины; здѣсь ее видѣлъ въ сороковыхъ годахъ, и отчасти списалъ, знаменитый Тишендорфъ, съ копій котораго отрывки были изданы въ семидесятыхъ годахъ, но такъ недостаточно, что нельзя было даже догадаться о томъ, къ какой комедіи они принадлежатъ. Между тѣмъ подлинная рукопись стала собственностью епископа Порфирія Успенскаго и вмѣстѣ съ его коллекціей перешла въ 1883 г. въ нашу Публичную Библіотеку; здѣсь она нашла себѣ изслѣдователя въ лицѣ покойнаго профессора В. К. Еришtedта (по прозаическому переводу котораго я далъ и вышеприведенный отрывокъ) и была имъ тщательнѣйшимъ образомъ издана въ 1891 году.

Зато сцены изъ обѣихъ слѣдующихъ комедій прочитаны на папирусахъ—первыя въ Женевѣ проф. Николемъ въ 1897 году, вторыя въ Лондонѣ Гренфеллемъ и Гентомъ въ 1899 году—которыми мы обязаны Египту и его пескамъ.

IV.

„Земледѣлецъ“.

Мотивъ „покинутой дѣвушки“ играетъ роль и здѣсь, но эта роль уже другая. Дѣйствующія лица—богатый афинянинъ Горгій съ его сыномъ, затѣмъ—его бѣдная сосѣдка Миррина, молодая еще женщина, съ сыномъ и дочерью. Сынъ Горгія и дочь Миррины любятъ другъ друга, но Горгію невѣстка-без-

приданница не съ руки, и онъ рѣшаетъ положить конецъ этимъ шапнямъ и женить сына на своей собственной дочери отъ второго брака (въ Афинахъ такіе браки допускались). Дальнѣйшее понятно: стыдъ юноши, горе матери... Но вотъ съ поля возвращается дворецкій Горгія, Давъ, и застаётъ Миррину въ грустномъ разговорѣ съ ея доброй знакомой, старушкой Филиной; радостно подходитъ онъ къ нимъ:

Давъ. Прости, не сразу замѣтилъ тебя, славная, почтенная женщина. Ну, какъ дѣла? А у меня есть хорошія рѣчи... нѣтъ, лучше: хорошія событія, если только боги дадутъ, и я хотѣлъ бы первый подѣлиться ими съ тобой.

Начинается послѣ этого торжественнаго вступленія рассказъ про настоящаго героя комедіи, земледѣльца Клеэнета:

Давъ. Тотъ Клеэнетъ, у котораго твой паренекъ работаетъ, намеренъ перекапывать свой виноградникъ и при этомъ здорово расшибъ себя колѣно...

Мирр. Что за несчастье!

Давъ. Не бойся, послушай, что дальше будетъ. Отъ раны на третій день колѣно распухло у старика, стало его лихорадить; словомъ—совсѣмъ плохо пришлось.

Фил. Провались ты! Подумаешь, какими „хорошими рѣчами“ пришелъ подѣлиться съ нами!

Мирр. Молчи, тетенька!

Давъ. Вотъ тутъ-то и понадобился ему человекъ, который бы умѣлъ ухаживать за нимъ. Его рабы, родомъ варвары, всѣ завопили: „преставился, родимый! Пойте заукойную!“ А сынъ твой, точно онъ ему отецъ, уложилъ его хорошенько, затѣмъ сталъ его растирать, промывать, кормить, утѣшать—словомъ, своими заботами онъ его, уже собиравшагося отпрavitиться на тотъ свѣтъ, опять поставилъ на ноги.

Мирр. Славный мальчикъ!

Дѣло кончилось тѣмъ, что Клеэнетъ подружился со своимъ работникомъ и, узнавъ о бѣдственномъ положеніи его матери и сестры, задумалъ жениться на послѣдней. По патріархальнымъ понятіямъ деревни, это было очень благороднымъ предложеніемъ, за которое бы можно только поблагодарить; но при настоящихъ условіяхъ оно только осложняетъ и безъ того уже запутанное положеніе. Дѣвушка уже несвободна; единственный, за котораго она съ честью можетъ выйти, это—сынъ Горгія. Дальнѣйшее развитіе дѣйствія мы въ точности воспроизвести не можемъ; вѣроятно, однако, что чест-

ный земледѣлец остался до конца тѣмъ благодѣтелемъ бѣдной семьи, которымъ онъ рѣшилъ быть съ самаго своего выздоровленія. Единственнымъ препятствіемъ былъ Горгій; Клеанетъ пріѣзжаетъ къ нему, уговариваетъ его, при чемъ жадность горожанина ярко контрастируетъ съ великодушіемъ селянина, общается, наконецъ, самъ позаботиться о приданомъ для невесты—тогда сопротивление Горгія сломлено. Остается непристроенной дочь Горгія—ее естественнѣе всего выдать за сына Миррины, котораго Клеанетъ, разумѣется, усыновляетъ. Такъ-то все кончается къ лучшему.

V.

„ОТРѢЗАННАЯ КОСА“.

Оригинальнѣе обстановка въ третьей изъ нашихъ комедій, это—обстановка бурной эпохи, жестокаго вѣка... того вѣка, который наступилъ въ Греціи послѣ походовъ Александра Великаго. Жизнь стала богата приключеніями, невѣроятное было обычной атмосферой людей; зато и страсти разыгрались, и смѣлый и сильный человѣкъ, менѣе стѣсненный государственной властью, сталъ чаще и рѣзче возводить въ законъ свой собственный необузданный произволъ.

У аѳинянина Полемона, бывшаго „солдата“ (т.-е. наемника—авантюриста), есть красавица-плѣнница, по имени Гликера... Уже другими была отмѣчена деликатность Менандра, который этому симпатичнѣйшему изъ своихъ женскихъ типовъ далъ имя своей вѣрной подруги. Она вся прекрасна, но главную ея прелесть составляетъ ея роскошная коса; и онъ любитъ ее страстно, но законы не позволяютъ ему жениться на ней—ему, аѳинянину, на дѣвушкѣ невѣдомаго происхожденія. Вдругъ его счастье омрачается: онъ застаётъ у Гликеры чужого молодого человѣка. При этомъ открытіи дикій солдатскій нравъ беретъ у него верхъ надъ разсудкомъ; не слушая оправданій своей милой, онъ бросается на нее и въ изступленіи отрѣзываетъ у нея ея гордость, ея косу. Оскорбленная дѣвушка уходитъ; но куда?... Тутъ въ фабулѣ пробѣлъ; тамъ, гдѣ мы можемъ вновь поднять нить разсказа, обстоятельства измѣнились,—

Гликера уже не безправная плѣнница: она—афинянка. Своего отца она нашла; тотъ юноша, который возбудилъ ревность Полемона, былъ ея роднымъ братомъ. Полемонъ въ отчаяніи; униженный, пристыженный, онъ отправляетъ къ Гликерѣ ея любимую рабу Дориду, чтобы она упростила ее за него. Разговоромъ Полемона съ Доридой открывается серія новонайденныхъ сценъ.

Пол. Мнѣ осталось одно: удавиться.

Дор. Полно, не говори такъ!

Пол. Да что же мнѣ дѣлать, Дорида? Какъ проживу я, несчастный, вдали отъ моей ненаглядной?

Дор. Она вернется къ тебѣ.

Пол. Боги! что ты говоришь?

Дор. Ты только честно постарайся; оно и сбудется.

Пол. Я ничего не упущу. Ты это хорошо сказала, милая, очень хорошо. Ступай къ ней, я завтра же, Дорида, отпущу тебя на волю. Но постой: ты должна сказать ей... Ушла. Охъ, ревность, ревность, что ты сдѣлала со мной!...

Посредничество Дориды имѣетъ успѣхъ; Полемонъ готовъ съ ума сойти отъ радости. Дѣлаются приготовленія къ свадьбѣ; въ заключительной сценѣ выходитъ изъ дому тестъ Полемона, Патець, въ разговорѣ съ новонайденной дочерью.

Пат. Какъ мнѣ нравится въ твоихъ устахъ это слово: „помириться я готова!“, прекратить ссору въ тотъ моментъ, когда ты въ выигрышѣ—это признакъ эллинскаго права.—Но вызовите его скорѣе кто-нибудь.

Пол. (выходя). Вотъ и я. Я только приносилъ жертву на радостяхъ, узнавъ, что Гликера нашла на яву тѣхъ, о которыхъ не смѣла мечтать даже и во снѣ.

Пат. Это ты правильно сказала; но и я правильно скажу. Слушай: (торжественно); ее я даю тебѣ въ законный бракъ.

Пол. Принимаю.

Пат. И... три таланта въ приданое.

Пол. И это недурно.

Пат. А теперь—забуди, что ты былъ военнымъ, и, смотри, не обижай болѣе своихъ друзей.

Пол. Аполлонъ владыка! Да я и теперь едва живъ остался—мнѣ ли опить обижать тебя? И во снѣ того не будетъ, Гликера, только теперь, милая, прости меня.

Глик. Теперь-то твое бѣшенство кончилось счастливо для насъ.

Пол. Вѣрно, дорогая!

Глик. За это я и простила тебя...

VI.

Конечно, переводъ только приблизительно можетъ дать представленіе объ оригиналѣ—тѣмъ болѣе, когда дѣло касается такого мастера слога, какъ Менандръ, такъ хорошо умѣвшій приправлять свой діалогъ знаменитой „аттической солью“. Все же читатель и такъ сумѣетъ оцѣнить важность сдѣланныхъ находокъ, впервые давшихъ намъ цѣлый рядъ связныхъ сценъ изъ лучшихъ пьесъ родоначальника современной комедіи.—Но онѣ дали намъ сверхъ того и нѣчто другое. Онѣ дали намъ увѣренность, что Менандра много читали и списывали въ Египтѣ въ птолемеевскую и римскую эпохи, а, стало-быть, и надежду, что намъ удастся найти, кромѣ отдѣльныхъ сценъ, еще и цѣльныя пьесы. И кто знаетъ, быть можетъ, эти пьесы уже и теперь находятся въ Лондонѣ и ждутъ только опытнаго глаза счастливыхъ и ученыхъ изслѣдователей, гг. Гренфелли и Гента? Кто знаетъ, быть можетъ—мы вѣдь окружены атмосферой чуда, быть можетъ, черезъ нѣсколько недѣль пронесется въ печати извѣстіе: найдена комедія Менандра... найдены элегіи Каллимаха... найдены гѣсни Саффо. И мы, русскіе филологи, опять съ замираніемъ сердца будемъ дожидаться драгоценныхъ англійскихъ книжекъ, чтобы углубиться въ ихъ чтеніе и вкусить нѣсколько часовъ отдыха отъ бѣшеной, жестокой травли, которую на насъ подняли наши любезные соотечественники.

Да, вѣрно сказалъ Гете: *himmelhoch jauchzend—zu Tode betrübt*.

„Но позвольте: Гете сказалъ это про *die Seele, die liebt*. А вы-то, господа филологи, кого такъ любите?“

Мы любимъ—мы страстно любимъ *человѣка*. Не того представителя нашей породы, который, безотчетно нахватавшись дешевыхъ „убѣжденій“, унаслѣдованныхъ или благопріобрѣтенныхъ, послушно плетется со всѣмъ прочимъ стадомъ, готовый ежеминутно *jugare* „in verba вожаковъ“; нѣтъ. Мы любимъ *человѣка*, мысль котораго, крѣпко коренясь въ слояхъ прошлаго, сильная почерпнутыми изъ него соками, высоко подымается надъ туманами настоящаго и спокойно, горделиво царить въ

чистомъ, голубомъ ээирѣ. Есть ли гдѣ либо этотъ человѣкъ? Но если онъ есть—побѣда будетъ его. Честный противникъ почтительно опустить передъ нимъ свой „мечъ“; „оглоблю“ же онъ, смѣясь, сокрушить, и чашу съ „ядомъ“ гнѣвно расплещетъ въ лицо отравителямъ.

Ему нашъ привѣтъ—ему, всечеловѣку.

АНТИГОНА.

I.

Мы любимъ узнавать именно въ женскихъ образахъ, созданныхъ лучшими поэтами великихъ европейскихъ литературъ, олицетворенія національнаго характера — скажу болѣе, національной идеи даннаго народа; Татьяна, Зоя, Гретхенъ — это нѣчто болѣе, чѣмъ типы русской, польской, нѣмецкой женщины, это живые символы трехъ націй, красу и гордость которыхъ онѣ составляютъ. Почему такими символами являются именно женскіе образы, догадаться не трудно: очевидно, по той же причинѣ, по которой сами понятія народовъ и земель — Россія, Польша, Германія — выражаются словами женскаго рода и изображаются, гдѣ это нужно, въ видѣ идеальныхъ женщинъ; по той же причинѣ, наконецъ, по которой и слово „земля“ во всѣхъ языкахъ удерживаетъ свой первоначальный женскій родъ.

Женщина по самой природѣ своей ближе къ землѣ, чѣмъ мужчина; въ ней, несущей главную долю заботъ и трудовъ въ дѣлѣ продолженія породы, живетъ чуткой, хотя и безсознательной силой сама совѣсть, сама душа *породы*. Пока чело-вѣчество, въ ранній періодъ его существованія, вело блаженно-безцѣльную жизнь на лонѣ природы, женщинѣ естественно принадлежала преобладающая роль: она представляла охранительное начало, въ то время, какъ духъ мужчины, вольный, беспокойный, революціонный, трудился надъ измысленіемъ искусственныхъ условій, которыя обезпечивали бы ему возможность

не блаженно-безцѣльнаго бытія, а томительно цѣлесообразной дѣятельности. Совокупность этихъ условій мы называемъ *государствомъ*. Представительница породы признала власть надъ собой представителя государства; она, которой, по грубому слову народной мудрости, „законъ не писанъ“ (не писанъ потому, что въ ней живетъ другой, болѣе могучій законъ — совѣсть породы)—она, повторяю, молча смирилась передъ этимъ навязаннымъ ей закономъ. Есть, однако, предѣлъ и ея смиренію, и безпрепятственной власти государственнаго закона: вездѣ тамъ, гдѣ государственная власть затрогиваетъ и насилуетъ совѣсть породы—вездѣ тамъ послѣдняя, въ лицѣ своей представительницы-женщины, заявляетъ свой протестъ; женщина изъ охранительнаго начала превращается въ начало революціонное, и успѣхъ ея революціи зависитъ отъ живучести той породы, совѣсть которой она представляетъ.

Не требуйте сознанія этого конфликта отъ новыхъ народовъ, у которыхъ даже само слово „законъ“ безразлично означаетъ и естественную силу, исходящую отъ земли, и искусственное установленіе, исходящее отъ человѣка; но античность, хранившая память о борьбѣ человѣка съ землею, античность, которой суждено было послѣ многихъ вѣковъ условности вернуть современное человѣчество къ природѣ — его глубоко сознавала. И тѣ же греки, которые были творцами той идеи государственности, которой мы живемъ понынѣ—они же воплотили и протестъ противъ нея въ своей Антигонѣ.

Антигона—не только типъ греческой женщины, не только живой символъ своей націи, наравнѣ съ Татьяной, Зосей, Гретхенъ; ея значеніе—сверхнаціональное, міровое: она—олицетвореніе женскаго принципа любви въ борьбѣ съ мужскимъ принципомъ власти.

II.

Антигона всецѣло принадлежитъ Аѳинамъ, будучи создана, можно сказать, аттической трагедіей. Всѣ три великихъ трагика вдохновлялись ея образомъ: Эсхиль его только намѣтилъ въ эпилогѣ своихъ „Семи вождей“; Софокль его развилъ и закончилъ; Еврипидъ, насколько мы можемъ судить — его

трагедія намъ не сохранена—и по отношенію къ нему проявилъ свою роковую страсть разбивать кумиры своего народа и свои. Наша Антигона—Антигона Софокла.

Два брата-царевича враждуютъ изъ-за престолонаслѣдія въ Фивахъ; слабѣйшій, будучи изгнанъ, ведетъ чужеземную рать противъ родного города; фиванцы побѣдоносно отражаютъ приступъ, но въ битвѣ гибнутъ оба брата, падая одинъ отъ руки другого. Смерть сравняла участь и защитника и врага своей родины; стремясь возстановить поправленную — какъ ему казалось — справедливость, новый царь страны, Креонтъ, приказываетъ оставить безъ погребенія трупъ послѣдняго, чтобы его душа, обезчещенная, блуждала по туманнымъ пропастямъ ада, не находя себѣ успокоенія даже послѣ смерти. Царское слово—законъ въ монархически управляемыхъ Фивахъ; къ быстро разлагающемуся трупу приставлена стража; нарушителю закона грозитъ смерть... „Какъ все это далеко отъ насъ!“ — воскликнетъ читатель. Ужъ будто въ самомъ дѣлѣ такъ далеко? Во времена сказочной старины законъ запрещалъ вамъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, хоронить вашего убитого брата; много вѣковъ спустя такой же законъ запрещаетъ вамъ признавать своимъ сыномъ рожденнаго вамъ любимой женщиной ребенка, или воспитывать вашихъ дѣтей въ вашей вѣрѣ, или напутствовать умирающаго на его родномъ языкѣ... въ извѣстныхъ случаяхъ. Внѣшнія формы мѣняются, сущность — насилуваніе совѣсти закономъ—остается неизмѣнной.

Да; запрещено хоронить *брата*; дѣло въ томъ, что послѣ убитыхъ остались двѣ сестры, Антигона и Исмена. Съ ихъ появленія начинается дѣйствіе трагедіи; еще до разсвѣта старшая вызвала младшую для переговоровъ. Характеръ смиренной Исмены извѣстенъ героинѣ и такъ; но она — единственный кромѣ нея представитель семьи, нельзя не предоставить ей возможности почтить погибшаго брата. Замыселъ Антигоны приводитъ Исмену въ ужасъ; „ты хочешь идти противъ закона?“ — „Я хочу похоронить своего брата“. Никакія убѣжденія на нее не дѣйствуютъ—и всего менѣе страхъ передъ смертію. Робкая Исмена подавлена ея величіемъ: „ты безумна“, говоритъ она ей, „но зато ты умѣешь быть другомъ своихъ друзей“. И Антигона уходитъ.

III.

Ночныя тѣни исчезли; восходящее солнце застаетъ въ Ойвахъ радость и ликоваііе. Врагъ прогнанъ, опасность миновала: граждане вспоминаютъ съ гордостью и благодарностью пережитые трудные дни. Къ нимъ выходитъ ихъ новый царь Креонтъ. Онъ мудро и стойко, не отступая ни передъ какой личной жертвой, вывелъ свою отчизну изъ бѣдствія; зато онъ вѣритъ въ себя и въ оказываемое ему богами покровительство, сознаетъ себя царемъ божьею милостью, не допускаетъ сомнѣнія въ томъ, что его слово—законъ. Свое слово относительно обоихъ братьевъ онъ тутъ же сообщаетъ старшимъ изъ гражданъ (младшимъ, т.-е. войску, оно было уже извѣстно); ни въ комъ не встрѣчаетъ оно отпора—врагъ своей отчизны одинаково ненавистенъ всѣмъ. Но вотъ является одинъ изъ представленныхъ къ трупу стражей и сообщаетъ тревожную вѣсть: оказывается, царское слово уже нарушено, въ предразсвѣтныя сумерки кто-то уже успѣлъ совершить символическій, но дѣйствительный обрядъ погребенія надъ убитымъ. Креонту ясно, что это—дѣло интригъ недовольной его водареніемъ партіи; подь страхомъ смерти приказываетъ онъ стражу доставить ему виновнаго, кто бы онъ ни былъ.

Граждане-представители общины всецѣло на сторонѣ своего царя; въ замѣчательной своей философской глубинѣ гѣснѣ прославляютъ они „величайшее изъ чудесъ — человѣка“, подчинившаго себѣ стихіи, восторжествовавшаго надъ всякой живой тварью на сушѣ, на морѣ и въ поднебесѣхъ, создавшаго гражданскую общину и управляющій ею законъ. Да, законъ—это вѣнецъ человѣческихъ стремленій, и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ предѣлъ; благословенъ, кто соблюдаетъ законъ, подчиняя ему стремленія своей души; проклятъ, кто его нарушаетъ!.. Итакъ, законъ предѣлъ всему, ему же, повидимому, предѣла нѣтъ.

IV.

Не успѣло раздаться послѣднее слово этого ученія, какъ уже появляется его ослушница въ лицѣ пойманной стражемъ и ведомой къ царю Антигоны. Старцы ошеломлены ея прихо-

домъ; самъ Креонтъ недоумѣваетъ: „Ты совершила это дѣло?“... „Ты знала, что оно было запрещено?“... Да, совершила; да, знала; она не хочетъ прибѣгать къ уверткамъ, которыя бы ослабили значеніе ея протеста. „Не Зевсъ былъ тотъ, кто мнѣ объявилъ этотъ запретъ, и не божественная Правда издала для смертныхъ такіе законы; твои указы бессильны противъ предвѣчныхъ началъ, вложенныхъ богами въ сердце человека“... Тщетно старается Креонтъ ей доказать—онъ вѣдь не тиранъ, а представитель разумнаго принципа власти — что его указъ былъ справедливъ, карая заслуженной враждой врага своей родины; смерть унесла врага, оставляя лишь брата, и „не участіе во враждѣ — участіе въ любви мой удѣлъ“. Въ этихъ бессмертныхъ словахъ женскій принципъ любви провозглашенъ, какъ протестъ противъ мужского принципа закона и опирающейся на законъ власти.

Призывается, какъ заподозрѣнная соучастница, Исмена; она готова раздѣлить участь сестры, но та отъ нея отрекается: „Ты избрала жизнь, я — смерть“. Ревниво оберегая полноту и исключительность своихъ правъ, молодая мученица требуетъ кары для себя одной, насмѣшливо, хотя и съ болью въ сердцѣ, осуждая на жизнь нерѣшительную сестру. Креонтъ велитъ пока увести обѣихъ и остается одинъ среди своихъ совѣтниковъ-старцевъ. Тѣ не могутъ найти исхода изъ сомнѣній, въ которыя ихъ повергло все видѣнное ими; не рѣшаясь отбазаться отъ своей вѣры во вседержавіе закона, они склонны приписать мятежный поступокъ Антигоны дѣйствию старинной вины, помутившей ясный разумъ ея рода, и смиренно преклоняются передъ мощью Зевса, которая одна не обуревается гибельнымъ напоромъ враждебныхъ силъ.

V.

Не бездушнымъ деспотомъ изобразилъ поэтъ своего Креонта; въ его лицѣ онъ далъ своей героинѣ достойнаго противника. Его образъ мыслей покоится на разумномъ основаніи, и его послѣдовательность не лишена героизма. Антигона была ему дорога, какъ невѣста его единственнаго оставшагося въ живыхъ сына — второго онъ уже принесть въ жертву за свою

родину въ самый разгаръ войны; тѣмъ не менѣе онъ рѣшилъ и ея пожертвовать, чтобы только остался незыблемымъ принципъ законной власти, который онъ олицетворяетъ. Съ этимъ рѣшеніемъ онъ и встрѣчаетъ сына, когда тотъ, взволнованный, приходитъ просить его за осужденную невѣсту.

Приходитъ онъ, впрочемъ, не только съ просьбой, но и съ извѣстіемъ—извѣстіемъ тревожнымъ и внушительнымъ. Оказывается, что царь уже не пользуется единодушнымъ сочувствіемъ своихъ подданныхъ; въ общинѣ произошелъ расколъ, самоотверженная дѣвушка увлекла за собою сердца, обаяніе закона поблекло, его затмило какое-то другое начало, но какое—этого онъ самъ хорошенько сказать не умѣетъ. Креонтъ непреклоненъ. Община! развѣ общинѣ его учить, его, царя божіею милостью? И его собственный сынъ заодно съ тѣми, которымъ хотѣлось бы расшатать его престолъ? Значить, и его обольстилъ женскій принципъ, и онъ слуга женщинъ? Нѣтъ; „Антигона умретъ“ — таково его безповоротное рѣшеніе.—„Хорошо!“—воскликаетъ его сынъ,—„она умретъ и—своею смертію еще кого-то погубитъ“. Въ отчаяніи онъ уходитъ, оставляя отца и старцевъ. Тѣ потрясены происшедшимъ: ихъ сердце болитъ, но ихъ умъ прояснился. Они извѣрились во вседержавіи закона; „Любовь, непобѣдимую въ борьбѣ,“ прославляетъ ихъ пѣснь, „Любовь, засѣдающую участницей во власти среди великихъ нравственныхъ началъ“. Да, любовь должна побѣдить, но современемъ; а пока ведутъ на смерть ея великодушную заступницу и проповѣдницу.

VI.

Какъ, затѣмъ, въ героинѣ при мысли объ ожидающей ее въ мрачномъ подземельѣ голодной смерти пробуждается дѣвушка, какъ въ ней, непосредственно передъ вѣчной разлукой, звучитъ струна жизни, напѣвающая ей про милый свѣтъ солнца, про ручей и рощу родной Оивы—этого здѣсь не пересказать. Героизмъ Антигоны отъ этихъ трогательныхъ жалобъ не страдаетъ; „за то принимаю я смерть, что воздала честь благочестію“ — ея послѣднее слово. Но и героизмъ Креонта не сломенъ: пусть отъ него отшатнулись и община, и соб-

ственная семья—зато онъ царь божьею милостью, зато Зевсъ, источникъ и покровитель власти, за него.

...Подлинно ли за него? Приходить вѣстникъ и толкователь его замысловъ на землѣ, вѣщій старецъ Тиресій; передъ нами первообразъ знаменательной сцены, много разъ впоследствии повторенной—столкновенія жреца и царя, представителя духовной и представителя свѣтской власти. Нѣтъ, Зевсъ не за Креонта; „ты дважды нарушилъ его заповѣдь: ты отнялъ у земли того, кто принадлежалъ ей; ты отправилъ подъ покровъ земли живую, которой мѣсто было среди живыхъ“. Еще минуту сопротивляется несчастный, всѣми оставленный царь; это вѣдь не Зевсъ говоритъ, а жрецъ, человѣкъ, подкупленный, вѣроятно, его врагами... Но онъ самъ уже не вѣритъ своимъ словамъ; усталый, одинокій, онъ отказывается отъ дальнѣйшаго сопротивленія, идетъ исправить свою двойную вину. Уже поздно: Антигона сама себя умертвила; ея женихъ умираетъ на глазахъ своего отца; смерть послѣдняго сына сводитъ въ могилу и его преданную, безотвѣтную мать; сила власти погребена подъ развалинами счастья!

VII.

Конфликтъ власти и совѣсти, закона и любви не былъ раньше изображаемъ въ поэзіи: Антигона, какъ первая мученица, имѣетъ право соединить свое имя съ идеей, которую она освятила своей смертью. Въ древности она достигла хоть того, что въ человѣческой мысли окрѣпло сознаніе предѣловъ государственной власти и государственнаго закона; если, согласно опредѣленію лучшихъ мыслителей древности, „законъ есть высшій разумъ (ratio summa), приказывающій дѣлать правильное и запрещающій дѣлать противоположное“, то великая нравственная проблема не была этимъ рѣшена практически, но были, по крайней мѣрѣ, пресѣчены пути къ неправильному и безнравственному ея рѣшенію. Въ новыя времена и этотъ успѣхъ былъ потерянъ; Антигона много и много разъ была ведена на смерть, не только на городскихъ площадяхъ и въ государственныхъ темницахъ, но и—что еще хуже—

въ тихихъ умственныхъ лабораторіяхъ мыслителей и писателей. И можемъ ли мы утверждать, что ея мартирологъ уже кончился? Если припомнить, какъ недавно, сравнительно, она получила право возвысить свой голосъ, вновь произносить тѣ святыя слова, которыя она, болѣе чѣмъ двадцать вѣковъ назадъ, безпрепятственно произносила съ аѳинской сцены, то невольно становится на душѣ, и не безъ сомнѣнія спрашиваешь себя: будетъ ли хоть наступающій двадцатый вѣкъ принадлежать Антигонѣ?

ПЕРВОЕ СВѢТОПРЕСТАВЛЕНІЕ.

(Дек. 1899).

Досужей головѣ угодно было предсказать намъ кончину нашего бреннаго міра къ первымъ числамъ благополучно истекшаго нынѣ ноября. Хотя такіа пророчанія повторяются періодически и ихъ исходъ неизмѣнно одинъ и тотъ же, тѣмъ не менѣе праздная выдумка, о которой идетъ рѣчь, не осталась безъ вреднаго вліянія: благодаря безсовѣстной спекуляціи, не постыдившейся обратиться въ источникъ наживы безпросвѣтную тьму, въ которой понынѣ пребываетъ пугливая душа нашего народа, вѣсть о предстоящемъ свѣтопреставленіи получила широкое распространеніе среди деревенскаго люда. Угнетенные повторяющимися недородами крестьяне приняли ее, какъ нѣчто естественное; она шла навстрѣчу той мрачной теодицеѣ, на которую наводила ихъ умы жестокость мачихи-сырой земли за послѣдніе годы. „Оттого-то“, покорно говорили они. „Богъ и не далъ намъ хлѣба, что и жить-то осталось недолго“. Но мѣстами теорія переходила и въ практику; бывали примѣры, что люди отказывались убирать урожай со своихъ полей, ссылаясь на то, что пользоваться имъ все равно не придется. Хватилась, наконецъ, кое-гдѣ и мѣстная администрація: по ея настоянію книгопродавцы обязались не продавать болѣе смущавшихъ народъ вздорныхъ брошюръ. Теперь, когда страхъ прошелъ, явилась возможность подвести итоги совершившемуся—что и будетъ сдѣлано, надѣмся, тою же администраціей, въ назиданіе потомству и въ предупрежденіе, поскольку это въ ея силахъ, такихъ же случаевъ въ будущемъ.

Но, помимо администраціи, и историческая наука не можетъ относиться безучастно къ явленіямъ въ родѣ описаннаго. Какъ-никакъ, а мысль объ ожидавшейся 1 ноября 1899 г. кончинѣ міра представляетъ изъ себя идею—нелѣпую, не спорю, но все-таки идею. Такія идеи, полезныя и вредныя, ежедневно массами рождаются, массами уносятся вѣтромъ общественнаго мнѣнія, подобно тому, какъ настоящій вѣтеръ массами уносить сѣмена ели и ослы, земляники и крапивы; въ обоихъ случаяхъ природа чрезмѣрно плодovита, заранее рассчитывая на гибель 99⁰/₀ своихъ дѣтищъ. Требуется совпаденіе цѣлаго ряда благопріятныхъ условій для того, чтобы этой гибели не было, чтобы сѣмя полезной или сорной травы могло взойти и развиваться; только тамъ, гдѣ всѣ эти условія налицо—только тамъ это развитіе будетъ полнымъ. При наличности лишь нѣкоторыхъ условій сѣмя, быть можетъ, взойдетъ, но дастъ жалкую, тщедушную былинку, неспособную къ дальнѣйшему развитію; тѣмъ не менѣе, и эта былинка, и то крѣпкое, обильное благотворными или ядовитыми соками дерево—одно и то же растение: ботаникъ не дѣлаетъ между ними существеннаго различія, хотя бы глазъ обыкновеннаго человѣка и затруднился признать въ первой подобіе послѣдняго.—У насъ имѣлись именно только нѣкоторыя изъ требовавшихся условій, вследствие чего и результатъ получился, слава Богу, довольно жалкій. Имѣлось, во-первыхъ, основаніе для ожидаемаго событія въ народной вѣрѣ; имѣлся, во-вторыхъ, глубокій умственный мракъ съ его неизмѣннымъ спутникомъ—суевѣрнымъ страхомъ; имѣлось, въ-третьихъ, угнетенное настроеніе, вызванное повторяющимися неурожаями въ нашей преимущественно земледѣльской странѣ; имѣлась, наконецъ, въ-четвертыхъ, она сама, эта вздорная идея, какъ разъ тогда пущенная въ оборотъ гдѣ-то на западѣ и жадно подхваченная беззащитными барышниками у насъ. Благодаря всему этому и получился сравнительно скромный успѣхъ. Но представимъ себѣ, что къ этимъ условіямъ присоединились бы другія, при томъ не только наводненія, пожары, повѣтрія, войны, но и такія событія, о которыхъ и говорить страшно—и кто можетъ опредѣлить, какой результатъ получился бы тогда?

О такомъ-то случаѣ я и хотѣлъ бы побесѣдовать съ чита-

тедемъ въ настоящемъ очеркѣ. Я озаглавилъ его „Первое свѣтопреставленіе“ — дѣйствительно, тотъ случай, который я имѣю въ виду, является первымъ, о которомъ исторія повѣствуетъ. О болѣе раннихъ не имѣлось опредѣленныхъ свѣдѣній. Правда, ходили слухи о томъ, что земля не разъ и въ прежнее время подвергалась періодическимъ катастрофамъ, всякій разъ уничтожавшимъ культуру ея жителей; Платонъ въ знаменитомъ мѣстѣ своего „Тимея“ объясняетъ сравнительную юность греческой цивилизаціи тѣмъ, что благодаря этимъ катастрофамъ именно образованные жители низменностей уносились въ море разбушевавшимися стихіями, и только дикіе обитатели горъ оставались въ живыхъ. Но преданіе не сохранило памяти о нихъ, если не считать одной—всемирнаго потопа Девкаліона и Пирры; да и тутъ одно только голое событіе признавалось историческимъ фактомъ, а не его подробности, всецѣло потекшія изъ богатой фантазіи даровитыхъ поэтовъ. Та эпоха, напротивъ, о которой говорю я, пришлась въ ясный полдень исторической жизни человѣчества; оно не только пользовалось всѣми благами культуры, но и достигло въ ней такого высокаго уровня, какого не знало впослѣдствіи въ теченіе многихъ вѣковъ; его пытливая мысль съумѣла освободиться отъ всѣхъ оковъ, которыми вѣковая традиція сдерживала раньше свободу ея движеній; и тѣмъ не менѣе совпаденіе всѣхъ вышеупомянутыхъ условій было такъ чудесно, такъ подавляюще, что не только слѣпая чернь, но и лучшіе, просвѣщеннѣйшіе люди тогдашняго времени подчинились его силѣ, увѣровали въ недалекій конецъ міра и сдѣлались распространителями этой вѣры среди своихъ соотечественниковъ. Эпоха эта—та (и это совпаденіе далеко не случайно), которая непосредственно предшествовала началу нашей эры.

I.

Первымъ и важнѣйшимъ условіемъ была и здѣсь религія и та опора, которую въ ней находила вѣра въ предстоящій конецъ міра. Это условіе мало кому извѣстно; насколько знамениты мессіанскіе элементы іудаизма и ихъ роль въ исторіи возникновенія и распространенія христіанской вѣры, настолько

забыты аналогичныя явленія въ области античнаго язычества. Старинная церковь объ этомъ судила иначе: въ нынѣ изгнанномъ третьемъ стихѣ своего заукойнаго гимна:

*Dies irae, dies illa
Solvat saeculum in favilla,
Teste David et Sibylla —*

она рядомъ съ благочестивымъ царемъ Израиля называетъ вѣщую дѣву-язычницу какъ пророчицу того дня гнѣва, который развѣтъ по пространству золу истребленнаго мірозданія. Стихъ этотъ, повторяю, болѣе не поется; и если бы въ настоящее время новый Микель Анджело взялся украсить своими фресками потолокъ новой Сикстинской капеллы, — онъ врядъ ли осмѣлился бы изобразить на ряду съ ветхозавѣтными пророками и античныхъ Сивиллъ. Дѣйствительно, „оракулы Сивиллы“, доставившіе своей мнимой авторшѣ такой почетъ, потеряли кредитъ, оказавшись греческимъ пересказомъ еврейскихъ и христіанскихъ идей; предоставляя филологамъ провести границу между подлогомъ и недоразумѣніемъ, церковь презрительно отвернулась и отъ того и отъ другого, и была съ своей точки зрѣнія права. Но правъ и историкъ, когда онъ, опредѣляя и вычитая долю того и другого, возстановляетъ собственность настоящей античной Сивиллы и находитъ, что эта собственность вполне обезпечиваетъ ей почетное мѣсто среди пророковъ години гнѣва.

Образъ Сивиллы выросъ на почвѣ религіи Аполлона, которая въ свою очередь была развитіемъ и реформой еще болѣе древней и глубокомысленной религіи Зевса. Последняя исходила изъ представленія о царившемъ нѣкогда на землѣ „золотомъ вѣкѣ“, когда не было еще ни труда, ни войны, ни груба, когда мать-Земля съ материнской нѣжностью заботилась о человѣкѣ, давая ему и пищу, и одежду, и знаніе — да, и знаніе въ той, къ счастью, незначительной долѣ, въ которой оно было ему нужно для блаженнаго, хотя и безцѣльнаго бытія. Изъ этого состоянія вырвалъ людей Зевсъ; возмущившись противъ Земли и ея силъ-Титановъ и поборовъ ихъ, онъ повелъ человѣчество по новому пути. Трудъ былъ провозглашенъ условіемъ и знанія, и жизни; но трудъ повелъ за собою частную собственность; частная

собственность—споры изъ-за нея, насиліе, войну; насиліе съ войной породили неправду, преступленіе, грѣхъ. Это постепенное ухудшеніе условій жизни и нравовъ человѣчества древніе изображали картинно въ рядѣ послѣдовательныхъ „вѣковъ“—серебрянаго, мѣднаго и желѣзнаго—имена которыхъ были подсказаны, кромѣ сравнительной оцѣнки металловъ, также и смутными воспоминаніями о давно-прошедшихъ до-историческихъ эпохахъ. Важнѣйшимъ „событіемъ“ въ этомъ постепенномъ паденіи человѣчества было послѣднее, появленіе среди него „неправды“. Уже раньше легко-живущіе боги почти всѣ оставили многослезную обитель людей; теперь ее покинула и послѣдняя изъ небожительницъ, божественная правда. Оскорбленная преступностью человѣческаго рода, свитая дѣва поднялась на небо, гдѣ и пребываетъ—какъ позже учили—понынѣ, витая среди небесныхъ свѣтилъ подъ видомъ созвѣздія Дѣвы. Что же касается покинутого ею людского рода, то, разь отдавъ себя во власть неправды, онъ этимъ самымъ обрекъ себя на гибель; такъ-то предстоящее въ отдаленномъ будущемъ истребленіе человѣческаго рода, какъ *нравственная* необходимость, подтвердило *метафизическую* необходимость гибели царства Зевса и боговъ. Метафизическая же необходимость основывалась на неоспоримомъ законѣ, что все имѣвшее начало должно имѣть и конецъ; царство Зевса, основанное на развалинахъ царства Земли путемъ побѣды надъ ея силами-Титанами, погибнетъ отъ Земли же и ея силъ-Гигантовъ; несчастный исходъ боя Гигантовъ долженъ положить конецъ тому, чему положилъ начало счастливый исходъ боя Титановъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ содержаніе мрачной религіи Зевса, древнѣйшей религіи не только грековъ, но и германцевъ, и, вѣроятно, другихъ европейскихъ племенъ, включая и славянское. Правда, въ отдаленной перспективѣ за гибелью открывалась возможность новаго начала новой чистой жизни, но эта перспектива именно вслѣдствіе своей отдаленности врядъ-ли могла служить дѣйствительнымъ утѣшеніемъ. Человѣчество чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе стало ждать спасителя и искупителя, который бы отвратилъ тяготѣющую надъ богами и человѣчествомъ гибель, истребилъ сѣмя грѣха, вернулъ

дѣву-Правду съ эмпирея на землю. Такое ожиданіе никогда не бываетъ тщетнымъ; желанный спаситель и искупитель явился, наконецъ, въ образѣ Аполлона. Новая религія Аполлона принесла богамъ міръ съ землею и обезпеченіе дальнѣйшаго ихъ царства.—Зевсъ, говорила она, уже сразился съ Гигантами, покорилъ ихъ и съ тѣхъ поръ царствуетъ безбоязненно навѣки; людямъ же она принесла очищеніе отъ грѣховъ, устраняя, такимъ образомъ, нравственную необходимость ихъ истребленія. Такова была реформа Зевсовой религіи религіей Аполлона.

Но реформы и реформаціи по самому существу элементовъ, съ которыми имъ приходится считаться, не бываютъ полными. Старыя вѣрованія въ той или другой формѣ продолжаютъ тлѣть подъ золой, изрѣдка вспыхивая зловѣщимъ пламенемъ; компромиссы, извращающіе въ теоріи чистоту новаго ученія, оказываются на практикѣ необходимыми. Пусть Аполлонъ принесъ людямъ очищеніе отъ грѣха; глядя другъ на друга и на себя, они безъ труда убѣждались, что неправда продолжаетъ жить среди нихъ, что лучезарная дѣва попрежнему пребываетъ въ безстрастномъ, безгрѣшномъ эфирѣ. Это убѣжденіе не могло не отразиться и на догматахъ Аполлоновой религіи; да, Аполлонъ принесъ людямъ очищеніе,—въ этомъ сомнѣваться было нечестиво, но имъ гибель человечества была лишь отсрочена; хорошо и то, что у стараго змѣя не вырастаютъ новыхъ головъ. Самъ же онъ не сраженъ; тому грѣху, который когда-то запятналъ человечество и изгналъ дѣву-Правду, искупленія нѣтъ. Придетъ время—и онъ поглотитъ родъ людской; но затѣмъ онъ самъ погибнетъ отъ свѣтлоликаго бога, вернется дѣва-Правда, вернется золотой вѣкъ. Когда же это будетъ? Не скоро... такъ, по истеченіи „великаго года“; до этого дня ни мы, ни наши дѣти, ни внуки не доживутъ.—Ну и отлично; значитъ, можно быть спокойнымъ.

Но кто же были пророки и проповѣдники этой новой религіи? Въ точности мы себѣ не можемъ составить представленія объ организаціи ея пропаганды; знаемъ, однако, что не послѣднюю роль играли въ ней женщины-пророчицы. Женщина ближе къ природѣ, т.-е. къ землѣ, чѣмъ мужчина; у нея эмоціонное начало болѣе подчиняетъ себѣ интеллектъ,

чѣмъ у него; ее преимущественно фантазія всѣхъ народовъ надѣляетъ даромъ вѣщей мысли, исходящей отъ земли. Вотъ почему мы встрѣчаемъ вѣщихъ дѣвъ постоянными спутницами религіи Аполлона въ ея побѣдоносномъ шествіи съ востока на западъ. Зовутся онѣ *Сивиллами* — темное, не поддающееся объясненію имя, быть можетъ, даже не греческаго, а восточнаго происхожденія. Древнѣйшая изъ нихъ это—троянская Сивилла, она же и Кассандра. Преданіе, предваряя ея роль, какъ пророчицы гибели человѣчества, представляетъ ее вдохновенной дѣвой, предсказавшей Пріаму паденіе его царства. Но разсказъ о троянской войнѣ несовмѣстимъ съ представленіемъ, что троянцамъ ихъ участь была извѣстна заранѣе; видно, имъ было о ней сказано, но они пророчицѣ не повѣрили. Но почему же не повѣрили? И этому мифотворная фантазія грековъ нашла объясненіе; вотъ слова, въ которыхъ она сама у Эсхила ¹⁾ повѣствуетъ хору аргосскихъ старцевъ о своемъ несчастіи:

Хоръ. Мы дивимся,
Какъ ты пришла изъ-за моря—и знаешь,
Какъ будто видѣла все, что здѣсь было.
Касс. Мнѣ даръ всевидѣнья данъ Аполлономъ.
Хоръ. Онъ благосклоненъ былъ къ тебѣ? Любилъ?
Касс. Довыиѣ стыдъ мнѣ былъ бы въ томъ сознаться.
Хоръ. До тоинство хранимъ мы въ счастье строже!
Касс. Любилъ... и требовалъ моей любви.
Хоръ. И ты его порывамъ уступила?
Касс. Дала обѣтъ, но не сдержала слова.
Хоръ. Ужъ получивъ сперва даръ прорицанья?
Касс. Ужъ гибель я предсказывала Троѣ.
Хоръ. И гнѣвъ его тебя не поразилъ?
Касс. Ужасный гнѣвъ: никто не сталъ мнѣ вѣрить!

Родственнаго характера былъ мнѣ, рассказываемый про самую знаменитую изъ Сивиллъ—если не считать дельфійской Пифіи, которая, въ сущности, была той же Сивиллой — про эрирейскую (т.-е. изъ гор. Erythrae въ Малой Азіи). Когда Аполлонъ требовалъ ея любви, она, въ свою очередь, требовала, чтобъ онъ даровалъ ей столько лѣтъ жизни, сколько

¹⁾ „Агамемнонъ“ ст. 1198 сл. (перев. А. Майкова).

песчинокъ на эриерейскомъ взморѣ. Аполлонъ исполнилъ ея желаніе, но подѣ условіемъ, чтобы она никогда не видѣла болѣе родной земли. Тогда она поселилась въ италійскихъ Кумакъ, граждане которыхъ окружили ее большимъ почетомъ, какъ пророчицу-любимицу ихъ главнаго бога. Годы проходили за годами, поколѣнія умирали за поколѣніями, одна только Сивилла не знала смерти; но, состарившись и одряхлѣвъ до послѣднихъ предѣловъ, она сама стала тосковать по ней; слишкомъ поздно убѣдилась она въ своей роковой ошибкѣ, что, прося бога о дарованіи долгой жизни, она забыла попросить его продолжить также ея молодость. Наконецъ, куманцы жалились надъ нею и, зная объ условіи, подѣ которымъ ей дана была долговѣчность, послали ей письмо, запечатанное, по старому обычаю, глиной. Глина была изъ эриерейской земли; увидѣвъ ее, Сивилла испустила духъ. Но ея вѣщій голосъ не умеръ вмѣстѣ съ нею; и послѣ ея смерти онъ продолжать слышаться въ пещерахъ вулканической куманской земли, одна изъ которыхъ извѣстна и нынѣ подѣ именемъ „грома Сивиллы“. И еще въ позднія времена память о Сивиллѣ жила въ нѣсколько странной игрѣ куманскихъ дѣтей,—если только это была игра,—о которой намъ рассказываетъ современникъ императора Нерона Петроній. Посреди комнаты (повидимому) свѣшивалась бутылка; дѣти, окружая бутылку, спрашивали: „Сивилла, чего хочешь?“—голосъ изъ бутылки отвѣчалъ: „умереть хочу“.

Эта эриерейско-куманская Сивилла представляетъ для насъ особый интересъ; благодаря ей вѣра въ предстоящую, черезъ опредѣленное число лѣтъ, гибель человѣческаго рода была перенесена изъ Греціи въ Римъ. Да, въ Римѣ; объ этомъ существовало особое небезызвѣстное и нынѣ преданіе. Къ царю Тарквинію Гордому явилась однажды таинственная старуха и предложила ему купить, за очень высокую цѣну, девять книгъ загадочнаго содержанія. Царь разсмѣлся; тогда она бросила въ горѣвшій тутъ же огонь три книги изъ девяти и потребовала за остальные шесть ту же цѣну. Тотъ же пріемъ она повторила еще разъ; тогда озадаченный царь купилъ у нея послѣднія три книги за требуемую цѣну и, сложивъ ихъ въ подземельѣ Капитолійской горы, назначилъ особыхъ жрецовъ-тол-

кователей ихъ мудренаго содержанія. Тайнственная старуха была именно куманская Сивилла, а купленные царемъ три книги—знаменитыя впослѣдствіи „Сивиллины книги“. Смысль всего преданія заключается, разумѣется, въ фактъ, что вѣщія книги Сивиллы были изъ Кумъ перенесены въ Римъ. Перенесены же онѣ могли быть только вмѣстѣ съ культомъ того бога, который былъ залогомъ ихъ достовѣрности—съ культомъ Аполлона. Такимъ образомъ религія лучезарнаго бога, родины которой была давно разрушенная Троя, нашла себѣ, наконецъ, пріютъ въ Римѣ; на этомъ преемствѣ основывается, не говоря о прочемъ, и столь знаменательное вѣрованіе: „Римъ— вторая Троя“.

Сивиллины книги стали тайной книгой судьбы римскаго государства; къ нимъ обращались въ тревожныя и тяжелыя минуты, чтобы узнать, какими священнодѣйствіями можно умиловитъ угрожающій Риму или уже разразившійся надъ нимъ гнѣвъ боговъ. Конечно, предсказанія Сивиллы были даны въ самой общей формѣ безъ именъ; дѣломъ жрецовъ было рѣшать, какое прорицаніе соотвѣтствуетъ данному случаю. Намъ теперь легко смѣяться надъ этимъ способомъ предотвращенія катастрофъ: въ Римѣ тоже настало время, когда надъ нимъ стали смѣяться. Но смѣхъ—смѣхомъ, а заведенные предками обряды должны были быть исполняемы; на этотъ счетъ даже между просвѣщеннѣйшими людьми сомнѣній быть не могло. Тотъ самый вельможа, который въ разговорѣ съ Цицерономъ подъ прохладной сѣнью тускуланскихъ платановъ, промѣнявъ торжественную римскую тогу на удобный греческій плащъ, вышучивалъ Сивиллу и ея причудливыя пророчества, — тотъ самый вельможа, какъ *quindecimvir sacrorum*, очень серьезно, развернувъ старинныя книги, въ спорѣ со своими коллегами рѣшалъ важный вопросъ, сколько овецъ заклать Діанѣ по поводу замѣченнаго и доложеннаго ариційской бабой тревожнаго знаменія, а именно, что сидѣвшая на священномъ деревѣ ворона заговорила человѣческимъ голосомъ. И въ этомъ даже не было никакого лицемѣрія; любовь къ родному городу и его величію естественно переносилась и на его вѣрованія и все прочее. Сколько Скавровъ, Мессалъ, Пизоновъ, Марцелловъ на этомъ самомъ стулѣ занималось рѣшеніемъ тѣхъ же или та-

кихъ же вопросовъ! Итакъ, квириты, смѣйтесь сколько угодно въ Тускулѣ, но на Капитоліи сохраняйте степенный и сосредоточенный видъ.

А впрочемъ... пришло время, когда и въ Тускулѣ стало не до смѣха.

II.

Кончина міра была предсказана Сивиллой къ исходу „великаго года“. Срокъ этотъ былъ такой отдаленный, что на первыхъ порахъ никто имъ не интересовался. Когда же, по истеченіи многихъ столѣтій, вопросъ о немъ получилъ научный, хронологическій интересъ, то оказалось, что безпокоиться о немъ было уже поздно. Научный интересъ... да, только наука, методы которой были пущены въ ходъ при рѣшеніи нашего вопроса, была довольно своеобразна, представляя изъ себя странную смѣсь метафизики и эмпирии, міеологіи и астрономіи. А именно: было рѣшено, что „великій годъ“ равенъ совокупности четырехъ вѣковъ, золотого, серебрянаго, мѣднаго и желѣзнаго. Ближайшей задачей было опредѣлить продолжительность такого „вѣка“; рѣшили, что таковымъ должна считаться максимальная продолжительность человѣческой жизни (на это рѣшеніе наводило самое значеніе греческаго слова, соотвѣтствующаго русскому „вѣкъ“). Итакъ, спрашивалось: какова же максимальная продолжительность человѣческой жизни; на основаніи довольно недостаточной, повидимому, статистики ее опредѣлили въ 110 лѣтъ. Такимъ образомъ, „великій годъ“ оказался равнымъ 440 годамъ; астрономы подтвердили этотъ результатъ указаніемъ на то, что какъ разъ въ этотъ періодъ времени всѣ планеты возвращаются къ своему первоначальному положенію. Все это было въ высшей степени утѣшительно. Вѣдь Сивилла была современницей троянской войны: ея жизнь, такимъ образомъ, совпадала съ началомъ XII вѣка до Р. X.; къ эпохѣ, о которой мы говоримъ—эпохѣ александрийской учености, III-му и II-му вѣку до Р. X.—назначенный ею 440-лѣтній срокъ давно уже истекъ. Стало быть, волноваться было нечего.

Такимъ-то образомъ легкомысленная, жизнерадостная Гре-

ція освободилась отъ кошмара, которымъ предсказаніе Сивиллы ей угрожало; не такъ легко отнесся къ этому дѣлу Римъ. Происходило это, безъ сомнѣнія, оттого, что Сивиллины книги были національной его святыней, а Троя, родина Сивиллы, считалась какъ бы пра-Римомъ. Непогрѣшимость приписываемыхъ вѣщей дѣвѣ оракуловъ была краеугольнымъ камнемъ религіозной жизни римскаго народа; нѣтъ, ужъ если кто-нибудь ошибся, то не она, а скорѣе ея хитроумные толкователи—александрійцы. Откуда взяли они, что подъ „великимъ годомъ“ слѣдуетъ разумѣть четыре вѣка? Изъ Гесіода. Прекрасно. Но Гесіодъ самъ жилъ приблизительно четырьмя вѣками позже троянской войны и поэтому бѣльшого числа вѣковъ знать не могъ; какъ же можно было на него ссылаться? А ужъ если „великій годъ“ представлялъ изъ себя круглую сумму вѣковъ, то скорѣе всего десять... Мы не можемъ поручиться, что люди разсуждали именно такъ; но фактъ тотъ, что римскими жрецами-толкователями Сивиллиныхъ книгъ „великій годъ“ былъ признанъ равнымъ десяти „вѣкамъ“, т.-е. 1100 лѣтамъ. А если такъ, то, принимая во вниманіе время жизни Сивиллы, *слѣдовало ждать кончины міра въ теченіе перваго вѣка до Р. Х.*

И дѣйствительно, съ этого времени пугало свѣтопреставленія повисло надъ Римомъ. Правда, предсказанія Сивиллы хранились въ тайнѣ; только коллегія 15 толкователей (квиндецимвировъ) имѣла доступъ къ нимъ, да и то только съ особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія сената. Но *этотъ* оракулъ слишкомъ близко затрогивалъ интересы всѣхъ, слишкомъ сильно дѣйствовалъ на воображеніе людей, видѣвшихъ тогда въ окружающемъ ихъ мірѣ гораздо болѣе загадокъ, чѣмъ видимъ ихъ мы теперь. Товарищамъ ли сенаторамъ, женѣ ли, вѣрному ли отпущеннику разболталъ свою тайну неосторожный жрецъ-квиндецимвиръ, мы не знаемъ; знаемъ только, что около середины перваго вѣка до Р. Х. сѣмя грозной идеи отдѣлилось отъ произведшаго его дерева и, гонимое вѣтромъ молвы, пошло летать по бѣлу-свѣту, въ поискахъ удобной къ его воспріятію почвы. Успѣхъ былъ обезпеченъ заранѣе; почва была воспріимчива уже тогда и съ каждымъ годомъ становилась воспріимчивѣе, и наше сѣмя не

преминуло выказать ту свою замѣчательную всхожесть, которая не оставила его и понинѣ.

Что же это была за почва?

III.

...Такъ-то съ теченіемъ дней и великія стѣны вселенной
Рухнуть, и глѣбующій прахъ ихъ развалить наполнить пространство.
Пища обильномъ веществѣ обновляетъ живыя созданья,
Пища имъ силу даетъ, ихъ отъ гибели *пища* спасаетъ.
Тщетное рвеніе! Живительный сокъ въ ослабѣвшія жилы
Ужъ не течетъ, ужъ его не вливаетъ скупая Природа.
Да, ея старость настала; Земля, утомившись родами,
Лишь мелкоту создаетъ—да, Земля, всего сущаго мать,
Та, что животныхъ породъ родила исполнскія туши...
Какъ? иль ты думаешь, другъ, что съ поднебесья цѣпь золотая
Всѣхъ ихъ, одну за другой, потихоньку на землю спустила?
Иль что на берегъ скалистый морскія ихъ вынесли волны?
Нѣтъ: родила ихъ все та же Земля, что и нынѣ питаетъ,
Та, что и желтыя нивы, и сочныя винныя лозы
Собственной силой тогда создала намъ, смертнымъ, на пользу.
Ихъ и растимъ мы и холимъ, и что же? Весь трудъ свой влагая
Даръ мы изводимъ воловъ мы, крестьянскую силу изводимъ,
Даромъ нашъ плугъ раздѣляетъ земля; ужъ не кормить насъ поле;
Меньше становится жито, растетъ лишь лихая работа.
Чаще ужъ пахарь-старикъ, головою сѣдою качая,
Стонетъ, что злая година весь трудъ его рукъ погубила;
Прошлые дни вспоминая, что вѣкогда было, и нынѣ
Что наступило,—онъ славить отцовъ богатныя годы.
Стонетъ предъ чахлой лозой виноградарь, и дни проклинаетъ
Жизни своей. и въ молитвѣ напрасной богамъ досаждастъ:
„Да“, говоритъ, „въ старину благочестія болѣе было;
„Такъ-то на мелкихъ надѣлахъ привольяѣ жили крестьяне,
Нежели нынѣ, когда и земли, и скота стало больше“.

Вотъ—почва.

Приведенные стихи принадлежать одному изъ самыхъ талантливыхъ поэтовъ республиканскаго Рима — Лукрецію; ими кончается вторая книга его замѣчательной поэмы „О природѣ“. Мы видимъ, италійская земля истощена; надѣлъ уже не въ состояніи прокормить сидящей на немъ семьи; набожный виноградарь видитъ въ повторяющихся недородахъ признаки гнѣва

божія, вызваннаго упадкомъ благочестія среди людей — видно, голосъ Сивиллы до него еще не дошелъ. Въ лицѣ Лукреціи наука идетъ его поучать; скажетъ ли она ему слово утѣшенія, разсѣетъ нависшія тучи унынія, подниметъ упавшій духъ? Нѣтъ. При міросозерцаніи виноградаря исходъ еще возможенъ: если боги гнѣваются на насъ за наше нечестіе — что-жъ, будемъ опять благочестивы, будемъ набожно обходить праздники, соблюдать посты, исправно умиловать Ларовъ ѳиміамомъ, полбою и кровью поросенка; вы увидите, всѣ дѣла пойдутъ лучше. Но наука безжалостно отрѣзала этотъ исходъ. „Бѣднѣй“, говоритъ Лукрецій,

...того онъ не знаетъ, что все постепенно дряхлѣетъ.
Все совершаетъ свой путь,—путь къ мрачной и тихой могилѣ“.

Научный детерминизмъ въ данномъ случаѣ сходилъ съ религіознымъ. Мы не можемъ сказать, зналъ ли Лукрецій о предсказаніяхъ Сивиллы, или нѣтъ; онъ былъ послѣдователемъ эпикурейской философіи, которая, хотя и признавала боговъ, но не допускала никакого вмѣшательства съ ихъ стороны въ человѣческія дѣла, а стало быть — и предсказаній. Но важно было то, что эпикурейское ученіе о предстоящемъ разложеніи мірозданія было подтверждено симптомами изъ земледѣльческой жизни тогдашней Италіи, и что оно въ своемъ результатѣ совершенно сходило съ пророчествомъ Сивиллы; отнынѣ уже не стыдно будетъ поэтамъ, воспитаннымъ въ тѣхъ же философскихъ традиціяхъ, какъ и Лукрецій, но менѣе рѣзкимъ и прямолинейнымъ, чѣмъ онъ, — преклониться передъ авторитетомъ мнѣической троянской пророчицы и сдѣлать свою поэзію носителемъ ея идей. Но это случилось много позже, и Риму было суждено испытать не мало ужасовъ, прежде чѣмъ дѣло до этого дошло.

И теперь, впрочемъ, — мы ведемъ свой рассказъ съ начала шестидесятихъ годовъ, — признаки были довольно тревожные: италійская земля туго награждала за потраченный на нее трудъ; недороды сдѣлались періодическимъ явленіемъ. Они повели, какъ это бываетъ всегда, къ оскудѣнію деревни; общинальные крестьяне стекались въ городъ Римъ. Тамъ они представляли изъ себя силу: не обладая даже ничѣмъ другимъ, римскій гра-

жданіе сохранялъ за собою одно сокровище, изъ-за котораго предъ нимъ должны были заискивать сильные того времени—свое право голоса. Только такой кандидат могъ разсчитывать на успѣхъ, который съумѣлъ заручиться поддержкой этого голоднаго и полунагого крестьянина-пролетарія. И дѣйствительно, онъ не замедлилъ постоять за себя: „помощь голодающимъ“ явилась быстро и внушительно, въ видѣ такъ называемыхъ „хлѣбныхъ законовъ“. Эти хлѣбные законы обязывали годичныхъ магистратовъ производить въ хлѣбородныхъ провинціяхъ—Сардиніи, Сициліи, Африкѣ—закупки на казенный счетъ хлѣба для продажи по дешевой цѣнѣ, а то и для даровой раздачи обѣдѣвшимъ римскимъ гражданамъ. Но эти законы было легче издать, чѣмъ исполнить. Какъ свезти закупленный хлѣбъ въ Римъ, когда моря кишѣли пиратами, когда даже италійскія гавани и побережья страдали отъ ихъ нападений? И на какія средства его закупать, когда самыя доходныя провинціи, весь благодатный Востокъ находился въ рукахъ самаго опаснаго врага Рима, царя Митридата? Такъ-то законы оставались законами, а хлѣбъ былъ дорогъ, и народъ голодалъ. Онъ безъ труда понялъ, что требованія чести римскаго знамени тождественны съ его собственными насущными интересами и, поэтому, всей душой отдался человѣку, котораго онъ счелъ способнымъ позаботиться и о тѣхъ, и о другихъ; а этимъ человекомъ былъ Помпей. Онъ обѣщалъ народу освободить его и отъ пиратовъ, и отъ Митридата, если его облекутъ съ этой цѣлью сверхзаконными, исключительными полномочіями; онъ,—что было много труднѣе,—съумѣлъ заставить народъ повѣрить его обѣщаніямъ, увѣровать въ него и его счастье; онъ, наконецъ — что было труднѣе всего — исполнилъ данное народу слово, притомъ въ столь короткій срокъ, что и друзья его были удивлены, и враги ошеломлены. Обо всемъ этомъ говорится въ извѣстной рѣчи Цицерона „Объ избраніи Помпея полководцемъ“. Многіе ее читали, но многіе ли догадывались о томъ, какъ она интересна, если ее разсматривать на фонѣ всей римской жизни тѣхъ временъ?

Слово было сдержано; хлѣбъ разомъ подешевѣлъ. Римъ свободнѣе вздохнулъ; можно было пока не думать о пророчествѣ Сивиллы. Одно было тревожно во всемъ этомъ дѣлѣ — само

условіе оказанной Помпеемъ помощи, данныя ему сверхзаконныя, исключительныя полномочія. Благодаря имъ, въ близкой перспективѣ показался призракъ единовластія; а этотъ призракъ, подобно всему, что происходило и готовилось въ жуткую эпоху пятидесятихъ годовъ, былъ на-руку Сивиллѣ.

IV.

Сивилла жила (или предполагалась жившей) въ тѣ времена, когда не было другой формы правленія, кромѣ царской; не удивительно, поэтому, что у нея царь, какъ представитель общины, встрѣчался нерѣдко. На первый взглядъ могло бы показаться, что это одно должно было повредить ей, какъ первой пророчицѣ судебъ республиканскаго Рима; на дѣлѣ же неудобства были гораздо меньше. Обычныя прорицанія Сивиллы касались умиловивленій, очищеній и т. д. и требовали, такимъ образомъ, отъ царя исполненія чисто религіозныхъ обрядовъ; а для такого рода дѣлъ у римлянъ во всѣ времена былъ свой „царь“ — почтенный, но совершенно устраненный отъ политики *rex sacrificulus*. Имя было сохранено, сущность измѣнена; таковъ былъ благочестивый обманъ, совершенный римскимъ народомъ по отношенію къ своимъ богамъ — въ ожиданіи того времени, когда Августъ пустилъ въ ходъ ту же хитрость противъ самого римскаго народа.

Наличность этого номинальнаго „царя“ позволяла римлянамъ въ обыкновенное время приводить въ исполненіе указанія Сивиллы безъ всякой опасности для республиканскаго строя государства; но ея предсказаніе о концѣ міра было таково, что это предохранительное средство оказалось недостаточнымъ. Свѣтопреставленію должны были предшествовать не одни только грозныя знаменія, ниспосланныя богами, но и тяжелыя, кровопролитныя войны; пророчица видѣла свой народъ въ борьбѣ съ разрушительнымъ натискомъ вражеской рати, видѣла, какъ онъ, то побѣждая, то отступая, отбивался отъ варваровъ, — и вездѣ *царь* побѣждалъ, *царь* отступалъ, *царь* собиралъ вокругъ себя своихъ вѣрныхъ воиновъ, чтобы отсрочить до послѣдней возможности печальное рѣшеніе рока. Что было дѣлать съ этимъ предсказаніемъ? Было болѣе чѣмъ ясно, что оно было совер-

шенно непримѣнимо къ невоинственному и безсильному царю-жрецу, поставленному предками, чтобы отвести глаза богамъ; нѣтъ, тотъ царь, о которомъ говорила Сивилла, былъ настоящимъ царемъ, вождемъ и властителемъ своего народа. Оставалось одно: скрывать отъ гражданъ антиреспубликанскій образъ мыслей Сивиллы. Его и скрывали; къ счастью, засѣданія коллегіи квиндецимвировъ были и безъ того закрытыми. Но правда, какъ это и естественно, то и дѣло просачивалась черезъ искусственную плотину тайны. Итакъ, кончинѣ міра должно предшествовать разрушеніе республиканскаго строя; Римъ подпадетъ сначала власти царя, а затѣмъ, подъ его предводительствомъ, пойдетъ навстрѣчу войнамъ и ужасамъ послѣднихъ дней; отнынѣ у людей той эпохи имѣется въ болѣе или менѣе близкой перспективѣ не одно только свѣтопреставленіе, но, какъ подготовленіе къ нему и своего рода „появленіе антихриста“.

Кто же имъ будетъ?

Понятно, что этотъ вопросъ многихъ волновалъ; понятно также, что онъ долженъ былъ возбуждать очень противорѣчивыя чувства. Большинство римлянъ содрогалось при одномъ звукѣ имени гех, при чемъ наследственная политическая антипатія въ нашу эпоху, вѣроятно, была приправлена и большей или меньшей примѣсью суевѣрнаго страха. Но не забудемъ, что эта эпоха была въ то же время и просвѣтительной эпохой въ римской исторіи; я уже сказалъ, что многіе изъ образованныхъ людей были склонны смѣяться втихомолку надъ всѣми вообще предсказаніями, не исключая и книги судебъ римскаго государства. Быть ли, или не быть свѣтопреставленію, это — вопросъ, рѣшеніе котораго можно было предоставить будущему; а вотъ вопросъ о царской власти — это дѣло другое. Пускай народъ узнаетъ, что царь намѣченъ рокомъ; это скорѣе заставитъ его примириться съ фактомъ, когда онъ совершится. Можно быть очень просвѣщеннымъ человѣкомъ и все-таки, ради высшихъ соображеній, охотно играть на суевѣрной стрункѣ народной души; это проявленіе политической мудрости было извѣстно древнимъ римлянамъ такъ же хорошо, какъ и намъ.

Первымъ замечтался Помпей. Онъ былъ уже облеченъ

сверхзаконными полномочіями; усмиранный Востокъ, повергнувъ свои сокровища къ его ногамъ, уже встрѣчалъ его какъ цари надъ царями; въ его рукахъ была очень внушительная военная сила, между тѣмъ какъ безоружный Римъ не имѣлъ другого оплота, кромѣ чувства законности въ сердцахъ его гражданъ. Съ трепетомъ ждала Италія, чѣмъ кончится борьба въ душѣ ея самаго могущественнаго военачальника; но въ концѣ концовъ исходъ борьбы оказался благополучнымъ. Помпей распустилъ свое войско и частнымъ человѣкомъ вернулся въ Римъ—вернулся для того, чтобы испытать одно разочарованіе, одно униженіе за другимъ. Ему не простили того, что призракъ царскаго вѣнца разъ показался надъ его головой, окружая ее яркимъ, хотя и непродолжительнымъ блескомъ.

Пришлось покорителю Востока искать союзниковъ для того, чтобы удержать хоть нѣкоторое значеніе въ государствѣ; и тутъ начинается то чудесное совпаденіе обстоятельствъ, которое, разрушая плоды просвѣтительной эпохи, открыло суетвѣрно доступъ въ умы даже такихъ людей, которыхъ школа Эпикура должна была, кажется, предохранить отъ всякаго страха передъ таинственными силами и сверхъестественными явленіями. Дѣло въ томъ, что тотъ союзникъ, къ которому поневолѣ долженъ былъ обратиться Помпей, былъ не только самымъ способнымъ политикомъ и полководцемъ тогдашняго Рима, — онъ и по своему происхожденію имѣлъ всѣ данныя для того, чтобы обратить въ свою пользу предсказаніе Сивиллы о римскомъ царѣ. Юлій Цезарь велъ свой родъ отъ древнихъ троянскихъ царей, потомковъ Ила, основателя Иліона; эта генеалогія, будучи много древнѣе самого Цезаря, возбуждала въ тѣ времена такъ же мало сомнѣній, какъ и этимологія, на которую она отчасти опиралась; *Pus — Iulus — Iulius*; отъ Ила происходитъ Эней, отецъ Асканія-Іула, отъ Іула — Юліи Цезари. Мы видѣли, что вѣра въ троянское происхожденіе Рима была естественнымъ послѣдствіемъ переселенія первоначально троянской Сивиллы въ Римъ; но въ такомъ случаѣ было ясно, что благословеніе Сивиллы могло быть дано только Энею, перешедшему изъ Трои въ Италію и перенесшему туда троянскихъ боговъ; а если такъ, то оно по наслѣдству перешло къ его потомкамъ, къ Юліямъ.

Если, по слову Сивиллы, Римъ долженъ былъ имѣть царя, то кто былъ къ этому сану болѣе приспособленъ, чѣмъ мужъ изъ крови Іула, потомокъ Ромула, основателя царственного города, столицы міра?

Но Цезарь предоставилъ народной молвѣ совершать свою тихую и вѣрную работу, а самъ сталъ заботиться о томъ, чтобы въ рѣшительный моментъ въ его рукахъ была достаточная фактическая сила. Съ этой цѣлью онъ отправился воевать въ Галлію; но война затягивалась, срокъ управленія этой провинціей близился къ концу, надо было добиться продолженія власти, а съ этой цѣлью расположить въ свою пользу какъ можно болѣе вліятельныхъ лицъ. И вотъ онъ для переговоровъ приглашаетъ въ Луку всѣхъ своихъ приверженцевъ; ихъ оказалось столько, что друзья республики ужаснулись. Ихъ голосъ слышится въ предостереженіи, которое вѣщатели въ эту самую минуту сочли полезнымъ дать растерявшейся римской знати по поводу одного изъ многочисленныхъ знаменій, кѣмъ-то гдѣ-то усмотрѣннаго. „Есть опасность“, говорили они, „что благодаря раздорамъ среди знати руководители государства поплатятся жизнью, что вслѣдствіе этого экономическія и военныя силы государства достанутся во власть одного человѣка, а затѣмъ послѣдуетъ... *deminutio*“. Это послѣднее слово не однихъ насъ озадачиваетъ; древніе часто пользовались скромными, мягкими словами для обозначенія страшнаго предмета. Въ данномъ случаѣ вѣщатели избрали слово, означавшее „убыль, утрата, уменьшеніе“, но разумѣли, повидимому, „конецъ“.

Въ первый разъ предметъ всеобщей боязни получилъ такое ясное, можно сказать, официальное наименованіе. Цицеронъ, которому осложненія государственныхъ дѣлъ не давали высказывать свое мнѣніе вполне открыто, ухватился, однако, за эту часть предсказанія вѣщателей, призывая сенатскую партію къ единенію и согласію. „Пусть эта взаимная вражда“,—говоритъ онъ въ своей рѣчи „Объ отвѣтѣ вѣщателей“,—„исчезнетъ изъ нашего государства; тогда исчезнутъ и всѣ эти страхи, которыми насъ пугаютъ. *Тогда этотъ змій, который то скрывается здѣсь, то, взвѣсившись, бросается туда, разбитый и раздавленный погибнетъ*“... Что это за змій?—Увидимъ.

Напрасны были и предостереженія вѣщателей, и красно-

рѣчивые призывы оратора; событія шли своимъ путемъ, медленно, но неумолимо. Черезъ нѣсколько лѣтъ вся Галлія была у ногъ Цезаря, а съ нею ему досталась и громадная денежная и военная сила; вскорѣ затѣмъ его легіоны перешли черезъ Рубиконъ, и поля Фессаліи, Африки, Испаніи покрылись костями защитниковъ римской республики. Цезарь былъ консуломъ, былъ диктаторомъ; онъ фактически имѣлъ въ своихъ рукахъ всю силу царской власти; недоставало только ея имени и внѣшнихъ признаковъ.

Съ давнихъ поръ стремился онъ и къ нимъ. Болѣе двадцати лѣтъ назадъ развивалъ онъ народу, по поводу смерти одной родственницы, происхожденіе своего рода отъ древнихъ троянскихъ царей; основываясь на немъ, онъ ходилъ подчасъ, изъ уваженія къ старинѣ, въ красныхъ башмакахъ, каковая обувь считалась царской. Послѣ его побѣды надъ врагами его статуя была поставлена на Капитоліи рядомъ со статуями царей. Такъ-то онъ мало-по-малу приучалъ своихъ согражданъ къ той роли, которую онъ разсчитывалъ играть среди нихъ; но они туго поддавались этой наукѣ, и когда консулъ Антоній въ 44 г. въ праздникъ Луперкалій, осмѣлился, якобы отъ имени народа, предложить Цезарю царскій вѣнецъ, народъ встрѣтилъ это предложеніе ропотомъ и стономъ, и лишь торжественный отказъ чествуемаго вернулъ ему его прежнее благодушное настроеніе. Тогда рѣшились испытать крайнее средство: уговорили квиндецимвировъ обнародовать предсказаніе Сивиллы— конечно, въ возможно благонамѣренной формѣ, безъ всякаго намека на предстоящую послѣ избранія царя *deminutio*. „*Римъ нуждается въ царѣ для того, чтобы восторжествовать надъ своимъ главнымъ, вѣковымъ врагомъ—пароянами*“—вотъ форма, въ которой слово Сивиллы могло быть пущено въ оборотъ безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій.

Да, надъ пароянами. Римъ заблуждался относительно враговъ, отъ которыхъ ему грозила опасность; не придавая важности сильнымъ и смѣлымъ племенамъ германцевъ, вѣчно враждовавшимъ между собою и призывавшимъ римскую власть другъ противъ друга, онъ съ тревогой обращалъ свои взоры на Востокъ, преувеличивая въ своемъ воображеніи могущество и выносливость сосѣдняго парейскаго государства. Дѣйствительно,

смѣлые наѣзтники-стрѣлки парейскаго царя нанесли римской державѣ десять лѣтъ назадъ чувствительное пораженіе и все еще не были за это наказаны: смерть полководца Красса оставалась неотомщенной, взятые въ плѣнъ легіонеры, поженившись на парейнкахъ, воздѣлывали чужія поля на далекомъ Евфратѣ, римскіе орлы украшали дворецъ парейскаго царя. Мысль объ этомъ глубоко оскорбляла національную гордость Рима; но къ чувству негодованія примѣшивался и извѣстнаго рода суевѣрный страхъ. Если Риму суждено было погибнуть, какъ это говорила Сивилла, то, очевидно, парейнамъ въ этомъ дѣлѣ была предоставлена не послѣдняя роль; очевидно, они-то и представляли изъ себя ту дику, варварскую силу, которой предстояло восторжествовать надъ обреченной на смерть тысячелѣтней культурой. Да, Римъ погибнетъ, распадутся храмы Капитолія и форума, обрушатся дворцы Палатина и Каринъ, и дикій наѣзтникъ-парейнинъ промчится по опустошенной площади царственного города, попирая священный прахъ Ромула звенящими копытами своего коня. Вотъ картина, мерещившаяся отнынѣ римлянамъ, когда они, вспоминая о вѣщемъ словѣ Сивиллы, старались облечь въ болѣе опредѣленныя формы образъ предстоящаго въ близкомъ будущемъ разрушенія.

При этихъ условіяхъ планъ Цезаря былъ задуманъ недурно; пожалуй, римскій народъ не отказалъ бы въ царскомъ вѣницѣ тому, кто освободилъ бы его отъ этого кошмара. И тутъ предполагалось соблюсти мудрую послѣдовательность: сначала властитель Рима хотѣлъ выступить царемъ только въ провинціяхъ, чтобы такимъ образомъ возвысить обаяніе свое и своего государства въ глазахъ враговъ; а затѣмъ, когда царскій вѣнецъ перестанетъ рѣзать глаза римскому солдату, можно было надѣяться, что этотъ солдатъ и въ гражданской тогѣ откажется отъ чрезмѣрной чувствительности — тѣмъ болѣе, если первый римскій царь принесетъ своему городу въ даръ триумфъ надъ побѣжденнымъ и покореннымъ Востокомъ.

Вотъ какія мысли волновали диктатора и подвластный ему народъ въ весенніе мѣсяцы 44 года; будучи усердно распускаемы, онѣ произвели довольно важное дѣйствіе, подготавливая метаморфозу, имѣвшую совершиться лишь 10—20 лѣтъ спустя. Роль „царя“ въ предстоящихъ событіяхъ раздвоилась:

онъ былъ съ одной стороны предвѣстникомъ ожидаемой катастрофы, антихристомъ языческаго свѣтопреставленія, но, съ другой стороны, освободителемъ своего народа, побѣдителемъ надъ лютымъ врагомъ. Кто знаетъ, быть можетъ, ему удастся, съ благословенія боговъ, вывести свой народъ невредимымъ изъ бѣдствія, подобно тому, какъ его родоначальникъ Эней вывелъ довѣрившихся ему людей и боговъ невредимыми изъ пламени горящей Трои?..

Мартовскія иды положили конецъ всѣмъ этимъ мечтаніямъ; призракъ царскаго вѣнца оказался и этотъ разъ роковымъ для человѣка, чью голову онъ осѣнялъ. Цезарь палъ подъ ударами убійцы; не стало царя изъ рода Іула, но не стало и намѣченнаго рокомъ освободителя римскаго народа.

V.

Событія, наступившія непосредственно послѣ убійства Цезаря, были таковы, что только очень брѣпкіе духомъ люди могли побороть въ себѣ увѣренность въ близости предстоящей гибели міра.

„Въ теченіе всего года“, говоритъ Плутархъ, „послѣдовавшаго за убійствомъ Цезаря, солнце было блѣдно и безъ лучей; тепло, отъ него исходящее, было безсильно и незначительно, въ воздухѣ чувствовалась какая-то мгла и тяжесть, вслѣдствіе недостатка очищающаго теплорода; хлѣбъ, отцвѣтши, преждевременно вялъ и гибъ отъ холода окружающей среды“. Въ древнихъ разсказахъ о гигантомахіяхъ упоминалось и о томъ, что солнце должно потухнуть и исчезнуть въ пасти рокового змѣя, имѣющаго поглотить вселенную: народъ это помнилъ и съ тревогой смотрѣлъ на небесный сводъ въ ожиданіи новыхъ страшныхъ знаменій.

Его ожиданія не были обмануты. Въ маѣ мѣсяцѣ, когда наслѣдники убитаго диктатора давали народу заѣзанные имъ игры въ честь его божественной родоначальницы Венеры, съ наступленіемъ вечера на восточномъ небосклонѣ показалась непривычная „звѣзда-мечъ“. Тотчасъ по рядамъ зрителей прошелъ крикъ: „комета!“ тотчасъ появились вѣщатели, напомнившіе народу о страшномъ значеніи этого знаменія. „Дважды“, гово-

рили они, „видѣть его Римъ: въ первый разъ междоусобная война Марія и Суллы, во второй разъ — Помпея и Цезаря послѣдовала за его появленіемъ. Оба раза должны мы были искупить его потоками римской крови“. Теперь комета появилась въ третій разъ, а число три имѣетъ роковое значеніе въ ударахъ судьбы.— Къ счастью, наслѣдникъ имени и славы убитаго, молодой Цезарь Октавіанъ, не растерялся: обращая въ свою пользу общераспространенныя вѣрованія, касавшіяся божественности небесныхъ свѣтилъ и такъ называемыхъ катастеризмовъ (т.-е. перехода въ звѣзды душъ обоготворяемыхъ людей), онъ объявилъ новоявленную звѣзду душою самого Цезаря, который такимъ образомъ оказывался принятымъ въ сонмъ небожителей. Это заявленіе нѣсколько успокоило народъ, и онъ могъ съ большимъ спокойствіемъ смотрѣть на загадочное свѣтило, продолжавшее сіять еще въ теченіе шести дней; но разгорѣвшаяся вскорѣ затѣмъ третья междоусобная война подтвердила правильность первоначальнаго толкованія смысла „звѣзды-меча“.

Еще тревожнѣе было приключившееся въ томъ же году опустошительное наводненіе Тибра. Сильными западными вѣтрами воды славной римской рѣки были задержаны у ея устья, лежавшаго всего на 15 футовъ ниже ея уровня въ Римѣ; поднявшись, она пошла затоплять низменную часть своего лѣваго берега, которая была въ то же время самой оживленной и населенной частью Рима. Сначала она покрыла своими волнами овощныя и мясной рынки, лежавшія на самомъ берегу; затѣмъ, вливаясь черезъ густо застроенную „Тусскую улицу“, что между Капитолійскимъ и Палатинскимъ холмами, она наводнила форумъ, подмывая его храмы и базилики и остановилась не раньше, чѣмъ разрушила самый очагъ Рима, храмъ Весты. Если даже общественныя зданія не устояли противъ напора воды, то легко можно себѣ представить, что случилось съ многоэтажными ветхими домами Тусской, Новой и другихъ улицъ, по которымъ себѣ прокладывала путь разъяренная стихія. Несмѣтная толпа народа осталась безъ крова; она могла на досугъ, смотря съ римскихъ холмовъ на водное пространство у ихъ подножія, разсуждать о причинахъ и смыслѣ разразившагося бѣдствія. Установить его связь съ убійствомъ

онъ былъ съ одной стороны предвѣстникомъ ожидаемой катастрофы, антихристомъ языческаго свѣтопреставленія, но, съ другой стороны, освободителемъ своего народа, побѣдителемъ надъ лютымъ врагомъ. Кто знаетъ, быть можетъ, ему удастся, съ благословенія боговъ, вывести свой народъ невредимымъ изъ бѣдствія, подобно тому, какъ его родоначальникъ Эней вывелъ довѣрившихся ему людей и боговъ невредимыми изъ пламени горящей Трои?..

Мартовскія иды положили конецъ всѣмъ этимъ мечтаніямъ; призракъ царскаго вѣнца оказался и этотъ разъ роковымъ для челоѣка, чью голову онъ осѣнялъ. Цезарь палъ подъ ударами убійцы; не стало царя изъ рода Іула, но не стало и намѣченнаго рокомъ освободителя римскаго народа.

V.

Событія, наступившія непосредственно послѣ убійства Цезаря, были таковы, что только очень крѣпкіе духомъ люди могли побороть въ себѣ увѣренность въ близости предстоящей гибели міра.

„Въ теченіе всего года“, говоритъ Плутархъ, „послѣдовавшаго за убійствомъ Цезаря, солнце было блѣдно и безъ лучей; тепло, отъ него исходящее, было безсильно и незначительно, въ воздухѣ чувствовалась какая-то мгла и тяжесть, вслѣдствіе недостатка очищающаго теплорода; хлѣбъ, отцвѣтши, преждевременно вялъ и гибъ отъ холода окружающей среды“. Въ древнихъ разсказахъ о гигантамахіяхъ упоминалось и о томъ, что солнце должно потухнуть и исчезнуть въ пасти рокового змѣя, имѣющаго поглотить вселенную: народъ это помнилъ и съ тревогой смотрѣлъ на небесный сводъ въ ожиданіи новыхъ страшныхъ знаменій.

Его ожиданія не были обмануты. Въ маѣ мѣсяцѣ, когда наслѣдники убитаго диктатора давали народу заѣщанныя имъ игры въ честь его божественной родоначальницы Венеры, съ наступленіемъ вечера на восточномъ небосклонѣ показалась непривычная „звѣзда-мечъ“. Тотчасъ по рядамъ зрителей прошелъ крикъ: „комета!“ тотчасъ появились вѣщатели, напомнившіе народу о страшномъ значеніи этого знаменія. „Дважды“, гово-

рили они, „видѣть его Римъ: въ первый разъ междоусобная война Марія и Суллы, во второй разъ — Помпея и Цезаря послѣдовала за его появленіемъ. Оба раза должны мы были искупить его потоками римской крови“. Теперь комета появилась въ третій разъ, а число три имѣетъ роковое значеніе въ ударахъ судьбы.— Къ счастью, наслѣдникъ имени и славы убитаго, молодой Цезарь Октавіанъ, не растерялся: обращая въ свою пользу общераспространенныя вѣрованія, касавшіяся божественности небесныхъ свѣтилъ и такъ называемыхъ катастрофизмовъ (т.-е. перехода въ звѣзды душъ обоготворяемыхъ людей), онъ объявилъ новоявленную звѣзду душою самого Цезаря, который такимъ образомъ оказывался принятымъ въ сонмъ небожителей. Это заявленіе нѣсколько успокоило народъ, и онъ могъ съ бѣльшимъ спокойствіемъ смотрѣть на загадочное свѣтило, продолжавшее сіять еще въ теченіе шести дней; но разгорѣвшаяся вскорѣ затѣмъ третья междоусобная война подтвердила правильность первоначальнаго толкованія смысла „звѣзды-меча“.

Еще тревожнѣе было приключившееся въ томъ же году опустошительное наводненіе Тибра. Сильными западными вѣтрами воды славной римской рѣки были задержаны у ея устья, лежавшаго всего на 15 футовъ ниже ея уровня въ Римѣ; поднявшись, она пошла затоплять низменную часть своего лѣваго берега, которая была въ то же время самой оживленной и населенной частью Рима. Сначала она покрыла своими волнами овощныя и мясной рынки, лежавшія на самомъ берегу; затѣмъ, вливаясь черезъ густо застроенную „Тусскую улицу“, что между Капитолійскимъ и Палатинскимъ холмами, она наводнила форумъ, подмывая его храмы и базилики и остановилась не раньше, чѣмъ разрушила самый очагъ Рима, храмъ Весты. Если даже общественныя зданія не устояли противъ напора воды, то легко можно себѣ представить, что случилось съ многоэтажными ветхими домами Тусской, Новой и другихъ улицъ, по которымъ себѣ прокладывала путь разъяренная стихія. Несмѣтная толпа народа осталась безъ крова; она могла на досугъ, смотря съ римскихъ холмовъ на водное пространство у ихъ подножія, разсуждать о причинахъ и смыслѣ разразившагося бѣдствія. Установить его связь съ убійствомъ

диктатора было нетрудно; сама мифологія, преподносившаяся народу съ подмостковъ сцены, давала всѣ требуемыя разъясненія. Всѣ знали, что весталка Илія, она же и Рея Сильвія, мать Ромула и Рема, была въ то же время и родоначальницей Юліевъ Цезарей; что, будучи впоследствии брошена въ Тибръ, она стала супругой бога рѣки и съ тѣхъ поръ живетъ безсмертной русалкой въ его чертогахъ. Мудрено ли, что она воспылала гнѣвомъ при убійствѣ своего славнаго потомка? что Тибръ, ея преданный супругъ, уступая ея настойчивымъ просьбамъ, вызвался быть мстителемъ за убитаго?.. Не скоро забылъ римскій народъ это наводненіе, которое мы—и по его причинамъ, и по силѣ, и по произведенной имъ паникѣ—можемъ смѣло сравнить съ тѣмъ, жертвою котораго сдѣлалась наша столица въ ноябрѣ 1824 года; много лѣтъ спустя о немъ воспоминаетъ Гораций, говоря:

Мы видѣли какъ Тибръ, оборотя теченье
 Съ этрусскихъ береговъ, желтѣющей волной
 На памятникъ царя направилъ разрушенье,
 На Весты храмъ святой.
 Стенаньемъ Іліи на мщеніе ополченный
 Онъ лѣвымъ берегомъ, волнуясь, потекъ,
 Потекъ наперекоръ властителю вселенной,
 Услужливый потокъ ¹⁾.

Эти слова стоятъ у него въ очень интересной для насъ одѣ, имѣющей своимъ предметомъ именно ожидавшійся въ тѣ годы конецъ вселенной; наводненіе Тибра упоминается на-ряду съ другими знаменіями, заставлявшими опасаться второго всемірнаго потопа, повторенія того, который много вѣковъ назадъ истребилъ и обновилъ людской родъ при Девкаліонѣ и Пиррѣ:

Довольно ужъ отецъ и градомъ и снѣгами
 Всю землю покрывалъ, ничѣмъ не умолимъ;
 Ужъ подъ его рукой, красѣющей громами,
 Трепещетъ древній Римъ;
 Трепещетъ и народъ, чтобъ Пиррину годнву,
 Исполненную чуди, опять не встрѣтилъ взоръ,
 Тотъ вѣкъ, когда Протей погвалъ свою скотину
 Смотрѣть вершины горъ.

¹⁾ Оды I, 2. Выдержки изъ Горация приводятся въ (мѣстами исправленномъ) переводѣ Фета; выдержки изъ остальныхъ поэтовъ—въ моемъ.

И рыба втерлась тамъ въ вязовыя вершины,
Гдѣ горлицѣ лѣсной была знакома сѣнь,
И плавалъ посреди нахлынувшей пучины
Испуганный олень.

Темный народъ допускалъ возможность этого потопа, основываясь на ниспосланныхъ ему тревожныхъ знаменіяхъ; люди образованные обращались за совѣтомъ къ наукѣ. Отвѣтъ науки намъ сохраненъ въ очень любопытномъ мѣстѣ „изслѣдованій о природѣ“ Сенеки (III, 27). „Зададимъ себѣ вопросъ, какимъ образомъ, *когда наступитъ намѣченный рокомъ день всемірнаго потопа*, большая часть земли будетъ погребена подъ волнами: дѣйствующими ли въ океанѣ силами отдаленнѣйшія моря будутъ подняты на насъ, или пойдутъ непрерывные дожди и упорная зима, раздавивъ лѣто, выльетъ безконечное множество воды изъ разорванныхъ тучъ, или земля, открывая все новые источники, обнаружитъ все большее и большее число рѣкъ, или, наконецъ, будетъ не одна только причина зла, а всѣ пути одновременно къ нему поведутъ: вмѣстѣ и дожди пойдутъ, и рѣки станутъ расти, и моря, оставивъ свои мѣста, навадвинутся на сушу и всѣ силы соединятся для уничтоженія рода человѣческаго.—Справедливо послѣднее мнѣніе; нѣтъ ничего труднаго для природы—особенно если она работаетъ для собственной гибели; въ началѣ жизни она бережетъ свои силы и проявляетъ себя въ медленномъ, ускользающемъ отъ взора прогрессѣ; но дѣло разрушенія творить быстро, напоромъ всей своей мощи... Прежде всего будутъ лить непрекращающіеся дожди; безпросвѣтныя тучи покроютъ небо унылой пеленой, надъ землею будетъ стоять вѣчный туманъ и какая-то густая влажная мгла вслѣдствіе отсутствія осушающихъ вѣтровъ. Отсюда болѣзни посѣвямъ; хлѣбъ, выколосившись до налива, сгніетъ на корню, а послѣ гибели того, что посѣяла рука человѣческая, болотныя травы заполнить всѣ поля. Вскорѣ затѣмъ и болѣе крѣпкія растенія уступаютъ злу: ложатся деревья, корни которыхъ размыло водой, не держатся ни лозы, ни кусты на топкой и размякшей почвѣ. И вотъ уже не стало ни хлѣба, ни травъ; наступаетъ голодъ, люди ищутъ своей первобытной пищи. Напрасно! падаютъ и дубы и всѣ другія деревья; до тѣхъ поръ ихъ на высокихъ мѣстахъ сдерживали скалы, въ разсѣ-

линахъ которыхъ они росли—теперь же и онѣ уже размыты. Да и крыши, насквозь промокшія, сползаютъ со строил фундаменты, до дна пропитанные водой, осѣдаютъ, вся почва превращается въ болото. Тщетно стараются подпереть шатающіяся зданія: вѣдь и подпорки приходится прикрѣплять къ скользкимъ мѣстамъ, такъ какъ прочныхъ не осталось въ тѣ грязи, изъ которой состоитъ почва. А тучи все гуще и гуще сплочиваются надъ землей, таетъ снѣгъ ледниковъ, наросшій въ теченіе столѣтій—и вотъ бурный потокъ, стекая съ высокихъ горъ, уноситъ и безъ того слабо державшіеся лѣса, скатываетъ расшатанныя въ своихъ основаніяхъ скалы, срываетъ хижинныя съ нимъ и ихъ хозяевъ, сплавляетъ стада; онѣ уже разрушили меньшія строенія и унесъ то, что было на его пути, и теперь съ удесятеренной силой устремляется на болѣе значительныя преграды. Онѣ опустошаетъ города, топить заключенныхъ въ свои стѣны жителей, не знающихъ, на что имъ жаловаться: на потопъ ли, или на разрушеніе—столь одновременны были оба бѣдствія и то, которое ихъ топить, и то, которое ихъ давить. А затѣмъ, принявъ въ себя еще нѣсколько другихъ потоковъ, онѣ уже на далекое пространство заливаютъ равнины. Въ то же время и рѣки, по природѣ своей широкія, задержанныя ливнями, выступаютъ изъ своихъ береговъ... А дождь между тѣмъ, льютъ и льютъ, небо все гуще заволакиваетъ: прежде оно было облачно, теперь его покрыла сплошная ночь: ночь тревожная и страшная, прерываемая зловѣщими огнями: часто сверкаютъ молніи, бури бичуютъ море, теперь впервые увеличенное отъ прилива рѣкъ и не находящее себѣ мѣста. Оно надвигается на берега; потоки пробуютъ воспрепятствовать его выступленію и погнать обратно его приливъ, но въ большинствѣ случаевъ уступаютъ ему, точно задержанные неудовольствіемъ устья, и превращаютъ поля въ одно сплошное озеро. И вотъ уже все пространство залито водой, всѣ холмы погребены подъ волнами, всюду неизмѣримая глубина, лишь самые высокие хребты горъ представляютъ возможность брода. Туда-то и бѣжали несчастные, взявъ съ собою женъ и дѣтей и стада; нѣтъ между нихъ средствъ сноситься между собой, такъ какъ вода наполнила всю низменность; лишь къ вершинамъ жмутся остатки рода человѣческаго, облегченного въ своемъ крайнемъ полѣ

женіи лишь тѣмъ, что его страхъ уже перешелъ въ какое-то тупое безчувствіе“.

Вотъ отзвуки наводненія, которое испыталъ Римъ въ 44 году, непосредственно послѣ смерти Цезаря. Оно, къ слову сказать, не ограничилось Римомъ: если Горацій, римлянинъ по воспитанію и связямъ, вспоминаетъ преимущественно о немъ, то транспаданецъ Вергилій сообщаетъ то же самое о своей родной рѣкѣ По. Его описаніе тоже интересно: положимъ, въ немъ много баснословнаго, но для занимающаго насъ вопроса и легенда имѣетъ свое значеніе. Богъ солнца, говоритъ этотъ поэтъ въ своей поэмѣ „О земледѣліи“, тоже бываетъ предвѣстникомъ грядущихъ бѣдъ:

Часто онъ намъ предвѣщаетъ глухія волненія въ народѣ,
Скрытыхъ злодѣевъ обманъ и зародыши войнъ многокровныхъ.
Въ годъ, когда Цезарь погибъ, онъ изъ жалости къ падшему Риму
Мглою непросвѣтной покрылъ свой божественный ликъ лучезарный;
И ужаснулось людей нечестивое племя, и вопли
Всюду средь нихъ раздались: *„То вѣчная ночь наступаетъ!“*

Поэма „О земледѣліи“ была сочинена Вергиліемъ много спустя, когда страхъ уже прошелъ; вотъ почему онъ даетъ другое, болѣе безобидное толкованіе грозному знаменію, о которомъ, какъ мы видѣли выше, свидѣлствуетъ и Плутархъ. „Солнце скорбитъ о смерти Цезаря“—это и есть то позднѣйшее, благочестивое толкованіе; но непосредственное, народное толкованіе было другое:—„то вѣчная ночь наступаетъ!“

Впрочемъ, въ тотъ сумрачный годъ и земля, и морская пучина
Знаменья злыя давали, и пси-духовидцы, и птицы.
Часто, Циклоповъ разрушивъ очагъ, сотрясенная Этна
Жидкаго рѣки огня и расплавленныхъ камней потоки
Съ гуломъ глухимъ извергала; Германія бранному крику
Съ неба ночного внимала и шуму доспѣховъ желѣзныхъ;
Землетрясеніе въ Альпахъ народъ напугало; повсюду
Голосъ послышался грозный изъ чаши лѣсовъ молчаливыхъ;
Бѣдныя тѣни блуждали во мракѣ ночномъ, и—о, ужась!—
Голосомъ съ нами людскимъ безсловесная тварь говорила.
Мало того: разверзалась земля; прекращали теченье
Рѣки; въ святыняхъ кумиры боговъ обливались слезами;
Рѣкъ властелинъ Эриданъ, охвативъ разъяренной пучиной
Горныя роши, понесъ на поля ихъ, срывая попутно

Стояла и скотъ хороня. И зловѣщія жиы являлись
Въ чревѣ закланныхъ овецъ, и колодцевъ студеныя воды
Кровь обаграла, и жалобный голосъ волковъ кровожадныхъ
Всѣ города оглашалъ въ безпокойное время ночное.

Быстро и вѣрно исполнялась программа предсказанной Сивиллой катастрофы. За небесными страхами—наводненія; за наводненіями—голодь. Хлѣбъ не уродился; подъ вліяніемъ упорнаго ненастья колосыя сгнили на корню. Надежды на подвозъ изъ хлѣбородныхъ провинцій не было и быть не могло; въ началѣ было не до того, а впоследствии стало поздно: моря были во власти Секста Помпея, сына бывшаго триумвира, который, собравъ флотъ и вооруживъ сицилійскихъ рабовъ, воскресилъ память корсарскихъ и невольническихъ войнъ минувшаго поколѣнія. Кое-какъ провели лѣто 44 г. и слѣдующую зиму, а затѣмъ положеніе стало ухудшаться съ каждымъ мѣсяцемъ. Народъ голодалъ и въ деревняхъ, и въ городахъ, и въ Римѣ; но только въ Римѣ онъ могъ оказывать давленіе на правителей и требовать улучшенія своей участи. Онъ и стекался въ Римъ все въ большемъ и большемъ числѣ, ютятся, гдѣ попало, питаются, чѣмъ кто могъ; политическіе лозунги были забыты, всѣ партійныя требованія слились въ одинъ протяжный зловѣщій крикъ, который отнынѣ преслѣдовалъ правителей на каждомъ ихъ шагѣ—въ крикъ: „хлѣба!“ Но хлѣба взять было негдѣ; тѣмъ временемъ голодь и скученность довершали свое дѣло; и вотъ, подъ возрастающимъ вліяніемъ этихъ двухъ бѣдствій появилось третье, еще болѣе ужасное—чума.

Наводненія,—голодь,—чума... теперь дѣло было за послѣднимъ изъ великихъ враговъ и истребителей рода человѣческаго, войной. Но и война была недалеко, и при томъ самая разрушительная изъ всѣхъ возможныхъ войнъ,—война междоусобная. Царскій вѣнецъ убитаго диктатора былъ разорванъ на мелкія части; тотъ, кто хотѣлъ имъ владѣть, долженъ былъ его собрать по лоскутамъ, а каждый лоскутъ долженъ былъ стоить жизни своему владѣльцу. Началась война въ Италіи—началась сравнительно тихо и скромно и съ надеждой на быстрое окончаніе; но ея результатомъ былъ, вмѣсто ожидавшагося объединенія, грозный и кровавый триумвиратъ. Наступило

время жестокихъ проскрипцій: рознь между триумвирами и „освободителями“ была непримирима, при Филиппахъ пали послѣдніе бойцы за римскую республику. Но и эта жертва не дала желаннаго успокоенія, уже въ ближайшіе послѣ гибели Брута мѣсяцы обнаружился въ самой Италіи разладъ между членами триумvirата, зародышъ долгихъ смуть и войнъ; а въ то же время Секстъ Помпей, „сынъ Нептуна“, какъ онъ себя называлъ, одновременно пускалъ въ ходъ и обаяніе своего дѣйствительнаго, и силы своего названнаго отца, чтобы морить народъ голодомъ и этимъ подрывать власть своихъ враговъ-триумvirовъ.

Теперь всѣ бичи, когда-либо терзавшіе людей, одновременно дѣйствовали; не могло быть сомнѣнія, что именно теперь должна была наступить предсказанная Сивиллой година гнѣва, теперь или — никогда.

VI.

Мы желали бы, въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, знать нѣсколько подробнѣе сущность предсказанія Сивиллы. Къ сожалѣнію, наши источники въ отношеніи этого пункта очень немногословны; все же путемъ комбинаціи разрозненныхъ данныхъ можно составить себѣ представленіе о немъ, быть можетъ, не во всѣхъ его частяхъ одинаково неоспоримое, но въ совокупности достаточно близкое къ истинѣ.

Сивилла предсказала обновленіе міра послѣ истеченія „великаго года“. Мы видѣли уже, что этотъ великій годъ иными опредѣлялся въ четыре, другими въ десять „вѣковъ“, въ 110 лѣтъ каждый. Для нашего свѣтопреставленія только послѣднее опредѣленіе имѣло смыслъ, но и первое не было вполне отброшено; какъ-никакъ, а оно должно было быть довольно знаменательнымъ моментомъ. Если допустить — что было наиболѣе естественнымъ — что пророчество Сивиллы-Кассандры было дано въ началѣ троянской войны, т.-е. въ 1193 г., то конецъ четвертаго вѣка приходился въ 753 г.; приблизительно въ это время — какъ это доказывали другія хронологическія соображенія — должно было прійтись основаніе Рима. И дѣйствительно, мы имѣемъ поводъ предполагать, что закрѣпленіе основанія Рима

за 753 г.—т.-наз. Варронова эра—состоялось именно подъ влияніемъ указаннаго уравненія $1193 - 440 = 753$. Правда, согласно тому же счету, конецъ десятаго вѣка долженъ былъ совпасть съ 93 г.—а между тѣмъ этотъ годъ давно уже прошелъ; и, разумѣется, имѣй мы дѣло съ научной теоріей—это возраженіе было бы убійственнымъ. Но, во-первыхъ, въ дѣлѣ суетвѣрія человѣческой умъ удивительно растяжимъ; вспомнимъ, сколько разъ наши раскольники въ 17 вѣкѣ, на основаніи каждый разъ „исправленныхъ“ расчетовъ, отодвигали срокъ ожидаемаго ими свѣтопреставленія. Во-вторыхъ, теорія, о которой мы говоримъ, не претендуетъ не только на научность, но даже и на единство: иные примѣняли ее такъ, другіе иначе, народъ же прислушивался одинаково ко всѣмъ, не замѣчая допускаемаго имъ при этомъ противорѣчія. Въ-третьихъ, Сивилла вѣдь не сказала, что гибель міра состоится въ одинъ день—достаточно, если она началась съ 93 г.

Второй вопросъ имѣлъ своимъ предметомъ тотъ первородный грѣхъ, которымъ человечество навлекло на себя эту страшную кару. Въ легендѣ о четырехъ поколѣніяхъ, легендѣ умной и глубокомысленной, этотъ грѣхъ, изгнавшій дѣву-Правду изъ нашей юдоли въ заоблачныя пространства, поименованъ не былъ; понятно, однако, что народная фантазія этимъ не удовольствовалась. Стали размышлять; въ греческой міеологіи Сисифъ рано прослылъ за перваго великаго грѣшника; но для Рима этотъ міеологическій персонажъ никакого интереса не представлялъ. На римской почвѣ рѣшеніе вопроса зависѣло отъ того, признавать ли четырехвѣковой великій годъ и, слѣдовательно, такъ сказать, малое искупленіе въ годъ основанія Рима, или нѣтъ. Если нѣтъ, то римская исторія была прямымъ продолженіемъ троянской; тяготѣвшее надъ Римомъ проклятiе было то же самое, отъ котораго нѣкогда погибла Троя; а въ такомъ случаѣ дѣло было совершенно ясно... Прошу тутъ читателя отнестись снисходительно къ странной легендѣ, которую я имѣю сообщить, и помнить, что дѣло идетъ о первородномъ грѣхѣ. Троянскія стѣны были воздвигнуты при Лаомедонтѣ, отцѣ Пріама; по его просьбѣ, двое боговъ. Нептунъ и Аполлонъ, взялись—за плату—ихъ соорудить и обезпечить, такимъ образомъ, вѣчность защищенному

ими городу. Но Лаомедонтъ, воспользовавшись услугами боговъ, не пожелалъ выдать имъ въслѣдствіи условленной платы. Вотъ это „клятвопреступленіе Лаомедонта“ и сдѣлалось источникомъ проклятія; оно навлекло гибель на Трою, а послѣ ея разрушенія перешло на тотъ городъ, который былъ ея продолженіемъ—на Римъ... Но возможно ли допустить, что въ образованную эпоху Вергилія и Горація люди серьезно смущались этимъ мнѣическимъ преступленіемъ, самая грубость котораго должна была казаться несовмѣстимой съ идеальными обликами тогдашнихъ боговъ? Въ той области, о которой идетъ рѣчь, всѣ противорѣчія уживаются; тотъ самый сенаторъ, который ставилъ въ своей божницѣ прекрасную статую работы Праксителя, въ государственномъ храмѣ воскурялъ оніміамъ передъ безобразнымъ чурбаномъ, наслѣдіемъ грубой старины. Не кто иной, а самъ Вергилій кончаетъ первую книгу своей поэмы „О земледѣліи“ слѣдующей молитвой, прося боговъ объ ихъ покровительствѣ новому искунителю Рима—императору Августу.

Боги родные, ты, Ромуль-отецъ, ты, древняя мать
Веста, что Тибръ нашъ блюдеши и священный хребетъ Палатина,
Гибнущій вѣкъ нашъ спасти вы хоть этому юношѣ дайте!
Сжальтесь! Довольно въ бояхъ непрестанныхъ мы пролили крови
Лаомедонтовой Трои преступный обѣтъ искупая!
(Laomedontaeae luimus perjuriam Trojae).

Согласно другой теоріи, признающей четырехвѣковой „великій годъ“, троянскій грѣхъ не былъ перенесенъ на почву Рима; годъ основанія города былъ въ то же время и годомъ обновленія имѣющаго признать его власть человѣчества. Эту теорію въслѣдствіи развилъ Горацій въ красивой фикціи, которую мы даемъ ниже въ переводѣ Фета,—переводѣ, къ сожалѣнію, не вездѣ достаточно правильномъ (оды III, 3).

Рѣчью пріятною Гера промолвила
Сонму боговъ: „Иліонъ, Иліонъ святой
„Въ прахъ обращенъ отъ судьи беззаконнаго,
„Гибель навлекшаго, и отъ жены чужой.
„Троя съ тѣхъ поръ, какъ въ уплату условленной
„Лаомедонтъ отказалъ небожителямъ,

„Проклята мною и Минервою чистю
 „Съ племенемъ вѣмъ и лукавымъ правителемъ...
 „Нашей враждою война продолженная
 „Отбуживала. *И нынѣ смиреннаго*
 „Марса прошу и души ненавистнаго
 „Внука, троянскою жрицей рожденнаго—

т.-е. Ромула, сына весталки Реи Сильвіи. Итакъ, Римъ былъ чистъ въ день своего основанія, въ тотъ знаменательный день, когда оба брата, питомцы волчицы, совершили первыя „ауспиціи“ на мѣстѣ, гдѣ позднѣе выросъ Римъ,—славное на всѣ времена *augurium augustum*. А если такъ, то это значить, что первородный грѣхъ былъ сотворенъ тамъ же, на римской почвѣ. Относительно дальнѣйшаго не могло быть сомнѣнія: древнее преданіе шло на встрѣчу встревоженной фантазіи людей. Когда Ромуль, гордый благословіемъ боговъ, сталъ сооружать стѣну новаго города, его обиженный братъ въ поруганье ему перепрыгнулъ черезъ нее; тогда основатель, разгнѣвавшись, убилъ его, сказавъ: „такова да будетъ участь каждаго, кто задумаетъ перескочить черезъ мои стѣны“. Легенда эта была, повторяю, старинная, и первоначальный ея смыслъ былъ ясенъ: основатель Рима до того любилъ свой городъ, что не пожалѣлъ даже брата, опорочившаго дурнымъ знаменіемъ его основаніе; онъ убилъ его точно такъ же, какъ позднѣе основатель республики Брутъ убилъ своихъ сыновей, злоумышлявшихъ противъ нея. Такъ думали въ старину; но теперь, съ наступленіемъ всѣхъ описанныхъ въ предыдущей главѣ страховъ, и отношеніе угнетенныхъ римлянъ къ древней легендѣ измѣнилось. Какъ его ни объясняй, а поступокъ Ромула былъ братоубійствомъ; не слѣдуетъ ли допустить, что и братоубійственная война, отъ которой Римъ погибалъ, была наказаніемъ за него? Тогда древнѣйшая стѣна Рима была осквернена пролитой кровью брата: можно ли ожидать искупленія раньше, чѣмъ не будетъ разрушена она сама, эта оскверненная и проклятая стѣна? Вотъ онъ, значить, этотъ первородный грѣхъ Рима; когда, послѣ непродолжительнаго мира, Октавіанъ и Помпей вторично обратили свое оружіе другъ противъ друга, Горацій напутствовалъ ихъ слѣдующимъ стихотвореніемъ (эподъ 7):

Куда, куда, преступные?
 И для чего мечи свои
 Вы изъ ноженъ хватаете?
 Иль по землѣ и по морю
 Латинской крови пролито
 Все мало—вы считаете?
 Не съ тѣмъ, чтобъ ненавистный намъ
 И гордый Кароагентъ предсталъ
 Твердынею сожженною,
 Не съ тѣмъ, чтобъ неподатливый
 Британецъ, весь закованный,
 Дорогой шелъ Священною,
 Нѣтъ,—чтобы, какъ желательно
 Пароянамъ, этотъ городъ нашъ
 Погибнулъ самъ отъ рукъ своихъ...
 Слѣзное ли безуміе
 Влечетъ, иль сила мощная,
 Иль *грѣхъ* васъ? Отвѣчайте мнѣ!—
 Молчать, и блѣдность томная
 На лицахъ появилась
 И мысли отнялись вполнѣ.
 Да, римлянъ гонять подлинно
 Судьбы, и злодѣяніемъ
 Ихъ жнзнь еще обѣтая,
Когда на землю канула
Кровь Рема неповинная,
 Но правннкамъ заклтая.

Третій вопросъ касался самой катастрофы. Сивилла говорила собственно не объ истребленіи, а объ обновленіи рода человѣческаго. Десять вѣковъ, изъ которыхъ состоитъ „великій годъ“, исчерпали его исторію; по ихъ истеченіи она должна начаться вновь. Каждый изъ этихъ вѣковъ — и здѣсь мы имѣемъ, вѣроятно, смѣшеніе греческихъ вѣрованій съ восточными — имѣлъ своего бога-покровителя; такъ первый, золотой вѣкъ, имѣлъ своимъ покровителемъ Сатурна; покровителемъ десятаго, послѣдняго, былъ Аполлонъ. Дѣломъ Аполлона было, слѣдовательно, произвести великій переворотъ; когда онъ убьетъ великаго змѣя, тогда дѣва-Правда вернется къ людямъ и вновь наступитъ царство Сатурна. Но какъ произойдетъ этотъ переворотъ? Предполагаетъ ли обновленіе человѣческаго рода его предварительное истребленіе, или нѣтъ? Долженъ ли великій змѣй сначала поглотить человѣчество, или же стрѣла

далеко разящаго бога убѣтъ его прежде, чѣмъ онъ исполнить свое гибельное дѣло? Таковы были вопросы, и не мудрено, что на нихъ отвѣчали различно, смотря по настроенію времени. Въ пятидесятыхъ годахъ Цицеронъ, какъ мы видѣли выше (гл. IV), считалъ возможнымъ благополучный исходъ борьбы съ великимъ змѣемъ—котораго онъ, разумѣется, толковалъ аллегорически—подъ условіемъ согласія въ правительствующей партіи; но междоусобная война разрушила эту иллюзію. Съ установленіемъ единовластія Цезаря надежда воскресла вновь; стали видѣть въ Цезарѣ избранника судьбы, искупителя Рима, подъ побѣдоноснымъ предводительствомъ котораго вѣчный городъ восторжествуетъ надъ пареянами и надъ раздоромъ у собственного очага; но убійство диктатора положило конецъ и этимъ мечтаніямъ. Теперь все государство было объято войной; мракъ былъ чернѣе и гуще, чѣмъ когда-либо, и требовалась большая смѣлость для того, чтобы при всеобщемъ разложеніи надѣяться на мирное обновленіе человѣческаго рода, встревоженнаго и небесными знаменіями, и отвѣтами науки, страдающаго и отъ голода, и отъ чумы, и отъ нескончаемой, безнадежной войны.

VII.

Время, о которомъ идетъ рѣчь, т.-е. главнымъ образомъ тридцатые годы, съ прибавленіемъ къ нимъ конца сороковыхъ—было временемъ расцвѣта обоихъ лучшихъ поэтовъ, которыхъ когда-либо имѣлъ Римъ,—тѣхъ самыхъ, къ стихотвореніямъ которыхъ мы уже не разъ обращались въ предыдущихъ главахъ. Они и въ дальнѣйшихъ останутся нашими главными источниками; къ нашему крайнему сожалѣнію, мы не имѣемъ другихъ современныхъ нашей эпохѣ памятниковъ; что же касается позднѣйшихъ, то вполне понятно, что они не говорятъ болѣе „о свѣтопреставленіи“, страхъ передъ которымъ уже успѣлъ пройти. Пророчествами интересуются только тогда, когда они сбылись или еще могутъ сбыться; что касается несбывшихся пророчествъ, то они быстро предаются забвенію, согласно любопытному и важному закону индивидуальной и народной

психологін — тому закону, безъ котораго и вѣра въ пророчества никогда не могла бы возникнуть и удержаться среди людей.

Въ этомъ заключается также, къ слову сказать, причина, почему изложенные въ настоящей статьѣ факты такъ мало извѣстны историкамъ; разъ имѣешь дѣло съ поэтами, является невольно нѣкоторая подозрительность и желаніе все затрудняющее насъ сваливать на пресловутую „піитическую вольность“. Но изслѣдованія новѣйшихъ временъ значительно сблизили область этой піитической вольности, подводя подъ опредѣленные законы то, что раньше казалось дѣломъ произвола, и приучая насъ считаться и съ различнымъ отъ нашего міросозерцаніемъ; что же касается настоящей статьи, то я для того и постарался группировать поэтическія свидѣтельства съ прозаическими, чтобы показать ихъ полную гармонию и, стало быть, одинаковую достовѣрность.

Вернемся, однако, къ нашимъ поэтамъ.

Обоихъ родила деревня; на обоихъ наложила свою печать природа, въ ближайшемъ общеніи съ которой протекло ихъ дѣтство. Отсюда — не только ихъ любовь къ природѣ, столь художественно изображенной ими въ ихъ стихотвореніяхъ, но и неизмѣнная спутница деревни и деревенской жизни — извѣстная мечтательная религіозность, скрывающаяся глубоко въ тайникахъ души, часто помимо и даже противъ нашей воли. Дальнѣйшее воспитаніе не особенно благопріятствовало развитію этой религіозности: оба поэта подпали вліянію школы Эпикура и даже съ нѣкоторымъ энтузіазмомъ примкнули къ ученію этого героя мысли, устранившаго въ своей философіи всякое вмѣшательство боговъ въ человѣческія дѣла и поставившаго законъ природы на мѣсто свергнутаго божества. Но вліяніе эпикуреизма было неполнымъ: религіозность, какъ окраска темперамента, не дала себя стереть доводамъ разума, и въ результатѣ получилась лишь извѣстная двойственность. Вполнѣ соглашаясь съ Эпикуромъ, Вергилій воспѣваетъ происхожденіе міра изъ атомовъ и пустоты; Горацій въ обществѣ Мецената и того же Вергилія весело смѣялся надъ благочестивыми обывателями захолустной Гнатіи, увѣрявшими его, что въ ихъ храмѣ ладанъ сгораетъ безъ огня (сат. I, 5):

еврей пусть вѣрять Апелла,
 А не я; я учился, что боги живутъ безмятежно,
 И если диво какое проявитъ природа — не боги-жъ
 Въ гнѣвѣ съ высокаго неба его посылаютъ на землю.

Но тотъ же Горацій наединѣ съ величіемъ грозной природы былъ способенъ испытывать совершенно иныя чувства; тогда доводы разума умолкали, тогда вновь звучали въ глубинѣ его души таинственные аккорды, отголоски шума дубовыхъ рощъ его апулійской родины. Онъ самъ, чуткій къ голосу своей души, описалъ намъ такое обращеніе въ интересной одѣ (I, 34; переводъ здѣсь, къ сожалѣнію, особенно неудовлетворителенъ):

Скудный боговъ почитатель и вѣтренный,
 Мудростію заблужденный безумною,
 Нынѣ задумалъ вѣтрила поставить я
 Вспять и, разставшись съ пучиною шумною,
 Истинный путь отыскать: вѣдь Діеспитеръ,
 Вѣчно огнемъ потрясавшій надъ тучею,
 Съ громомъ промчалъ по лазури безоблачной
 Звучныхъ коней, съ колесницей летучею...

Въ силу этой двойственности своего міросозерцанія Горацій могъ совершенно серьезно внимать тревожнымъ голосамъ, предвѣщавшимъ близкую кончину міра. Для этого ему даже не нужно было измѣнять философіи: мы видѣли уже, что эпикуреецъ Лукрецій признавалъ свою эпоху старостью матери-земли, за которой не замедлитъ послѣдовать разложеніе; если же Горацій отъ эпикурейской философіи обращался къ стоицизму, то и тутъ онъ встрѣчалъ „намѣченный рокомъ день всемірнаго потопа“, описаніе котораго мы дали выше словами Сенеки. Трудно было при такихъ обстоятельствахъ не увѣровать въ предстоящее свѣтопреставленіе; религія его предвѣщала, наука допускала. А тутъ еще наступила смерть диктатора и всѣ ужасы, которые были ея послѣдствіями.

Горацій находился тогда въ Аѣнахъ. Какъ римскій гражданинъ, онъ былъ зачисленъ въ войско Брута, послѣдній оплотъ свободной республики. Какъ извѣстно, надежды, возлагавшіяся на возстановленіе этой республики, были жестоко

обмануты: съ „подрѣзанными крыльями“, какъ онъ выражается самъ, вернулся Горацій въ Италію. Пролитая при Филиппахъ кровь не утолила жажды губительнаго змѣя; триумвиры, соединенные на время обязанностью отомстить за Цезаря, теперь обратили ужъ другъ противъ друга братоубійственные мечи. Видно, первородный грѣхъ требуетъ быстраго и полнаго искупленія; кровь убитаго Рема, вызывающая о мщеніи, не успокоится, пока будутъ стоять стѣны Рима и пока прахъ его убійцы, Ромула, не будетъ развѣянъ по всѣмъ вѣтрамъ.

Таково было настроеніе, подѣ влияніемъ котораго поэтъ написалъ самое замѣчательное изъ входящихъ въ нашу область стихотвореній—шестнадцатый эподъ.

Вотъ второй уже вѣкъ потрясають гражданскія войны,
И разрушается Римъ собственной силой своей...

Тотъ Римъ, котораго никакіе внѣшніе враги не могли побѣдить, его мы,

Племя той проклятой крови, своими руками погубимъ
И звѣрями опять будетъ земля занята.

Варваръ, увь, побѣдитель на пепель наступить, и въ Римѣ,
Громкимъ копытомъ стуча, всадникъ промчится чужой,
Ромула царственный прахъ, защищенный отъ вѣтра и солнца,
Не доведись увидать! дерзкой развѣетъ рукой.

Это точное толкованіе словъ Сивиллы; если Цезарь былъ намѣченный рокомъ спаситель Рима отъ пареванъ, то теперь побѣда пареванъ надъ Римомъ—рѣшенное дѣло; они будутъ орудіемъ божіей воли, исполнителями суда надъ оскверненнымъ братской кровью городомъ.

Итакъ, на спасеніе Рима рассчитывать нечего; остается одно для отважнаго человѣка—порвать узы, связывающія его съ проклятымъ городомъ. Планъ этотъ тогда далеко не казался такимъ фантастическимъ, какимъ онъ представляется намъ нынѣ; совпаденіе дѣлаго ряда условій заставляло вѣрить въ его осуществимость.

На первомъ планѣ стоитъ и тутъ религія, въ которой сохранилась память о какомъ-то земномъ раѣ—„Елисейскихъ поляхъ“, или „островахъ Блаженныхъ“, находящихся гдѣ-то далеко, за океаномъ. О первыхъ повѣствуетъ Гомеръ:

Ты-жъ, Менелай, не умрешь: на окраинѣ міра земного
 Боги тебя поселятъ, въ Елисейской блаженной долинѣ.
 Сладостно жизнь тутъ течетъ, какъ нигдѣ, для людей землеродныхъ;
 Не изнураетъ ихъ зной, ни порывы Борей, ни ливень,
 Нѣтъ: Океана тамъ волны прохладою вѣчно дышатъ,
 Вѣчно тамъ съ шепотомъ нѣжнымъ ласкается зефиръ челоуѣка.

Объ островахъ же Блаженныхъ свидѣтельствуешь Гесіодъ,—
 говоря объ избранныхъ богатыряхъ мнѣическихъ войнъ:

Имъ многославный Зевесъ на окраинѣ міра земного
 Чуждую землю назначилъ, вдали отъ обители смертныхъ,
 Но и вдали отъ боговъ, и подъ власть ихъ Сатурнову отдалъ.
 На островахъ тамъ Блаженныхъ живутъ съ беззаботной душою
 Въ счастіи вѣчномъ герои у водъ океана глубокихъ,
 Трижды въ году пожиная дары благодатной природы.

Схожесть—очень естественная—этихъ описаній съ ходячими описаніями золотого вѣка породила мнѣніе, что Елисейскія поля (или острова Блаженныхъ)—та же земная обитель, но нетронутая гнѣвомъ Земли и первороднымъ грѣхомъ, изгнавшимъ дѣву-Правду изъ среды людей. Здѣсь продолжается, поэтому, золотой вѣкъ; сюда иногда Юпитеръ, за ихъ заслуги, переселяетъ доблестныхъ людей.

Таковъ первый факторъ; вторымъ была локализція фантастическихъ гомеровскихъ мѣстностей, которой дѣятельно занимались греческіе географы. Такъ баснословная земля Феаковъ была отождествлена съ Коркирой, земля циклоповъ—съ Сициліей и т. д.; что касается рѣки-океана, то ее естественнѣе всего было признать въ великомъ морѣ, омывавшемъ западные берега Европы и Африки.

Третьимъ факторомъ были рассказы путешественниковъ о замѣчательномъ плодородіи нынѣшнихъ Канарскихъ острововъ. Картеагеняне, гласило преданіе, знали ихъ мѣстоположеніе, но никого къ нимъ не допускали—во-первыхъ, изъ боязни, какъ бы весь ихъ народъ туда не переселился, а во-вторыхъ, чтобы имѣть убѣжище на случай, если бы ихъ владычеству наступилъ конецъ. За Канарскими островами это имя—острова Блаженныхъ—и осталось; подъ этимъ именемъ они извѣстны у древнихъ географовъ.

Четвертымъ факторомъ были извѣстія объ общинахъ, бро-

савшихъ подъ неотразимымъ натискомъ врага свои города и переселявшихся въ другіе, болѣе богатые края. Самымъ славнымъ былъ подвигъ гражданъ малоазіатской Фокеи: спасаясь отъ ига персовъ, эти храбрые люди оставили свою родину и, проклявъ торжественно отщепенцевъ изъ своей среды, сѣли на корабли; выѣхавъ въ открытое море, они бросили въ пучину громадную желѣзную гирию и дали клятву, что тогда только вернуться въ родную Фокею, когда эта гирия всплыветъ на поверхность. Затѣмъ они отправились на западъ и, послѣ многихъ приключеній, основали городъ Массилію (нынѣ Марсель). Такъ точно и послѣ разгрома Італіи Аннибаломъ часть римской молодежи помышляла о переселеніи въ другіе края. Тогда Сципіонъ воспрепятствовалъ осуществленію этого плана; но въ эпоху террора Суллы его осуществилъ вождь римской эмиграціи, Серторій. Онъ основалъ новый Римъ въ Испаніи; но Испанія, какъ часть римскаго государства, его не удовлетворяла, и онъ мечталъ о томъ, чтобъ отвести колонію за океанъ, на острова Блаженныхъ.

Теперь вновь настали тяжелыя времена, много тяжелѣе тѣхъ, что были при Суллѣ; теперь мысль Серторія была умѣстнѣе, чѣмъ когда-либо раньше. Ея проповѣдникомъ и сдѣлался Горацій; подражая примѣру старыхъ пѣвцовъ, пѣснями вдохновлявшихъ своихъ согражданъ на трудные подвиги, онъ всю свою поэтическую силу, весь свой молодой пылъ вложилъ въ святое—какъ ему казалось—дѣло спасенія лучшей части Рима отъ тяготящаго надъ городомъ проклятія:

Можетъ быть, спросите вы—сообща, или лучшіе люди—

Чѣмъ бы на помощь придти Риму въ тотъ гибельный часъ?

Лучшаго нѣтъ вамъ совѣта: какъ вѣкогда, молвятъ, Фокейцы,

Давши великій зарокъ, всѣ уплыли на судахъ,

Нивы оставивъ и храмы и хижинъ прохладныя сѣни

На житіе кабанамъ, да кровожаднымъ волкамъ—

Такъ отправляться и намъ, куда ноги помчатъ, или куда насъ

Нотъ повесетъ по волнамъ, или же Африкѣ лихой...

Но поклянемся мы въ томъ: лишь тогда, когда камней громады

Съ дна на поверхность всплывутъ, не возбраненъ намъ возвратъ...

Въ цѣломъ рядѣ эффектныхъ варіацій проводится эта мысль—навсегда безо всякой надежды на возвращеніе оста-

вить обреченный на гибель городъ. Но куда идти?.. До сихъ поръ поэтъ выражался неопредѣленно— „куда умчать ноги, куда понесутъ вѣтры“—желая исподволь подготовить слушателей къ своему чудесному замыслу; теперь онъ обнаруживаетъ свое намѣреніе. Русскій читатель безъ труда признаетъ въ немъ популярный у насъ мотивъ: „тамъ за далью непогоды есть блаженная страна“—этотъ вѣчный мотивъ тоски и желанія.

Насъ кругосвѣтныи ждетъ океанъ; тамъ прибудемъ мы къ нивамъ

Благословеннымъ, найдемъ пышные тамъ острова,

Гдѣ возвращаетъ посѣвъ ежегодный безъ пахоты поле,

И безъ подчистки лоза все продолжаетъ цвѣсти,

Гдѣ никогда безъ плодовыхъ вѣтвей не бываетъ олива

И на родимомъ дичкѣ фигъ дозрѣваетъ краса.

Медъ тамъ течетъ изъ дупла дубоваго, тамъ съ горныхъ утесовъ

Легкій стремится потокъ тихо журчащей струей...

И такъ далѣе; все яснѣе и яснѣе вырисовывается передъ слушателями картина золотого вѣка. Золотой вѣкъ! Да, онъ сужденъ, по вѣщему слову Сивиллы, тому поколѣнію, которое вновь населить искупленную землю; но возможно ли увидѣть его уже теперь? Возможно; тѣ острова не испытали скверны—пусть только тѣ, кто собирается ихъ занять, будутъ чисты и стойки душой, подобно тѣмъ героямъ, которыхъ боги тамъ поселили.

Зевсъ берега тѣ назначилъ лишь благочестивому люду.

Въ день, какъ испортить рѣшилъ мѣдью онъ вѣкъ золотой;

Мѣдью, за ней и желѣзомъ вѣка закалилъ онъ; отъ нихъ-то,

Благочестивые, вамъ мною указанъ уходъ.

VIII.

Нашла ли пылая проповѣдь поэта отголосокъ въ сердцахъ его современниковъ? У насъ нѣтъ объ этомъ никакихъ извѣстій. Горацій былъ не единственнымъ солдатомъ Брута, вернувшимся въ Италію послѣ пораженія при Филиппахъ; не ему одному подвластная триумвирамъ Италія была мачихой. Но время не ждало; вскорѣ назрѣли другіе вопросы, другіе конфликты; сонъ о римской республикѣ быстро отошелъ въ прошлое.

Положеніе дѣлъ продолжало быть очень неустойчивымъ; триумвиры то соединялись для общихъ дѣйствій противъ Секста Помпея и его рабовъ-корсаровъ, то враждовали между собой; но во всѣхъ перипетіяхъ этой двойной борьбы выдѣлялась все ярче и ярче личность молодого Цезаря Октавіана. Своей умѣlostью, равно какъ и своей воздержностью и милосердіемъ онъ заставилъ римлянъ простить себѣ и участіе въ проскрипціяхъ 43 года, и жестокое дѣло мести за убитаго диктатора; о его планахъ ничего не было извѣстно, а ужъ если выбирать между нимъ и Антоніемъ или между нимъ и Секстомъ Помпеемъ, то выборъ для республиканца не могъ быть сомнительнымъ. Вскорѣ мы видимъ Горація въ его свитѣ, точнѣе говоря, въ кружкѣ его приближеннаго Мецената, къ которому его приобщилъ Вергилій. Побѣда надъ Секстомъ Помпеемъ въ 35 году открыла заморскому хлѣбу доступъ въ Италію; народъ вздохнулъ свободнѣе, самое тяжелое время могло считаться прожитымъ. Все съ большей и большей любовью останавливался взоръ на царственномъ юношѣ, съумѣвшемъ влить новую надежду въ сердца отчаявшихся римлянъ; быть можетъ, обновленіе вселенной состоится мирнымъ путемъ, безъ истребленія рода человѣческаго? Быть можетъ, молодой Цезарь окажется тѣмъ искупителемъ своего народа, которому суждено отвратить тяготящую надъ нимъ гибель? Дѣйствительно, общественное мнѣніе все болѣе склонялось къ этому взгляду на дѣло; когда вскорѣ послѣ побѣды надъ С. Помпеемъ начался окончательный разладъ между Цезаремъ и Антоніемъ и стала угрожать опасность новой гражданской войны, чувства Горація были уже другія. Онъ не требуетъ болѣе бѣгства изъ стѣнъ обреченнаго города, онъ желаетъ только, чтобы государственный корабль былъ спасенъ отъ надвигающейся грозной бури. „Недавно еще“, говоритъ онъ въ своемъ обращеніи къ этому кораблю съ явнымъ намекомъ на рассмотрѣнный въ предыдущей главѣ эподъ, „ты внушалъ мнѣ чувство безпокойнаго отвращенія; зато теперь ты мнѣ внушаешь одну лишь тоску, одну тяжелую заботу; о, не вѣрьяй себя полному утесовъ морю!“ (оды I, 14). Но и это воззваніе не достигло своей цѣли; корабль пошелъ на встрѣчу грозной бурѣ и, управляемый своимъ искуснымъ кормчимъ, благополучно ее поборолъ.

Въ этой новой войнѣ симпатія болѣе чѣмъ когда-либо были на сторонѣ Цезаря: Антоній, правитель Востока, не полагаясь на собственные силы, повелъ противъ своей родины иноземное, египетское войско. Битва была дана у Актійскаго мыса, украшеннаго храмомъ актійскаго Аполлона. Это обстоятельство еще болѣе увеличило всеобщее упоеніе. Аполлонъ, тотъ самый Аполлонъ, которому, согласно прорицанію Сивиллы, слѣдовало, какъ богу покровителю послѣдняго вѣка, обновить вселенную—онъ даровалъ побѣду Цезарю! Не ясно ли было, что онъ именно его назначилъ искупителемъ человѣчества? Другимъ и этого было мало. Время было страстное; велики были невзгоды пережитыхъ лѣтъ, велика и благодарность тому, кто счумѣлъ ихъ превозмочь. Обновитель-богъ, искупитель-человѣкъ... а что, если оба они были тождественны? А что, если богъ Аполлонъ принялъ на себя образъ человѣка, чтобы искупить грѣхъ и обновить міръ? И вотъ пронесся по вселенной радостный крикъ о совершившемся чудѣ... Это началось лѣтъ 20—30 до Рождества Христова.

Позволю себѣ по этому поводу маленькое отступленіе. Давно былъ замѣченъ разительный контрастъ между настроеніемъ обѣихъ лучшихъ эпохъ римской литературы—эпохой Цицерона, какъ ее принято называть, и вѣкомъ Августа. Тамъ вольнодумство, смѣлая пытливость мысли, не признающей предѣловъ себѣ и своей силѣ, все рѣшительно дѣлающей предметомъ своей работы—здѣсь какое-то смиренное преклоненіе передъ высшей волей, какая-то жажда воздвиженія пьедесталовъ и кумировъ, и особенно—неслыханный дотолѣ въ Римѣ, столь неприятно поражающій насъ апоѳеозъ человѣка. Было время, когда въ происшедшей перемѣнѣ винили почти исключительно честолюбіе Августа и раболѣпіе его свиты, включая туда и поэтовъ: онъ, дескать, пожелалъ быть царемъ, но видя, что это трудно, рѣшилъ сдѣлаться богомъ, что было гораздо легче. Нынѣ такое объясненіе одного изъ интереснѣйшихъ явленій всемірной исторіи уже невозможно; изученіе надписей доказало повсемѣстность того упоенія, результатомъ котораго былъ апоѳеозъ императора, а при слабой въ сущности администраціи римскаго государства—имѣвшей какой угодно характеръ, но только не полицейскій—такая повсемѣстность не можетъ быть

выведена изъ воли правителя. Нѣтъ, правителю ничего не оставалось, какъ регулировать движеніе, которое было создано не имъ; создано же было оно самимъ народомъ подъ вліяніемъ неслыханныхъ бѣдствій и неожиданнаго, прямо чудеснаго избавленія отъ нихъ. Предсказаніе Сивиллы играетъ во всемъ этомъ первенствующую роль; оно съ самаго начала придало всему происходящему религіозный характеръ, оно было виною тому, что и благодарность избавителю выразилась въ религіозной формѣ.

Что касается поэтовъ, то они шли не впереди движенія, а медленно и нехотя уступали ему. Стоитъ обратить вниманіе, какъ осторожно и туманно выражается Горацій въ той одѣ, которая является для насъ первымъ вздохомъ облегченія послѣ пережитыхъ невзгодъ—именно только вздохомъ облегченія, а не радостнымъ крикомъ освобожденія. Описавъ ужасы минувшихъ лѣтъ,—мы привели выше соотвѣтствующія строфы,—поэтъ продолжаетъ:

Какое божество молить? И кто поможетъ
Народу изъ всѣхъ въ превратностяхъ судьбы?
Какая пѣсня жрицъ заставитъ Весту можетъ
Дѣвичи внять мольбы?

Гдѣ очиститель намъ Юпитеромъ избранный?
Ты, наконецъ, приди, моленіемъ смягченъ,
Увиши рамена одеждою туманной.

Вѣщатель Аполлонъ!

Сойди, блестящая улыбкой Эрицина (т.-е. Венера);

Тебя Амуръ и Смѣхъ сопровождаютъ въ путь;

Иль удостой на чадъ возлюбленнаго сына (т.-е. Ромула)

Ты, праотецъ, взглянуть (т.-е. Марсъ)...

• Склонись, сынъ Ман (т.-е. Меркурій), стань съ проворными крылами
На образъ юноши земной перемѣнить:

Мы будемъ признавать, что избранъ ты богами

За Цезаря отмстить.

Надолго осчастливь избранный градъ Квирина;

Да не смутить тебя гражданъ его пороки!

И поздно ужъ отъ насъ подыметъ властелина

Летучій вѣтерокъ.

Тріумфы громкіе и славное прозванье

Владыки и отца принять не откажи,

И мида (т.-е. парянина) коннаго строптивое возстанье

Ты, Цезарь, накажи!

Аполлонъ приглашается лишь присутствовать при дѣлѣ искупленія—очевидно потому, что отъ него исходитъ объявленное его пророчицей Сивиллой вѣщее слово о предстоящемъ обновленіи вселенной; не даромъ онъ названъ „вѣщателемъ“ (augur). Венера и Марсъ приглашаются какъ богородоначальники—Венера, какъ мать Энея, Марсъ, какъ отецъ Ромула. Что касается императора, то онъ не отождествляется ни съ Аполлономъ, ни съ Марсомъ: лишь вскользь высказывается предположеніе, что онъ—Меркурій, принявшій на себя образъ юноши. Онъ сдѣлалъ это уже разъ, по приглашенію Зевса:

Тебѣ изъ боговъ наипаче пріятно
Съ сыномъ земли сообщаться: ты внемлешь кому пожелаетъ¹⁾,

чтобы безопасно проводить Пріама въ греческій станъ; тогда онъ предсталъ передъ нимъ

благородному юношѣ видомъ подобный,
Первой брадой опушенный, коего младость прелестна.

Но Меркурій не принадлежитъ къ великимъ богамъ; съ нимъ сыны земли общались скорѣе запросто—а у молодого императора былъ дѣйствительно прекрасный царственный станъ и благородный обликъ, дышавшій одухотворенной отвагой и силой. Последняя же строфа напоминаетъ императору объ условіи, подъ которымъ Римъ, повинувшись Сивиллѣ, признаетъ его своимъ владыкой,—о побѣдѣ надъ парянами, все еще не искупившими кровь Красса и легионовъ, все еще продолжающими угрожать едва окрѣпшему тѣлу римскаго государства.

Императоръ не отказывался отъ этой задачи, но откладывалъ ея исполненіе до болѣе удобнаго времени; а пока онъ, уступая теченію, старался извлечь возможную пользу изъ обаянія, которымъ побѣда надъ Антоніемъ у мыса Актійскаго Аполлона окружила его имя. Былъ основанъ храмъ въ честь этого бога на Палатинской горѣ, по сосѣдству съ дворцомъ самого императора; но и помимо того онъ всячески выставлялъ себя любимцемъ свѣтлаго бога, покровителя послѣдняго вѣка великаго года, предоставляя народу и, особенно, про-

¹⁾ Илиада (XXIV 334 сл. пер. Гвѣдича).

винціямъ, идти въ этомъ отношеніи много дальше его самого. Будучи фактически владыкою объединеннаго имъ римскаго государства, онъ долго не рѣшался остановиться на опредѣленной внѣшней формулѣ, которая бы выражала эту фактическую власть; колебался также между двумя возможностями, либо удерживать эту власть въ своихъ рукахъ, либо сдѣлать сенатъ правительствующимъ органомъ, передавъ ему часть своихъ полномочій. Годъ 27-й положилъ конецъ колебаніямъ. Императоръ призвалъ къ власти сенатъ, предоставляя, однако, себѣ самому наиболѣе значительную ея часть; взамѣнъ этого, онъ считалъ себя въ правѣ требовать отъ сената титула, который бы выражалъ внѣшнимъ образомъ его исключительное положеніе въ государствѣ. Пріятнѣе всего былъ бы ему титулъ Ромула; въ немъ заключалось бы ясное указаніе на начало новой эры для Рима, на исполненіе пророчанія Сивиллы. Но Ромулъ былъ царемъ, а царское имя продолжало внушать Риму непреодолимое отвращеніе; императоръ долженъ былъ, поэтому, отказаться отъ этой мысли и найти другой путь, ведущій къ той же цѣли. Какъ было сказано выше, началомъ римскаго государства считался религіозный обрядъ, посредствомъ котораго было испрошено благословеніе боговъ предстоящему акту основанія города. Этотъ обрядъ (*augurium*), какъ положившій начало городу, давно уже назывался „взростившимъ“ Римъ (*augurium augustum*, отъ *augere*). Вотъ этотъ-то эпитетъ императоръ и присвоилъ себѣ, какъ титулъ; называя себя *Augustus*, онъ давалъ понять, что его правленіе будетъ вторымъ основаніемъ нѣкогда оскверненнаго, нынѣ же искупленнаго города.

Оставалось торжественнымъ образомъ совершить актъ этого искупленія и второго основанія города; но тутъ мы касаемся самаго больного мѣста въ счастливой жизни императора Цезаря Августа.

IX.

У второго основателя римскаго государства не было сыновей; его бракъ со Скрибоніей, свояченицей Секста Помпея, заключенный по политическимъ расчетамъ, сдѣлалъ его от-

цомъ лишь одной дочери, легкомысленной Юліи. Братъевъ у него тоже не было; самымъ близкимъ ему лицомъ, послѣ его дочери, была его сестра Октавія, у которой былъ сынъ отъ перваго брака, молодой Марцеллъ. Этотъ его родной племянникъ былъ, такимъ образомъ, единственнымъ близкимъ ему по крови мужчиной; прекрасный собой, даровитый и скромный, онъ былъ естественнымъ наслѣдникомъ власти императора, который и отличалъ его всячески передъ его сверстниками. Все же въ жилахъ Марцелла текла не его кровь; благословеніе боговъ, дарованное Августу, не перешло бы на сына его сестры; продолжатель *династіи* Цезарей долженъ былъ происходить по крови отъ него. Августъ это сознавалъ; лишь только Марцеллъ достигъ требуемаго возраста, онъ женилъ его на своей родной дочери, Юліи. Теперь народъ съ нетерпѣливой надеждой взиралъ на этотъ бракъ Марцелла и Юліи; имѣющій родиться сынъ обоихъ, сынъ изъ крови Цезарей, истинный наслѣдникъ осѣняющаго Августа божіаго благословенія, будетъ несомнѣнно залогомъ благоденствія римскаго народа; со дня его рожденія потекутъ счастливые годы, съ этимъ днемъ будетъ всего естественнѣе связать и торжество искупленія и обновленія вселенной.

До сихъ поръ счастье сопутствовало Августу во всѣхъ его начинаніяхъ: казалось невозможнымъ, чтобы оно отказало ему въ исполненіи этого его пламеннаго желанія. Самъ Августъ не слагалъ съ себя консульства, желая въ этомъ самъ встрѣтить рожденіе своего внука. Народъ съ волненіемъ, да, но съ волненіемъ радостнымъ, ждалъ наступленія желаннаго дня, и Вергилій былъ только выразителемъ всеобщаго настроенія, когда онъ напутствовалъ молодую чету слѣдующимъ стихотвореніемъ, — стихотвореніемъ очень замѣчательнымъ, которому суждено было пріобрѣсть громкую, рѣдкостную славу. Оно стоитъ въ сборникѣ его „пастушескихъ стихотвореній“, подражаній сицилійскому поэту Теоокриту; согласно этому онъ во вступленіи обращается къ вдохновлявшей этого поэта музѣ:

Муза земли Сицилійской, внуши мнѣ иные напѣвы;
Всѣхъ не пѣвнишь мурава, да приземистый кустъ тамариска;
Ужъ если пѣть про лѣса—будь консула, пѣсня, достойна.
Вотъ ужъ послѣднее время настало Сивиллиной пѣсни,

Новое зижда начало великой вѣковъ вереницѣ;
 Вскорѣ вернется и Дѣва, вернется Сатурново царство,
 Вскорѣ съ небесныхъ высотъ снизойдетъ вожделѣнный младенецъ.

Ты лишь, роженецъ отрада, пречистая дѣва Діана,
 Тайной заботой легѣй намъ сулимаго рокомъ малютку;
 Онъ вѣдь положить конецъ ненавистному ябѣу желѣза,
 Онъ до предѣловъ вселенной намъ племя взроститъ золотое;
 Ты лишь легѣй его, дѣва: вѣдь Фебъ уже властвуетъ, братъ твой.

Да, и родится онъ въ Твой консулатъ, эта гордость столѣтъ,
 Года великаго дни съ Твоего потекутъ консулата!
 Ты, о, нашъ вождь, уничтожишь грѣха рокового остатки,
 Отдыхъ даруя землѣ отъ мученій гнетущаго страха.

Время придетъ—и небесная жизнь его приметъ, и узритъ
 Въ сонмѣ боговъ онъ героевъ и самъ приобщится ихъ лику,
 Миръ укрѣпляя вселенной, отцовскою доблестью давный.
 Время придетъ; а пока, прислужиться желая малюткѣ,
 Плющемъ ползучимъ земля и душистымъ покроется народомъ,
 Въ лотоса пышный уборъ и въ веселый аканѣвъ нарядится.
 Козочки сами домой понесутъ отягченное вымя,
 Станутъ на львовъ-исполиновъ безъ страха коровы дивиться;
 Сами собою цвѣты окружать колыбельку малютки;
Сгинетъ предательскій змѣй, ядовитое всякое зелье
 Сгинетъ; сирійскій амомъ обновленную землю покроетъ.

Годы текутъ; ужъ читася ты, отрокъ, про славу героевъ,
 Славу отца познаешь и великую доблести силу.
 Колосья межъ тѣмъ золотистый унылую степь украшаетъ,
 Сочная гроздь винограда средь терній колючихъ алѣетъ,
 Меда янтарнаго влага съ суроваго дуба стекаетъ.
 Правда, воскреснетъ и сонъ первобытной вины незабывѣй:
 Въ море помчится ладья; вокругъ города вырастутъ стѣны;
 Плугъ бороздой оскорбитъ благодатной кормилицы лоно;
 Новый корабль Аргонавтовъ, по новаго кормчаго мысли,
 Горсть храбрецовъ увезетъ; вотъ и новыя битвы настали.
 Новый Ахиллъ-богатырь противъ новой отправился Трои.

Пылкая юность пройдетъ; возмужалости время наступитъ.
 Броситъ торговецъ ладью, перестанетъ обмѣну товаровъ
 Судно служить; повсемѣстно сама ихъ земля производить.
 Почвы не рѣжетъ соха, уже не рѣжетъ лозы виноградарь;
 Снялъ ужъ и пахарь ярмо съ изстрадавшейся выи бычачьей;
 Мягкая шерсть позабыла облыжной обманывать краской:
 Нѣтъ, на лугу ужъ баранъ то пріятною блещетъ порфирой,
 То золотистымъ шафраномъ, то яркимъ огнемъ багряницы.

Столь благодатную пѣснь по несмѣнному рока рѣшенью,
 Нити судебъ вывода, затянули согласныя Парки.

Ты-жъ, когда время придетъ, многославный вѣнецъ свой пріеми,

Милый потомокъ боговъ, вседержавнымъ вѣспосланный Зевсомъ!
Видишь? Отъ тверди небесной до дна безпредѣльнаго моря
Сладкая дрожь пробѣжала по тѣлу великому міра;
Видишь? Природа ликуеть, грядущее счастье почуя.

О, еслибъ боги продлили мѣ жизнь и мой духъ охранили,
Чтобъ о дѣяньяхъ твоихъ могъ я пѣсню сложить для потомства!
Пѣсню бы той побѣдилъ я тогда и еракійца Орфея,
И сладкозвучнаго Лина, хотя-бъ вдохновляли ихъ боги
(Мать Калліопы—Орфея, а Лина—отецъ сребролюбій);
Даже и Панъ, предъ Аркадіи судъ мною вызванный смѣло—
Даже и Панъ предъ Аркадіи судомъ побѣжденный отступить.
Милый! Начни-жъ узнавать по улыбкѣ ликъ матери ясный;
Мало ли мать настрадалась въ томительный срокъ ожиданья!
Милый младенецъ, начни; кого мать не встрѣчала улыбкой,
Богъ съ тѣмъ стола не дѣлилъ, не дѣлила и ложа богиня.

Въ 25 году была отпразднована свадьба Марцелла и Юліи;
на 24 годъ ждали рожденія младенца. Тотчасъ бы по всему
подвластному Августу міру помчались гонцы приглашать народы
въ Римъ на великое, искупительное торжество, которое состоя-
лось бы въ слѣдующемъ 23 году. И Гораций предполагалъ укра-
сить это торжество своей поэзіей: ода I, 21

Діану—вѣжныя хвалите хоромъ дѣвы.

Хвалите, отроки, вы Цинтія съ мольбой, и т. д.

была, по всей вѣроятности, написана въ ожиданіи его. Такъ
велика была повсемѣстная увѣренность, что Фортуна не отка-
жетъ Цезарю въ этомъ новомъ драгоценномъ подаркѣ.

И все-таки она ему въ немъ отказала. Двадцать четвертый
годъ не принесъ наслѣдника императорскому дому; а слѣдующій
унесъ даже надежду на его появленіе. Марцеллъ занемогъ;
отправленный лѣчиться въ знаменитыя своими морскими ку-
паньями Бани, онъ тамъ и скончался въ одинъ изъ послѣд-
нихъ мѣсяцевъ того года, который долженъ былъ быть годомъ
искупительнаго торжества. Велико было горе, причиненное
смертью этого свѣтлаго, ласковаго юноши; Августъ, не оста-
влявшій надежды до послѣднихъ дней, отказался отъ званія
консула, въ которомъ онъ рассчитывалъ встрѣтить зарю золо-
того вѣка; Проперцій почтилъ элегіей смерть юноши и горе
его семьи (III, 18); но самый прекрасный памятникъ поста-
вилъ ему все тотъ же Вергілій. Эней навѣстилъ своего отца

Анхиса въ преисподней; тотъ показываетъ ему души тѣхъ, которымъ суждено съ теченіемъ времени украсить своими именами лѣтопись римской исторіи, души еще перожденныя, но уже чующія радость или горечь ожидающихъ ихъ судебъ. Среди прочихъ онъ показываетъ ему героя Аннибаловой войны, того Марцелла, который былъ прозванъ „мечемъ Рима“; рядомъ съ нимъ Эней замѣчаетъ юношу:

Весь красотой онъ сіяетъ и блескомъ сверкающихъ латъ, но
Грусть омрачаетъ чело и потушены ясныя очи.
„Кто, мой отецъ, этотъ спутникъ идущаго грознаго мужа?
„Сынъ ли его? Иль далекій великаго рода потомокъ?
„Какъ его шумно привѣтствуютъ всѣ! И какъ самъ онъ прекрасенъ!
„Жаль лишь, что грустною мглой его мрачная ночь осѣняетъ“.
Тутъ прослезился Анхисъ и въ печальной отвѣтствовалъ рѣчи:
„Сынъ мой, оставь подъ покровомъ твоихъ несказанное горе!
„Рокъ лишь *покажетъ* народамъ его, но гостить средь народовъ
„Долго не дастъ; черезмѣрныи, о, боги! знать, блескомъ державу
„Римскую онъ бы покрылъ, кабы долѣе жилъ между нами.
„Сколько, ахъ, жалобныхъ стоновъ подъ городомъ Марса великимъ
„Лугъ прибрежный услышитъ! и, свѣжій курганъ огибая,
„Сколь безконечную встрѣтишь, о Тибръ! ты печальную свиту!..
„Отрокъ злосчастный! О, если бы могъ ты жестокое рока
„Слово нарушить! *Ты будешь—Марцеллъ!* О, лилей бѣлой,
„Алою розой мнѣ дайте почтить омраченную душу
„Внука; услугой напрасной хоть сердца печаль облегчу я!“

Таковъ былъ исходъ тѣхъ свѣтлыхъ надеждъ, съ которыми тотъ же народъ два года назадъ отпраздновалъ веселую свадьбу Марцелла и Юліи.

X.

Марцелла не стало; но народъ продолжалъ жить, продолжалъ требовать, чтобы его правитель торжественнымъ искупительнымъ обрядомъ освободилъ его отъ „мученій гнетущаго страха“. Печаль императорскаго дома могла отсрочить исполненіе этого требованія, но не предать его забвенію.

Правда, если относиться къ дѣлу строго, то отсрочка была равносильна полному отказу отъ торжества. Оно должно было быть приурочено къ моменту истеченія десятаго вѣка и новаго начала „великой вереницы вѣковъ“, а назначеніе этого момента

зависѣло, понятно, не отъ воли правителя—послѣднему оставалось только уловить его, разсчитавъ его наступленіе по непреложнымъ хронологическимъ даннымъ. Но мы знаемъ уже, какъ растяжима хронологія суевѣрія; въ данномъ случаѣ не было опредѣленнаго начального года для счета вѣковъ, не было и несомнѣннаго опредѣленія того, что такое вѣкъ. Относительно этого послѣдняго существовали три теоріи: по однімъ, вѣкъ (*saeculum*) равнялся 110 годамъ, по другимъ—100 (это—принятое у насъ опредѣленіе), по третьимъ, вѣкъ кончался тогда, когда умиралъ послѣдній изъ жившихъ или родившихся въ день его начала людей, а такъ какъ знать это было невозможно, то боги разными чудесными знаменіями доводятъ объ этомъ до свѣдѣнія людей. Наблюденіе такихъ знаменій подало нѣкогда, въ первую пуническую войну, поводъ къ учрежденію „вѣковыхъ игръ“ (*ludi saeculares*). Память объ этомъ событіи была очень жива; она была связана, можно сказать, съ возникновеніемъ самой римской литературы.

Учрежденіе этихъ игръ состоялось по непосредственному внушенію Сивиллиныхъ книгъ. Въ Тарентѣ съ давнихъ поръ праздновались трехдневныя игры въ честь Аполлона-Гіакинѳа; это былъ умилоостивительный и искупительный праздникъ. Теперь, около 250 года до Р. Х., толкователи Сивиллиныхъ книгъ, усматривая во множествѣ тревожныхъ знаменій указаніе на приближающійся конецъ вѣка, рѣшили, что эти „тарентинскія игры“ должны быть перенесены въ Римъ и отпразднованы какъ „вѣковыя“, съ тѣмъ, чтобы повторяться къ концу каждаго вѣка, но не чаще. Для этого нужно было пригласить въ Римъ образованнаго тарентинца, который хорошо бы зналъ и обряды празднества, и латинскій языкъ, и сдѣлать его римскимъ гражданиномъ, чтобы онъ „умилостивилъ боговъ по иноземному обряду, но съ римской душою“. Удобнымъ для этого лицомъ оказался тарентинецъ Андроникъ; получивъ римское гражданство подъ именемъ М. Ливія Андроника, онъ научилъ своихъ новыхъ согражданъ обходить по всѣмъ правиламъ празднество „тарентинскихъ игръ“. Оставшись затѣмъ въ Римѣ, онъ перевелъ по-латыни Одиссею, насадилъ путемъ переводовъ или подражаній греческимъ образцамъ другіе роды поэзіи—все это было, разумѣется, очень грубо и аляповато, но вызвало соре-

нованіе, и въ результатѣ вышло, что нашъ тарентинецъ, вызванный въ Римъ ради „вѣковыхъ игръ“, сдѣлался родоначальникомъ римской литературы. Услужливая легенда тотчасъ явилась на помощь Сивиллѣ, вселяя въ римлянахъ убѣжденіе, что ихъ „вѣковыя игры“ были не нововведеніемъ, а лишь возобновленіемъ обряда, правившагося съ самаго начала существованія города къ концу каждаго „вѣка“.

Легко себѣ представить, съ какой готовностью Августъ взялся воскресить этотъ забытый обрядъ. „Тарентинскія игры“ имѣли всѣ требуемыя данныя для того, чтобы сдѣлать изъ нихъ то грандіозное искупительное торжество, котораго народъ требовалъ въ видахъ избавленія отъ кошмара угрожающаго свѣтопреставленія: онѣ сами по себѣ были искупительнымъ торжествомъ, онѣ были уже приурочены къ истеченію отдѣльныхъ вѣковъ Сивиллиной пѣсни, онѣ правились, наконецъ, въ честь того же Аполлона, который былъ покровителемъ и Августа, и истекающаго десятиаго вѣка. Оставалось опредѣлить въ точности годъ истеченія этого вѣка; толкователи Сивиллиныхъ книгъ, по неизвѣстнымъ намъ соображеніямъ, рѣшили, что таковымъ будетъ 23 годъ. На этотъ годъ игры и были назначены; очень вѣроятно, что Августъ потому поторопился свадьбу Марцелла и Юліи — жениху было всего 17, невестѣ всего 14 лѣтъ — чтобы, по развитымъ въ предыдущей главѣ соображеніямъ, приурочить вѣковыя игры ко времени рожденія ожидаемаго наслѣдника. Когда же эта послѣдняя надежда не оправдалась, когда вмѣсто обѣщанной народу радости послѣдовала болѣзнь и смерть императорскаго зятя, — мысль объ искупительномъ торжествѣ была оставлена.

Навсегда или только на время? На этотъ вопросъ трудно дать опредѣленный отвѣтъ; во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что черезъ нѣсколько лѣтъ о ней заговорили опять. Юлія, по истеченіи предписаннаго обычаемъ времени вдовства, была выдана императоромъ за энергичнаго М. Агриппу, которому она вскорѣ — въ 19 г. до Р. X. — родила сына; съ другой стороны, паронне безъ войны признали себя побѣжденными и выдали Августу орловъ Крассовыхъ легионовъ, такъ что и съ этой точки зрѣнія пророчество Сивиллы могло считаться исполвшимся. Непріятно, разумѣется, было то, что срокъ вѣковыхъ

игръ былъ, собственно говоря, пропущенъ; но этому горю можно было пособить. Квиндецимвиры, провѣривъ сложные (м. пр. и астрологическіе) расчеты, на основаніи которыхъ конецъ десятаго вѣка былъ приуроченъ къ 23 году, нашли въ нихъ ошибку; по исправленіи этой ошибки оказалось, что началомъ новой эры долженъ быть признанъ не 23, а 17 годъ. Къ этому году и стали готовить неслыханныя по своей пышности „вѣковыя игры“.

Объ этихъ играхъ мы имѣемъ довольно опредѣленное представленіе: о нихъ упоминаютъ не разъ позднѣйшіе авторы, къ тому же въ 1890 году, при регулировкѣ Тибра, были найдены официальные документы, сюда относящіеся—указъ императора квиндецимвирамъ и два постановленія—съ точнымъ описаніемъ ритуала. Вѣстники приглашали народъ къ участию въ торжествѣ, „котораго никто никогда еще не видѣлъ и никто никогда болѣе не увидитъ“; съ 31 мая до 3 іюня длились празднества, происходившія непрерывно днемъ и ночью, при чемъ чередовались жертвоприношенія различнымъ богамъ, драматическія представленія въ театрахъ, угощенія, процессіи подъ звуки торжественныхъ славословій, и т. д. Изъ боговъ особое почтеніе было оказано Землѣ и Паркамъ, что объясняется искупительнымъ характеромъ праздника: имъ принадлежалъ запятанный грѣхомъ родъ человѣческій, ихъ слѣдовало вознаградить за то, что онѣ милостиво отпустили его изъ-подъ своей власти; но кромѣ того были почтены боги-покровители римской державы, Юпитеръ съ Юноной, затѣмъ—покровитель истекающаго вѣка, Аполлонъ съ Діаной, и наконецъ—богини-заступницы роженіи. Можно себѣ представить, съ какой благодарностью помолился бы народъ этимъ богинямъ, если бы торжество состоялось въ 23 г. послѣ благополучнаго рожденія „вождевнаго младенца“!

Съ особымъ интересомъ прочли мы въ новонайденныхъ документахъ слова: „По окончаніи жертвоприношенія двадцать семь отроковъ, сыновья живыхъ отцовъ и матерей, и столько же дѣвъ исполнили кантату; кантату написалъ Кв. Горацій Флаккъ“. Эта кантата намъ сохранена; она издается въ собраніяхъ стихотвореній нашего поэта особо подъ заглавіемъ *saeculi saeculare*. Не будучи вполнѣ свободной отъ недостатковъ, обыкновенно присущихъ такимъ кантатамъ, эта пѣснь тѣмъ не менѣе

производить пріятное впечатлѣніе своимъ радостнымъ, праздничнымъ настроеніемъ. Имъ дышитъ уже первый привѣтъ — привѣтъ Солнцу:

Солнце-кормилецъ, что день съ колесницей намъ ясной
 Кажешь и прячешь, инымъ возрождаешь и тѣмъ же,
 Пусть ничего на пути ты не узришь могучѣй
 Города Рима!

Оно же царитъ и во всей остальной одѣ. Всѣмъ богамъ праздника воздана честь; съ народа сложена томящая обуза. Смѣлѣе смотреть участники торжества на встрѣчу грядущимъ временамъ:

„Боги!“ зываютъ они,

Боги! возвысьте въ понятливой юности нравы!
 Боги! вы старость святой тишиной окружите!
 Ромула внукамъ—потомства, богатства и славы
 Громкой пошлите!..
 Съ древней Стыдливостью, съ Миромъ и Правдой держаетъ
 Доблесть забытая вновь появляться межъ нами;
 Синова Довольство отрадное всѣмъ разсыпаетъ
 Рогъ свой съ дарами...

Это, хотя и въ болѣе сдержанныхъ выраженіяхъ, то же чаяніе приближающагося золотого вѣка, какъ и въ вышеприведенной эклогѣ Вергілія: возвращается Сатурново царство съ его довольствомъ, возвращается и дѣва-Правда со свитой своихъ ясныхъ сестеръ. Исполнилось ли это предсказаніе?.. Было бы странно и спрашивать объ этомъ. Дѣва-Правда осталась въ небесной лазури, гдѣ она пребываетъ и понынѣ; что же касается человѣчества, то хорошо было и то, что, благодаря радостному искупительному торжеству, оно надолго освободилось отъ того пугала, передъ которымъ оно трепетало до тѣхъ поръ—отъ перваго въ лѣтонисяхъ исторіи „свѣтопреставленія“.

ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ.

I.

Счастливы тотъ, кто, доживъ до преклонныхъ лѣтъ, угасаетъ тихой и безбольной „естественной“ смертью: его душа, состарившись вмѣстѣ съ тѣломъ, спокойно улетааетъ отъ міра живущихъ, она рада вкусить вѣчный покой на блѣдномъ лугу подземной обители. Но горе тому, кто въ цвѣтѣ лѣтъ, не утоливъ своей жажды жизни, палъ жертвой вражьиго кинжала или вражьей болѣзни; горе ему и — горе намъ, его одпосельчанамъ или сограждапамъ. Нѣтъ мира его душѣ: не хочется ей, сильной и здоровой, удалиться къ туманнымъ берегамъ Ахеронта, ее непреодолимо тянетъ къ намъ, къ той чашѣ жизни, отъ которой ее насильственно оттолкнули; она пребываетъ среди насъ, оскорбленная и озлобленная, завистливая и мстительная, и будетъ пребывать до тѣхъ поръ, пока не исполнитъ положеннаго ей рокомъ числа лѣтъ, или пока мы путемъ сильныхъ чаръ не заставимъ ее удалиться отъ насъ. Днемъ она, заключенная въ своей гробницѣ, тихо сторожитъ прахъ своего бывшаго тѣла; но пусть только Луна, царица тѣней, взойдетъ надъ опустѣвшими дорогами съ ихъ курганами и памятниками — и освобожденные души въ почномъ вѣтрѣ мчатся къ обители живыхъ. Собаки издали чуютъ ихъ приближеніе и даютъ знать о немъ злобѣющимъ воемъ; обыватели боязливо жмутся въ своихъ жилищахъ, боязливо хва-

таются за припасенный на всякій случай серебряный амулетъ „отъ всякаго повѣтрія и всякой напасти“. Теперь небезопасно выйти на улицу, небезопасно и произнести имя — свое или близкаго человѣка; окружающій воздухъ насыщенъ немилдой и неласковой „нечистой“ силой. Она и хочетъ, и можетъ вредить: лучше не возбуждать ея вниманія, показываясь ей или произнося имя, которое могло бы дать направленіе ея злой волѣ и злой мощи. Пусть себѣ тихо бродитъ въ ночной мглѣ, пока утренняя заря не загонитъ ее обратно туда, откуда она пришла.

Не бойтесь: другъ не произнесетъ вашего имени въ присутствіи нечистой силы, но — не произнесетъ ли его *враги*, именно съ тѣмъ, чтобы вамъ повредить? Опасность тутъ несомнѣнно есть, но небольшая: могутъ не услышать, могутъ не запомнить, — наконецъ, отъ слабой напасти и амулетъ спасетъ. Къ сожалѣнію, есть средства подѣйствительнѣе: знаютъ ихъ люди свѣдущіе, колдуны и колдуньи. Эти средства, очень разнообразныя, имѣютъ всѣ одну цѣль: подчинить нечистую силу волѣ человѣка, заставить ее дѣйствовать по его указаніямъ. Письмена сильнѣе словъ, формула закліятія сильнѣе вольной просьбы, металлъ сильнѣе лоскутка бумаги; изъ металловъ же наиболѣе родственныи умершимъ — свинецъ, этотъ мертвецъ среди металловъ, тѣмой, тяжелый и безжизненный (т.-е. не эластичный). А чтобы лихая молитва навѣрное была прочитана кѣмъ слѣдуетъ, ее нужно зарыть туда, гдѣ обыкновенно пребываетъ зловредная душа. Когда, въ правленіе Тиберія, благородный Германікъ умеръ отъ таинственной болѣзни, его друзья приписывали его смерть чарамъ его враговъ и въ числѣ доказательствъ приводили — какъ рассказываетъ Тацитъ — найденныя ими „зловѣщія формулы и закліятія съ именемъ Германіка, написанныя на свинцовыхъ пластинкахъ“. Не всегда, впрочемъ, закліятіе было направлено противъ жизни врага. Проснется человѣкъ съ какой-то непонятной тяжестью въ рукахъ или ногахъ, съ какой-то противной усталостью, разлитой по всему тѣлу, чувствуетъ, что у него память вышибло, языкъ заплетается, поджилки дрожать — а ему предстоитъ бѣгъ въ иншпудромъ, или свиданіе съ любимой женщиной, или рѣчь передъ судомъ. И вотъ для него ясно, что его

немошь — слѣдствіе прикосновенія „безвременно погибшаго“ (adros), котораго на него наслалъ его соперникъ или противникъ: ужъ навѣрное его имя стоять на свинцовой пластинкѣ, зарытой въ прахъ могилы или брошенной въ колодезь къ утопленнику...

II.

Такія свинцовыя пластинки въ количествѣ нѣсколькихъ сотенъ экземпляровъ сохранились и до нашихъ временъ, составляя прелюбопытный классъ эпиграфическихъ памятниковъ. Были они обнаруживаемы исподволь уже со среднихъ десятилѣтій истекшаго вѣка; но лишь за послѣдніе годы, благодаря главнымъ образомъ трудамъ нѣмецкихъ филологовъ Вюнша и Цибарта, составила достаточна богатая коллекція, дающая надлежащее представленіе объ указанной сторонѣ античной жизни. Большинство свинцовыхъ пластинокъ найдено въ Атикѣ, горы которой содержали довольно обильныя свинцовыя залежи; все же онѣ попадаются и въ другихъ мѣстностяхъ обширнаго района греческой культуры, между прочимъ, и въ южной Россіи. Найденныя здѣсь пластинки были изданы не такъ давно нашимъ приватъ-доцентомъ г. Придикомъ; современемъ онѣ войдутъ въ составъ богатаго сборника южно-русскихъ надписей, издаваемыхъ акад. В. В. Латышевымъ.

Интересна тутъ, прежде всего, внѣшняя сторона дѣла: символизмъ, столь умѣстный въ сношеніяхъ съ нечистой силой, даетъ себя знать и здѣсь. Желая своему врагу всякаго рода „превратностей“, проклиная оцѣн часто считалъ нужнымъ выразить эту идею особымъ „превратнымъ“ способомъ письма: онъ ставилъ буквы не слѣва направо, какъ писали тогда и какъ пишемъ мы понынѣ, а справа налево. Инымъ и это казалось еще недостаточно дѣйствительнымъ: нужно было, чтобы и цѣлыя строки читались не сверху внизъ, а снизу вверхъ. Но и эту тщательность можно было превзойти: особенно опытные въ чернокнижій люди писали буквы своего заклятія въ совершенно произвольномъ порядкѣ, такъ чтобы именно только нечистая сила и могла ихъ прочесть. Сдѣлавъ требуемую записъ, пластинку складывали или свертывали, на

подобіе тогдашнихъ писемъ, и затѣмъ пробивали однимъ или нѣсколькими мѣдными гвоздями: гвоздь—символь принужденія, почему и сама богиня принужденія у древнихъ, Ананка, изображалась съ гвоздями въ рукѣ. Готовое письмо отправляли туда, гдѣ жила душа злого покойника,—самымъ удобнымъ для этого временемъ считалось новолуніе — и ждали того, что будетъ далѣе.

III.

Но главное, разумѣется, не эти внѣшности, а самое содержаніе заклятій. Интересно оно первымъ дѣломъ, конечно, для исторіи суевѣрія, этого великаго, хотя и отрицательнаго фактора нашей культуры. Интересно оно, во-вторыхъ, и помимо того для исторіи нравовъ: не забудемъ, что суевѣріе гнѣздилося преимущественно въ бѣдныхъ и необразованныхъ классахъ населенія, т.-е. такихъ, которые почти не оставили сами другихъ непосредственныхъ памятниковъ своей жизни. Но едва ли не самой драгоценной стороной нашихъ заклятій является въ нашихъ глазахъ та близость аффекта, то дыханіе жизни, которое мы чувствуемъ, разбирая эти кривыя и ломанныя письмена, невѣжественно нацарапанныя невѣжественной рукой. Сатирикъ Персій гдѣ-то смѣется надъ молитвами, „которыя нельзя повѣрить богамъ иначе, какъ отведя ихъ въ сторону“; именно такого рода молитвы имѣемъ мы здѣсь,—молитвы, которыя молящійся ни за что бы не повѣрилъ постороннему человѣку, страстныя, часто преступныя желанія его оскорбленной или запуганной души.

Въ самомъ дѣлѣ, прошу прочесть хотя бы слѣдующій заговоръ: „Я связываю Θεодору и отдаю ее связанной той богинѣ, что у Персефоны (т.-е. Гекатѣ, владычицѣ привидѣній) и тѣмъ, что умерли безъ цѣли (т.-е. до брака): безъ цѣли (т.-е. успѣха) быть и ей, и всему, что она намѣрена сказать Каллію, и всему, что она намѣрена сказать Харію, и всѣмъ ей дѣламъ, словамъ и работамъ... Я связываю Θεодору: чтобы не имѣла успѣха у Харія, и чтобы забылъ Харій Θεодору, и чтобы забылъ Харій ребенка Θεодоры, и ложе, которое онъ

дѣлилъ съ Θεодорой. И какъ этотъ трупъ лежитъ безъ цѣли (т.-е. безъ сознанія или воли), такъ же безцѣльнымъ быть всѣмъ словамъ и дѣламъ Θεодоры... Я связываю Θεодору... и ложе, которое она дѣлила съ Харіемъ, чтобы забылъ объ ея ложѣ Харій, чтобы забылъ Харій и о ребенкѣ Θεодоры, въ которую онъ влюбленъ". Нужно ли объяснять весь этотъ грустный романъ, единственнымъ слѣдомъ котораго осталась исписанная рукой колдуньи свинцовая пластинка? „Ты хочешь жениться, Памфилъ“, читаемъ мы въ одномъ изъ самыхъ интересныхъ диалоговъ Лукіана „хочешь взять за себя дочь судовщика Фидона... гдѣ же твои клятвы, гдѣ же слезы, которыя ты проливалъ? Забылъ ты о своей Миртіи, забылъ какъ разъ теперь, когда у меня твой ребенокъ вотъ уже восьмой мѣсяцъ подъ сердцемъ“. То же самое, приблизительно, имѣемъ мы и здѣсь. Но Θεодора несогласна молча отказаться отъ своихъ правъ; она хочетъ переговорить съ молодымъ Харіемъ — онъ вѣдь ее любитъ, хочетъ переговорить и съ Калліемъ, его отцомъ; онъ долженъ понять, образумиться. Узнала объ этомъ намѣреніи невѣста, испугалась — видно, и ей полюбилися оболъстители Θεодоры. Тутъ человѣческой силой не поможешь; и вотъ она обращается къ колдунѣ, и онѣ рѣшаютъ „связать“ ненавистную соперницу. Заклятіе написано; но каково будетъ невѣстѣ въ темную, безлунную ночь отнести его къ могилѣ покойника?

А вотъ, наоборотъ, заговоры разлучницъ, желающихъ отвлечь мужей отъ ихъ законныхъ женъ: „Отдаю Гермесу подземному эретріянку Зоилу, жену Кабира, ея пищу, ея питье, ея ночи, ея улыбку...“ или: „Демоны и духи, обитающіе въ этомъ мѣстѣ, мужчинъ ли или женщинъ, заклинаю васъ священнымъ именемъ (слѣдуетъ страшный, но невразумительный наборъ буквъ). Дайте, чтобы Витрувій Феликсъ возненавидѣлъ Валерію Квадратиалу, чтобы онъ забылъ о ея любви: предайте ее жестокой карѣ за то, что она первая нарушила обѣтъ вѣрности, который она дала своему мужу Феликсу“. Этотъ послѣдній заговоръ на нѣсколько вѣковъ позднѣе того перваго; это видно не только изъ встрѣчающихся въ немъ римскихъ именъ, но изъ измѣнившагося характера самихъ заклинаній. Геката и Персефона отошли на задній планъ, ихъ смѣнили

неудобопроизносимыя для грека, но тѣмъ болѣе внушительныя „абрайскія“ (т.-е. еврейскія) имена.

IV.

Слѣдуетъ, однако, сознаться, что заговоры съ романтической подкладкой (среди которыхъ встрѣчаются и совершенно неудобопереводимые) составляютъ меньшинство. Вообще, если раздѣлить заговоры на категоріи, оставляя непонятныя для насъ въ сторонѣ, то придется выдѣлить, какъ самую численную и самую неутѣшительную категорію, тѣ пластинки, которыя даютъ только имя (или рядъ именъ), иногда съ глаголомъ „связываю“. Въ другихъ указывается въ самыхъ общихъ чертахъ на обиду, которую проклинаемые лица причинили пишущему: „Связываю Евриптолема и Ксенофонта, ихъ языки, ихъ слова, ихъ дѣла; все, что они замышляютъ и дѣлаютъ, да будетъ безуспѣшно! Милая Земля, наложи руку на Евриптолема и Ксенофонта, сдѣлай ихъ немощными и ихъ дѣланія безуспѣшными, паши чухотку на Евриптолема и Ксенофонта. Милая Земля, помоги мнѣ: будучи обиженъ Евриптолемомъ и Ксенофонтомъ, я связываю ихъ“. Земля призывается здѣсь, какъ владычица усопшихъ; кромѣ того, читателю навѣрное бросилась въ глаза, какъ особенность этихъ заклинаній, страсть ихъ авторовъ къ повтореніямъ: особенно часто повторяются имена собственные—чтобы нечистая сила ихъ хорошенько запомнила и не наслала, по недоразумѣнію, требуемыхъ бѣдъ на кого-нибудь другого. Но и мысли повторяются, при томъ въ почти тождественныхъ, лишь слегка измѣненныхъ словахъ (прошу сравнить заговоръ противъ Теодоры). Такое повтореніе въ древнемъ краснорѣчьи считалось непозволительнымъ; напротивъ, оно составляетъ характерный признакъ современнаго краснорѣчія: „repetitio“,—говаривалъ Наполеонъ—„единственная серьезная риторическая фигура“. Это сближеніе интересно; оно показываетъ, что современные рѣчи имѣютъ скорѣе характеръ заговоровъ, чѣмъ рѣчей... Но не будемъ отвлекаться...

Другая особенность состоитъ въ томъ, что связываются не только самыя лица, но и отдѣльныя части ихъ тѣла или души.

Правда, выбранные примѣры для этой особенности мало характерны; есть другіе, гораздо болѣе полныя, содержащія цѣлую анатомію. Связывается языкъ, руки, ноги, грудь и т. д., но чаще всего языкъ, какъ самая опасная и зловредная часть человѣческаго тѣла. Вредить можетъ онъ вездѣ и всегда, но болѣе всего — на *судѣ*; неудивительно, что довольно значительная часть заговоровъ имѣетъ непосредственное отношеніе къ судебному дѣлу. „Владыка чаръ“, читаемъ мы въ одной особенно безграмотной надписи, „я связываю Діокла, моего противника по суду, связываю языкъ и разумъ какъ его самого, такъ и всѣхъ его помощниковъ, связываю его рѣчь, связываю заготовленные имъ свидѣтельскія показанія, связываю все судебныя доказательства, которыя онъ собираетъ противъ меня. Наложу руку на него; чтобы все судебныя доказательства, которыя собираетъ противъ меня Діокль, были напрасны, чтобы помощники Діокла не принесли ему никакой пользы, чтобы Діокль былъ разбитъ мною во всѣхъ инстанціяхъ, чтобы Діокль нигдѣ ничего доказать не могъ“. Чего ожидалъ проклинаящій отъ нечистой силы? Мы это можемъ сказать довольно точно: чтобы Діокль, представъ передъ судьями, внезапно лишился способности произнести свою рѣчь, чтобы у него или языкъ оцѣпенѣлъ, или память вышибло... „Отъ волненія“ или „страха“ — сказали бы мы; но люди суевѣрные и то, и другое склонны были приписывать вліянію нечистой силы. Интересную иллюстрацію къ только-что сказанному даетъ разсказъ Цицерона объ одномъ казусѣ, приключившемся когда-то его коллегѣ по адвокатству, Куріону. „Однажды“, говоритъ онъ, „были мы противниками въ одномъ очень важномъ гражданскомъ процессѣ; я только-что кончилъ свою рѣчь за Титинію, ему предстояло говорить отъ имени Невія. Вдругъ оказалось, что у него все дѣло вылетѣло изъ памяти; это онъ приписалъ чарамъ и заговорамъ Титинія“. Цицеронъ, какъ человѣкъ просвѣщенный, объясняетъ этотъ казусъ не вмѣшательствомъ нечистой силы, а отвратительной памятью Куріона; все же заслуживаетъ вниманія, что Куріонъ, римскій сенаторъ, бывший консулъ и полководецъ, могъ быть въ то же время такимъ суевѣрнымъ человѣкомъ.

V.

Особнякомъ стоитъ рядъ заговоровъ, прочитанныхъ и изслѣдованныхъ лишь въ самое послѣднее время вышеназваннымъ филологомъ Вюннемъ. Принадлежать они послѣднему вѣку существованія Западной Имперіи, когда Римъ сталъ великой клоакой, куда стекались суевѣрія со всѣхъ концовъ цивилизованнаго міра. Умственная его жизнь была довольно слаба; предметомъ всеобщаго интереса были скачки въ ипподромѣ, героями дня были счастливые или искусные возницы и ихъ лошади. Всѣ политическія партіи ступевались передъ партіями цирка; кто побѣдитъ, „бѣлый“ или „красный“, „зеленый“ или „синій“?—вотъ каковъ былъ самый жгучій, самый томительный вопросъ. При такомъ положеніи дѣлъ было бы очень странно, если бы возницы, люди сугубо необразованные, не обратились бы за помощью и къ нечистой силѣ. Но греческіе и римскіе боги уже потеряли свою власть надъ нею; гораздо болѣе могущественной признавалась варварская, еврейско-египетская смѣсь, а въ ней — уродливый ослоголовый Тифонъ-Сетъ (или Снѣ). Къ нему-то и къ его свитѣ и обращались въ критическую минуту „...наложите руку на тѣхъ коней, что записаны на этой пластинкѣ, сдѣлайте ихъ безсильными, безногими, безпомощными, наложите руку на нихъ съ нынѣшняго же дня и часа, теперь, теперь, теперечко, скоро, скоро. Наложите руку на Артемія, сына Сапиды, и Евимія, сына Пасхасіи, и Евгенія, сына Венеріи, и Домнина, сына Фортупы (матери вмѣсто отцовъ по правилу: *mater semper certa, pater incertus*) съ нынѣшняго же часа, а съ ними и на коней зеленого, которые записаны на этой пластинкѣ, и т. д.“ Интересную параллель къ этимъ заклітіямъ представляетъ случай изъ жизни св. Иларіона, рассказанный бл. Іеронимомъ. Пришелъ къ нему однажды въ Газѣ возница и попросилъ дать ему средство противъ чаръ его конкуррента — а былъ этотъ конкуррентъ почитателемъ бога Марны. Св. Иларіонъ, послѣ нѣкотораго колебанія, согласился и далъ просителю святой воды, сила которой разрушила чары противника.

Христіанинъ побѣдилъ; тогда народъ убѣдился, что христіанскій Богъ сильнѣе Марии, и согласился принять христіанство.

Отмѣчу вкратцѣ, что заговоры возницъ представляютъ огромный интересъ и для исторіи религій — не только языческихъ, но и христіанской въ ея зачаточномъ періодѣ; но объ этомъ интересѣ здѣсь говорить не приходится.

VI.

...» И тотъ, кто вамъ спѣлъ эту пѣсню, — онъ самъ всю ту рухлядь перерылъ, и въ присутствіи найденныхъ памятниковъ съ гордостью почувствовалъ себя членомъ культурнаго общества“ — этими юмористическими словами заканчиваетъ нѣмецкій поэтъ Шеффель одно изъ своихъ забавныхъ палеонтологическихъ стихотвореній. Авторъ настоящаго очерка былъ бы очень радъ, если бы могъ примѣнить эти слова и къ себѣ. Нечистая сила, исчадіе мрака невѣжества, испаряющаяся и исчезающая подъ лучами солнца просвѣщенія — что за восхитительная картина! Соотвѣтствуетъ ли она только дѣйствительности? Я не говорю здѣсь о томъ, что очень многочисленный классъ людей и понынѣ одержимъ суевѣріемъ, — это вопросъ времени, и до пришествія антихриста еще далеко. Нѣтъ, оставимъ въ предѣлахъ нашего культурнаго общества. Вѣдь если бы оказалось, что нечистая сила вовсе не исчезла, а только переселилась изъ виѣшняго міра во внутренній — согласитесь, прогрессъ былъ бы невеликъ. Или если бы — мѣняя метафору — оказалось, что исчезла-то она исчезла, но не подъ вліяніемъ просвѣщенія и науки, а вслѣдствіе конкуренціи другой, еще болѣе нечистой, чѣмъ она сама, силы — то и тутъ утѣшительнаго было бы мало. Какъ же обстоятъ дѣла?

Конечно, влюбленная интеллигентка нашихъ дней не станетъ обращаться къ могучей Персефонѣ, поручая ей пицу и питье, румянецъ и улыбку своей соперницы. Равнымъ образомъ и мой противникъ-интеллигентъ не станетъ молиться подземному Гермесу, чтобы онъ связалъ мой языкъ и мое перо, мою память и мою сообразительность, чтобы мнѣ быть имъ разбиту передъ всякимъ слушателемъ и всякимъ читателемъ. Въ этомъ мы признали бы несомнѣнный прогрессъ, —

если бы въ томъ и другомъ случаѣ дѣйствовала любовь къ свѣту и правдѣ, отвращеніе къ кривымъ и темнымъ путямъ, къ коварству и подножкамъ; да такъ ли это? Вникнемъ въ дѣло глубже—и тотчасъ всплывутъ паружу побужденія и соображенія совершенно другого рода.

Въ самомъ дѣлѣ, на что нашей красавицѣ Персефона, когда къ ея услугамъ гораздо болѣе могучая и въ то же время болѣе податливая богиня—Сплетня? И на что моему противнику Гермесъ, когда къ его услугамъ страшные въ нашемъ оппортунистически настроенномъ обществѣ демоны — Доносъ, Подвохъ, Клевета и пр.? Нѣтъ, читатель, воля ваша; лучше темная ночь, чѣмъ пасмурный день; и лучше нечистая, чѣмъ—неопрятная сила.

АНТИЧНЫЙ МІРЪ ВЪ ПОЭЗИИ А. Н. МАЙКОВА.

I.

Есть два теченія въ рѣкахъ океана. Одно легко бросается въ глаза: это то, которое производятъ дующіе надъ поверхностью водъ вѣтры; его направленіе мѣняется съ каждымъ днемъ, рассчитывать на него невозможно, но считается съ нимъ тому, кто въ него попалъ, необходимо: оно то рябится чуткою зыбью, то вздымается бурными волнами, заливающими корабли и могущими потопить ихъ при малѣйшей неосторожности пловца. И удивительно ли если этотъ пловецъ, видя вздымающіеся валы, слыша громовые раскаты, съ которыми они набрасываются другъ на друга и на него, чувствуя опасность, которою они ему грозятъ,—если этотъ пловецъ воображаетъ, что въ немъ, въ этомъ верхнемъ теченіи и заключается все движеніе, вся жизнь моря? А между тѣмъ, незамѣтно для глаза подъ нимъ проходитъ другое, мѣрное и надежное теченіе; таково то, которое, начинаясь у раскаленныхъ береговъ мексиканскаго залива, вмѣстѣ съ его голубыми волнами уноситъ на сѣверъ и благодатную теплоту юга. И вотъ въ то время, какъ отъ бурныхъ волнъ того перваго теченія не останется и слѣда къ зарѣ завтрашняго дня,—благодаря этому второму побережью Шотландіи и Норвегіи покрываются несвойственною ихъ широтамъ зеленью, въ домахъ ихъ жителей ютится поразительная для столь дальняго сѣвера культура.

И, конечно, кто разъ постигъ этотъ фактъ, тотъ знаетъ въ чемъ состоитъ истинная жизнь океана и его рѣкъ.

Есть два теченія и въ той величавой рѣкѣ, которую мы называемъ всемірной исторіей. Одно — верхнее; это то, о которомъ говорятъ и пишутъ всѣ, въ которомъ желали бы участвовать всѣ; это оно, обуреваемое вѣтрами общественнаго мнѣнія, вздымаетъ партійныя страсти, заливая ими и порою топя министерства и престолы — зрѣлище грозное и внушительное, не спорю... хотя бы даже къ зарѣ слѣдующаго дня отъ него ничего не осталось, кромѣ ила и тины, выкинутыхъ на берегъ изъ глубины народной души. Второе теченіе шума не производитъ и поэтому мало обращаетъ на себя вниманіе людей; замѣтное лишь изслѣдователямъ, а не дѣятелямъ, оно тихо и надежно исполняетъ свою великую, міровую задачу, перенося живительную теплоту античнаго юга къ дальнимъ широтамъ современнаго сѣвернаго человѣчества. И вотъ, благодаря ему и наши края покрываются роскошною зеленью — не южною, разумѣется, а тою, которая способна вынести производимое нашимъ сѣвернымъ небомъ охлажденіе. Это послѣднее обстоятельство окончательно смущаетъ людей, заставляя ихъ сомнѣваться въ существованіи и дѣйствительности нашего второго теченія; въ самомъ дѣлѣ, тамъ цинія да кипарисы, у насъ ели да дубы — гдѣ же тутъ сходство, гдѣ воздѣйствіе? Они не понимаютъ того, что не будь постоянного воздѣйствія этого гольфстрѣма античности — то не дубы и ели, а мхи и лишай были бы показателями уровня современной культуры.

Но оно живетъ и дѣйствуетъ, это могучее подводное теченіе, согрѣвая противъ ихъ воли и тѣхъ, кто по незнанію его отрицаетъ, и тѣхъ, кто по недомыслию желалъ бы его остановить. Течетъ оно нѣсколькими руслами; одно изъ нихъ — *поэзія*. Да, лишь одно изъ нихъ, и даже не самое значительное. Виною этого внѣшняго условія, не давняго поэзіи сослужить въ этомъ отношеніи всю ту службу, на которую она способна и которой человѣчество въ правѣ отъ нея ожидать. Античность сильна идеями; поэзія — природная посредница между міромъ идей и человѣческими умами, гораздо болѣе богатая и по объему, и по силѣ своей власти, чѣмъ философія или исторія; по объему потому, что она можетъ передать не только то,

что ясно сознается, но и то, что смутно чувствуется душой, всё эти загадочные, неуловимые и неопредѣлимые, но могучіе „темные лучи“ идей; по силѣ же потому, что, выливаясь въ образы, а не въ понятія, она легче проникаетъ въ душу и глубже запечатлѣвается въ ней. Таковы свойства, дающія поэзии способность быть самымъ дѣйствительнымъ органомъ античности среди современнаго человѣчества; если она этою своею способностью еще не воспользовалась такъ, какъ могла бы, то виною этого, какъ я уже сказалъ, внѣшнія условія. *Поэтъ античности долженъ быть въ значительной степени и изслѣдователемъ*, при томъ изслѣдователемъ добросовѣстнымъ и терпѣливымъ: античность, подобно природѣ, „таинственная и въ ясный день“ не всякому „дастъ сорвать съ себя покрывало“.

Правда, въ то время, когда античныя идеи послѣ долгого забвенія впервые хлынули широкою струей въ общество новой Европы—въ эпоху перваго, *романскаго* возрожденія—онѣ были столь ясны, столь очевидны для всѣхъ, что даже поэту-неизслѣдователю можно было сдѣлаться ихъ пророкомъ, черпая ихъ изъ вторыхъ и третьихъ рукъ; таковъ былъ первый поэтъ античности, поэтъ полуроманской страны—Шекспиръ. Его чуткій впечатлительный умъ дозволилъ ему уловить сущность новыхъ идей и повѣдать о нихъ міру въ могучихъ, незабвенныхъ драмахъ—не только въ „Коріоланѣ“ и „Юліи Цезарѣ“, но еще въ большей степени въ „Гамлетѣ“ и „Макбетѣ“, этихъ двойникахъ древнихъ „Ореста“ и „Эдипа“. Не столь благоприятны были условія въ эпоху второго, *германскаго*, возрожденія: первый подповерхностный слой идей былъ уже исчерпанъ, а для того, чтобы захватить второй, болѣе глубокой, требовалась работа заступа: новый пророкъ античности долженъ былъ быть въ то же время и изслѣдователемъ. И тѣмъ и другимъ былъ Гёте, ставшій возвѣстителемъ античныхъ идей въ такъ называемую неогуманистическую эпоху, при томъ не столько въ „Ифигеніи“, сколько въ „Фаустѣ“, этомъ двойникѣ древняго „сверхчеловѣка“, Геракла или Ахилла. Результатомъ было то, что, какъ сказалъ нѣкогда Тэнъ: „отъ 1780 до 1830 г. Германія произвела всѣ идеи, которыми мы живемъ теперь, и въ продолженіе полустолѣтія—въ продолженіе столѣтія, быть можетъ, нашею великою задачей будетъ обдумывать ихъ вновь (notre

grande affaire sera de les repenser)*. Теперь первый изъ намѣченныхъ Тэномъ сроковъ истекъ, взоры людей обращены на востокъ: кто будетъ поэтомъ третьяго, *славянскаго* возрожденія?

Не былъ имъ, конечно, тотъ талантливый и симпатичный поэтъ, которому посвящается настоящій очеркъ. Говорю „симпатичный“; дѣйствительно, ничего кромѣ симпатіи не можетъ возбуждать его пѣсня, пока она сливалась съ журчаніемъ той мѣрной и постоянной струи и не пыталась спорить съ раскатами волнъ шумной современности. Пускай эта пѣсня была для немногихъ; зато эти немногіе были представителями многихъ, а въ нашъ вѣкъ представительства не слѣдовало бы относиться пренебрежительно къ такимъ парламентамъ интеллигенціи.

Изслѣдователемъ А. Н. Майковъ не былъ; таковымъ долженъ былъ быть, по его собственнымъ словамъ, „нѣмецъ, кропотунъ въ разборѣ всякой стари“; про себя же онъ не то скромно, не то гордо заявляетъ:

Довольствуюся я, какъ славянину прямой,
Идеей общео въ наукѣ Винкельмана;
Какое дѣло мнѣ до точности годовъ,
До вѣрности именъ!

Дѣйствительно, будь все дѣло только въ этомъ—мы смѣло предоставили бы педантамъ придираться къ тому, что нашъ поэтъ ошибается насчетъ числа ликторовъ и функций римскаго претора или невѣрно представляетъ себѣ время жизни Эпиктета. Но въ томъ-то и суть, что заступъ изслѣдователя прокладываетъ намъ дорогу къ цѣлому міру умственности: кто имъ брезгаетъ, тотъ принуждаетъ себя довольствоваться не столько общими, сколько поверхностными идеями. Я говорю это не въ укоръ Майкову, а въ предупрежденіе недоразумѣнія, чтобы его читатели не отождествляли достигнутаго имъ съ тѣмъ, что вообще достижимо на избранномъ имъ пути сочетанія славянскаго гения съ античностью; не къ тому, чтобы обезнадеживать возможныхъ его послѣдователей—„и толпа тебя, дескать, не пойметъ, и специалистамъ не угодитъ“, а чтобы вселить въ нихъ увѣренность, что ихъ поле обширно и обильно, что нигдѣ затраченный трудъ такъ не окунается, какъ тамъ.

Что же касается тѣхъ „общихъ идей“, которыми интересовался Майковъ не только въ „наукѣ Вингельмана“, то-есть въ археологiи, но и въ античности вообще, то онѣ сводятся къ двумъ—идеѣ *красоты* и идеѣ *разума*; выраженіемъ первой онъ считалъ Грецію, выраженіемъ второй — Римъ.

II.

Греція и красота—съ раннихъ поръ нашъ поэтъ пріучилъ себя считать родственными оба эти понятія:

Еще въ младенчествѣ любилъ блуждать мой взглядъ
По пыльнымъ мраморамъ потемненныхъ палатъ.
Тамъ, въ залѣ царственно, межъ пышными столбами
Увитыми кругомъ серебристыми листами,
Какъ часто я стоялъ и съ думой и безъ думъ,
Со строгой красотой дружа мой юный умъ.
Антики пыльные живыми мнѣ казались,
Какъ будто бы и мысль, и чувство въ нихъ скрывались.

Умѣніе и страсть оживлять антики и античность остались вѣрны ему и въ дальнѣйшей жизни; для этого у него было два могущественныя, не всякому данныя средства: онъ былъ и живописцемъ, и поэтомъ.

Что Майковъ былъ живописцемъ, видно изъ многихъ его стихотвореній по той охотѣ и умѣлости, съ которою онъ дополняетъ заимствованныя у древности картины и создаетъ въ подражаніе ей свои. Возьмемъ примѣръ мелкій, но характерный. „Кто тотъ стройный юноша“,—таково у Горація начало одного стихотворенія, — „который, увѣнчанный розами и надушенный благовоніями, страстно цѣлуетъ тебя, Пирра, въ прохладномъ гротѣ?“ Майкову понравилось это стихотвореніе и онъ его вольно перевелъ по-русски; но у него начало вышло такъ:

Скажи мнѣ, чей челнокъ къ скалѣ сей приплываетъ?
Кто этотъ юноша въ вѣнкѣ изъ алыхъ розъ,
Укрывъ свой чепъ въ кустахъ, взбѣгаетъ на утесъ
И въ гротѣ на скалѣ тебя онъ обнимаетъ?

Въ челнокѣ, кустахъ и скалѣ поэтъ не нуждался; ихъ прибавилъ живописецъ. Такъ поступаетъ онъ въ цѣломъ рядѣ

стихотвореній. Видно, онъ привыкъ зрѣніемъ воспринимать поэтическія представленія; ему важна картина, важенъ фонъ, на которомъ разыгрывается дѣйствіе, важна и живописная часть самаго дѣйствія. Такова сцена „у храма“: рѣзвыя дѣвушки—

летать въ перегонки,
Прямо съ горы и несутся, шалуньи!..
Розъ, молоко и вина молодого,
Меду несутъ и козленка молочнаго тащатъ.

Слава у нихъ, видно, не изъ лучшихъ; скромные юноши отъ нихъ прячутся, но напрасно; ихъ—

увидали!
Смотрять сюда исподлобья,
Шепчуть, другъ друга толкаютъ,
Щеки ихъ сдержаннымъ хохотомъ такъ и трепещутъ.

Но до крупныхъ шалостей дѣло не доходитъ; появляется жрецъ, съ которымъ онѣ „вступаютъ въ разговоръ“:

Старый смѣется и щуритъ глаза на открытыя плечи.
Правду сказать, у нихъ плечи какъ будто изъ воска,
Чудныя, полныя руки, и—что всего лучше—
Блескъ и движеніе, здравье и нѣга,
Грация съ силой во всѣхъ сочетались формахъ.

Такъ понималъ Майковъ греческую красоту, и за это спасибо ему. Благодаря этому пониманію онъ избѣгъ одной роковой ошибки, въ которую такъ легко попасть поэту-подражателю античности,—избѣгъ шаблонности. У него античность, насколько онъ ее уразумѣлъ и изобразилъ, живетъ и дышитъ; она у него все, что угодно, но только не скучна. Подчасъ эта жажда оживленія и сближенія заводитъ его довольно далеко. Рассказываются проказы аркадскаго сатира, проказы, какъ и слѣдовало ожидать, рискованныя: тутъ же присовокупляются и размышленія, на которыя этотъ рассказъ наводитъ... пріѣхавшаго погостить въ аркадскую деревню русскаго барина.

Другой разъ поэтъ—такъ я представляю себѣ дѣло—задался вопросомъ: какой бы получился эффектъ, если бы внезапно въ величественную античную обстановку перенести русскій танецъ казачекъ. И вотъ онъ изображаетъ римскаго претора, смотрящаго со своихъ носилокъ —

Какъ подъ гусли пляшетъ скипъ,
Выбивая дробь ногами.

Лихая пляска дѣйствуетъ заразительно на римскаго вельможу; „вижу я“, говоритъ ему поэтъ—

ты выбивать
Самъ готовъ бы дробь подъ стать,
Такъ и рвется духъ твой пылкій!
Покрывало теребя,
Ходятъ ноги у тебя,
И качаются носилки
На плечахъ рабовъ твоихъ,
Какъ корабль средь волнъ морскихъ.

Оставимъ, однако, эту шутовскую попытку сочетанія античнаго генія со славянскимъ, которая къ тому же отвлекла насъ отъ нашей главной темы—греческой красоты и отношенія къ ней нашего поэта. Мы установили живописный, такъ сказать, зрительный характеръ отраженія этой красоты въ умѣ Майкова. Такъ именно, а не иначе, понималъ онъ ее; но всю ли ее онъ понималъ? И если нѣтъ, то велика ли была та ея часть, которую онъ понималъ?

Въ тѣ годы, когда Майковъ дружилъ съ древностью—во время ли своихъ прогулокъ среди антиковъ „потемкинскихъ палатъ“, или позднѣе, странствуя по музеямъ и руинамъ „святой Италіи“—излюбленная имъ „наука Винкельмана“ сама еще не возвысилась до пониманія того идеала красоты, который былъ созданъ аттическими ваятелями V и IV вѣковъ. Восхищались работами или римской, или поздней греческой и наиболѣе близкой къ Риму эпохи, работами тоже прекрасными, но прекрасными въ другомъ, нѣсколько болѣе современномъ духѣ. Теченіе это охватило и Майкова. „Еще я слышу“, писалъ онъ послѣ посѣщенія Ватиканскаго музея —

воплъ и ревъ Лаокоона,
Въ ушахъ звенить стрѣла изъ лука Аполлона.
И лучезарный самъ, съ дрожащей тетивой,
Восторгомъ дышавшій, сіяетъ предо мной.

Цѣломудренная аттическая скульптура Фидія и Праксителя такъ и осталась неизвѣстною Майкову; она въ то время или

находилась еще подъ землей, или ютилась въ недоступныхъ ему музеяхъ. Согласно этому и красота греческой поэзии была ему тѣмъ доступнѣе, чѣмъ ближе она была къ Риму. Онъ охотно изображаетъ вакхическія сцены:

Тамъ тирсъ изломанный, тамъ чаша золотая...

Тамъ—таинственный „мракъ деревъ“, гдѣ—

Раскинувшись на мягкій бархатъ мховъ,
И грота темнаго, вакханка молодая
Поконся, къ рукѣ склонясь, позунагая...

Но это — вакхизмъ александрийскихъ барельефовъ, красивыхъ и сладострастныхъ, такъ и располагающій душу къ мечтательности и нѣгѣ, почти тотъ самый, который мы находимъ и у Батюшкова, и у Пушкина; это не тотъ демоническій вакхизмъ, которымъ дышатъ „Вакханки“ Еврипида, не тотъ стихійный, восторженный экстазъ, въ которомъ человѣкъ впервые почувствовалъ свое единство и съ природой, и съ божествомъ и безсмертіе своей божественной души. А между тѣмъ—это, пожалуй, и есть та почва, на которой произойдетъ сліяніе между греческимъ и славянскимъ духомъ; не даромъ полуславянинъ Фр. Ницше первый ее открылъ и возвѣстилъ о ней въ своей дивной, поистинѣ вакхической, книгѣ о „рожденіи трагедіи“.

Изъ древней греческой лирики особенно плѣнили Майкова тѣ двѣ звѣзды, которыя и Римлянамъ были наиболѣе понятны — Сафо и Анакреонъ. Онъ любилъ воспроизводить въ вольномъ подражаніи тѣ жалкіе остатки, которые время оставило намъ изъ поэзіи Сафо; таковы стихотворенія: „Я въ гротѣ ждалъ тебя въ урочный часъ“ (I, 14), „Зачѣмъ вѣнкомъ изъ листьевъ лавра“ (I, 53), „Звѣзда божественной Киприды“ (I, 54), „Онъ, юный полубогъ, и онъ — у ногъ твоихъ!“ (I, 382) и „Передъ жрицей Аполлона“ (III, 318), изъ коихъ послѣднее вставлено поэтомъ въ его трагедію „Два міра“¹⁾.

¹⁾ Подлинныя отрывки въ сборникѣ Бергка (Poetae lyrici Graeci ed. Bergk, изд. 4-е, 1882 г.) стоятъ въ т. III, стр. 107 (отр. 52), 112 (отр. 70), 132 (отр. 133), 88 (отр. 129) и 111 (отр. 68); въ болѣе удобной Anthologia

Что сказать объ этихъ подражаніяхъ? Сопоставимъ ихъ прежде всего съ оригиналами; послѣдній изъ только-что перечисленныхъ отрывковъ сохраненъ намъ въ слѣдующемъ видѣ (слова Сафо богатой соперницѣ): „Придетъ нѣкогда смерть, и ты будешь лежать, и не будетъ памяти о тебѣ ни тогда, ни послѣ: не даны тебѣ розы изъ шіерійской страны. Нѣтъ! неизвѣстною будешь ты блуждать и по обители Аида, носясь среди безсознательныхъ душъ“. Изъ этихъ словъ лезбійской стихотворицы, потерявшихъ, правда, въ прозаическомъ переводѣ большую долю своей прелести, нашъ поэтъ сложилъ слѣдующую пѣсенку:

Передъ жрицей Аполлона
Не гордися, не кичись
Красотой чела и лона,
Шелкомъ косъ и блескомъ ризъ.
Ты умрешь, и все въ мгновеніе
Съ красотой твоей умреть;
На землѣ твой слѣдъ забвенье
Словно вихорь замететь.
Въ адскихъ пропастяхъ бездонныхъ
Пропадешь средь темноты,
Въ сомнѣ душъ непросвѣтленныхъ
Вдохновеньемъ, какъ и ты!

Можно пожалѣть о томъ, что поэту не удалось удержать въ переводѣ картины *блужданія* по мрачной обители Аида, столь характернаго для тоскливо-безцѣльнаго существованія души въ загробномъ мірѣ отъ Гомера до Данте; къ „шелку“ косъ пусть придираются буквоѣды — мы признаемъ за поэтомъ полное право дѣлать такія уступки современности и благодарны ему за его починъ. Но главное не это, а глубокая вдумчивость, живительная любовь, съ которою поэтъ отнесся къ своему дѣлу, благодаря которой ему удалось дополнить обломокъ и возстановить мысль Сафо въ ея если не подлинной, то возможной цѣлости. Такова работа скульптора, реставратора:

Художникъ сложилъ во едино разбитые члены,
Трудясь съ любовью, какъ будто бы складывалъ вмѣстѣ
Руски драгоцѣнные писемъ отъ милой. безумно
Разорванныхъ въ гнѣбѣ...

Поэтъ уважалъ и любилъ ее, эту реставраторскую работу надъ остатками древности, и самъ въ ней участвовалъ, по-скольку могъ.

Къ Анакреону это, впрочемъ, не относится; правда, Майковъ возсоздалъ и одно анакреонтическое стихотвореніе („пусть гордится старый дѣдъ“), точнѣе говоря — анакреонтическую мысль, встрѣчающуюся въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ того сборника, который и онъ, подобно многимъ, считалъ принадлежащимъ теосскому пѣвцу; но такъ какъ это мнѣніе опровергнуто, то заниматься имъ нѣтъ надобности. Зато онъ его самого изобразилъ въ прелестной „Камеѣ“, вдохновляясь, полагаю я, скорѣе его знаменитой статуей въ Villa Borghese, чѣмъ его стихотвореніями: старый пѣвецъ окружаетъ себя роємъ красавицъ, покинувшихъ ради него своихъ молодыхъ поклонниковъ. „Чѣмъ имъ головы вскружилъ?“ недоумѣваютъ они.

А онъ намъ хоромъ пѣли,
Что любить мы не умѣли,
Какъ когда-то онъ любилъ.

Если къ этимъ двумъ свѣтиламъ греческой лирики прибавить еще двухъ мифическихъ героинь — Кассандру, тоже „жрицу Аполлона“, посвященная которой сцены онъ красиво и умѣло перевелъ изъ „Агамемнона“ Эсхила, и жрицу Венеры — Елену, появленіе которой въ Иліадѣ онъ воспроизвелъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи: „Сидѣли старцы Иліона“, — то заимствованные имъ изъ древней греческой поэзіи мотивы будутъ исчерпаны. И въ выборѣ ихъ, и въ ихъ пониманіи онъ руководился большею частью примѣромъ и симпатіей римскихъ подражателей греческой поэзіи, — Горація, Проперція, но особенно — *Овидія*.

Этотъ послѣдній былъ ему, помимо всего прочаго, вдвойнѣ интересенъ и несчастіемъ своего изгнанія, и тѣмъ, что, очутившись среди сарматовъ, онъ научился ихъ языку, написалъ на этомъ языкѣ поэму въ честь Августа и сдѣлался такимъ

образомъ (если правильно видѣть въ сарматахъ предковъ славянъ) первымъ славянскимъ поэтомъ. Несчастію Овидія нашъ поэтъ — подражая извѣстнымъ стихамъ Пушкина въ „Цыганахъ“ — посвятилъ стихотвореніе:

Одинъ я погребенъ пустыней снѣговой;
Здѣсь всѣмъ моихъ стиховъ гармонія чужда.
И некому надъ ней задуматься порою,
Ей пѣть ни въ чьей душѣ отзыва и слѣда,
Зачѣмъ же я пою?..

приписывая римскому элегику, безъ сомнѣнія, тѣ самыя думы, которыя и его волновали, какъ „поэта для немногихъ“.

Что же касается сближенія Овидія со славянскимъ міромъ, то Майковъ въ вольномъ подражаніи передалъ по-русски относящіеся сюда стихи изъ одного его „посланія съ Понта“:

Межъ скифовъ, въ ихъ пустынь,
Я самъ сталъ полу-скивъ. Повѣришь ли, я нынѣ
Ихъ дикимъ языкомъ владѣю какъ своимъ!
Я приучалъ его къ себѣ какъ звѣря. Имъ
Я властвую: въ ярмо онъ выю преклоняетъ,
Я правлю, и на Пиндѣ какъ вихорь онъ взлетаетъ.
Пойми меня, мой другъ! пойми, мой грубый стихъ
Не втуне ужъ звучитъ среди пустынь нагихъ,
А принять, повторенъ и понятъ человѣкомъ!
И скивы дикіе подобно древнимъ грекамъ (?)
Съ улыбкою зовутъ меня своимъ пѣвцомъ!
Поэму я сложилъ ихъ варварскимъ стихомъ,
Для нихъ впервые я воспѣлъ величье Рима
И все, съ чѣмъ мысль моя во вѣкъ неразлучима.

Это у нашего поэта уже второе и на этотъ разъ серьезное сопоставленіе античнаго духа со славянскимъ; въ третій разъ онъ осуществилъ эту идею въ стихотвореніи „Никогда“ (II, 131). Къ сожалѣнію, встрѣча изображена не мирная, и вотъ почему:

...у всѣхъ единый кликъ
Вырвался изъ груди:
„Никогда!“

заглушая произнесенныя въ началѣ братскія слова:

Вотъ тебѣ отъ насъ хлѣбъ-соли!
И принять ихъ просимъ
Такъ же честно, какъ тебѣ,
Царь, мы ихъ подносимъ.

А между тѣмъ эти слова остались бы въ силѣ, если бы славяне увидѣли у Рима въ рукахъ не символъ власти, а символъ красоты, той красоты, которую ему суждено было передать новому міру. Какъ хорошо нашъ поэтъ понималъ именно *эту* красоту—это мы видѣли; за нее онъ стоялъ, отъ нея не отрекался даже передъ тою силой, которая основала этотъ новый міръ. Когда мрачный аскетъ Савонарола приказываетъ предать пламени, въ качествѣ „лѣстивыхъ чаръ ада“, —

Все, что тѣшитъ рѣзвый свѣтъ
Приманкой нѣги и суеты...
И сладострастныя картины,
И бюсты фавновъ и сиренъ,
Литавры, арфы, мандолины
И ноты страстныхъ капителей —

поэтъ отказывается признать, что, поступая такъ, онъ понималъ Того, Чѣмъ именемъ онъ прикрывался.

„О, нѣтъ“, восклицаетъ онъ:

Скорбящихъ утѣшая,
Ты чистыхъ радостей не гнать...
И Магдалину возрождая,
Дѣтей на жизнь благословляя.
Доминиканца-жъ лишь суровый
Былъ чуждъ любви—и самъ онъ палъ
Безплодной жертвою...

Защита красоты и чистыхъ радостей, защита того, что, никому не принося вреда и обиды, способно наполнить собою чашу земной благодати—таково было призваніе нашего поэта, призваніе, въ которомъ его укрѣпляло созерцаніе античности. Аскеты возможны не на одной только религіозной почвѣ; имъ всѣмъ, поскольку они видятъ свою задачу въ распространеніи обезсиливающаго унынія, звучить его приговоръ: „безплодныя жертвы!“

III.

Не столь примирительно рѣшилъ Майковъ другое великое и роковое столкновеніе—между разумомъ, воплощеннымъ въ Римѣ, и христіанствомъ. Размышлялъ онъ о немъ въ теченіе

всей своей сознательной жизни — отъ начала сороковыхъ годовъ, когда были написаны первые наброски его лирической драмы „Три Смерти“, и до 1881 г., которымъ помѣчена послѣдняя, окончательная редакція его трагедіи „Два міра“.

Въ своемъ первоначальномъ замыслѣ обѣ поэмы составляютъ одно цѣлое не только по идеѣ, но и по фабулѣ. Ихъ фонъ — эпоха, когда произошло первое столкновеніе между античнымъ міромъ и зарождающимся христіанствомъ, эпоха Нерона. Заговоръ Пизона противъ императора обнаруженъ, среди приговоренныхъ къ казни жертвъ находятся и герои Майкова: философъ Сенека, поэтъ Луканъ и весельчакъ Люцій. Эти трое и должны, встрѣчая смерть, показать, какою силою надѣлила античная цивилизація своихъ адептовъ для того, чтобы достойнымъ образомъ оставить этотъ міръ.

Наиболѣе привязанъ къ жизни поэтъ:

Ужели съ даромъ пѣсень лира
Была случайно мнѣ дана?
Нѣтъ, въ ней была заключена
Одна изъ силъ разумныхъ міра!
Народовъ мысли — образъ дать,
Ихъ чувству — слово громовое,
Вселенной душу обнимать
И говорить за все живое —
Вотъ мой ульѣ!..

И что-жь? ужель
Вдругъ умереть? и это цѣль
Трудовъ, великихъ начинаній?

Радостно встрѣчаетъ онъ надежду на жизнь, явившуюся въ лицѣ ученика Сенеки; все готово къ побѣгу — стоить только осужденнымъ переодѣться. Но тотъ же ученикъ рассказываетъ ему о героической смерти отпущенницы Эпихариты, унесшей съ собою въ могилу тайну заговора, — и Луканъ останавливается. Нѣтъ!

Меня не стануть
Геройствомъ женщинъ упрекать.

Такъ то *честь* даетъ ему силу бодро встрѣтить смерть. Онъ прощается со своими недовершенными мечтами и умираетъ.

Какъ богъ
Средь пачатаго міроздавья.

Такова смерть поэта.

Иныя чувства руководятъ философомъ. Сознавая, что вся его жизнь была „наравоучительною школою“ для людей, онъ ни минуты не задумывается довершить ее новымъ, послѣднимъ урокомъ—смертью. Это для него даже не тяжело. „Жизнь хороша“, говоритъ онъ,—

когда мы въ мірѣ
Необходимое звено,
Со всѣмъ живущимъ за-одно;
Когда-жъ толпа, съ тобою розно
Себѣ воздвигнувъ божество,
Слѣдитъ съ какой-то злобой грозной
Движенья сердца твоего,
Когда указываютъ пальцемъ,
Тебя завидѣвъ далеко,
О, жить отверженнымъ скитальцемъ,
Друзья, повѣрьте, не легко.

Не легко, конечно, но возможно, если есть твердая вѣра въ себя, радостная надежда на будущее; у Сенеки же ни этой вѣры, ни этой надежды нѣтъ. „Творецъ мнѣ разумъ строгій далъ“, говоритъ онъ про себя; а разумъ обезоруживаетъ человека въ борьбѣ со слѣпою волей... Никогда правда въ борьбѣ не бываетъ вся на сторонѣ одного противника; допустимъ, что даже бѣльшая ея часть на сторонѣ разума, что разумъ сильнѣе правдой, чѣмъ воля, все же онъ будетъ побѣжденъ. Его слабость въ томъ, что онъ именно какъ *разумъ* видитъ и правду своей противницы, между тѣмъ какъ воля, слѣпая, вся полная собой и *своею* правдой, его правды не видитъ и наноситъ своему противнику неослабленные никакими сомнѣніями удары. Сенека—олицетворенный разумъ; какъ таковой, онъ самъ готовъ себѣ пораженіе:

Быть можетъ... истина не съ нами!
Нашъ умъ ее уже неиметъ,
И ослабѣвшими очами
Глядитъ назадъ, а не впередъ,

И свѣта истины не видитъ,
 И вопіетъ: „спасенія нѣтъ!“
 И, можетъ быть, иной прійдетъ
 И скажетъ людямъ: „вотъ гдѣ свѣтъ!“
 Нѣтъ! намъ пора.

Такую-то смерть готовитъ своимъ adeptамъ строгій и совершенный *разумъ*, смерть тихую, прекрасную, но безнадежно грустную. Произвела ли античность еще какой-нибудь видъ смерти, кромѣ той пышной—героя и этой грустной—мудреца? Да, есть еще одна: это—беззаботно-веселая смерть жуйра-эпикурейца; такъ идетъ умирать Люцій.

...На когѣвахъ дѣвы милой
 Я съ напряженной жизни силой
 Въ послѣдній разъ уплюсь душой
 Дыханьемъ травъ, и моремъ спящимъ,
 И солнцемъ въ волнахъ заходящимъ,
 И Пирры ясной красотой.
 Когда-жъ пресыщусь до избытка,
 Она смертельнаго напѣтка,
 Умилно улыбаясь мнѣ,
 Сама не зная, дастъ въ вивѣ,
 И я умру шутя...

Такова, пока, программа; ея исполненіе поэтъ оставилъ до другой части своей поэмы. Она появилась лишь черезъ много лѣтъ подъ заглавіемъ „Смерть Люція“, но, появившись, не удовлетворила своего творца. Онъ почувствовалъ, какая это была бы несправедливость въ отношеніи античности—предоставлять въ ней послѣднее слово сибариту, точно онъ вѣнецъ всего, что было создано ею; задуманная первоначально картина была измѣнена и расширена; забраковать „Смерть Люція“, поэтъ создалъ на ея мѣстѣ свою трагедію „Два міра“.

Какъ видно по заглавію, въ ней древнему міру, построенному на разумѣ, противопоставляется другой—тотъ самый, пророкомъ котораго былъ Сенека, когда онъ говорилъ:

И, можетъ быть, иной прійдетъ
 И скажетъ людямъ: „вотъ гдѣ свѣтъ!“

Въ длинномъ рядѣ сценъ обрисовывается новый міръ. Мы видимъ: таинственная *воля* возшла надъ человѣчествомъ, чу-

десно имъ руководя, помимо разума и даже наперекоръ ему. Тутъ всѣ униженные, всѣ скорбящіе: старецъ Іовъ, потерявшій свободу, дѣвочка Дидима, потерявшая зрѣніе, Мениппа, потерявшая сына, Камилла, потерявшая мужа, Павзаній, потерявшій душевную чистоту — всѣ они ищутъ и находятъ, всѣ они утѣшены своею незыблемою вѣрой, которая не допускаетъ ни сомнѣній, ни колебаній, такъ какъ она дочь не разума, а воли, дарованная *hominibus bonae voluntatis*. Тутъ мы окружены атмосферой чуда, въ которое всѣ вѣрятъ, такъ какъ всѣ его хотятъ; тутъ нѣтъ споровъ, такъ какъ всѣ души настроены одинаково: вмѣсто доказательства у нихъ дѣйствуетъ внушеніе, у избранныхъ же — видѣніе. Чѣмъ можетъ быть для такихъ людей смерть? Когда декретъ о ней объявляется имъ, они встрѣчаютъ его ликованіемъ:

И что же смерть христіанину?
Въ глазахъ у всѣхъ стоитъ Христосъ!
Скорбѣтъ о томъ ли, что покину
Обитель горечи и слезъ?..
Душа Имъ полная вѣдь знаетъ,
Что оболочка сихъ тѣлесъ
Ее едва лишь отдѣляетъ,
Какъ легкій завѣсъ, отъ небесъ!
Вдругъ этотъ завѣсъ упадетъ...

Такова смерть христіанина — онъ же гражданинъ новаго Рима, новаго міра.

Но старый Римъ еще живъ и сдаваться не намѣренъ. Правда, мы не сразу его находимъ. Масса фигуръ проходитъ предъ нами, но мы отказываемся признать въ нихъ представителей стараго Рима; жестокий самодуръ-дворецкій, безпутные юноши-жуиры, лицемерный верховный жрецъ, самодовольные адвокаты, блудливые старички, грязные циники — ужели они олицетворяютъ собой старый Римъ? Если же нѣтъ, то къ чему они, къ чему ихъ такъ много, что изъ-за нихъ свѣта не видно? Нѣтъ, это не характеристика, а клевета; и нельзя не сознаться, что нашъ поэтъ, желая избѣгнуть одной несправедливости, впалъ въ другую, гораздо болѣе тяжкую — тѣмъ болѣе, что она не возвышаетъ, а унижаетъ новый міръ.

Но эта ошибка — ошибка композиціи, не болѣе; поэтъ не

имѣлъ въ виду уронить Римъ, который онъ понималъ хорошо, въ которомъ для него сосредоточивалось все величіе, вся прелесть античности. Дѣйствительно, Греція, прекрасная классическая Греція,

Побѣдившая красою
Побѣдителя въ бою —

этой побѣдою исполнила то, чего отъ нея требовало человѣчество; только то, что отъ нея перенялъ побѣдитель, только это и было усвоено и понято Майковымъ. Ея самой онъ не зналъ; напротивъ, Римъ съ его руинами, съ его великими воспоминаніями былъ непосредственно извѣстенъ поэту и произвелъ на него то впечатлѣніе, котораго можно и должно было ожидать. Это было, прежде всего, впечатлѣніе сверхчеловѣческой силы, сверхчеловѣческаго величія.

Иные люди здѣсь, намъ кажется, прошли
И врѣзали свой слѣдъ нетлѣнный на земли,
Великіе въ бѣдахъ, и въ битвѣ, и въ сенатѣ,
Великіе въ добрѣ, великіе въ развратѣ.

Сроднившись душой путемъ созерцанія этихъ „нетлѣнныхъ слѣдовъ“ съ тѣми, которые нѣкогда оставили ихъ на освященной ими землѣ, Майковъ склоненъ былъ презрительно относиться къ критикѣ современной исторической школы.

Сыны печальные безцвѣтныхъ поколѣній,
Мы, сердцемъ мертвые, мы, нищіе душой,
Считаемъ баснею мы вѣкъ громадный твой
И школьныхъ риторъ созданіемъ твой геній!

Но вотъ его взоръ, блуждая по „развалинѣ печальной“ великой старины, обозрѣвая постепенно —

И храмы, и дворцы, поросшіе травой,
И плиты гладкія старинной мостовой,
И колесницъ слѣды подъ аркой триумфальной,
И въ лунномъ сумракѣ, съ гирляндой аркадъ,
Полуразбитыя громады Колизея..

останавливается мало-по-малу на этихъ послѣднихъ. Ударяясь объ эту скалу, потокъ мыслей разбивается, раздвоится: здѣсь —

точка соприкосновенія древняго и новаго міра. Древній міръ все тотъ же, только видъ его другой; подъ этимъ новымъ угломъ зрѣнія мы видимъ его уже не въ самомъ себѣ, а въ его отношеніи къ тѣмъ тысячамъ побѣжденныхъ и низверженныхъ, которые пролили свою кровь въ утѣху торжествующимъ побѣдителямъ на аренѣ этого самаго Колизея. Нѣтъ спора, и этотъ видъ великъ: свое пренебреженіе къ жизни побѣжденныхъ побѣдители искупаютъ и оправдываютъ такимъ же точно пренебреженіемъ къ своей собственной жизни:

Покуда молоды—плюща и винограду,
И бѣшенныхъ коней, и быстрыхъ колесницъ,
Позорищъ ужаса, и крови, и мученій!
А выпивъ весь фіалъ блаженствъ и наслажденій
Въ борьбѣ со смертію испробуй жизни силы,
И вокругъ созвавъ друзей, себѣ открывши жилы,
Учи вселенную, какъ должно умирать.

Такъ-то сверхчеловѣчность, достигши своихъ предѣловъ, превращается въ безчеловѣчность; поэтъ слышитъ голосъ, раздающійся изъ каменной громады Колизея:

Бросаются рабы у насъ на растерзанье.
Рабамъ смерть рабская! Собачья смерть рабамъ!
Что толка въ жизни ихъ, привыкнущихъ къ цѣлямъ?
Достойны ихъ они, достойны поруганья!

И этотъ голосъ вызываетъ неминуемый страстный протестъ,— протестъ новаго міра.

Теперь, работая надъ своей трагедіей, Майковъ вспомнилъ о впечатлѣніяхъ своей молодости, вспомнилъ о минутахъ, проведенныхъ на форумѣ и въ Колизеѣ; все, что тамъ открылось его душѣ, онъ собралъ и сплотилъ въ одинъ образъ — образъ представителя стараго Рима, аристократа *Деція*, которымъ онъ рѣшилъ замѣнить неудовлетворявшій его болѣе образъ эпикурейца *Люція* изъ „Трехъ Смертей“. Этотъ герой, по собственному признанію автора, долженъ былъ вмѣщать въ себѣ все, что древній міръ произвелъ великаго и прекраснаго; это долженъ былъ быть великій римскій патріотъ, могучій духомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ римлянинъ, уже воплотившій въ себѣ всю прелесть и все изящество греческой образованности. Какъ таковой, Деція прежде всего исполненъ вѣры въ величіе Рима:

Римъ все собою объединилъ,
 Какъ въ человѣкъ разумъ; міру
 Законы далъ и міръ скрѣпилъ.
 Находятъ временныя тучи,
 Но разумъ бодрствуетъ, могучій
 Не умираетъ духъ... —

исполненъ пренебреженія къ жизни тѣхъ тысячъ, которыя образуютъ фундаментъ этого величія.

...если есть душа вселенной,
 Есть божество—оно во мнѣ!
 И если, чтобъ ему исполнѣ
 Раскрыться, нужно непременно
 Чтобъ гибли тысячи тупыхъ
 Существъ, немыхъ, слѣпыхъ,
 Пусть гибнутъ! такова ихъ доля;
 Имъ даже счастье неволя.
 Лишь съ дня, когда онъ въ рабство впалъ,
 Для міра рабъ хоть нѣчто сталъ...—

исполненъ, наконецъ, пренебреженія къ своей собственной жизни. Не умѣя и не желая льстить Нерону, онъ получилъ отъ него приказаніе умертвить себя; онъ давно собирался это сдѣлать и самъ, ему обидно, что онъ „доставилъ Кесарю честь“ напомнить ему объ этомъ. „Нужна“, говоритъ онъ,

не сила воли намъ,
 Чтобъ жизнь порвать, а отвращенье,
 Да, отвращенье къ жизни!

Вѣрный той наукѣ, о которой рѣчь была выше— „въ борьбѣ со смертію испробуй жизни силы“ и т. д., онъ созвалъ друзей на пиръ и самъ пируетъ съ ними, поставивъ передъ собою для внушительнаго финала отравленную чашу.

Таковъ Децій, представитель стараго Рима. Правильно ли понималъ поэтъ Римъ, давая ему такого представителя? Отвѣчаемъ: да, этотъ прекрасный, гордый левъ былъ когда-то дѣйствительностью, былъ когда-то жителемъ Рима; но только онъ не Римъ, не весь Римъ и даже не лучшая его часть. Лучшая его часть—это тѣ носители воплотившейся въ Римѣ идеи „античной гуманности“, которые учили жить въ то время, когда гордые львы Децій учили умирать; это тѣ, благодаря

которымъ состоялось, въ концѣ концовъ, примиреніе обоихъ міровъ. Но объ этомъ скажу впоследствии нѣсколько словъ, теперь вернемся къ Децію.

И ему передъ самою смертью представляется надежда на спасеніе; ее приносить ему юная фаворитка Нерона, красавица Лезбія, пришедшая навѣстить его предсмертный пиръ. Но эта надежда не соблазняетъ Деція, и Лезбія покидаетъ его вмѣстѣ съ остальными гостями, оставляя его наединѣ съ его чашей яда. Тогда ему предлагается спасеніе другого рода: его приносятъ другъ и подруга, Марцеллъ и Лида, давно уже принявшіе христіанство, готовые теперь идти ради него на смерть и жаждущіе лишь одного — приобщить къ открывшейся имъ истинѣ и гордый духъ ихъ упорствующаго друга.

Здѣсь происходитъ столкновение. Мало-по-малу атмосфера чудесной воли приближается къ Децію, окружаетъ его со всѣхъ сторонъ въ лицѣ его христіанской челяди, идущей подъ звуки радостныхъ гимновъ принять желанную смерть. Но Децій остается непоколебимъ.

Нѣтъ!

Вѣдь въ томъ, что носитъ имя Рима,
Есть нѣчто высшее!.. Завѣтъ
Всего, что прожито вѣками!
Въ немъ мысль, вознесшая меня
И надъ людьми и надъ богами!
Въ немъ Прометеева огня
Неугасающее пламя!
Въ символъ побѣды это мной
Въ предѣлахъ вѣчности самой
На вѣкъ поставленное знамя,
Мой разумъ, предъ которымъ вся
Раскрыта тайна бытія!
И этотъ Римъ не уничтожить
Никто!

Таковъ символъ вѣры римлянина; тщетно ему возражаютъ друзья-христіане. Пускай разумъ уединяетъ человѣка, разлучаетъ то, что желала бы связать сестра вѣры — любовь, пускай Марцеллъ правъ, говоря, что

разумъ, значить, злая сила,
Когда, чтобъ въ высотѣ стоять,

Милліоны ближнихъ надо было
Ему себѣ въ подножье взять;

пускай права и Лида, съ ласковою настойчивостью твердящая
Децію, что

къ свѣту разъ открывъ пути,
Ты будешь знать одно желанье
Всѣмъ указать и всѣхъ спасти.

Децій не уступаетъ. Онъ перешагнулъ уже тѣ предѣлы,
внутри которыхъ ласковая воля насъ ублаживаетъ, а грозная
устрашаетъ; что можетъ дать ему новый міръ?

Мой судъ—я самъ! Все, чѣмъ мой разумъ
Могучъ и свѣтель, далъ мнѣ Римъ.

И мы благодарны поэту за то, что онъ не испортилъ трагического образа своего Деція трогательною, но въ существѣ своемъ лживою сценой обращенія. Кто бы ни былъ правъ въ великомъ столкновеніи—между *этими* представителями обоихъ міровъ примиреніе невозможно. Отвергнувъ утѣшенія друзей-христіанъ, Децій выпиваетъ чашу и умираетъ

на посту своемъ за Римъ,
За вѣчный Римъ!

А позднѣе — надъ могилой Деція примиреніе совершилось. Поэтъ его не касается; онъ заключаетъ свою трагедію смертью героя, оставляя открытымъ вопросъ о столкновеніи обоихъ міровъ. И, какъ поэтъ, онъ, разумѣется, правъ; но именно поэтому мы, его читатели, должны идти дальше его и не смѣшивать его приговора съ приговоромъ исторіи. Античность не была побѣждена христіанствомъ, какъ это превратно думаютъ многіе среди насъ; оба эти принципа, подчиняясь взаимно вліянію другъ друга, возродились и, приобщенные къ народамъ новой Европы, совместно произвели современную культуру. Прекрасно опредѣлилъ поэтъ сущность христіанскаго принципа въ словахъ:

Всѣмъ указать и всѣхъ спасти.

Въ этомъ завѣтѣ любящей воли сосредоточена сущность услуги, непосредственно, т.-е. независимо отъ надеждъ, возлагаемыхъ на загробную жизнь, оказанной христіанствомъ нашей культурѣ;

всѣ другія *идеи*, которыми эта культура живетъ, она получила въ наслѣдство отъ античности. Въ этой великой мастерской, въ которой распорядителемъ былъ Разумъ, были выработаны немногими для немногихъ всѣ драгоцѣнныя понятія, которыми мы гордимся теперь—и просвѣщеніе, и свобода, и нравственность, и красота, и любовь, и все, все остальное. Ни одной изъ этихъ драгоцѣнностей не отвергла новая властительница. водрузившая знамя креста надъ старою мастерской; но условіемъ своего одобренія она поставила свое: для всѣхъ; просвѣщеніе — да, но для всѣхъ; свобода, нравственность, остальное — да, но для всѣхъ! Встревожился Разумъ: „для всѣхъ?“ легко сказать; да хватитъ ли для всѣхъ? Но Вѣра—не отъ разума, а отъ воли; ласково, но властно сказала она намъ: „Работайте, чтобы хватило!“

ПАРЛАМЕНТАРИЗМЪ ВЪ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКѢ.

I.

„Совершенно напрасно воображаютъ, что парламентскій режимъ былъ изобрѣтенъ во всѣхъ своихъ частяхъ англійской націей въ сравнительно недавнюю эпоху; мы увидимъ, что онъ былъ въ силѣ уже у римлянъ, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. Такъ читаемъ мы въ появившейся не такъ давно книгѣ подъ заглавіемъ „La vie parlementaire à Rome sous la république“. Ея авторъ, Ж. Б. Миспуле (Mispoulet), хорошо извѣстенъ въ ученомъ мірѣ своими серьезными, отчасти даже капитальными изслѣдованіями въ области древне-римскаго—государственного и частнаго—права: находясь въ настоящее время, какъ секретарь-редакторъ французской палаты депутатовъ, въ близкихъ отношеніяхъ также и къ современному парламентаризму, онъ обладаетъ всѣми данными для того, чтобы не только со всей научной полнотой и добросовѣстностью изложить свою матерію, но и вдохнуть въ нее духъ живой дѣйствительности.

И въ самомъ дѣлѣ, передъ нами и ученая, и живая,—а, стало быть, полезная и интересная книга подъ выписаннымъ выше заглавіемъ. Она составляетъ двѣнадцатый выпускъ издаваемой извѣстной парижской фирмой Thorin et fils „Библіотеки исторіи права и государственныхъ учрежденій“; въ скоромъ времени должно появиться ея продолженіе подъ заглавіемъ „Парламентаризмъ въ римской имперіи“.

Само собою разумѣется, что такое преимущественно совре-

менное понятіе, какъ парламентаризмъ, можетъ быть примѣнено къ римской старинѣ только подъ условіемъ его растяжимости — полного соотвѣтствія не будетъ: оно и не требуется. Наличие характерныхъ общихъ чертъ здѣсь и тамъ вполне оправдываетъ выборъ слова и выборъ темы, доказывая правильность перваго и поучительность второй; эти общія черты мы и отмѣтимъ, слѣдуя указаніямъ автора, который ихъ выдвинулъ въ своей книгѣ вполне удовлетворительнымъ и исчерпывающимъ образомъ. А затѣмъ займемся и не менѣе поучительнымъ вопросомъ, почему парламентаризмъ въ полномъ, современномъ значеніи этого слова былъ въ древнемъ Римѣ невозможенъ.

II.

Органомъ парламентскаго режима былъ въ Римѣ, разумѣется, сенатъ, члены котораго, числомъ около 600, косвенно избирались народомъ и засѣдали обыкновенно подъ предсѣдательствомъ одного изъ обоихъ консуловъ. Правда, законодательныхъ полномочій эта корпорація, въ отличіе отъ современныхъ парламентовъ, не имѣла; но это различіе, важное въ государственно-правовомъ отношеніи, не имѣло вліянія на характеръ преній. Главное то, что мы находимъ въ Римѣ „представителей правительства, хотя и болѣе могущественныхъ, чѣмъ наши министры, но въ сущности поставленныхъ, подобно имъ, въ зависимость отъ собранія, избраннаго — косвенно — народомъ, съ волею котораго они постоянно должны считаться“. Это — по части идеи; по части же формы „читатель“, говоритъ тотъ же нашъ авторъ, „не замедлитъ убѣдиться, что парламентскіе обычаи совсѣмъ не измѣнились съ того времени и сумѣетъ безъ труда вставить современные имена въ тотъ или другой громкій инцидентъ, а также подмѣтитъ и то, что мы не совсѣмъ почтительно называемъ парламентской китайщиной“.

Желая представить своимъ читателямъ все это, авторъ раздѣлилъ свою книгу на три части; въ первой онъ разсказалъ общій ходъ развитія римской конституціи, вторая содержитъ теоретическій разборъ парламентской машины, третья — возстановленіе историческихъ засѣданій римскаго сената за то двадцатилѣтіе,

о которомъ сохранилось наиболѣе свѣдѣній, начиная дѣломъ Катилины (63 г. до Р. Х.) и кончая убійствомъ Цезаря (44 г.).

Нечего говорить, что эта третья часть представляетъ самый живой интересъ для современнаго читателя.

III.

Дѣйствительно, передъ нами развертывается очень пестрая и очень ясная картина.

Какъ во всякомъ парламентѣ, условіемъ страстности и, быть можетъ, плодотворности преній является наличность двухъ партій: одной — правительственной, другой — оппозиціонной. Называютъ онѣ себя *optimates* и *populares*. Первые, несомнѣнно, консерваторы, вторые, если угодно, либералы; слѣдуетъ, однако, помнить, что въ Римѣ, какъ и въ Англіи, консерваторъ не былъ реакціонеромъ и, равнымъ образомъ, либерализмъ не имѣлъ революціоннаго привкуса. Само собою разумѣется, затѣмъ, что кромѣ этихъ двухъ крупныхъ партій были „ультра“ въ томъ и другомъ направленіи, были среднія группы различныхъ оттѣнковъ, были, наконецъ, и такія, которыя объединялись не столько идеей, сколько личнымъ обаяніемъ или вліяніемъ своихъ руководителей.

Таковы элементы „парламентской жизни“ римскаго сената.

Что касается, затѣмъ, ея самой, то слѣдуетъ прежде всего признать, что парламентскихъ скандаловъ въ современномъ вкусѣ римскій сенатъ не зналъ. Даже появленіе такого предмета всеобщей ненависти, какъ Катилина, въ памятномъ засѣданіи 7 ноября 63 года скандала не вызвало. Произошла гораздо болѣе достойная и въ то же время гораздо болѣе внушительная демонстрація: сидѣвшіе по сосѣдству сенаторы покинули свои мѣста, оставляя заговорщика одинокимъ среди опустѣвшихъ скамеекъ. Но, при всемъ томъ, разнообразіе и страстность преній не заставляли желать ничего лучшаго.

Обыкновенно предсѣдатель-консулъ самъ излагалъ дѣло и затѣмъ, соблюдая порядокъ старшинства, предоставлялъ слово отдѣльнымъ сенаторамъ. Свобода и равенство были *de jure* полныя, но фактически только самые вліятельные или свѣдущіе сенаторы пользовались своимъ правомъ, да и тѣ выражались

кратко, такъ какъ до захода солнца должно было состояться голосованіе. Въ другихъ случаяхъ консулъ подвергалъ обсужденію докладъ какой-нибудь коммисіи; тогда слово предоставлялось первымъ дѣломъ ея главѣ. Дѣло осложнялось, когда при подачѣ мнѣній возникало рѣзкое разногласіе между двумя сенаторами; въ такихъ случаяхъ обычай разрѣшалъ непосредственный споръ между ними, въ которомъ парламентская свобода была доведена иногда до очень далекихъ предѣловъ. Равнымъ образомъ, и предсѣдатель могъ путемъ непосредственнаго обращенія къ тому или другому сенатору вызвать его на откровенность; вообще его права были очень значительны, особенно при голосованіи, порядокъ котораго онъ всецѣло держалъ въ своихъ рукахъ. Вотъ почему въ случаѣ конфликта между предсѣдателемъ-консуломъ и сенатомъ положеніе послѣдняго было довольно невыгодное, и ему оставалось только, если онъ желалъ настоять на своемъ, прибѣгнуть къ одному изъ обоихъ крайнихъ средствъ: или обратиться къ заступничеству трибуновъ, или заявить, что онъ не будетъ заниматься никакими другими дѣлами до тѣхъ поръ, пока его требованіе не будетъ уважено; первое является особенностью римской конституціи, второе же находитъ себѣ параллель въ „отказъ“ современныхъ парламентовъ, въ случаѣ столкновенія съ правительствомъ, „вотировать бюджетъ“. Еще болѣе пахнетъ современностью сцена, которую нашъ авторъ (стр. 282) описываетъ слѣдующимъ образомъ: „Очередь доходить до Клодія... Онъ пытается произвести обструкцію, сохраняя слово до конца засѣданія; но, по прошествіи трехъ часовъ, онъ долженъ былъ кончить, не будучи въ состояніи устоять противъ криковъ и враждебныхъ манифестацій собранія“.

IV.

Но, при всемъ томъ, римскій сенатъ не былъ парламентомъ въ современномъ смыслѣ этого слова: не былъ потому, что его члены не были депутатами. Депутаты избираются на опредѣленное время гражданами опредѣленнаго округа—т.-е., говоря точнѣе, той партіей, къ которой въ данномъ округѣ принадлежатъ большинство; ихъ обязанность — сообразоваться съ

желаніями и программой этой партіи. Римскіе сенаторы, напротивъ, въ теченіе всей своей жизни удерживаютъ тѣ полномочія, которыя были имъ вручены, хотя и косвенно, всѣмъ римскимъ народомъ.

Всѣмъ народомъ! Это гордое слово соотвѣтствовало дѣйствительности въ тѣ далекія времена римской исторіи, когда этотъ народъ жилъ на семи холмахъ или въ ближайшихъ ихъ окрестностяхъ; но чѣмъ шире распространялось римское гражданство, тѣмъ болѣе это соотвѣтствіе было нарушаемо. Особенно острый переломъ наступилъ къ началу перваго вѣка до Р. Х.: когда послѣ великой италійской войны все свободное населеніе Италіи до рѣки По получило римскія гражданскія права; тогда собиравшаяся на Марсовомъ полѣ толпа избирателей и количественно, и качественно перестала соотвѣтствовать „всему римскому народу“.

Тогда, казалось бы, и наступилъ удобный моментъ для пересмотра римской конституціи въ духѣ современнаго парламентаризма. Надлежало раздѣлить смѣнившую Римъ Италію на избирательные округа, съ тѣмъ, чтобы каждый отправлялъ въ Римъ, на опредѣленное время, по одному депутату; надлежало, затѣмъ, собранію этихъ депутатовъ предоставить законодательныя права, которыми до тѣхъ поръ пользовался „весь народъ“, а ради этого—или слить его, такъ или иначе, съ сенатомъ, или поставить рядомъ съ нимъ, въ качествѣ своего рода „палаты общинъ“.

Подобно Моммзену, и нашъ авторъ считаетъ такое представительство единственнымъ правильнымъ и спасительнымъ для Рима исходомъ и не падить упрековъ демократической партіи, что она этого исхода не нашла. „Организовать демократію“, продолжаетъ онъ (стр. 47), „согласовать ея режимъ съ принципомъ свободы—это и есть та задача, надъ которой мы трудимся вотъ уже цѣлое столѣтіе... Римская республика въ этомъ дѣлѣ не можетъ намъ служить примѣромъ; но она можетъ служить намъ урокомъ, указывая намъ на подводный камень, о который она разбилась: цезаризмъ“.

V.

Почему, однако, этотъ столь естественный для современнаго челоѣчества исходъ не былъ найденъ римской демократіей? И почему — что еще изумительнѣе — никому изъ тогдашнихъ дѣятелей не пришла въ голову даже возможность такого исхода, хотя бы въ формѣ предположенія, утопіи?.. Историкъ, обыкновенно, берется за столь же легкую, сколь и безплодную задачу, доказывая, что несовершившееся не совершилось потому, что оно совершиться не могло; все же бываютъ случаи, когда именно такого рода задачи раскрываютъ передъ нами интересныя стороны народной психологіи, и нашъ случай, кажется, одинъ изъ нихъ.

Вспомнимъ безызвѣстныя слова стараго англійскаго парламентарія: „изъ всѣхъ рѣчей, выслушанныхъ мною въ парламентѣ, очень немногія заставили меня измѣнить свое убѣжденіе и ни одна — своего голоса“. Не будемъ останавливаться на томъ, что въ упоминаемыхъ „очень немногихъ“ случаяхъ почтенный депутатъ, очевидно, подавалъ голосъ противъ своего убѣжденія; важно не это, а вообще та незначительная роль, которую играетъ вольная личная совѣсть челоѣка въ сравненіи съ наказной совѣстью — если можно такъ выразиться — депутата. Не трудно убѣдиться, что эта наказная совѣсть — необходимое условіе современнаго парламентаризма. Депутатъ — ставленникъ своей партіи; избирательный комитетъ поставилъ его кандидатуру, имѣя въ виду, конечно, его талантъ, его званія, его нравственную безупречность (все это — драгоцѣнное оружіе въ партійной борьбѣ), но прежде всего и главнымъ образомъ его благонадежность съ точки зрѣнія партіи, его стойкость, его непереубѣдимость. Отнынѣ его путь предначертанъ; программа партіи — это и есть та наказная совѣсть, которая въ парламентской жизни должна замѣнить его вольную, личную совѣсть. Цѣлый рядъ вопросовъ ею предрѣшенъ; что же касается остальныхъ, связь которыхъ съ партійной программой не сразу ясна, то его отношеніе къ нимъ будетъ ему предписано рѣшеніемъ фракціи. Послѣ этого пусть его противники изощряютъ сколько угодно свое краснорѣчіе на парламентской трибунѣ; *erit sicut cadaver*.

VI.

Вотъ это и есть то условіе, которое было невыполнимо для римлянина. Нѣтъ надобности вдаваться въ сравнительную оцѣнку античнаго и современнаго человѣка, ставить наивный вопросъ, который „лучше“; немыслимость для гражданина античной общины наказной совѣсти вытекаетъ изъ центрального свойства античной души — индивидуализма. Античность и индивидуализмъ — понятія родственныя; до того родственныя, что одна и та же эпоха новѣйшей исторіи — эпоха гуманизма — разсматривается одними, какъ эпоха возрожденія античности, другими, какъ эпоха пробужденія индивидуализма, при чемъ тѣ и другіе одинаково правы. Среди римскихъ сенаторовъ масса самыхъ разнообразныхъ характеровъ; есть сильные и слабые, благородные и низменные. Вотъ Стаіенъ, вотъ Бульбъ, вотъ Талья: эти господа съ большимъ удовольствіемъ продадутъ свой голосъ за золото или статую, за улыбку вельможи или за веселую ночь. Но, поступаая такъ, они сознаютъ, что проданное принадлежало имъ, и что по совершеніи акта продажи они безличныя, безчестныя люди — а если они этого не сознаютъ, то тѣмъ лучше это сознаютъ другіе. Считать же себя свободными, честными людьми, отдавая свою личную совѣсть въ кабалу партіи, кружку, на правленію — на это они совершенно неспособны.

И въ этомъ заключается главное различіе между древне-римской и современной парламентской жизнью. Все политическое краснорѣчіе древняго Рима имѣетъ своимъ предположеніемъ полную свободу выбора, полную переубѣдимость каждаго слушателя. Конечно, партія есть; но принадлежность сенатора къ партіи обусловливается его личнымъ убѣжденіемъ, или по крайней мѣрѣ его личнымъ желаніемъ, а не его зависимостью отъ своихъ избирателей. Неудивительно, что привыкшему къ современной парламентской жизни человѣку многія явленія той жизни кажутся непонятными. Вотъ, напримѣръ, сцена изъ засѣданія, посвященнаго вопросу о возвращеніи Цицерона изъ изгнанія. Весь сенатъ этого желалъ; но консуломъ былъ Метеллъ Непотъ, врагъ Цицерона, а безъ согласія консула дѣло состояться не могло. Тогда старшій сенаторъ, Сервилій Иза-

врийскій, обратился къ нему съ пламенной рѣчью; онъ заклиналъ его именемъ его предковъ, славныхъ въ римской исторіи Метелловъ, и умолялъ его не измѣнять традиціямъ своего рода. Непотъ былъ тронутъ до слезъ: отвѣчая Сервилию, онъ далъ формальное обѣщаніе не противиться возвращенію изгнанника. — Возможно ли такое быстрое, непосредственное обращеніе въ современномъ парламентѣ? Нѣтъ; и вотъ нашъ авторъ считаетъ его невозможнымъ, также и въ римскомъ сенатѣ. „Вѣроятно“, говоритъ онъ (стр. 277), „что консулъ только воспользовался этимъ случаемъ, чтобы нѣсколько театральнымъ образомъ сдѣлать извѣстнымъ свое заранѣе принятое рѣшеніе“. Увы! не одна только эта сцена — весь характеръ римскаго сенатскаго краснорѣчія остается непонятнымъ для того, кто на него смотритъ черезъ очки современнаго стойкаго и неперевѣждаемаго парламентарія.

VII.

Сравнительная оцѣнка современной и античной души, повторяю, не входитъ въ нашу задачу; очень возможно, что новѣйшее человѣчество съ его сильнымъ социальнымъ инстинктомъ сдѣлало больше, чѣмъ античное съ его развитымъ индивидуализмомъ. Но болѣе чѣмъ вѣроятно, съ другой стороны, что оно не устояло бы противъ крайностей, къ которымъ его влечетъ эта сила — противъ стадности, ремесленности, застоя — если бы не воспринятые имъ элементы античной культуры, уже много разъ содѣйствовавшіе пробужденію личной совѣсти и личнаго свободнаго творчества.

НОВЫЙ ПАМЯТНИКЪ ДРЕВНЕРИМСКАГО ВѢТА.

1.

Памятникъ, который мы имѣемъ въ виду, съ вѣшной стороны весьма неказистъ. Пусть читатель представитъ себѣ грудѣ „кругляшекъ“, чернаго или, по крайней мѣрѣ, темнаго цвѣта, величиною отъ мѣдной полушки до трехкопѣечной монеты, съ неровной, шероховатой поверхностью. Взявъ кругляшку въ руку, вы по вѣсу узнаете, что она свинцовая; всматриваясь пристальнѣе въ шероховатости ея поверхности, вы не безъ труда замѣчаете, что то, что вы по первому впечатлѣнію склонны были принять за случайныя поврежденія подѣ влияніемъ времени и дурного обращенія, на самомъ дѣлѣ является изображеніемъ. Вы различаете—гдѣ человѣческую голову, гдѣ всего человѣка, гдѣ животное, гдѣ дерево, гдѣ чашу, четверикъ, кресло, жертвенникъ, гдѣ нѣсколько буквъ. Да, въ вашихъ рукахъ „памятникъ искусства“; все же не торопитесь радоваться: искусство это довольно скромнаго и низкопробнаго характера — это вы замѣчаете уже по тѣмъ усиліямъ, которыхъ вамъ стоитъ опредѣленіе изображаемыхъ предметовъ. Вотъ — животное, о которомъ филологи вмѣстѣ съ зоологами будутъ спорить, къ какой породѣ млекопитающихъ его причислить: не то собака, не то кошка, не то мышь. Вотъ—человѣческая фигура; только мужская или женская, этого намъ уже не разобрать. Вотъ двѣ фигуры, другъ противъ друга; быть можетъ, божественная чета Диоскуровъ, а можетъ быть и

два дерущихся гладіатора. Вотъ — муха... если только это не простая буква. Вотъ — орелъ; на это толкованіе насъ наводитъ обратная сторона, представляющая, повидимому, Юпитера, а то мы могли бы его принять за пѣтуха. И такъ далѣе. Конечно, въ этой неопредѣленности виновато также и время, не пощадившее нашихъ скромныхъ памятниковъ, но далеко не оно одно: съ самаго начала это были, по всей видимости, издѣлія грубой ремесленной техники, рассчитанныя на массовый сбытъ среди невзыскательной публики.

При этой невразумительности и, какъ казалось, неинтересности изображеній, при малоцѣнности самого матеріала — свинца — понятно, что нумизматы, къ области которыхъ наши памятники естественно были отнесены, обращались съ ними довольно пренебрежительно. Съ точки зрѣнія коллекціонеровъ-любителей эти „пломбы“ были какъ бы придачей нумизматическихъ коллекцій, покупаемыя и сбываемыя за оптовую цѣну: не для нихъ заводили дорогіе футляры и витрины, гдѣ на суконной или бархатной подкладкѣ красуются статеры и тетрадрахмы, ауреі и динары; ихъ рѣдко каталогизировали, а если случалось, то нехотя и небрежно, какъ предметъ нестоющій вниманія. При всемъ томъ вопросъ о назначеніи загадочныхъ кругляшекъ ставился, но опять-таки ставился, если можно такъ выразиться, оптомъ; отвѣты получались поэтому несогласные, произвольные и неубѣдительные, и наука о древнемъ Римѣ сочла болѣе благоразумнымъ обходиться вовсе безъ помощи столь ненадежнаго источника. Такимъ образомъ памятники, о которыхъ идетъ рѣчь, сами по себѣ существовали уже давно и были извѣстны кое-кому въ ученомъ мірѣ; но памятниками древнеримскаго быта они не служили и служить не могли до тѣхъ поръ, пока ихъ отношеніе къ этому быту оставалось неопредѣленнымъ.

Рѣшить эту нелегкую задачу и этимъ обогатить науку о древнеримскомъ бытѣ новымъ источникомъ взялся нашъ молодой ученый, проф. М. И. Ростовцевъ. Приступая къ дѣлу не съ прехотливымъ подчасъ интересомъ любителя, а съ методической выдержкой свѣдущаго филолога, онъ понялъ, что при болѣе чѣмъ лаконической несловоохотливости каждаго памятника въ отдѣльности только ихъ масса можетъ дать отвѣтъ на постав-

ленный вопросъ; что ему, поэтому, необходимо собрать съ возможной полнотою всѣ относящіеся сюда матеріалы. Это-то онъ и имѣлъ въ виду въ своихъ заграничныхъ путешествіяхъ, предпринятыхъ имъ, впрочемъ, не съ одной этой, а съ общенаучной цѣлью. Завели они его далеко — не только во всѣ почти европейскія государства, но также и въ сѣверную Африку и Малую Азію, всюду, однимъ словомъ, гдѣ можно было разсчитывать найти болѣе или менѣе значительныя коллекціи нашихъ plombъ, въ общественныхъ ли музеяхъ или частныхъ рукахъ. Но недостаточно было изучить и каталогизировать ихъ на мѣстѣ: никакая опись не могла сохранить полнаго представленія, необходимаго, однако, при сравнительномъ анализѣ всей совокупности однородныхъ памятниковъ. Кое-что изслѣдователю удалось приобрѣсть въ свою собственность — антиквары, какъ уже было замѣчено, цѣнили этихъ пасынковъ нумизматики не особенно дорого — но понятно, что это было лишь незначительное меньшинство. Для прочихъ пришлось заказывать гипсовые слѣпки; лишь по ихъ полученіи г. Ростовцевъ могъ считать первую часть своей задачи — собраніе матеріаловъ — на первыхъ порахъ оконченной.

Но, разумѣется, это было лишь началомъ всего труда: собравъ памятники, надлежало въ нихъ разобраться, прочесть и классифицировать ихъ. Эти двѣ работы должны были идти параллельно: неполно или неправильно прочитанный памятникъ могъ быть прочитанъ лучше при помощи другого, тоже-стvenнаго, но лучше сохраненнаго, или же родственнаго. Человѣку, далеко стоящему отъ дѣла, не легко представить себѣ, сколько при этой двойной работѣ получается мелкихъ, но пріятныхъ и бодрящихъ успѣховъ. Возьмемъ самый обыкновенный случай: часть изображенія на plombъ разобрана, другая, вслѣдствіе чрезчуръ плохой сохранности, пѣтъ. Вдругъ найденъ другой экземпляръ, на которомъ, наоборотъ, сохраненная на первомъ часть изображенія пострадала, но зато остававшаяся тамъ неразгаданной виднѣлась вполне отчетливо — и вотъ при помощи этой находки рѣшеніе всей загадки найдено. Или другой случай: на одной plombъ изображеніе, рядомъ съ нимъ двѣ непонятныя буквы-иниціалы — очевидно, съ ними ничего не подѣлаешь. Но вотъ еще одна

пломба, съ такимъ же изображеніемъ, но буквъ нѣсколько больше — опять рѣшеніе найдено. Важно, однако, слѣдующее. На пломбахъ, конечно, двѣ стороны, съ различными изображениями на каждой: очевидно, оба они имѣли какое-нибудь отношеніе къ назначенію пломбы. Они, стало быть, „родственны“ между собою. Такъ, скажемъ, на пломбѣ № 1 имѣются изображенія *a* и *b*; но вотъ другая, № 2, на ней изображеніе *b* повторяется, но вмѣсто *a* она даетъ новое, *c* — и такъ всѣ уже три „родственных“ изображенія. Понятно, что эта игра можетъ продолжаться: на № 3 мы можемъ найти *a + d*, на № 4 *b + c* и т. д. А то и такъ: на № 5 можетъ оказаться изображеніе не тождественное, но все же схоже съ № 1 — та же фигура тамъ стоитъ, здѣсь сидитъ — не *a*, стало быть, а *a'*. И такъ далѣе въ томъ же родѣ. Въ результатѣ мы получимъ болѣе или менѣе замкнутый кругъ изображенія — другими словами, *однородную серію* памятниковъ съ достаточно большимъ числомъ изображеній и легендъ, чтобы отвѣтить на вопросъ о своемъ назначеніи. Дѣйствительно, эта счастливая мысль „выдѣленія однородныхъ серій“ была для г. Ростовцева той аriadниной нитью, которая вывела его изъ лабиринта. Онъ имѣлъ благоразуміе ставить вопросъ о назначеніи и смыслѣ не для всѣхъ пломбъ вмѣстѣ взятыхъ, а для каждой однородной ихъ серіи въ отдѣльности; благодаря этому рѣшеніе загадки было найдено, нѣмные до него памятники въ его рукахъ заговорили.

Что они ему рассказали — это я постараюсь пересказать читателямъ въ слѣдующихъ главахъ; здѣсь замѣчу еще, что онъ изложилъ результаты своихъ трудовъ въ трехъ одновременно выпущенныхъ книгахъ, а именно: 1) латинской описи всѣхъ ставшихъ ему извѣстными пломбъ подъ заглавіемъ: *Tesserarum urbis Romae et suburbi plumbeaeum sylloge* — всѣхъ ихъ 3.600 номеровъ не считая повтореній; 2) фототипическомъ атласѣ къ этой *sylloge*, въ которомъ на 12 таблицахъ воспроизведено около 800 пломбъ; наконецъ, 3) русскомъ изслѣдованіи подъ заглавіемъ: „Римскія свинцовыя тессеры“ (всѣ три въ С.-Петербургѣ въ 1903 г.). Какъ видитъ читатель, нашъ авторъ свои пломбы называетъ „тессерами“; этотъ не сразу вразумительный терминъ стоитъ въ связи съ тѣмъ отвѣтомъ, который онъ далъ на вопросъ о назначеніи нашихъ

памятниковъ: подобно этому назначенію, и самый терминъ будетъ объясненъ въ дальнѣйшемъ).

2.

„*Panem et circenses*“—таковы были, по словамъ римскаго сатирика, объ оси, вокругъ которыхъ вращались всѣ колеса мыслей и чувствъ обыкновеннаго римскаго гражданина... и его ли одного? Другой сатирикъ, писавшій сатиру уже не на одинъ только Римъ, а на человѣчество и даже міръ,—Шопенгауеръ,—видѣлъ въ этихъ двухъ словахъ символъ всей жизни человѣка, поочередно бичуемаго обоими врагами своего существованія, нуждой и скукой. Вернемся, однако, къ Риму. Отвѣтъ на первое, самое насущное требованіе послѣдовать уже къ концу второго вѣка до Р. Х. въ формѣ, поражающей насъ на первый взглядъ, а именно, что всякій римскій гражданинъ, какъ таковой, имѣетъ право на извѣстный минимумъ хлѣба; доставлять ему таковой обязана была казна, т.-е., другими словами, провинціалы, такъ какъ поборами съ нихъ пополнялась казна. Стали появляться одинъ за другимъ такъ называемые *фрументарные* законы, имѣвшіе цѣлью регулировать то, что позднѣе стали называть *фрументациями*, т.-е. обезпеченіе хлѣбомъ римской городской толпы. Не намъ осуждать это скороспѣлое рѣшеніе социальнаго вопроса: его осудила исторія, свидѣтельствующая о вредномъ вліяніи вскормленнаго и развращеннаго даровымъ хлѣбомъ городского пролетаріата на римскую жизнь послѣднихъ временъ республики; ея наслѣдіе досталось принципату, а съ нимъ и вопросъ, что дѣлать съ привыкшей къ государственной помощи столичной толпой. Отвѣтъ вышелъ ни особенно героическій, ни особенно гуманный, но умный и ласковый, какъ и все, что выходило изъ рукъ Августа: было рѣшено, что государственную помощь по части пропитанія будутъ получать не римскіе граждане вообще, а наиболѣе бѣдные среди нихъ, число которыхъ достигало, впрочемъ, почтенной цифры 200.000. Это были знаменитые *отныгъ аере incisi*, счастливые обладатели пенсіоннаго билета—по-римски „фрументарной тессеры“—обезпечивающаго имъ право на полученіе извѣстной мѣрки зерна въ мѣсяцъ,

билета, который они, впрочемъ, имѣли право не только заѣщать, но и продать. Несмотря на эту послѣднюю льготу, подрывающую практическую цѣлесообразность нововведенія, но послѣдовательно вытекающую изъ либеральнаго характера римскихъ политико-экономическихъ институтовъ — можно будетъ сказать, что съ императорской реформой фрументаций элементъ благотворительности былъ введенъ въ государственную администрацію; отсюда былъ только одинъ шагъ до того разумнаго и гуманнаго принципа, который впервые провозгласила христіанская община и далѣе котораго и современная культурная жизнь не пошла — принципа: „трудоспособному — трудъ, нетрудоспособному — подаваніе“ (*τεχνίτη ἔργον, ἄδραναι ἔλεος*), какъ гласитъ одно, очень замѣчательное мѣсто въ восьмомъ изъ приписываемыхъ Клименту Римскому посланій.

Все это было, разумѣется, извѣстно и раньше; не была извѣстна детальная организація этого дѣла, и вотъ ее-то выяснили скромные памятники г. Ростовцева. Представимъ себѣ прежде всего эпоху Августа или Тиберія. Нашъ пенсіонеръ желаетъ получить свою ежемѣсячную порцію; получить онъ ее въ опредѣленномъ мѣстѣ города, но какъ? Нужно передать заведующему чиновнику какой-нибудь документъ взаменъ получаемой порціи — не можетъ же онъ, по предъявляемымъ для удостовѣренія свидѣтельствамъ, записывать имя, родъ и трибу каждого, въ то время какъ тысячи другихъ ждутъ очереди! И вотъ пенсіонеръ отправляется предварительно — по нашему, къ участковому приставу, а по-римски — къ викомагистру (или амъ); тамъ онъ получаетъ мѣдную монету, носящую на лицевой сторонѣ изображеніе головы императора, а на оборотѣ — цифру (отъ I до XIX) въ лавровомъ вѣнкѣ. И то и другое подобрано съ умысломъ: голова императора говоритъ нашему пролетарію, что то, чтó онъ имѣетъ получить, есть подарокъ ему отъ императора — пусть онъ знаетъ, что онъ на иждивеніи у главы государства, это сознаніе поведетъ къ укрѣпленію его вѣрноподданническихъ чувствъ, а стало быть, и къ упроченію монархіи и специально правящей династіи. Что касается цифры, то ея значеніе, если не считать лавроваго вѣнка, менѣе идеологическое: это просто номеръ того магазина, гдѣ будетъ производиться раздача. Понятно, что при значительномъ коли-

честіѣ пенсіонеровъ — вспомнимъ, что ихъ было 200.000 — одного магазина было мало: въроятіѣ всего, ихъ было одно время 20, по одному на каждыя 10.000. Разумѣется, былъ возможенъ и другой способъ: прикрѣпить каждаго обитателя данной части заранѣе къ данному магазину и выдать ему марки за годъ впередъ, по одной на каждый мѣсяцъ; тогда на оборотѣ вмѣсто ненужной цифры придется изобразить имя каждаго мѣсяца... Нѣтъ, не имя, какъ это принято у насъ, а соотвѣтственно болѣе конкретному мышленію античнаго человека, символъ, т.-е. знаки зодіака, соотвѣтствующіе отдѣльнымъ мѣсяцамъ. При широкой популярности астрологін, эти знаки были извѣстны всѣмъ грамотнымъ людямъ: разъ на оборотѣ знакъ Рыбъ — ясно, что это февральская марка. — Перенесемся въ правленіе Нерона: продовольственное дѣло централизовано, каждому пенсіонеру приходится ежемесячно въ опредѣленный день отправляться въ хлѣбную биржу (т. наз. *porticus Minucia*), но въ прочемъ перемѣнъ не произошло: только марки въ участкѣ выдаются уже не бронзовыя, а ради дешевизны свинцовыя: видно, императоръ уже не такъ интересуется хлѣбнымъ дѣломъ. — Спустимся еще на полъ-столѣтія ниже: та же хлѣбная биржа, тѣ же свинцовыя марки, но только головы императора на нихъ уже нѣтъ. Дѣло сдѣлано, ученіе принесло свои плоды; пролетаріатъ настолько свылся съ мыслью, что его кормилецъ — императоръ, что уже нѣтъ надобности постоянно ему о ней напоминать; скорѣе могло показаться профанаціей отливать голову императора на такой презрѣнной вещи, какъ свинцовая кругляшка. Ее замѣнили другія эмблемы, довольно интересныя: то колосья или хлѣбная мѣрка, на содержаніе которой указываютъ торчащіе изъ нея колосья, то, взявши этихъ разсчитанныхъ на аппетитъ проголодавшихся пролетаріевъ изображеній, или же противъ нихъ, на оборотѣ — символы хлѣбородныхъ провинцій, змѣя, какъ намекъ на Египетъ, носорогъ, какъ символъ Африки, кроликъ, какъ представитель Испаніи; то увѣщаніе бережно обращаться съ императорскимъ хлѣбомъ въ видѣ изображенія добродѣтельнаго и домовитаго звѣрька, какъ улитки или муравья... на ряду съ ними г. Ростовцевъ (стр. 75) называетъ и кузнечика, но эзоповская басня, передѣланная Крыловымъ, этого толкованія не реко-

мендуетъ, и я думаю, скорѣе, что кузнечикъ имѣетъ здѣсь другое символическое значеніе, напоминая получателю лѣтнее время, когда солнце печетъ и хлѣбъ наливается. Ну, а затѣмъ, разумѣется, боги-покровители удачи и достатка, *Abundantia*, *Bonus Eventus*, *Felicitas* и другіе.

Кстати: теперь читатель знаетъ, что такое эти тессеры, которымъ г. Ростовцевъ удѣлилъ столько вниманія; „тессерами“ назывались въ Римѣ именно наши контрольные марки или билеты. Вообще, одной изъ главныхъ причинъ различія матеріальной культуры въ древности и у насъ была сравнительная дороговизна тамъ такихъ матеріаловъ, которые у насъ принадлежатъ къ самымъ малоцѣннымъ. Такъ, дороговизной стекла объясняется тотъ особый видъ частныхъ домовъ въ древнемъ мірѣ, который насъ поражаетъ въ Помпеяхъ. Такъ и въ нашемъ случаѣ дороговизной бумаги объясняется употребленіе иныхъ — къ счастью для насъ, болѣе прочныхъ матеріаловъ для свидѣтельствъ и тому подобныхъ документовъ. Египетъ сохранилъ намъ сотнями податныя и другія росписки на глиняныхъ черепкахъ („остракахъ“) и далъ намъ этимъ возможность возстановить точную картину податного дѣла по крайней мѣрѣ для одной провинціи Римской Имперіи: такую же службу сослужили намъ свинцовыя тессеры для фрументационнаго дѣла, а также для иныхъ сторонъ римской жизни, о которыхъ рѣчь будетъ впоследствии. Но что значитъ слово „tessera“? Его первоначальное значеніе — повидимому отъ греческаго *τέσσαρα* — прямоугольная табличка. При заключеніи союза гостепріимства хозяинъ и гость ломали такую табличку пополамъ; каждая сторона оставляла себѣ свою половину, какъ наслѣдственный „символъ“ союза, по которому даже потомки могли признать въ себѣ „гостепріимцевъ“, прилаживая обѣ половины одна къ другой по пролому. То была *tessera hospitalis*; отсюда слово *tessera* распространилось и на другія удостовѣренія, безотносительно къ ихъ внѣшней (круглой или овальной) формѣ.

3.

Послѣ средства отъ голода — средство отъ скуки, послѣ *panis — circenses*, а съ ними и другія зрѣлища и увеселенія.

Уже съ давнихъ поръ римскій сенатъ въ лицѣ своихъ эдиловъ и преторовъ окупалъ имъ довольство римской черни, а съ нимъ и безопасность свою и безоружной Италіи отъ вспышекъ народнаго гнѣва: римскіе цезари, какъ правительствующій органъ, въ этомъ отношеніи стали сначала рядомъ съ сенатомъ, а затѣмъ и на его мѣсто. Они не жалѣли средствъ для того, чтобы заставить столичную толпу долго говорить о блескѣ своихъ игръ; положимъ, въ этомъ отношеніи эдилы и преторы эпохи сенатскаго режима были ихъ достойными предшественниками, но императорская пышность превзошла республиканскую настолько, насколько огромный и въ своемъ разрушеніи Колоссей превзошелъ сравнительно скромныя постройки временъ Суллы и Помпея. Игры были различныхъ родовъ: выше всѣхъ по своему культурному вліянію стояли игры въ театрѣ, сценическія представленія трагедій и комедій; атлетическій характеръ носили игры въ стадіи, перенесенныя въ Римъ изъ Греціи и никогда особенно не привившіяся; зато широкой популярностью пользовались игры въ амфитеатрѣ, т.-е. гладіаторскія представленія, и въ циркѣ, т.-е. ристанія колесницъ. Эти двѣ послѣднихъ категоріи преимущественно имѣются въ-виду тамъ, гдѣ говорится объ увеселеніяхъ римской толпы; гладіаторы-побѣдители и возницы-побѣдители, таковы были любимые герои Рима. Впрочемъ, въ амфитеатръ приходили не только для того, чтобы видѣть бой гладіаторовъ между собою: особой приманкой были т. наз. *venationes* т.-е. бой звѣрей, преимущественно дикихъ, какъ между собой, такъ и съ людьми. А иногда съ помощью особыхъ приспособленій вся арена погружалась въ воду: въ образовавшійся такимъ образомъ бассейнъ въѣзжали корабли съ командой и десантомъ, на глазахъ зрителей происходило подобіе морского сраженія (*naumachia*). Все это вмѣстѣ взятое образовало одну изъ самыхъ блестящихъ и захватывающихъ — но, конечно, далеко не самыхъ почетныхъ страницъ исторіи императорскаго Рима; интересная для историка-моралиста, она еще болѣе интересна для историка-психолога, — для того, кто выяснилъ себѣ, что все это соединеніе пышности и жестокости было не прихотью высшей власти, а необходимымъ двигателемъ общественнаго организма. Да, необходимымъ нѣкогда; а вотъ теперь его нѣтъ, а организмъ

все-таки живетъ и движется. Видно, что-то заняло его мѣсто; но чтѣ именно?...

Не будемъ однако отвлекаться. Разъ игры были императорской милостью, подобно фрументаціямъ, то и каналы, посредствомъ которыхъ эта милость могла проникать въ народъ, должны были быть аналогичны; другими словами, марочная система, умѣстная тамъ, была умѣстна и здѣсь. И дѣйствительно, намъ сохранено очень много тессеръ, отношеніе которыхъ къ зрѣлищамъ очевидно по вылитымъ на нихъ изображеніямъ... Да, изображеніямъ; любовь античнаго человѣка ко всему конкретному сказалась и здѣсь. Нынѣшніе театральные билеты, безъ сомнѣнія, очень пѣлесообразный и полезный институтъ; но можно ли представить себѣ болѣе тоскливую коллекцію, чѣмъ коллекцію старыхъ театральныхъ билетовъ! Про тессеры, напротивъ, никто этого не скажетъ; какъ ни грубы ихъ изображенія, а все же это нѣчто большее, чѣмъ сухое удостовѣреніе: это—символь также и въ нашемъ смыслѣ слова. Можно даже сказать: въ качествѣ удостовѣренія онѣ уступали нашимъ. Получившая ихъ бѣднота знала, что мѣсто въ театрѣ или амфитеатрѣ ей обезпечено, но какое — это будетъ зависѣть отъ ея собственной выносливости. И вотъ за много часовъ до спектакля, вѣроятно даже съ вечера, она осаждаеть зданіе; у каждаго входа — ихъ же было множество — толпятся жаждущіе зрѣлищъ квиристы; вновь прибывающій сначала обходитъ зданіе, чтобы убѣдиться, въ какой „клинь“ ему легче будетъ попасть, и, облюбовавъ ту или другую кучку, пристаётъ къ ней и терпѣливо ждетъ очереди. Начинается впускъ; приставленный ко входу „диссигнаторъ“ отбираетъ у посѣтителей ихъ тессеры — онъ знаетъ, сколько ему можно впустить народу. Положенное число онъ впускаетъ, остальнымъ отказываетъ, предоставляя имъ искать себѣ пристанища въ другомъ „клинь“. И, конечно, они его найдутъ — вѣдь тессеръ выдано не больше, чѣмъ зданіе можетъ вмѣстить публики — но только придется поискать, и мѣста имъ достанутся уже не изъ лучшихъ: тѣ давнымъ давно уже заняты болѣе предусмотрительными людьми.

Всей этой процедурѣ насъ научили сохраненныя тессеры... не столько, впрочемъ, тѣмъ, чтѣ на нихъ изображено, сколько тѣмъ, чего на нихъ нѣтъ. Нѣтъ же на нихъ того, чтѣ мы

сочли бы главнымъ: обозначенія мѣста, или, по крайней мѣрѣ, „клина“ (читатель, конечно догадался, что подъ клипомъ [cuneus] римляне разумѣли клинообразное отдѣленіе амфитеатрально расположенныхъ мѣстъ, т.-е. промежутковъ между двумя радіусами, соотвѣтствующій одному входу). А разъ этого обозначенія нѣтъ — описанный порядокъ является единственно возможнымъ. А по самимъ изображеніямъ мы узнаемъ гораздо больше. Прежде всего, голова императора играетъ на нашихъ тессерахъ приблизительно такую же роль, какъ и на фрументационныхъ: другими словами, городскую толпу сначала нужно было приучить къ мысли, что и рапемъ и сігсenses дарить имъ императоръ, а затѣмъ, когда урокъ былъ надлежащимъ образомъ затверженъ, его повторять перестали. Затѣмъ: изъ трехсотъ свыше типовъ зрѣлищныхъ марокъ только четыре можно было отнести къ театральнымъ представленіямъ, остальные почти всѣ относятся къ амфитеатру или цирку, т.-е. либо къ кровавымъ боямъ на аренѣ, либо къ бѣгамъ колесницъ. Результатъ этотъ никакъ нельзя назвать отраднымъ: видно, въ театрахъ особенной тѣсноты не было. Тщетно Сенека громилъ жестокія зрѣлища въ амфитеатрахъ, съ которыхъ „люди возвращаются безчеловѣчнѣе вслѣдствіе того, что были среди людей“; тщетно Плиній Младшій издѣвался надъ бессмысленностью цирковыхъ ристалищъ съ ихъ партіями и партійными симпатіями — публика болѣе жаждала опьяненія, вызываемаго видомъ крови или игрой фортуны, чѣмъ умственныхъ наслажденій. Это знали и изготовители тессеръ: эти послѣднія также должны были возбуждать въ обладателяхъ сладкое предчувствіе того, что имъ предстояло увидѣть. На многихъ изображены гладиаторы; но, конечно, при маломъ калибрѣ тессеры и грубости работы нельзя было передать того, что было всего дороже для публики — индивидуальныхъ чертъ любимцевъ. На другихъ красуется корабль — это значить, что предстоитъ „наумахія“, морское сраженіе. Но особенно много мотивовъ дали *venationes*... въ буквальномъ переводѣ „охоты“, а на дѣлѣ не совѣмъ. „Изображенія“, говоритъ нашъ авторъ (стр. 104), „распадаются на двѣ серіи: изображаются либо „охотники“ въ схваткѣ съ различными звѣрями (львомъ, кабаномъ, медвѣдемъ), либо бои звѣрей между собою. Особаге вниманія заслуживаетъ изъ первой серіи тессера

№ 580: на одной сторонѣ ея изображенъ бой охотника со львомъ, на другой — съ кабаномъ. На лицевой сторонѣ находится контрамарка: SOT θ...“ надобно знать, что это θ, какъ инициалъ греческаго слова ΘΑΝΑΤΟΣ (= „смерть“) у именъ собственныхъ соотвѣтствовало нашему знаку †; такимъ образомъ выписанныя буквы означали: „Сотіонъ умеръ“ или, вѣрнѣе, „убить“. „Тессера“, продолжаетъ авторъ, „очевидно дважды служила маркой: во второй разъ выпускался вторично левъ, отъ котораго погибъ не безъизвѣстный, повидимому, охотникъ. Такъ то входной билетъ служилъ до нѣкоторой степени и программой, указывая на *pièce de résistance* даннаго дня игръ“. Такъ представляется дѣло, если взглянуть на него глазами публики; къ счастью, мы для дополненія картины можемъ взглянуть на нее также и глазами ея героевъ, т.-е. „охотниковъ“ — на нее и заодно на самую публику: она вѣдь не послѣдняя часть картины. „Но тотъ, кто сказалъ: просите и дастся вамъ — даль просящимъ тотъ исходъ, котораго каждый желалъ. Вѣдь когда они говорили между собой о своемъ вождѣленномъ мученичествѣ, Сатурнинъ высказывалъ желаніе, чтобы его ставили противъ всѣхъ звѣрей, дабы ему достался самый славный вѣнецъ; согласно этому въ самомъ началѣ зрѣлища онъ и Ревокатъ подверглись укушеніямъ леопарда, а потомъ ихъ на подмосткахъ ломалъ медвѣдь. Сатурну же медвѣдь былъ противнѣе всѣхъ, онъ надѣялся, что его прикончитъ леопардъ однимъ укушеніемъ. Когда онъ, поэтому, былъ сопоставленъ съ кабаномъ, то не онъ, а тотъ охотникъ, который его привизывалъ, былъ заколотъ этимъ звѣремъ и скончался на слѣдующій день. Сатуръ же былъ только сшибленъ съ ногъ. Когда же его привязали къ подмосткамъ для встрѣчи съ медвѣдемъ, медвѣдь не пожелалъ выйти изъ клѣтки, такъ что онъ вторично остался невредимъ. Молодымъ же женщинамъ (патриціанкѣ Перпетуѣ и рабынѣ Фелицитатѣ) дьяволъ приготовилъ свирѣпую корову, выдержавъ для посмѣшища соотвѣтствіе и въ отношеніи пола; ихъ раздѣли и въ сѣтчатыхъ накидкахъ привели на арену. Возропталъ народъ, видя, что одна — вѣжная дѣвушка, другая — родильница съ капающимъ изъ грудей молокомъ. Ихъ увели и въ рубашкахъ привели опять. Первая была сшиблена Перпетуя; упавъ, она прикрыла туникой обнаженное бедро, болѣе

заботясь о стыдѣ, чѣмъ о боли; затѣмъ, найдя свою шпильку, она приколола волосы: не подобало, вѣдь, мученицѣ принять смерть съ распущенной косой, чтобы не казаться скорбящей въ минуту своей славы. Послѣ этого она встала и, увидѣвъ, что Фелицитата сшибленная лежитъ на землѣ, подошла къ ней, протянула ей руку и подняла ее. Обѣ стояли рядомъ; но тутъ жестокость народа была побѣждена, и ихъ увели. Оставался Сатуръ; когда къ нему, уже къ концу зрѣлища, выпустили леопарда, онъ отъ одного его укушенія былъ облитъ такимъ обильнымъ потокомъ крови, что это было какъ бы вторымъ крещеніемъ ему: такъ, хотя и по-своему, понялъ это и народъ, который сталъ ему кричать: „съ легкой банькой, съ легкой банькой!“ (*salvum lotum, salvum lotum. Passio S. Perpetuae 19 сл.*)“ Да, картина интересна во всѣхъ своихъ частяхъ: небезполезно помнить ее, перебирая относящіяся сюда свинцовыя тессеры г. Ростовцева, описанныя начиная съ № 579 его Sylloge и изображенныя на табл. IV атласа: это сопоставленіе человѣка со львомъ или кабаномъ заранѣе настраивало фантазію обладателя, предваряя жестоко-сладострастное омытіе при видѣ алой крови, ключемъ бьющей изъ бѣлаго тѣла живого человѣка.

4.

Будетъ, однако, о *rapecin et circenses*; обратимся къ другимъ сторонамъ императорской политики, болѣе безобиднымъ съ точки зрѣнія политической нравственности, на которыя тоже свинцовыя тессеры проливаютъ новый свѣтъ. Дѣло идетъ, выражаясь по современному, объ учрежденіи пажеческаго корпуса.

Италія была безповоротно аристократической страной. Не даромъ институтъ кліенты получилъ здѣсь наибольшее распространеніе и вылился въ самыя характерныя, самыя отчетливыя формы: немногіе сравнительно роды держали въ своихъ рукахъ и муниципальную землю, и населеніе, преуспѣяніе котораго тысячею нитей было соединено съ преуспѣяніемъ его синьоровъ. И таковой Италія, какъ извѣстно, осталась и въ средніе вѣка, и въ новыя времена почти до нашихъ дней, когда обѣднѣніе синьоріи силою наталкиваетъ націю на новыя, — увы,

несвойственные ей и поэтому ненадежные пути. Намъ не совсѣмъ понятно то обаяніе, та святость, можно сказать, которой древнее имя окружало своего носителя въ глазахъ римлянъ и италійцевъ вообще. „Я, все же, почтеннѣе моего коллегіотпущенника“; говорить одна личность у Горація. „Ну и что же?“ насмѣшливо ему отвѣчаетъ *народъ*, „ужъ не вообразилъ ли ты, чего добраго, что сталъ Павломъ или Мессалой?“ Не много спустя друзья порядка попрекали мятежные легіоны именами ихъ главарей: „Что это? какіе-нибудь Перценній или Вибуленъ будутъ править Римомъ вмѣсто Нероновъ и Друзовъ?“ Да, Эмилии Павлы, Валеріи Мессалы, Клавдіи Нероны, Ливіи Друзы — изъ этихъ именъ состоитъ вѣнецъ славы римскаго народа; чтобы удержать его въ своихъ рукахъ, нужно было завладѣть ихъ носителями. И вотъ для этой цѣли учреждается корпоративная организація римской знатной молодежи. Каждый сенаторскій сынъ поступаетъ въ эту корпорацію, во главѣ которой стоитъ самъ предполагаемый престолонаслѣдникъ, какъ „начальникъ молодежи“, *princeps juventutis*... Не такъ давно этотъ титулъ былъ присвоенъ знаменитому Бруту до его сенаторства, но теперь времена уже не тѣ, и ужъ, конечно, не Брутовъ должна была воспитывать организація, имѣющая престолонаслѣдника своимъ главой. Воспитательнымъ средствомъ должны были служить всякаго рода физическія упражненія, дѣлающія человѣка крѣпкимъ и выносливымъ; это — школа для будущихъ побѣдителей страшнаго врага на евфратской границѣ, пароянъ. А пока наши юнцы рѣзвятся на марсовомъ полѣ и въ опредѣленные дни приглашаютъ весь Римъ любоваться на свою ловкость, исполняя передъ приглашенными свойственную ихъ возрасту игру. Такъ нѣкогда и сынъ основателя императорскаго рода, Іулъ, во главѣ троянской молодежи исполнялъ передъ своимъ родителемъ игру, описанную Вергиліемъ въ V книгѣ Энеиды; оттого-то — говорить услужливая легенда — эти игры и понынѣ носятъ имя троянскихъ. Напрасно Горацій, сынъ земли и питомецъ греческой философіи, предостерегалъ своего государя противъ возстановленія древней Трои: она возстановлялась сама собой, императорская Италія готовилась стать такой же аристократической, какой была и республиканская; нужно было только превратить нобилитетъ въ дворянство.

Такъ-то монархическая идея заключаетъ союзъ съ древнѣйшей сакральной легендой Рима: молодая гвардія императора группируется вокругъ троянскихъ святинь.

Это, положимъ, было намъ извѣстно и помимо тессеръ: эти послѣднія лишь иллюстрируютъ сказанное, да дополняютъ нѣкоторыя подробности организаціи. Такъ мы изъ нихъ узнаемъ, что отдѣльные отряды юношества стояли подъ начальствомъ особыхъ магистровъ, коихъ онѣ намъ называютъ нѣсколько; но главное, что на игры „юношей“ народъ приглашался съ помощью тѣхъ же марокъ. Что же касается иллюстрацій... какъ ни какъ, а интересно, на тессерѣ, вокругъ увѣнчанной головы Нерона прочесть надпись: „непобѣдимаго Нерона“ (*Neronis invicti*) съ именами магистровъ на оборотѣ. Непобѣдимымъ былъ онъ, увы, не на войнѣ, которой онъ никогда не видалъ, а въ тѣхъ же играхъ, въ которыхъ онъ командовалъ своей молодой ратью, какъ *princeps juventutis*, и на которыхъ побѣждать его, понятно, нельзя было. Страстное увлеченіе этими состязаніями легко объясняется тѣмъ, что Неронъ еще въ возрастѣ исполнителя „троянскихъ игръ“ сталъ римскимъ императоромъ; твореніе Августа было по злой ироніи судьбы жестоко извращено этимъ его праправнукомъ, послѣднимъ потомкомъ Тула на римскомъ престолѣ.

Но вотъ мы всецѣло поручаемъ себя тессерамъ, и онѣ уводятъ насъ за предѣлы города Рима, въ Ланувій, Тускулъ, Тибуръ и другія муниципіи ближней и дальней Италіи. Интересны надписи, еще интереснѣе порой изображенія. Вотъ, для примѣра, ланувинскія тессеры: на лицевой сторонѣ голова грозной „Юоны ланувинской“, вокругъ приписъ: „ланувинскіе товарищи“, а на оборотѣ—взвизывающійся змѣй, рядомъ съ нимъ кормящая его дѣвушка. Смыслъ изображенія не сразу понятенъ; его поясняетъ свидѣтельство писателя 3 вѣка, Эліана. „Въ роцѣ ланувинской Юоны есть широкая и глубокая пещера; это—логовище змѣя. Туда въ опредѣленные дни отправляются священныя дѣвы, неся въ рукахъ хлѣбъ, съ глазами, завязанными поясомъ; ведетъ же ихъ прямымъ путемъ къ логовищу змѣя божій духъ, и онѣ шествуютъ не спотыкаясь, шагъ за шагомъ и спокойно, точно съ непокрытыми глазами. И если онѣ—дѣвственницы, то змѣй принимаетъ отъ нихъ

пищу, какъ чистую и подобающую звѣрю-любимцу боговъ; если же нѣтъ, то онъ, зная своимъ вѣщимъ духомъ объ ихъ паденіи, оставляетъ приношеніе нетронутымъ, и муравьи, раскрошивъ предварительно для своего удобства хлѣбъ совращенной, выносятъ его изъ рощи, очищая святое мѣсто. По этой примѣтѣ жители узнаютъ о случившемся, дѣвушки допрашиваются, и та, что опозорила свою дѣвственность, подвергается установленной карѣ. (Hist. anim. XI, 16)". Слѣдуетъ прибавить, что этихъ муравьевъ ланувинскій змѣй завелъ лишь сравнительно поздно, какъ своихъ помощниковъ въ дѣлѣ нравственнаго оздоровленія своего муниципія: первоначально онъ со своей задачей справлялся самъ. Какъ—на это мы имѣемъ намекъ въ зловѣще краткихъ стихахъ Проперція, записавшаго ланувинскую легенду двумя столѣтіями раньше (IV элег. 8, 3 сл.):

Змѣй долговѣчный издревле святой охраняетъ Ланувій;
 Будетъ доволенъ судьбой, кто этотъ край навѣститъ.
 Тамъ въ безиросвѣтномъ ушельи глубокая пропасть зияетъ;
 Дѣва нисходитъ туда (охъ, ненадеженъ ей путь!)
 Въ день, когда змѣй многотимый годичнаго ждетъ приношенья
 И копошится, крутятся съ шумомъ голоднымъ на дѣлѣ.
 Страшно дѣвицѣ въ пещеру къ такому обряду спускаться,
 Страшно ей, вѣжную длань пасти змѣиной втѣрять...
 Вотъ онъ взвился, вотъ изъ рукъ принесенную выхватилъ пищу...
 Коробъ трясется, дрожитъ въ бѣдной дѣвичьей рукѣ...
Та, что себя соблазна, возвратится къ своимъ неведимой;
 „Быть урожаю!“ кричить вслѣдъ ей, ликуя, народъ.

Таково ланувинское чудо; какое отношеніе, однако, имѣютъ къ нему „ланувинскіе товарищи“, о которыхъ говоритъ припись тессеры? Отвѣтъ одинъ: сакральнымъ центромъ союза былъ древній культъ ланувинской Юноны. А принимая во вниманіе другіе моменты, которые у нашего автора тщательно перечислены и взвѣшены—мы ихъ повторять не будемъ—мы приходимъ къ убѣжденію, что этими „ланувинскими товарищами“ были именно юноши, праздновавшіе ежегодныя игры (Juvenalia) въ честь и своей богини и императора, и что они набирались изъ лучшихъ семей муниципія; то же самое приходится допустить и о другихъ муниципальных и провин-

ціальныхъ городахъ. Повсюду знатная молодежь корпоративно организуется; организація преслѣдуетъ тройкую цѣль: воспитательную, религіозную, политическую. Воспитательная состоитъ въ томъ, чтобы развить въ молодежи физическую силу и нравственную выдержку; религіозная—въ томъ, чтобы воскресить интересъ къ роднымъ культамъ; политическая—въ томъ, чтобы вездѣ насадить питомники будущихъ слугъ императора, проникнутыхъ вѣрноподданническимъ духомъ. Образцомъ служили, какъ видно, столичные пажи: какъ они, чтобы придать себѣ обаяніе религіознаго института, воскресили старинныя тройскія преданія, связанныя съ легендой объ основаніи Рима, такъ точно и ихъ муниципальные собратья группировались вокругъ старинныхъ муниципальных культовъ. Цѣль была достигнута: италійская аристократія, смолоду воспитанная въ монархическихъ чувствахъ, сохранила ихъ навсегда.

Нельзя не преклониться передъ умомъ императора, создавшего эту столь развѣтвленную, столь дѣйствительную организацію; и было бы очень интересно узнать, какими средствами онъ воспользовался для ея осуществленія. Онъ былъ, быть можетъ, не первымъ, и ужъ во всякомъ случаѣ не послѣднимъ, задумавшимъ создать, путемъ воспитанія, „новую породу людей“; но во всякомъ случаѣ—единственнымъ, которому эта смѣлая мысль удалась.

Вспоминая о новыхъ и новѣйшихъ неудачахъ этой мысли, мы съ тѣмъ бѣльшимъ недоумѣніемъ возвращаемся къ дѣлу Августа: передъ нами—чудо, гораздо чуднѣе того ланувинскаго. Какъ сохранилъ онъ свою молодежь невредимой отъ древняго змѣя республиканской крамолы? Какъ приворожилъ онъ на ниву монархизма тотъ пышный урожай, о которомъ свидѣлствуютъ послѣдующія столѣтія?—Къ сожалѣнію, наши тессеры даютъ намъ только доказательства внѣшнихъ успѣховъ идеи; объ интимныхъ причинахъ этихъ успѣховъ свидѣтельствъ у насъ нѣтъ... если не считать презрительнаго намека неисправимаго республиканца Тацита, его знаменитаго убора: *et Romae ruere in servitium consules, patres, eques*. Видно, Италія пошла за Римомъ, имперія за Италіей; видно, главѣ государства пришлось не столько вызывать волну, сколько направлять ее въ заранѣе уготованное русло... что онъ и испол-

нилъ съ тѣмъ яснымъ умомъ и трезвой расчетливостью, которая была ему всегда свойственна.

Много интереснаго даютъ намъ наши тессеры также и по этой части; но вотъ, перебирая ихъ одну за другой, мы наталкиваемся на очень оригинальный типъ. Происходилъ онъ изъ Тускула, т.-е. изъ римскаго Версаля или Царскаго Села; его надпись гласитъ: *sodales Tusculane* — т.-е., какъ поясняетъ авторъ: *Tusculanae*; прошу обратить вниманіе на окончаніе — „около головы юноши, по всей вѣроятности, императора или члена императорскаго дома I в., на оборотѣ орелъ въ вѣвѣ“ (стр. 134). Эмблемы, такимъ образомъ, самыя монархическія; тѣмъ болѣе насъ озадачиваетъ приписъ. Откуда взялись эти тускуланскія пажики? Съ перваго взгляда хотѣлось бы допустить ошибку въ толкованіи надписи; но, быть можетъ, авторъ правъ, настаивая на своемъ. Дѣйствительно, Горацій свои пѣсни объ обновленномъ Римѣ — тѣ же, въ которыхъ онъ привѣтствуетъ организацію молодежи, протестуя, однако, противъ ея аристократическаго характера — посвящаетъ и отрокамъ, и дѣвамъ: *virginibus puerisque canto*; дѣйствительно, политика дельфійскаго Аполлона, выдвинутого Августомъ, состояла, между прочимъ, въ организаціи молодежи обоего пола въ отдѣльные „оіасы“, какъ по-гречески назывались эти кружки... Да, это возможно; къ сожалѣнію, для болѣе прочныхъ комбинацій у насъ матеріала не хватаетъ. Что дѣлать, будемъ ждать дальнѣйшихъ откровеній.

5.

Передъ нами прошли три интересныхъ и важныхъ картины изъ жизни императорскаго Рима: фрументациі — императорскія игры — организація молодежи. Объединялись эти картины прежде всего — и для насъ это единство имѣло рѣшающее значеніе, находясь въ ближайшемъ отношеніи къ нашей темѣ — однимъ внѣшнимъ признакомъ: тѣмъ, что онѣ подали поводъ всѣ три къ выпуску свинцовыхъ тессеръ, которыя были въ первомъ случаѣ контрольными марками, регулировавшими раздачу дарового хлѣба, во второмъ и третьемъ — входными билетами на императорскіе или „юношескіе“ спектакли. Но кромѣ

этого вѣшняго критерія, о важности котораго никто въ тѣ времена не думалъ, указанные три института объединялись также и общей идеей: всѣ три были въ рукахъ императоровъ средствомъ воспитанія Рима и римскаго гражданства въ монархическомъ духѣ. Отсюда и официальный характеръ относящихся сюда тессеръ: голова императора или вообще высочайшихъ особъ украшаетъ, хотя бы на первыя времена, ихъ лицевыя стороны—на первыя времена, т.-е. до тѣхъ поръ, пока воспитаніе въ монархическомъ духѣ не могло считаться законченнымъ. А закончено оно было именно при Флавіяхъ, къ концу I вѣка: дѣйствительно, послѣднимъ проблескомъ республиканскихъ идей была междоусобная война послѣ смерти Нерона, специально насколько она связана съ личностью Вергинія Руфа; съ нимъ и она была похоронена навсегда.

Но официальные и полуофициальные тессеры составляютъ только меньшую часть среди всѣхъ сохранившихся; значительное большинство ихъ заводитъ насъ въ другія области, открываютъ передъ нами другія картины. Изъ массы этихъ „частныхъ тессеръ“, какъ ихъ называетъ авторъ, первое мѣсто принадлежитъ тѣмъ, которыя связаны съ дѣятельностью такъ назыв. *коллецій*.

Коллегія—это пренеприятная единица древне-римской общественной жизни, зародышъ средневѣкового корпораціоннаго строя—не то братство, не то артель, не то клубъ. Съ братствомъ ее сближало то, что ее идейнымъ центромъ былъ обыкновенно, а можетъ быть и всегда, культъ какого-нибудь божества, и ее члены гарантировали другъ другу приличное погребеніе; съ артелью или, правильнѣе, цехомъ—то, что сплошь и рядомъ членами были люди, занимавшіеся однимъ и тѣмъ же ремесломъ, по которому они и давали себѣ имя; съ клубомъ, наконецъ—то, что очень часто первый и второй смыслъ ея существованія ступеньвался передъ третьимъ—вмѣстѣ попить и повеселиться. Въ сущности, тѣ корпораціи юношей, о которыхъ рѣчь была въ предыдущей главѣ, были тоже своего рода коллегіями; но то были коллегіи аристократическія, состоявшія подъ особымъ покровительствомъ самого императора; здѣсь же мы имѣемъ дѣло чаще всего съ пролетаріатомъ, съ отпущенниками и даже рабами. Характерное для италійской

жизни меценатство давало себя знать и здѣсь: кто поважнѣе да потароватѣе, тѣхъ охотно избирали въ „магистры“ коллегии; если же благодѣтель не считалъ это магистерство достаточнымъ удовлетвореніемъ своего честолюбія, а по своей щедрости такового заслуживалъ, то его провозглашали „отцомъ“ или, если это была женщина, „матерью“ коллегии. А случаевъ проявить свою щедрость было не мало: благодѣтель могъ, напр., построить или подарить коллегии зданіе для ея собраний: тогда коллегія опредѣляла поставить въ этомъ зданіи на видномъ мѣстѣ его статую, и польщенный благодѣтель бралъ расходы на эту статую на свой счетъ — *honore contentus impensam remisit*, какъ значится въ соотвѣтственныхъ надписяхъ. Или онъ, умирая, оставлялъ коллегии сумму денегъ на торжественное обхожденіе его годовщинъ и другихъ заупокойныхъ пирушекъ: и ему почетно, и коллегіаламъ пріятно. А впрочемъ, къ чему было ждать непремѣнно смерти? Коллегіалы рады были и живыхъ чествовать, только бы не на свой счетъ. Такъ-то коллегія стала одной изъ формъ, въ которую вылилась исконно-италійская кліентела; она прекрасно иллюстрируетъ сказанное выше о естественномъ аристократизмѣ италійскаго общественнаго строя.

И вотъ къ этой-то коллегіальной жизни нашъ авторъ справедливо относитъ значительное число изданныхъ имъ тессеръ. Для нѣкоторыхъ это отношеніе засвидѣтельствовано надписями, но это — ничтожное меньшинство: тѣ маленькіе люди, о которыхъ идетъ рѣчь, предпочитали абстрактнымъ письмамъ конкретный символъ. Коллегія чисто сакральнаго характера могли пользоваться, какъ символомъ, изображеніемъ своего божества. Но намъ отъ этого не легче: мало ли какое значеніе можетъ имѣть на тессерахъ изображеніе Меркурія или Фортуны! Другое дѣло — ремесленныя коллегіи: эмблема ремесла прозрачна и удобопонятна. А такихъ эмблемъ много. Вотъ тессеры съ фигурой человѣка, несущаго на спинѣ полный кулъ: это — эмблема коллегии носильщиковъ, *bajuli et catabolenses*. Они играли важную роль при выгрузкѣ кораблей съ зерномъ, слѣдовавшихъ вверхъ по Тибру въ Римъ и благодарный Тибръ сохранилъ намъ много ихъ тессеръ. Вотъ пастухъ, окруженный своимъ стадомъ — какимъ, объ этомъ при зоологической

туманности изображенія лучше не спрашивать; это — тессеры римскихъ мясниковъ. Вотъ—рыба, а на оборотѣ якорь; ясно, что передъ нами тессера рыбацкой артели. Такъ, затѣмъ, молотъ и щипцы характеризуютъ кузнецовъ, лѣстница — плотниковъ, стулъ — столяровъ, гребень и зеркало — цирюльниковъ или людей родственныхъ профессій и т. д. Положительно, пріятно бываетъ перебирать эти тессеры. Намъ такъ много говорятъ о празднои лѣни, въ которой жители столицы міра проводили свой вѣкъ, объ ихъ пренебреженіи къ работѣ и т. д.; а тутъ мы не только видимъ свидѣтельства кипучей трудовой жизни императорскаго Рима — мы видимъ также уваженіе къ этому труду, символы котораго красуются въ качествѣ гербовъ коллегій на ихъ тессерахъ.

На ихъ тессерахъ, да; но на что имъ были эти тессеры? Какую роль играли онѣ въ ихъ жизни?

Послѣ сказаннаго выше отвѣтъ не можетъ быть сомнительнымъ: аналогія официальныхъ тессеръ напрашивается сама собою. Тѣ служили для регулировки императорскихъ и другихъ щедротъ; такія же щедроты встрѣчаются и въ коллегіальной жизни. Все равно, исходили ли онѣ отъ самой коллегіи, или отъ ея магистровъ, или отъ ея „отца“ или „матери“. Нами сохранена любопытная надпись—правда, не столичная, а муниципальная, но предполагающая обстановку, которая и въ столицѣ не могла быть иной; гласитъ она такъ: „Меланѳъ, рабъ Публия Деція, и его коллеги-магистры возвели вновь трибуналъ Геракла, перестроили театръ со сценой и освятили его двухдневными сценическими играми за собственный счетъ“. А впрочемъ, чтобы не было сомнѣнія, писатель эпохи первыхъ императоровъ Асконій намъ ясно свидѣтельствуетъ, что „магистры коллегій нерѣдко давали игры“. Коллегія, магистромъ которой былъ рабъ, безъ сомнѣнія, и сама состояла въ значительной степени изъ рабовъ; ея особое благоговѣніе передъ Геракломъ понятно—этотъ человѣкъ-богъ и самъ при жизни былъ человѣкомъ подневольнымъ, будучи посылаемъ на подвиги своимъ повелителемъ Еврисеемъ, а одно время и взаправду служилъ рабомъ у лидіанки Омфалы. И вотъ нашъ разбогатѣвшій рабъ (таковыхъ было не мало), польщенный въ своемъ честолюбіи избраніемъ въ

магистры коллегіи „почитателей Геракла“ своего муниципія, жертвуетъ сумму на перестройку нѣкоторыхъ частей коллегіальнаго зданія и, сверхъ этого, справляетъ въ ознаменованіе своихъ щедротъ „двухдневныя сценическія игры“, т.-е. приглашаетъ пріѣзжую труппу поставить нѣсколько разсчитанныхъ на вкусъ невзыскательной публики фарсовъ въ родѣ тѣхъ, которые у нынѣшнихъ итальянцевъ называются „пульчинеллатами“. Входъ для членовъ коллегіи былъ, разумѣется, даровой, — а таковыхъ въ людныхъ коллегіяхъ могло быть по нѣскольку тысячъ; и вотъ, чтобы не затеря какой-нибудь посторонній человѣкъ, имъ раздавались заблаговременно входные билеты, т.-е. именно наши тессеры, съ изображеніемъ коллегіальныхъ эмблемъ: статуи Геракла, если игры устраивала коллегія его „почитателей“, или какихъ-нибудь другихъ.

Но это — не все, и даже, повидимому, не главное. Главное — это раздачи и угощенія, регулярныя и иррегулярныя, о которыхъ мы осведомлены очень хорошо благодаря сохранившимся коллегіальнымъ уставамъ — уставу коллегіи „почитателей Эскулапа и Гигіен“ и др. Такія раздачи происходили въ день рожденія императора, но также и въ день рожденія (т.-е. годовщину учрежденія) коллегіи; затѣмъ — въ Новый Годъ и въ поминальные дни. Средства на эти раздачи выдаются иногда изъ процентовъ на тѣ капиталы, которые имѣются у коллегіи; такъ одна интересная надпись постановляетъ „...чтобы изъ доходовъ съ вышеозначенныхъ имѣній происходили жертвоприношенія въ день Нового Года, 12 февр. въ день рожденія императрицы Домиціи, 28 іюня въ храмовой праздникъ Сильвана, 21 іюня въ день розы (заупокойный праздникъ) и 25 октября въ день рожденія императора Домиціана, и чтобы въ эти дни члены коллегіи сходились для совместной пирушки“. Теперь понятны приписи коллегіальныхъ тессеръ въ родѣ „да здравствуетъ императрица Сабина“ (*Sabinae Augustae feliciter*) и т. под.; но понятны также и тѣ тессеры, которыя упоминаютъ окраинныя мѣстности Рима, въ родѣ „у храма Марса“, „у орѣха“ и т. д. Вышеупомянутая коллегія почитателей Эскулапа и Гигіен устраиваетъ свои угощенія въ своемъ „коллегіальномъ зданіи у храма Марса“ — очевидно, руководясь тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь, внѣ таможенной черты, продукты

были дешевле. „И теперь“, продолжаетъ авторъ (стр. 163), „Римъ въ этомъ отношеніи остался все тѣмъ же. Въ воскресный день при хорошей погодѣ въ многочисленныхъ загородныхъ тракторіяхъ *fuori porta*, гдѣ воздухъ чистъ и благодаря отсутствію *dazio consumo* вино дешево, непременно пируютъ *de suo* члены какой-нибудь ремесленной ассоціаціи или кружка. Вся картина интимной жизни римскихъ коллегій становится ясной и рельефной для каждаго, кто хоть разъ побывалъ на одномъ изъ такихъ *banchetti*“.

А теперь оглянемся назадъ: какую цѣль имѣли наши коллегіальныя тессеры? Да все ту же: *panem et circenses*. Оно и неудивительно. Императорскія щедроты касались только бѣдныхъ римскихъ гражданъ: они были „вписаны на казенный хлѣбъ“, какъ гласила официальная формула, имъ же выдавались даровыя марки на посѣщеніе театровъ. Но эта бѣдность все же въ силу своего гражданства составляла аристократію въ населеніи не только римской имперіи, но и города Рима: гордое *civis Romanus sum* не потеряло своего магическаго значенія даже и въ эпоху императоровъ. Ниже этой бѣдности было настоящее дно римскаго общества, глубокое и мрачное, недоступное для лучей императорской милости: здѣсь жили, работали, страдали и умирали бѣдные „пегрины“ и бѣдные рабы. Оно не входитъ въ государственную организацію; но зато для него есть организація общественная, единицей которой была, согласно сказанному, коллегія. И вотъ коллегія, будучи по своему устройству сколкомъ съ государства, подражаетъ ему также и въ его каритативномъ началѣ: вводятся, по аналогіи государственныхъ, и коллегіальныя щедроты, раздачи хлѣба, вина, денегъ, игры. А въ качествѣ вещественныхъ свидѣтельствъ этой коллегіальной благотворительности, дополнявшей государственную, намъ остались опять-таки наши скромные памятники, свинцовыя тессеры, съ ихъ коллегіальными эмблемами и не всегда вразумительными приписями.

• А впрочемъ, насмѣшливое слово римскаго сатирика мелькнуло передъ нами въ послѣдній разъ; тѣ картины, которыми мы займемся на слѣдующихъ страницахъ, введутъ насъ уже въ настоящую трудовую жизнь римскаго населенія. А потому, прощаясь съ *panem et circenses*, нелишнимъ будетъ и здѣсь со-

слаться на очень удачную аналогію, приведенную авторомъ на стр. 169 изъ новыхъ временъ для тессеръ римскихъ коллегій. Это — бронзовыя и свинцовыя марки, *mereaux* и *jétions* Парижа и *penningen* голландскихъ городовъ, идущія съ XV в. и до XVIII и регулировавшія внутреннюю жизнь городскихъ корпорацій. И здѣсь мы имѣемъ эмблемы ремесла, или же изображеніе того святого, который въ корпораціи пользовался особымъ почетомъ — полнѣйшая аналогія* къ „почитателямъ Геракла“, или „почитателямъ Эскулапа и Гигіеи“. И здѣсь свинцовыя марки были нерѣдко средствомъ контроля; „изъ серіи послѣднихъ“, говоритъ авторъ, „особенно любопытна серія пригласительныхъ билетовъ (1599 въ Утрехтѣ) на *vinum hospitium*, украшенная изображеніемъ виноградной кисти“. Такъ то по необходимости участіе однихъ и тѣхъ же элементовъ производить время отъ времени однѣ и тѣ же фигуры въ пестромъ калейдоскопѣ общественной жизни.

6.

Изъ предыдущаго выяснилось, что тессера по своему значенію и своей роли въ римскомъ бытѣ скорѣе всего можетъ быть сопоставлена съ нашимъ билетомъ. Что такое билетъ? Суррогатъ денегъ, точно такъ же какъ деньги — суррогатъ мѣнового товара въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. При переходѣ отъ мѣновой торговли къ денежной деньги играютъ первоначально лишь роль посредствующаго элемента, необходимость котораго вызвана тѣмъ, что обмѣнъ происходитъ уже не между двумя лицами, а между тремя или большимъ числомъ. Пока каждая изъ торгующихъ сторонъ была продавцемъ и покупателемъ въ одномъ и томъ же лицѣ, деньги были ненужны: если А, имѣвшій лишняго барана, нуждался въ хлѣбѣ, а В, изобиловавшій хлѣбомъ, желалъ приобрести барана, то обмѣнъ между ними совершался непосредственно. Но если у В хлѣба не было, а былъ таковой у С, который въ баранѣ не нуждался, то былъ необходимъ какой-нибудь посредствующій знакъ, символъ извѣстной, соотвѣтствующей цѣнности барана платежной силы, который, переходя отъ В къ А при продажѣ послѣдняго первому барана, могъ въ свою очередь

дать А возможность приобрести отъ С соответственное количество хлѣба. Этимъ символомъ и стали деньги. А при развитіи денежной торговли деньги стали и сами товаромъ: вмѣсто первоначальной символической цѣнности они получили цѣнность абсолютную. Пусть дѣтямъ значеніе рубля выясняется уравненіемъ, согласно которому онъ соответствуетъ двадцати французскимъ булкамъ — для взрослого человѣка рубль есть рубль, вызывающій въ немъ совершенно опредѣленную интенсивность чувства независимо отъ всякихъ булокъ или другихъ побочных представленій. А разъ деньги стали товаромъ, то и всякій торгъ на деньги сталъ мѣной; и въ тѣхъ случаяхъ, когда одна изъ торгующихъ сторонъ, В раздвѣивается на В — получающую деньги, и С — выдающую товаръ, сталъ необходимымъ посредствующій знакъ, символъ, имѣющій опредѣленную, условную цѣнность для сношеній между В и С, но не далѣе: вотъ этимъ-то символомъ и сталъ билетъ, или, по-римски, тессера. Въ театрѣ товаромъ является мѣсто, съ котораго можно смотрѣть представленіе; выдаетъ это мѣсто капельдинеръ, или, по-римски, диссигнаторъ. Если это въ то же время и владѣлецъ театра, и уплата денегъ не сопряжена ни съ какой потерей времени, то ни въ какихъ тессерахъ надобности нѣтъ. При менѣе патріархальной обстановкѣ, однако, желаніе избѣгнуть проволочки, обычной при уплатѣ денегъ, а также и недоувѣріе къ честности диссигнатора должны были повести къ раздвоенію этой послѣдней личности на личность кассира, принимающаго деньги, и диссигнатора, назначающаго мѣсто; а результатомъ этого раздвоенія явилась необходимость учредить символическій знакъ, цѣнный только для сношеній между кассиромъ и диссигнаторомъ. Этимъ знакомъ и была древняя тессера; она была, такимъ образомъ, суррогатомъ монеты, цѣннымъ исключительно въ предѣлахъ того предпріятія, для котораго она была выпущена.

А разъ это такъ, то встрѣчаемость тессеры въ промышленно-торговыхъ предпріятіяхъ можетъ быть опредѣлена чисто апіорнымъ путемъ: мы можемъ предполагать ее вездѣ тамъ, гдѣ полученіе денегъ и выдача товара не совмѣщены въ одномъ и томъ же лицѣ. Сюда относятся, согласно замѣченному только что, театры и т. п.; мы говорили о нихъ выше съ точки зрѣ-

нія благотворительности, но несомнѣнно, что были и платныя билеты-тессеры, которые, однако, по внѣшнему виду не отличались отъ даровыхъ. А затѣмъ, вторую крупную категорію должны были составить, какъ и у насъ, пассажирскіе билеты, и притомъ двухъ родовъ, для сухопутныхъ и водяныхъ сообщений. Тессеры перваго рода несомнѣнно существовали, и очень вѣроятно, что извѣстное ихъ число сохранено и намъ, но какъ ихъ отличить отъ тессеръ состязаній въ циркѣ—сказать трудно. У нашего автора подъ рубрикой „circus“ собрана масса тессеръ съ изображеніемъ лошади; конечно, если на оборотѣ изображена пальма, символъ побѣды, то никто не станетъ спорить, что передъ нами тессера цирковая; но если, какъ въ № 771 и сл., оборотъ представляетъ фигуру Меркурія съ его характернымъ жезломъ и кошелькомъ, то, пожалуй, болѣе вѣроятнымъ явится предположеніе, что тессера была посвящена торгово-промышленному предпріятію, т.-е. провозу пассажировъ по большимъ дорогамъ, ведущимъ отъ Рима во всѣ четыре стороны. То же самое касается и тессеръ, дающихъ на лицевой сторонѣ лошадь, а на оборотѣ какое-нибудь имя собственное — Clemens или Rusticus. Кто эти Клименты и Рустики? Быть можетъ, возницы въ циркѣ, быть можетъ — лошади, но можетъ быть и хозяева предпріятій, о которыхъ идетъ рѣчь. Подъ №№ 821 и 828 авторъ описываетъ тессеры, представляющія на лицевой сторонѣ изображеніе лошади, на оборотѣ—имена собственные Helpis (=надежда) и Tyranis. Чтò это за имена? По автору, имена собственные лошадей, чтò вполне правдоподобно—первое могло символизировать надежду на побѣду, которую собственникъ возлагалъ на свою кобылку, второе — „тираническій нравъ“ этой послѣдней. Но вотъ, идя дальше, мы на тессерѣ № 1138, не дающей никакого изображенія, находимъ имя Asiina Tyranis, на №№ 1424 и 1425 дважды имя Helpis съ изображеніемъ Меркурія или Фортуны—не правильнѣ ли будетъ допустить, что передъ нами—хозяйки такихъ же почтово-извозныхъ предпріятій? Какъ бы то ни было, несомнѣнныхъ признаковъ пока не обнаружено.

Другое дѣло—тессеры водяныхъ сообщений; тутъ у насъ подъ ногами, благодаря счастливой находкѣ и остроумному

толкованію автора, вполне твердая почва. Я уже выше, въ самомъ началѣ статьи, говорилъ о тѣхъ мелкихъ, но пріятныхъ и бодрящихъ успѣхахъ, которые достаются на долю изслѣдователя при работѣ надъ такимъ матеріаломъ, какъ нашъ: быть можетъ, читателю будетъ интересно, благо представился удобный случай, послѣдовать за нами въ лабораторію изслѣдователя и пережить съ нимъ вмѣстѣ одну изъ такихъ пріятныхъ минутъ. Уже раньше были извѣстны тессеры, имѣющія на лицевой сторонѣ изображеніе барки, а на оборотѣ буквы СА; къ нимъ примыкали другія, дающія только барку или родственное гребное или парусное судно и нѣсколько буквъ, представлявшихъ, вѣроятно, сокращеніе имени собственнаго. Ихъ знали, но дѣлать съ ними было нечего, пока матеріалъ не былъ собранъ г. Ростовцевымъ: да и послѣ его трудовъ мы, вѣроятно, приурочили бы ихъ либо къ коллегіи грузовщиковъ или лодочниковъ, либо къ „наумахіямъ“ въ амфитеатрѣ. Но вотъ автору достается тессера, неизвѣстная прежнимъ изслѣдователямъ, съ изображеніемъ опять-таки барки, но уже съ болѣе полною приписью вмѣсто загадочныхъ СА, а именно: CYD AES. Теперь рѣшеніе загадки было найдено: съ буквъ суд... начинается только одно латинское слово (вѣрнѣе: греко-латинское), а именно судакимъ — „лодка, барка“. Итакъ, получается надпись: „плата за лодку“. Этимъ назначеніе этой тессеры, а стало быть и однородныхъ, было сразу опредѣлено. За иллюстраціей дѣло не стало: автору припомнилось мѣсто изъ юмористическаго описанія путешествія въ Брундизій у Горация (Sat. I 5 пер. Фета: рѣчь идетъ о галерѣ, перевозившей пассажировъ по каналу черезъ помптинскія болота, причемъ гребцамъ помогали мулы, тащившія галеру съ берега).

Тутъ наши слуги съ гребцами, гребцы со слугами вступили
Въ споры.—„Причаливай тутъ“.—„Ты триста готовъ напихать ихъ“.
„Стои, довольно!“—пока разочлись, да мула прицѣпили,
Цѣлый часъ прошелъ.

„Пока разочлись“ — точнѣе: „пока была собрана плата“, dum aes exigitur. Замѣйте „плата“ называется aes, точно такъ же, какъ и на тессерѣ. Плату требуютъ еще до плаванія — стало быть, требуетъ ее кассиръ, а не кондукторъ; а если такъ, то

вѣроятно, что пассажиры получали отъ него тессеру, въ родѣ нашей съ надписью *sydagi aes*.

Итакъ, билеты театральные, билеты пассажирскіе—вотъ уже двѣ категоріи. Можно прибавить и третью: билеты для входа въ бани, безъ которыхъ и у насъ не обходятся этого рода заведенія. У насъ—жестяныя бляхи, у римлянъ—свинцовыя тессеры, часто съ надписями, не оставляющими никакого сомнѣнія относительно ихъ назначенія: *Balineum Germani* („бани Германа“), *balineum novum* и т. д. Ну, а затѣмъ, разумеется, эмблемы: Меркурій на своемъ баранѣ, съ жезломъ и мошной—на то это „торговья бани“. Труднѣе сказать, на что владѣльцу Субуранскихъ бань понадобилась Викторія, которая къ банному промыслу, повидимому, никакого касательства не имѣетъ; но это уже дѣло личнаго вкуса или благочестія хозяина. Символомъ же Викторіи была пальма, которая тоже появляется на несомнѣнно банныхъ тессерахъ... настаиваемъ на этомъ, чтобы читатель не подумалъ, что эта пальма соответствуетъ нашему вѣнику. Кстати: эти тессеры съ пальмой и равнозначущимъ вѣнкомъ отмѣчены буквой S: можно рискнуть предположеніе, что онѣ тоже принадлежали Субуранскимъ банямъ. Естественнѣе было привлечь Нептуна, стихіей котораго жили бани; и его мы встрѣчаемъ на двухъ тессерахъ съ его трезубцемъ и дельфиномъ. Очень соблазнительнымъ было тоже изображеніе раздѣтаго мужчины, прыгающаго въ воду: это значило, что въ баняхъ имѣлась такъ назыв. писцина, т.-е. бассейнъ для плаванія.—И такъ далѣе; страсть античнаго человѣка къ конкретнымъ представленіямъ, къ наглядности и символизму сказалась и здѣсь;—благодаря ей даже коллекція банныхъ тессеръ представляетъ интересъ для коллекціонера и изслѣдователя. Представьте себѣ для сравненія соответствующую коллекцію нашихъ банныхъ бляхъ—и вы оцѣните это свойство античнаго человѣка.

Такова третья категорія; сказать ли и о четвертой, тоже несомнѣнно установленной авторомъ? Она относится къ такимъ домамъ, о которыхъ принято говорить подъ дымкой; но разъ эти заведенія пользовались тессерами, и ихъ тессеры намъ сохранились, обойти ихъ молчаніемъ нельзя. Отсутствіемъ откровенности эти тессеры не грѣшатъ: символы то соблазнительно

грубые, то просто грубые, приписи въ родѣ *атог*, *аміса* отвѣчаютъ со всей желательной ясностью на вопросъ объ ихъ назначеніи. Но вотъ изображеніе, приковывающее наше вниманіе: на оборотѣ тессеры, дающей на лицевой сторонѣ слово *атог*, совершенно явственно изображена рука, держащая большимъ и указательнымъ пальцами человѣческое ухо. Что бы это могло значить? Былъ у римлянъ символическій обычай, призывая человѣка въ свидѣтели видѣннаго и услышаннаго (*antestari*), брать его за ухо; это значило „помни!“ А теперь позволительно будетъ сослаться на конецъ прекраснаго юношескаго стихотворенья Вергілія „Трактирщица“ (*сора*), посвященнаго—къ слову сказать—особѣ, которой уже не далеко до нашихъ тессеръ:

Кубокъ и кости сюда—и да прокляты будутъ заботы!
За ухо щиплетъ насъ смерть, молви: „живи! я иду“.

Лучъ красоты попалъ въ лужу и озарилъ ее. Что дѣлать—таковъ античный міръ.

7.

Теоретическое разсужденіе въ началѣ предыдущей главы дало намъ возможность опредѣлить экономическое значеніе тессеры; согласно сказанному тамъ, тессера—суррогатъ монеты, имѣющій цѣнность исключительно въ предѣлахъ того предпріятія, для котораго она выпущена. Таковымъ было, однако, въ античномъ мірѣ не только торгово-промышленное предпріятіе въ родѣ названныхъ только-что: имъ былъ каждый болѣе или менѣе значительный частный домъ. Мы приближаемся тутъ къ очень любопытной теоріи, которую ярче всѣхъ развилъ извѣстный экономистъ Бюхеръ въ своей надѣлавшей столько шуму книжкѣ *Die Entstehung der Volkswirtschaft*: теоріи о самодовлѣющемъ домѣ, какъ основной единицѣ античнаго хозяйства. Бюхеру возражалъ въ то время Эд. Мейеръ въ своей брошюрѣ *Die wirtschaftliche Entwicklung der Altertums*; у насъ споръ этотъ возобновился между И. М. Гревсомъ (Очерки изъ исторіи римскаго землевладѣнія I), принявшимъ съ нѣкоторыми ограниченіями экономическую теорію Бюхера, и Н. И. Карѣвымъ, оспаривавшимъ эту

теорію въ своей рецензіи на только-что упомянутую книгу (Русское Богатство 1900). Полагаю, что и тессерамъ г. Ростовцева суждено сказать свое слово въ этомъ спорѣ, который никакъ не можетъ еще считаться рѣшеннымъ; все же возбудить его здѣсь я не буду. Самъ я скорѣе стою на сторонѣ Эд. Мейера и Н. И. Карѣева; все же считаю несомнѣннымъ, что частный домъ былъ въ древности гораздо болѣе самодовлѣющей единицей, чѣмъ когда-либо въ новое время: прекрасно иллюстрируютъ это положеніе дѣль между прочимъ и наши тессеры.

Дѣйствительно, внимемъ, ради примѣра, въ домовое хозяйство того крупнаго кулака-помѣщика, котораго намъ изобразилъ такъ неподобно римскій сатирикъ Петроній—Трималхіона; домъ ли это, или государство? „Ничего онъ не покупаетъ, говорили про него его добрые знакомые, а все растеть у него дома (domi): и шерсть, и апельсины, и перецъ—захочешь птичьего молока, такъ и того найдешь“; на то у него помѣстья и въ Италіи, и въ Сициліи, и въ Африкѣ, и еще гдѣ угодно. Огромности хозяйства соотвѣтствуютъ штаты прислуги: „не наберется и десятой части, которая бы знала своего господина“. А прислуга—это все маленькія хозяйства: мужъ, жена, дѣти; и всѣ эти хозяйства находятся въ экономической зависимости отъ центрального очага дома и въ экономическихъ сношеніяхъ между собой. Допустимъ, что рабы получали свое пропитаніе и прочіе предметы потребленія натурой—бережливые охотно уменьшали свою порцію, чтобы изъ такихъ маленькихъ экономій составлять себѣ свое частное состояніе, свое *rescuium*... Впрочемъ, это еще довольно примитивный способъ, практиковавшійся въ эпоху Теренція, но въ нашу только въ очень скромныхъ хозяйствахъ: тотъ Меланѣй, рабъ Публия Деція, который, какъ мы видѣли выше, былъ магистромъ коллегіи и перестроилъ на свой счетъ ея зданіе, нажилъ свое *rescuium*, конечно, не такимъ образомъ. Духъ спекуляціи и барышничества отъ господъ перешелъ къ рабамъ: денежное хозяйство было въ ходу внутри каждаго отдѣльнаго, болѣе или менѣе крупнаго дома. А для такового требовались деньги—и притомъ, для внутреннихъ оборотовъ, деньги свои, домашнія, но такія, которыя можно бы было во всякую минуту размѣнять на государственныя въ центральной домашней

кассѣ. Такими деньгами были именно наши тессеры, выпускаемыя отъ имени хозяина и такъ или иначе имъ гарантированныя. Теперь намъ понятно, почему въ императорскую эпоху такъ мало чеканилось мелкой размѣнной монеты: римскіе маленькіе люди, будь то рабы или кліенты, естественно группировались вокругъ крупныхъ богатыхъ домовъ и пользовались поэтому ихъ денежными знаками. Конечно, эти знаки юридически имѣли цѣнность только въ домашнемъ хозяйствѣ того дома, который ихъ выпускалъ; но само собою разумѣется, что ихъ принимали и во всемъ томъ районѣ, который охватывала его слава. Отчего было торговцу мясного или овощнаго ряда не принимать отъ рабовъ и кліентовъ хорошо аккредитованнаго дома его тессеры, которыя онѣ могъ во всякую минуту размѣнять въ домашней конторѣ на государственную монету? Откажется—тѣмъ хуже для него: онѣ перейдутъ къ его конкуренту. Конечно, дѣло было сопряжено съ нѣкоторымъ рискомъ: стоитъ хорошо аккредитованному дому прогорѣть—и его тессеры придется продавать на вѣсѣ. Но такъ какъ ихъ цѣнность какъ монеты была и такъ не Богъ вѣсть какая, то кризисы могли быть лишь самые незначительные; можно быть увѣреннымъ, что наши тессеры никого по міру не пустили.

Да, это очень интересная страница изъ экономическаго быта древняго Рима, которую намъ раскрываютъ наши тессеры—и притомъ замѣтите, только онѣ: здѣсь еще болѣе, чѣмъ въ предыдущей главѣ, тессеры являются нашимъ основнымъ и исключительнымъ источникомъ.—Но какъ же распознать наши частныя домовыя тессеры и выдѣлить ихъ изъ числа прочихъ? Вполнѣ естественно, прежде всего, что, будучи выпущены отъ имени частнаго лица, онѣ должны носить на себѣ его имя; вотъ это-то имя, при отсутствіи всего, что могло бы указывать на какое-нибудь другое назначеніе, и будетъ характеризовать наши тессеры, какъ таковыя. Стоитъ пробѣжать эту очень многочисленную серію, описаніе которой начинается у автора съ № 1103 и идетъ до 1572; не думайте, что насъ тутъ встрѣтятъ одни только голыя имена. Конечно, есть и такія: если упомянутая уже выше Азинія Тираннида сочла свое выписанное полностью имя достаточнымъ украшеніемъ своей тессеры, то это вполнѣ простительно. Когда-то, будучи еще

просто Тираннидой и, слѣдовательно, рабой, она была хозяйкой извознаго предпріятія и носила эмблемой свою кормилицу, лошадь; теперь, разбогатѣвъ и получивъ со свободой гражданство, она болѣе всего дорожить тѣмъ, чтобы ее знали какъ Азинію Тиранниду, благородную римскую гражданку, „гентилку“ знаменитыхъ Азиніевъ Полліоновъ и Азиніевъ Галловъ. У другихъ фантазія болѣе плодovitа. Такъ нерѣдко встрѣчающіяся имена *Fortunatus*, *Fortunata* такъ и напрашивались на символъ: ихъ носители охотно изображаютъ Форту на оборотѣ своихъ тессеръ. По такой же причинѣ и нѣкто Аквилій изобразилъ на своихъ тессерахъ орла; положимъ, онъ имѣлъ бы такое же точно право производить свое имя отъ *aqua*, какъ и отъ *aquila*, но мы вполнѣ понимаемъ, что онъ предпочелъ послѣднее. Хорошаго знатока греческой міѳологіи должны мы признать въ Лихасѣ, хотя онъ и былъ повидимому рабомъ: онъ читалъ или видѣлъ на сценѣ „Геракла Этейскаго“ Сенеки и зналъ поэтому, что его героическій тезка былъ нѣкогда брошенъ Геракломъ объ еврейскую скалу; на этомъ основаніи онъ и воспроизвелъ голову этого популярнаго героя на оборотѣ своей тессеры. Публий Глитій Галль далъ намъ свой собственный портретъ, которымъ теперь можно любоваться на табл. IV атласа подъ № 33 (нельзя сказать, чтобы онъ вышелъ въ особенно авантажномъ видѣ), а затѣмъ, на оборотѣ, свой символъ: пѣтуха съ вѣнкомъ въ клювѣ; видно, онъ предпочиталъ производить себя отъ пѣтуха (*gallus*), чѣмъ отъ галловъ. Но особенно отличился Г. Юлій Катъ: обладая однимъ изъ самыхъ древнихъ и аристократическихъ римскихъ прозвищъ, онъ позорно забылъ объ его прекрасномъ значеніи (*catus*—„умный“) и, сблизивъ его невольно съ простонароднымъ *catus*—„котъ“, изобразилъ на оборотѣ своей тессеры, вмѣсто Минервы, это четвероногое съ характерно приподнятымъ хвостомъ.

А впрочемъ, такъ какъ во главѣ хозяйства стоятъ двое, мужъ и жена, *Gaius et Gaia*, то и тессеры издаются иногда отъ имени обоихъ; особенно ясна тутъ описанная подъ № 1195, дающая на лицевой сторонѣ женскій портретъ съ приписью *Curtia Flacci* (т.-е. Курція, жена Флакка), а на оборотѣ— мужской портретъ съ приписью *Flaccus*. Впрочемъ, читатель

не долженъ видѣть тутъ признака особой галантности Флакка въ томъ, что его супругѣ предоставлена „лицевая“ сторона; это—фантазія не то г. Ростовцева, не то безыменнаго перваго издателя тессеры, описаніемъ котораго онъ воспользовался. „Мужа и жену“, продолжаетъ нашъ авторъ (стр. 193), имѣютъ въ виду и тессеры съ изображеніемъ двухъ змѣй на одной сторонѣ“, причемъ я долженъ замѣтить, что для знакомаго съ древнимъ міромъ человѣка это замѣчаніе звучитъ не такъ дико, какъ для обыкновеннаго читателя: змѣй былъ дѣйствительно у древнихъ римлянъ символомъ „генія“ человѣка, того загадочнаго божественнаго начала въ его натурѣ, о значеніи котораго я прошу сравнить свою статью о римской религіи (Вѣстн. Евр. 1903, янв., стр. 19). А съ этимъ мы приближаемся къ довольно обширной категоріи частныхъ тессеръ, дающихъ вмѣстѣ съ невразумительными для насъ буквами, изображеніе этого генія, либо въ видѣ змѣя, согласно только-что сказанному, либо въ человѣческомъ видѣ.

Но это еще не все. Можно было ограничиться именемъ хозяина, можно было снабдить его извлеченнымъ изъ имени символомъ, этимъ зародышемъ нашего герба, можно было изобразить хозяйскаго генія, но можно было также, и это было самое лучшее, отдать тессеры подъ покровительство того божества, которое пользовалось особымъ почитаніемъ хозяина, и, стало быть, его челяди. Такихъ тессеръ намъ сохранилось довольно много; но наше уваженіе къ благочестію ихъ эмиссіонеровъ нѣсколько расхолаживается при обзорѣнн тѣхъ божествъ, которыя на нихъ изображены. Нѣтъ или почти нѣтъ тѣхъ старинныхъ римскихъ боговъ, которые взростили молодое государство—Марса, Яна, Цереры, Юноны; самъ Юпитеръ почти что забытъ—что дѣлать, громовержецъ въ столицѣ не особенно страшень; нѣсколько популярнѣе Аполлонъ и Діана, культъ которыхъ былъ особенно выдвинутъ Августомъ, но и ихъ затмили боги матеріальной удачи, Меркурій и Викторія, особенно же—коллективное божество позднѣйшей римской религіи, Фортуна, встрѣчающаяся такъ же часто, какъ всѣ другія божества вмѣстѣ взятыя. Не будемъ, однако, несправедливы: должно принять въ разсчетъ также и назначеніе тессеръ. Онѣ были суррогатомъ денегъ, а деньги сами по себѣ—вещь ма-

теріальная. Неудивительно, поэтому, что и божества къ этому дѣлу подбирались такія же матеріальныя: Юпитеръ съ высоты Капитолія охранялъ величіе римской державы,—въ покровители крупнаго и мелкаго барышничества онъ бы не пошелъ и, пожалуй, послалъ бы *infortunium* тѣмъ, кто сталъ бы призывать его всуе.

Такимъ образомъ, наши частныя тессеры, помимо экономического значенія, знакомятъ насъ также и съ нѣкоторыми интимными сторонами домашней жизни древнихъ римлянъ: та же откровенность, что и выше, проявляется и здѣсь. Но главное ихъ значеніе все-таки экономическое, и то, чему онѣ насъ здѣсь учатъ, это—гораздо бѣльшая важность частнаго почина въ древности сравнительно съ нашей эпохой. Это явленіе вполне аналогично тѣмъ, которыя давно уже были извѣстны: домъ-государство, такъ рельефно обрисовывающійся въ своей религіозной, административной, судебной, воспитательной и т. д. роли, вполне естественно представляется намъ теперь самобытной единицей и въ области денежнаго хозяйства—открытіе г. Ростовцева вполне вяжется со всей прочей фізіономіей древне-римскаго дома, и въ этомъ заключается, разумѣется, лишній залогъ его убѣдительности. Но онъ имъ не удовольствовался, или, вѣрнѣе: онъ искалъ подтвержденія не въ прочихъ чертахъ древне-римскаго дома, а въ аналогичныхъ институтахъ болѣе новыхъ временъ. Какъ въ древнемъ Римѣ, такъ и въ Парижѣ и Лондонѣ XV и XVI в. недостатокъ государственной размѣнной монеты повелъ къ тому, что частныя дома стали издавать серіи свинцовыхъ и другихъ тѣггевъ или *tokens*, снабжая ихъ, для удостовѣренія подлинности, своими гербами или портретами своихъ главъ. „Такимъ образомъ“, говоритъ нашъ авторъ (стр. 200), „наши тессеры привели насъ абсолютно къ тѣмъ же результатамъ, къ которымъ привела цѣлый рядъ ученыхъ несравненно болѣе богатая серія памятниковъ, относящаяся къ временамъ, внутренняя жизнь которыхъ извѣстна намъ гораздо лучше, чѣмъ жизнь I—II вв. по Р. Х.“. Конечно, этому сближенію можно только порадоваться; оно лишній разъ подтверждаетъ то, что было выведено изъ вполне надежныхъ основаній.

8.

Дальнѣйшее насъ не касается. Вполнѣ естественно, что авторъ, желая всесторонне использовать свой матеріалъ, занялся въ слѣдующей главѣ своей книги изображеніями на тессерахъ съ художественной точки зрѣнія (стр. 201 сл.), изучая зависимость тессерныхъ типовъ отъ монетъ, съ одной стороны, и рѣзныхъ камней—съ другой; естественно также, что онъ, посвящая свою *Sylloge* почти исключительно столичнымъ тессерамъ, пожелалъ дать въ видѣ приложенія къ своему изслѣдованію описъ италійскихъ и провинціальныхъ тессеръ (стр. 241—302). Все это будетъ съ благодарностью принято специалистами, но къ нашей темѣ отношенія не имѣетъ: насъ интересовали тессеры исключительно какъ источникъ древнеримскаго быта.

Скорѣе насъ могли бы касаться тѣ многочисленныя тессеры, которыя у автора въ *Sylloge* помѣщены подъ унылымъ заголовкомъ *tesserae incertae*; составляютъ онѣ, къ сожалѣнію, ббольшую половину всего числа. Содержаніе ихъ довольно разнообразное: изображенія боговъ, листья, вѣнки, пальмовыя вѣтви, масса непонятныхъ для насъ сокращеній—но о назначеніи невозможно сказать что-либо опредѣленное. Положимъ, авторъ смотритъ на дѣло не очень пессимистически: его успѣхъ внушаетъ ему надежду, что другимъ удастся, пользуясь его методомъ, выдѣлить еще нѣсколько однородныхъ серій. При соединяемся къ этой надеждѣ; но, пока дѣло не сдѣлано, источникомъ древне-римскаго быта эти тессеры служить не могутъ. Такъ-то и съ этой точки зрѣнія нашъ обзоръ пока конченъ.

Многому ли онъ насъ научилъ? Передъ читателемъ прошло нѣсколько картинъ, охватывающихъ, въ своей совокупности, не малую часть римской общественной жизни: даровая раздача хлѣба бѣднымъ римскимъ гражданамъ, даровые билеты имъ же на игры и зрѣлища, организація римской знатной молодежи, какъ столичной, такъ и провинціальной, жизнь римскихъ коллегій маленькихъ людей съ ихъ спектаклями и пирушками, торгово-промышленныя предпріятія, наконецъ, сложное хозяйство крупныхъ частныхъ домовъ... Но, можно спросить, могутъ ли наши тессеры считаться единственнымъ источникомъ

для всего этого? Нѣтъ, конечно. За исключеніемъ послѣдней картины, матеріалъ которой мы, слѣдуя примѣру автора, цѣликомъ заимствовали изъ тессеръ,—онѣ какъ источникъ конкурируютъ съ другими источниками какъ литературнаго, такъ и эпиграфическаго и другого характера. Но и тамъ онѣ сохраняютъ свое значеніе какъ самостоятельный, хотя и не самодовлѣющій источникъ: нигдѣ онѣ не ограничиваются повтореніемъ того, что намъ уже было извѣстно и такъ—вездѣ онѣ дополняютъ наши свѣдѣнія, помогаютъ намъ дорисовывать свои картины то въ болѣе, то въ менѣе существенныхъ частяхъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, притворимъ на минуту окно, которое онѣ намъ открыли въ римское прошлое; насколько сѣзвится нашъ горизонтъ! Конечно, о римскихъ фрументацияхъ и играхъ, о *panis et circenses* мы знали бы и такъ, но пропали бы не только наглядныя свѣдѣнія объ организациі этого дѣла, которыми мы обязаны имъ, но и то тонкое оттѣненіе императорской политики по отношенію къ нему, которое называется въ большемъ или меньшемъ привлеченіи къ нему личности правящаго императора. Равнымъ образомъ мы не изъ тессеръ узнали объ организациі римской молодежи; но безъ нихъ мы не знали бы объ ея участіи во всенародныхъ играхъ и о покровительствѣ этому дѣлу императоровъ, а главное—не знали бы о томъ, насколько примѣръ столицы нашелъ себѣ подражаніе со стороны муниципальной и провинціальной знати. Дѣятельность коллегій намъ извѣстна почти исключительно по надписямъ: тессеры дополняютъ лишь нѣкоторыя частности, возстановляя, главнымъ образомъ, параллель между государственной и общественной благотворительностью. Гораздо самостоятельнѣе ихъ роль по отношенію къ торгово-промышленнымъ предпріятіямъ,—прошу вспомнить хотя бы сказанное о пассажирскихъ билетахъ для легкаго судоходства по Тибру,—не говоря уже о частныхъ хозяйствахъ, которые только благодаря имъ намъ стали извѣстны въ своей финансовой самобытности. Этого, полагаю я, достаточно для выясненія важности новаго памятника,—тѣмъ болѣе, если сообразить, что г. Ростовцевъ имѣетъ полное право называть себя его первымъ изслѣдователемъ, и что его преемники, пользуясь собраннымъ имъ матеріаломъ, несомнѣнно прибавятъ не мало новаго къ тому, чтѣ нашелъ онъ.

ОСТРАКОЛОГІЯ.

I.

Слова, стоящаго въ заголовкѣ этой статьи, читатель ни въ одномъ словарѣ не найдетъ: все же мы смѣемъ надѣяться, что его звукъ будетъ не вполне чуждъ его уху. Не говоря уже о томъ, что оно — точнѣе, его корень — понынѣ живетъ въ русскомъ словѣ „устрица“ (этимологическая связь будетъ ясна изъ дальнѣйшаго) — всякій интеллигентный человѣкъ слыхалъ объ „остракизмѣ“, и многіе, вѣроятно, помнятъ анекдотъ объ Аристидѣ, которому пришлось самому, по просьбѣ неграмотнаго гражданина, написать свое имя на черепкѣ („остракѣ“), осуждающемъ его на изгнаніе. — „Да развѣ ты знаешь Аристида?“ — „Нѣтъ“. — „За что же ты его изгоняешь?“ — „Да мнѣ надоѣло, что всѣ называютъ его справедливымъ“. — Въ этомъ анекдотѣ много психологической глубины, но насъ здѣсь интересуетъ не нравственный обликъ почтеннаго Стримодора (или какъ тамъ его), а исключительно его черепокъ. Къ чему такой неудобный способъ баллотировки? — Онъ перестанетъ казаться таковымъ, если припомнить: 1) что бумага тогда не было и 2) что аѳинскія фабрики глиняныхъ издѣлій славились на всю Грецію и даже внѣ ея предѣловъ. А на глиняномъ черепкѣ — достаточно свѣтломъ, достаточно тонкомъ, достаточно гладкомъ — можно было безъ особеннаго неудобства писать не только имена добрыхъ друзей, но и

болѣе интересныя вещи, и, между прочимъ, — таможенные и другія росписки. Такъ-то посуда древнихъ, проживъ свой вѣкъ въ качествѣ цѣльной и два вѣка въ качествѣ битой, просуществовала еще двадцать вѣковъ въ качествѣ очень цѣннаго научнаго источника.

Случилось это, впрочемъ, не въ Греціи, отъ которой намъ, по климатическимъ условіямъ, сохранено очень немного исписанныхъ черепковъ, а въ греческомъ Египтѣ птолемеевской и римской эпохъ. Глиняная посуда изготовлялась въ Египтѣ съ давнихъ поръ, но обычай пользоваться глиняными черепками для росписокъ былъ введенъ, повидимому, лишь греками по завоеваніи этой страны Александромъ Великимъ. Начиная съ этого времени, мы располагаемъ великимъ множествомъ исписанныхъ черепковъ; съ четвертаго вѣка по Р. Х., однако, ихъ дѣлается значительно меньше. Объясняютъ это тѣмъ, что состоявшіяся къ началу этого вѣка коренныя реформы Діоклетіана измѣнили практиковавшійся раньше обычай.

II.

Поистинѣ чудесна, судя по описаніямъ очевидцевъ, сохранность этихъ двухтысячелѣтнихъ грамотъ. „Письмена такъ ясны и отчетливы, чернила такъ свѣжи, какъ будто запись была сдѣлана сегодня“. Но этой сохранностью мы обязаны исключительно египетскому песку, покрывавшему наши черепки все это промежуточное время: лишь только ихъ переносить въ Европу, какъ начинается разрушительная работа атмосферической влаги; проникая черезъ поры глины, она соединяется съ входящими въ ея составъ солями, вслѣдствіе чего по всей поверхности черепка вырастаетъ какой-то мохъ соляныхъ кристалловъ, легкій точно пухъ одуванчика, разѣдая и разрушая поверхность, а съ нею и драгоценныя письма. Въ послѣднее время, правда, найденъ способъ путемъ прощелачиванія черепковъ противодѣйствовать этой губительной кристаллизаци; но оправдаются ли возлагаемыя на это изобрѣтеніе надежды — покажетъ будущее, и всякій обладатель черепковъ поступитъ благоразумнѣе, если, не медля, предастъ гласности содержаніе своихъ сокровищъ.

А такихъ обладателей не мало. Начиная съ того самаго времени, когда интересы археологовъ впервые обратились на Египетъ, раскопки не переставали обнаруживать, среди другихъ памятниковъ, также и исписанные черепки, и болѣе или менѣе крупныя ихъ коллекціи имѣются и въ музеяхъ, и у частныхъ лицъ. Не очень незначительна и остракологическая литература; списокъ публикацій занимаетъ почти двѣ страницы, и первая изъ нихъ по времени помѣчена великимъ именемъ — именемъ Б. Г. Нибура. Но всѣ онѣ носятъ случайный и отрывочный характеръ; лишь нынѣ историку древняго міра дана возможность извлекать серьезную пользу для своей науки изъ сохраненнаго египетскими песками богатаго матеріала. Этой возможностью онъ обязанъ замѣчательному труду бреславльскаго профессора У. Вилькена (U. Wilcken) подъ загл. *Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien*“. Трудъ этотъ появился въ Лейпцигѣ въ 1899 г.; вотъ почему мы имѣемъ право назвать остракологию „новымъ“ источникомъ экономической исторіи древняго міра. Состоитъ онъ изъ двухъ томовъ: текстъ самихъ черепковъ — всего 1624 номера — сообщенъ во второмъ, меньшемъ томѣ; что же касается перваго, то онъ на 823 стр. даетъ рядъ изслѣдованій о тѣхъ различныхъ вопросахъ, на которые наши черепки проливаютъ новый свѣтъ. Уже одни размѣры этого труда, который авторъ *печаталъ* въ теченіе десяти лѣтъ, даютъ намъ представленіе о великомъ интересѣ новыхъ текстовъ для исторической науки.

Въ чемъ же, однако, состоитъ этотъ интересъ?

III.

Не совѣтую читателю — даже знакомому съ греческимъ языкомъ — сдѣлать попытку убѣдиться въ этомъ интересѣ непосредственно путемъ чтенія соединенныхъ во второмъ томѣ Вилькена документовъ. Трудно представить себѣ болѣе скучное времяпрепровожденіе. „Внесъ Змеиой, сынъ Пахнубія, подушной подати на пятый годъ Тиберія Цезаря Августа 27-го Фармуѳи восемь (8) драхмъ серебра“. „Отъ податного инспектора Пахомпатенефота: внесъ Пахнубій, сынъ Фанофія, матери Тахомтбекін, въ пользу рѣчной полиціи ассигнаціями

8 драхмъ, десять оболовъ, въ восьмой годъ государя Адриана, 11 Фармуѳи“. „Мимъ съ компаньонами, откупщики податей острова, кланяются Памонѳу. Получили отъ тебя въ счетъ твоей недоимки въ восемь драхмъ—четыре драхмы въ 5 годъ государя Нерона, 2 Фамеѳова“. И такъ далѣе, на протяженіи 429 страницъ.

А впрочемъ, — терпѣніе и здѣсь не остается безъ награды: мало-по-малу на общемъ сѣромъ фонѣ датъ и цифръ выделяются болѣе или менѣе свѣтлыя точки. Прежде всего бросаются въ глаза—отмѣченные, вѣроятно, и читателямъ—имена собственныя. Нельзя сказать, чтобы они были особенно благозвучны. Мы не знаемъ, существовало ли въ Александріи распоряженіе, чтобы лица египетскаго происхожденія выписывали полностью свои имена и отчества на вывѣскахъ своихъ лавокъ; но если да, то мы легко можемъ представить себѣ, при извѣстной въ древности насмѣшливости греческаго населенія этого города, повсемѣстные взрывы дешеваго, но вполне гигиеническаго смѣха. Для серьезнаго человѣка болѣе интересно слѣдующее. Всѣ эти люди, имена которыхъ выписаны выше и въ интересахъ наборщика и корректора повторены не будутъ,—египтяне, говорившіе между собой несомнѣнно по-египетски; а между тѣмъ въ своихъ роспискахъ они пользуются греческимъ языкомъ, и пользуются настолько хорошо, что ошибки противъ правописанія встрѣчаются довольно рѣдко, да и встрѣчающіяся болѣею частью таковы, что новѣйшая педагогика отнесла бы ихъ къ разряду „психическихъ“ ошибокъ. Какъ это объяснить? Скажутъ: властью завоевателей. Прекрасно. Но вѣдь до грековъ персы въ теченіе двухъ столѣтій владѣли Египтомъ по праву завоевателей; власть ихъ была даже гораздо сильнѣе, такъ какъ Египетъ былъ для нихъ лишь провинціею, между тѣмъ какъ у греческихъ завоевателей—Птолемеевъ не было силы внѣ завоеванной ими страны. И все-таки отъ персидскаго языка и слѣда не осталось послѣ Александра Великаго, между тѣмъ какъ греческій языкъ и послѣ своихъ насадителей продолжалъ прочно держаться въ странѣ, сохраняя свое положеніе „языка интеллигенціи“ въ теченіе всего періода римскаго и византійскаго владычества; дѣйствительно, его уничтожилъ лишь самумъ,

поднявшійся съ аравійской пустыни, но уничтожилъ вмѣстѣ съ культурой, носителемъ которой онъ былъ. Тутъ есть надѣ чѣмъ призадуматься—и думы эти будутъ довольно отрадны.

IV.

Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что среди этихъ неудобопроизносимыхъ именъ встрѣчаются и нѣкоторыя очень знакомыя намъ—Пансій, Пахомій, Оннофрій; удивительнаго тутъ ничего нѣтъ, такъ какъ соответственные имена православнаго календаря—имена египетскія, попавшія туда, благодаря духовнымъ подвигамъ египетскихъ монаховъ и отшельниковъ. Съ установленіемъ этого факта исчерпанъ интересъ, представляемый именами—по крайней мѣрѣ для неегиптолога; но сказанное о знаніи ихъ носителями греческаго языка требуетъ оговорки.

Дѣло въ томъ, что во многихъ роспискахъ встрѣчаются прибавленія „писалъ я, такой-то“, часто съ обозначеніемъ должности „податной инспекторъ“, „секретарь“—но это только скрѣпы, гарантирующія подлинность документа.

Есть другія, болѣе недвусмысленныя. Такъ, въ роспискѣ, выданной откупщикомъ Симономъ, сыномъ Іазара, значится: „писалъ Деллусъ, по просьбѣ Симона, такъ какъ послѣдній не умѣетъ писать“; это неудивительно—Симонъ, какъ показываетъ его имя, былъ евреемъ. Въ другой такая приписка: „писалъ вмѣсто него Евментъ, по его просьбѣ, такъ какъ онъ не очень ловко пишетъ“. Значитъ ли это „по неграмотности росписался...“? И въ этомъ не было бы ничего страннаго: вѣдь и тотъ недругъ Аристиды, съ котораго мы начали, находился въ томъ же положеніи. Но нѣтъ; на третьемъ черепкѣ, гдѣ читаемъ совершенно такую же приписку, другимъ почеркомъ прибавлено: „я, Дамонъ, согласенъ съ вышеозначеннымъ“. Итакъ, Дамонъ не былъ неграмотнымъ, а только писалъ „не очень ловко“, то-есть, повидимому, не зналъ сложнаго и отвѣтственнаго канцелярскаго стиля. А если въ случаѣ несобственноручной росписки требуется оговорка, то, значитъ, росписки, гдѣ таковой оговорки нѣтъ, написаны собственноручно, т.-е. всѣ эти Пахнубіи и т. д. знали грамотѣ—

и именно *греческой* грамотѣ. Это опять-таки результатъ утѣшительный.

Мимоходомъ можно отмѣтить и другія бытовья подробности. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сборщики податей начинали текстъ своей росписки съ поклона плательщику—образчикъ приведенъ выше; плательщику было отъ этого, разумѣется, не легче, все же существованіе этого обычая свидѣтельствуешь объ извѣстной гуманности въ отношеніяхъ между обѣими сторонами. — Въ другихъ роспискахъ мы читаемъ приписку: „прежде написаннымъ ты пользоваться не долженъ“, т.-е., выражаясь по-нашему, „прежнюю росписку считать недействительной“; причину выясняетъ намъ сохраненная на одномъ черепкѣ мотивировка: „вслѣдствіе того, что въ нее вкралась ошибка“—лишнее доказательство трудности и отвѣтственности канцелярскаго стиля.

Само собой разумѣется, что всѣ росписки тщательно датированы. Въ этомъ пессимисты могутъ усмотрѣть прорію судьбы: не обидно ли, въ самомъ дѣлѣ, что мы, не знающіе въ точности года Рождества Христова, знаемъ въ то же время очень опредѣленно, что Спужай, сынъ Пмун, уплатилъ свои двѣ драхмы банной пошлины именно 26-го Паини въ 22 годъ Тиберія, т.-е. 20 іюня 35 г. нашей эры? Но оптимисты отвѣтятъ: что же, спасибо и на этомъ. Во-первыхъ, эти точныя датировки помогутъ намъ возстановить всю эволюцію глиняной промышленности Египта за шесть вѣковъ... ну, это, положимъ, не для всѣхъ интересно. Во-вторыхъ, они за тотъ же періодъ даютъ намъ эволюцію греческаго курсивнаго шрифта, а съ нею и возможность датировать другіе, болѣе интересные памятники. А въ третьихъ—благодаря имъ, мы получаемъ возможность приурочивать къ опредѣленному времени и тѣ *экономическіе институты*, о которыхъ говорится въ текстѣ росписокъ.

V.

Въ этомъ послѣднемъ, разумѣется, главная суть. Какъ ни лаконичны наши черепки,—полторы слишкомъ тысячи экземпляровъ составляютъ достаточно почтенный статистическій ма-

теріаль; группируя его въ систематическомъ порядкѣ, сопоставляя однородные документы, объясняя одинъ при помощи другого, мы мало-по-малу возсоздаемъ тотъ фонъ, на которомъ они дѣлаются понятными — податную организацію Египта въ птолемеевскую и римскую эпохи. Правда, черепки являются тутъ не единственнымъ нашимъ источникомъ; есть у насъ и отрывочныя литературныя свидѣтельства въ сочиненіяхъ древнихъ историковъ, есть затѣмъ, и это особенно цѣнно, папирусы, сохраненные тѣми же вѣрными песками страны фараоновъ. Изъ этихъ послѣднихъ мы узнаемъ въ общихъ чертахъ систему податного обложенія Египта указанныхъ эпохъ; черепки относятся къ нимъ, какъ практика относится къ теоріи, какъ иллюстраціи относятся къ текстамъ. Они и оживляютъ теоретическія данныя, и разнообразятъ ихъ, и вносятъ въ нихъ тѣ поправки, которыя вызваны временемъ или мѣстными условіями. Передъ нами проходитъ длинный рядъ разнообразныхъ пошлинъ: подушный оброкъ, ремесленный налогъ, соляной акцизъ, пошлины на хлѣбъ, на плоды, на оръѣи, на растительное масло и т. д., сборы въ пользу различныхъ учреждений, на статую императору... увы! и на нее вималась подушная подать въ 3—4 оболы съ челоѣка, а когда императоровъ было одновременно двое, то и подать была двойная. Передъ нами проходитъ, затѣмъ, и не менѣе длинный рядъ учреждений и должностей, созданныхъ съ цѣлью взиманія пошлинъ. Изъ него мы узнаемъ, что всѣ пошлины, въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, отдавались на откупъ съ публичнаго торга: кто предлагалъ самую крупную сумму, тотъ и получалъ право собирать въ свою пользу опредѣленныя пошлины опредѣленнаго округа. Это не значитъ, однако, что государство предоставляло откупщикамъ право хозяйничать въ пріобрѣтенномъ округѣ: оно приставляло къ нимъ своихъ контролеровъ, а дѣятельность этихъ послѣднихъ была такъ стѣснительна, что надежды на перевыручку было мало для привлеченія откупщиковъ: пришлось прибѣгнуть къ особаго рода десятипроцентному вознагражденію. Все это требовало тщательной и сложной отчетности, и вотъ тутъ-то папирусы конкурируютъ съ черепками: приходныя книги, разумѣется, папирусовыя, и съ начальствомъ полагается сноситься на папирусѣ, но росписки центрального банка откуп-

щикамъ и откупщиковъ плательщикамъ — глиняныя. И вотъ почему онѣ сохранились намъ въ такомъ множествѣ.

VI.

Но, можетъ спросить читатель, какое намъ дѣло до всего этого? Дѣло есть, и выяснить его даже легче, чѣмъ это кажется многимъ. Учрежденія развиваются органически, подобно растеніямъ; настоящее создано прошлымъ и объясняется, поэтому, на основаніи прошлаго. Правда, не всякое прошлое объясняетъ *наше* настоящее; для этого нужно, чтобы оно состояло съ нимъ въ причинной и генеалогической связи. Въ царствѣ аzteковъ тоже была, надо полагать, какая-нибудь податная система; но если бы намъ и удалось ее обнаружить — она не имѣла бы для насъ особеннаго интереса, такъ какъ нѣтъ нитей, которыя бы соединяли культуру аzteковъ съ нашей. Другое дѣло — пtoлемеевскій и римскій Египетъ. Въ настоящее время установлено, что монархія Пtoлемеевъ была въ экономическомъ и финансово-административномъ отношеніи мостомъ между Греціей и Римомъ: здѣсь институты греческихъ республикъ получили то широкое, великодержавное развитіе, которое сдѣлало ихъ способными войти въ составъ исполинскаго государственнаго организма — императорскаго Рима. А императорскій Римъ — это громадный культурный бассейнъ, западный рукавъ котораго цивилизовалъ романскія и германскія государства новой Европы, а восточный, именуемый Византіей — Россію. Это — фактъ, игнорировать который опасно, такъ какъ кара за это игнорированіе — невѣжество со всѣми его умственными и нравственными послѣдствіями. Не можетъ быть національныхъ и хронологическихъ перегородокъ тамъ, гдѣ имѣется стройная, непрерывная, хотя и не прямолинейная эволюція; въ выясненіи цѣльности этой эволюціи и заключается главная заслуга молодой экономической исторіи цивилизованнаго міра, при чемъ нѣкоторая доля этой заслуги приходится также и на новорожденную „остракологию“.

РАБОЧАЯ ПѢСЕНКА.

„Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется“...
Некрасовъ.

I.

Да, этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется, — и не у насъ однихъ, а вездѣ тамъ, гдѣ руками и вообще силами человѣка совершается тяжелая физическая работа; именно работа, а не одна только регулировка производимаго силами природы труда. Когда-то признакомъ каждаго поселенія людей была „пѣсня, подобная стону“, раздававшаяся изъ устъ мукомола, или, чаще, мукомолки; признакъ этотъ былъ столь характеренъ и разительнъ, что у пророка Іереміи его прекращеніе является равносильнымъ опустѣнію земли. Это было то время, когда не было другой мельницы, кромѣ ручной: мукомолка упиралась руками и грудью въ шестъ, приводившій въ движеніе верхній жерновъ, и начиналось утомительное, однообразное круженье, сопровождаемое монотоннымъ скрежетомъ мельницы и столь же монотонной пѣсней работницы. Экземпляръ такой пѣсни изъ древняго міра намъ случайно сохранился; его родина — Лезбось, его время — эпоха процвѣтанія этого острова подъ главенствомъ города Митилены и его правителя, мудраго Питтака, который, происходя изъ низкаго рода, достигъ высшаго въ своемъ государствѣ сана. Его-то и поминали въ своей пѣснѣ лезбоссія мукомолки:

Мели, мельница, мели;
Вѣдь и Питтакъ нашъ мололъ,
Что великой Митиленой нынѣ править.

Если принять во вниманіе, что работа шла очень медленно, и что поэтому число участницъ было, сравнительно, большое, то можно будетъ представить себѣ роль „мукомольной пѣсни“ въ акустической фізіономіи, если можно такъ выразиться, античной деревни. Но вотъ послѣдовало открытіе, кореннымъ образомъ, хотя и не сразу, измѣнившее эту фізіономію: была изобрѣтена водяная мельница. Съ какимъ вздохомъ облегченія ее привѣтствовалъ древній міръ,—объ этомъ мы можемъ судить по одной, тоже случайно сохранившейся въ греческой автологіи эпиграммѣ:

Дайте рукамъ отдохнуть, мукомолки; спокойно дремлите,
Хоть бы про близкій разсвѣтъ громко пѣтухъ голосилъ:
Нимфамъ пучины рѣчной вашъ трудъ поручила Церера;
Какъ зарѣзвились онѣ, ободъ крутя колеса!
Видите? Ось завертѣлась, а оси крученныя спицы
Съ рокотомъ движутъ глухимъ тяжесть двухъ паръ жернововъ!
Снова намъ вѣкъ паступилъ золотой: безъ труда и усилій
Начали снова вкушать даръ мы Цереры святой.

Чья работа, того и пѣсня: пѣсню мукомолки смѣнила пѣсня Нимфъ рѣчной пучины. Мы любимъ эту пѣсню и понимаемъ Шуберта, который взялъ ее въ аккомпаниментъ своихъ прелестныхъ Müllerlieder; со всѣмъ тѣмъ приходится признать, что мукомольная пѣсенка отошла въ вѣчность. Та же участь постигаетъ на нашихъ глазахъ и ту бурлацкую пѣсню, которая еще недавно носилась „надъ великою русской рѣкой“; и ее уже смѣняетъ другая пѣсня, гораздо менѣе пріятная нашему слуху, чѣмъ та пѣсня Нимфъ,—тяжелое, сердитое пыхтѣніе парохода-буксира. То же самое вездѣ: съ расцвѣтомъ техники въ ея различныхъ отрасляхъ повелительно-безстрастный шумъ машины убиваетъ скромную и участливую рабочую пѣсенку; еще нѣсколько десятилѣтій—и отъ пѣсни-стона останется одно только воспоминаніе.

II.

Слѣдуетъ ли желать наступленія этого времени, или опасаться его? И то, и другое одинаково бесполезно. Какими чувствами мы ни сопровождали бы совершающуюся на нашихъ глазахъ эволюцію, мы ея не остановимъ, не удержимъ въ живыхъ того, что осуждено на смерть. Рабочая пѣсенка осуждена; съ ней и обращаются, какъ съ осужденной,—хотятъ, балуютъ. Цѣлые отряды „фольклористовъ“ заняты ея выслѣживаніемъ и записываніемъ; ее издають въ опрятныхъ сборникахъ, въ подлинныхъ текстахъ, съ нотами подлинныхъ напѣвовъ и даже, прости Господи, съ аккомпаниментомъ. Мало того: ее переносятъ въ концертныя залы, свои и заграничныя; специально ту некрасовскую навѣрное большее число людей слышало въ исполненіи мужскихъ хоровъ, чѣмъ при ея первоначальной обстановкѣ, изъ многострадальной груди волжскихъ бурлаковъ.

Не мало чести выпало на долю рабочей пѣсенки; ласкаетъ ее мода, но уважаетъ и наука. Участіе этой послѣдней сказывается менѣ шумнымъ и замѣтнымъ образомъ, но зато оно, смѣемъ думать, надежнѣе и долговѣчнѣе; о немъ и будетъ рѣчь въ нижеслѣдующихъ строкахъ.

Дѣло въ томъ, что, по теоріи извѣстнаго нѣмецкаго экономиста Карла Бюхера, рабочая пѣсенка представляется не болѣе, не менѣе, какъ родоначальницей поэзіи и музыки вообще. Свои изслѣдованія, заведшія его далеко внѣ области его спеціальной науки, Бюхеръ обнародовалъ въ 1897 г. въ трудахъ саксонской „Gesellschaft der Wissenschaften“—не какъ нѣчто законченное, а лишь для того, чтобы обратить вниманіе спеціалистовъ на затронутые имъ вопросы. И дѣйствительно, вниманіе было обращено; отовсюду—какъ это часто случается въ Германіи, при той завидной коопераціи наукъ и ученыхъ, о которой мы здѣсь и понятія не имѣемъ,—посыпались новыя матеріалы, возраженія, поправки, указанія; въ результатѣ вышло, что уже черезъ два года авторъ могъ выпустить второе изданіе своего труда въ видѣ солидной самодовлѣющей книги („Arbeit und Rhythmus“. Лейпцигъ, 1899 г.). Эта книга была встрѣчена съ еще болѣшимъ сочувствіемъ представителями са-

мыхъ разнообразныхъ наукъ: даже классическая филологія, столь ревниво оберегающая свой участокъ отъ набѣговъ иска- телей приключеній изъ смежныхъ областей,—даже она прину- ждена была объявить устами одного изъ своихъ корифеевъ, У. ф.-Виламовица, что автору удалось обнаружить „если не корень вообще, то одинъ изъ корней поэзіи“.

Какъ это понимать?

Прежде всего спрашивается, что такое рабочая пѣсня? Отвѣтъ „пѣсня, исполняемая за работой“, ничего не объяс- няетъ, такъ какъ вызываетъ съ своей стороны вопросъ, что такое работа? Экономисты это прекрасно знаютъ... или, по крайней мѣрѣ, говорить, что знаютъ; но ихъ отвѣты, каковы бы они ни были, для нашей цѣли не годятся, такъ какъ вся- кое, претендующее на полноту опредѣленіе нашего понятія должно включить въ себя также и умственную работу, которая, однако, не была и не могла быть стимуломъ къ пѣснѣ. Огра- ничиваясь, поэтому, физическою работою,—какъ это и дѣлалъ Бюхеръ,—можно будетъ сказать, что работа есть движеніе мышцъ, направленное на достиженіе лежащей внѣ его самого полезной цѣли. Опредѣленіе это не сразу, быть можетъ, по- кажется вразумительнымъ; но достаточно будетъ напомнить объ игрѣ, цѣль которой заключается въ ней самой, и оно станетъ понятнымъ. Конечно, придирки остаются возможными; такъ, „моціонъ“ никто не назоветъ работою, а между тѣмъ онъ подъ наше опредѣленіе подходитъ; съ другой стороны, слово „полезной“ надо замѣнить „сознаваемой, какъ полезная“, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, рабочіе, сооружавшіе костеръ для Іоанна Гуса, останутся за рубежомъ. Всѣ эти придирки ступшеваются передъ кореннымъ недостаткомъ опредѣленія, который дѣлаетъ его негоднымъ для всякаго историческаго изслѣдованія о работѣ; мы стараемся провести различіе между работою и игрою, а между тѣмъ въ первобытномъ состояніи человѣка оба эти понятія совпадаютъ. Работа дикаря вызвана столько же стремленіемъ дать выходъ накопившемуся запасу энергіи, сколько и желаніемъ достигнуть лежащей внѣ его работы полезной цѣли; это—не чистая работа, а *работа-игра*, и это обстоятельство не осталось безъ вліянія на характеръ рабочей пѣсенки.

Итакъ, спросить: работа-игра создала пѣсню-стонъ?

Нѣтъ, не она; для того, чтобы рабочая пѣсенка стала пѣсней-стономъ — для этого первобытная работа-игра сама должна была превратиться въ работу-пытку.

III.

Всѣ растительныя отправленія человѣческаго организма подчинены ритму; въ равномерныхъ интервалахъ подымается и опускается наша грудь, въ равномерныхъ интервалахъ бьется нашъ пульсъ, этотъ живой метрономъ, регулирующий игру жизни въ нашихъ жилахъ. Устраните мысленно сознание изъ нашего организма, и всѣ отправленія этой жизни будутъ строго соблюдать опредѣленный ритмъ вплоть до той великой паузы, которую мы называемъ смертью. Сознаніемъ нарушается ритмъ; не зная его само для своихъ собственныхъ функцій, оно прерываетъ его также и въ тѣхъ растительныхъ отправленіяхъ нашего тѣла, на которыя оно можетъ распространить свою власть; ему мы обязаны всѣми ускореніями и замедленіями ритма въ работѣ какъ легкихъ, такъ и кровообращенія. Въ связи съ этимъ различіемъ стоитъ другое. Неритмическія функціи сознанія утомляютъ нашъ организмъ; онъ требуетъ отдыха отъ нихъ въ видѣ сна. Напротивъ, ритмическія функціи дыханія и кровообращенія насъ не утомляютъ; онѣ поэтому и не прерываются, продолжаясь и во время сна.

Отсюда слѣдуетъ, что всякая физическая работа будетъ насъ тѣмъ болѣе утомлять, чѣмъ болѣе она будетъ находиться въ зависимости отъ сознанія, и тѣмъ менѣе, чѣмъ тѣснѣе будетъ ея связь съ растительными отправленіями нашего организма; естественно стремясь дѣлать свою работу менѣе утомительной, человѣкъ этимъ самымъ стремится превращать ее изъ сознательной въ *автоматическую*. А это, въ свою очередь, имѣетъ послѣдствіемъ *ритмичность* работы: будучи поставлена въ связь съ растительными отправленіями организма, она естественно подчиняется ихъ ритму. Итакъ, чѣмъ ритмичнѣе работа, тѣмъ менѣе она утомляетъ насъ; первый шагъ къ облегченію физической работы, это—подчиненіе ея ритму.

Въ этомъ заключается фізіологическое значеніе ритма; въ

этомъ также—поскольку рабочая сила является главнымъ факторомъ политической экономіи—и его экономическое значеніе. И вотъ почему, говоритъ Бюхеръ (стр. 366), „мы не должны вторить современнымъ экономистамъ, признающимъ всякій однообразный трудъ отупляющимъ и въ высшей степени изнуряющимъ. Именно однообразіе работы является величайшимъ благодѣяніемъ для человѣка, пока онъ самъ можетъ опредѣлять темпъ своихъ движеній и можетъ ихъ прекращать по своему желанію; только оно допускаетъ ту ритмичность и автоматичность работы, которая сама по себѣ доставляетъ намъ удовольствіе тѣмъ, что освобождаетъ нашъ духъ и даетъ просторъ фантазіи... Изнуряетъ человѣка только такая однообразная работа, которая не допускаетъ ритма и требуетъ при каждой новой операціи новаго, хотя бы и однороднаго дѣйствія нашего сознанія, въ родѣ сложенія цѣлыхъ колоннъ чиселъ, переписыванія текстовъ и т. д.“. И тутъ же—да будетъ намъ дозволено это отмѣтить—нашъ авторъ дѣлаетъ выписку: „Очень тонкія наблюденія о вліяніи автоматичности на душевное настроеніе работающаго и на качество работы, а также о дѣйствіи препятствій, нарушающихъ ритмическій ходъ работы и требующихъ новаго размысленія, см. у Л. Толстого, „Анна Каренина“, т. I, ч. 3, гл. 4 и 5“.

Къ этому фізіологическому и экономическому значенію ритма присоединяется третье, которое, если угодно, можно назвать соціологическимъ; оно вступаетъ въ силу каждый разъ, когда въ одной и той же работѣ участвуютъ многіе. Всякій наблюдалъ, какъ рабочіе при постройкѣ каменнаго дома перенасываютъ кирпичи изъ нижняго этажа въ верхніе. Это — положительно красивое зрѣлище; красиво оно, благодаря строгому ритму, съ которымъ каждый рабочій, нагибаясь, ловитъ кирпичъ и, выпрямляясь, бросаетъ его товарищу. Здѣсь, однако, ритмъ соблюдается не ради красоты и равнымъ образомъ не исключительно въ видахъ сбереженія силъ: попробуй рабочій нарушить ритмъ—и кирпичъ попадетъ ему въ голову или пролетитъ мимо него.

Вотъ какія обстоятельства содѣйствовали возникновенію ритма въ работѣ; ритмъ этотъ, однако, помимо самой мѣрности движеній работающаго, будучи направленъ на какой-нибудь

внѣшній предметъ, сопровождается звукомъ; сюда относятся не только такіе громкіе звуки, какъ ударъ молотка или „бабы“, плескъ веселъ и т. д., но и такіе менѣе слышныя, какъ свистъ косы или треніе кирпича о мозолистую руку рабочаго. Такимъ образомъ, всякая работа сопровождается своей *пѣсней*, состоящей пока изъ одного только ритмическаго шума; это—пѣсня работы, но еще не рабочая пѣсня.

IV.

„Занятый тяжелой физической работой, человѣкъ въ моментъ крайняго напряженія мышцъ дѣлаетъ такъ наз. инспираціонную паузу, стягивая мускулы голосовой щели и не давая такимъ образомъ выхода сдавленному въ легкихъ воздуху. Съ ослабленіемъ мышцъ спирающій язычекъ выдавливается такъ наз. экспираціоннымъ толчкомъ, причемъ дрожаніе голосовыхъ связокъ имѣетъ послѣдствіемъ громкое выдыханіе, выражающееся, смотря по обстоятельствамъ, либо открытымъ гласнымъ *а, о*, либо глухимъ съ согласнымъ, *уфъ, уиъ* и т. д.“. Такъ объясняетъ одинъ изъ многочисленныхъ совѣтчиковъ и помощниковъ Бюхера, медикъ Оппенгеймъ (стр. 301) физическую потребность человѣка—въ извѣстные моменты своей работы „ухнуть“.

Повторяемое въ извѣстныхъ промежуткахъ, равномерность которыхъ обуславливается ритмомъ самой работы, это „уханье“ стало зародышемъ рабочей пѣсни. Первоначальная рабочая пѣсенка не знаетъ словъ, или состоитъ изъ однихъ только междометій, характеръ которыхъ опредѣляется характеромъ самой работы. Равнымъ образомъ эта пѣсенка не знаетъ или почти не знаетъ напѣва; она состоитъ изъ одного только ритма, совпадающаго съ ритмомъ самой работы, причемъ, однако, ослабленіе напряженія естественно выражается не только ослабленіемъ, но и пониженіемъ звука.

Таково физиологическое происхожденіе рабочей пѣсенки; надобно только помнить, что сами по себѣ физиологическіе факторы дали бы лишь зародышъ таковой, но не ее самоѣ. Все же и въ этомъ своемъ примитивномъ видѣ она—реальная величина, а не плодъ конструкціи; многія изъ сообщаемыхъ

Бюхеромъ рабочихъ пѣсенокъ финскихъ народовъ состоятъ изъ однихъ только ритмическихъ звуковъ, безъ напѣва и словъ; да и въ значительной части вполне развитыхъ и, если можно такъ выразиться, литературныхъ пѣсень междометія образуютъ прочное ядро, вокругъ котораго группируются мѣняющіяся, смотря по обстоятельствамъ, слова. Такова та древне-греческая „дубинушка“, которую мы читаемъ у Аристофана въ его комедіи „Миръ“ (требуется съ помощью канатовъ сдвинуть камень съ отверстія подземелья, въ которое заключена богиня мира Ирена).

Ну-те дружно, ну-те всѣ!
Сейчасъ, сейчасъ конецъ!
Натужьтесь, не слабѣйте,
Тяните молодцомъ!
Вотъ, вотъ сейчасъ конецъ!
О эя дружно, эя всѣ!
О эя, эя, эя, эя, эя!
О эя, эя, эя, эя, эя всѣ!

Но какъ же объяснить происхожденіе тѣхъ двухъ элементовъ, которыхъ не доставало рабочей пѣсенкѣ въ ея первоначальной формѣ—напѣва и словъ?

Первый вопросъ заводитъ насъ въ темную область музыко-медицины; какъ бы мы ни объясняли это явленіе, но фактъ тотъ, что, кромѣ ритма, и напѣвъ имѣетъ *возбуждающее* вліяніе на человѣка. Многочисленные опыты, произведенные представителями экспериментальной психологіи, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ оживляющемъ дѣйствіи мелодіи на утомленный организмъ. Вотъ почему изъ барабаннаго боя, свойственнаго (въ томъ или другомъ видѣ) первобытнымъ народамъ, развился мелодичный маршъ; та же эволюція можетъ быть прослѣжена и въ другихъ сферахъ физической работы. Сначала положеніе мелодіи было непрочное; она подвержена частымъ измѣненіямъ въ сравненіи съ постояннымъ и не мѣняющимся ритмомъ; мало-по-малу она крѣпнеть и вмѣстѣ съ ритмомъ опредѣляетъ акустическую фizioномію рабочей пѣсенки. Что же касается словъ, то ихъ возникновеніе было гораздо болѣе сложнымъ процессомъ.

Первое по старшинству (но отнюдь не по интересу) мѣсто

занимають *слова-сигналы*. Они обязательно должны были явиться при дружной работѣ, особенно при такой, которая требовала возможнаго сосредоточенія рабочей силы для удара, толчка и т. д. Эти слова-сигналы немногимъ отличаются отъ самихъ междометій, тѣмъ болѣе, что и эти междометія, ведущія свое происхожденіе отъ одинокихъ усилій каждаго, при дружномъ характерѣ работы могли и должны были также служить сигналами. Оба эти элемента вмѣстѣ взятые образуютъ остовъ рабочей пѣсенки; ея плоть создалась другимъ путемъ.

V.

Этотъ путь намъ будетъ понятенъ, если мы припомнимъ важный для возникновенія рабочей пѣсенки фактъ, что первоначальная работа человѣка имѣла характеръ *работы-игры*. Въ этомъ элементѣ игры, приправляющемъ работу, заключается зародышъ всякаго искусства; между прочимъ, и поэзіи.

Участіе сознанія, необходимое при началѣ каждой работы, слабѣетъ по мѣрѣ того, какъ сама работа получаетъ автоматическій характеръ. Чѣмъ дальше, тѣмъ менѣе занимается оно тѣлодвиженіями, ставшими механическими; но въ то же время возбужденіе, порожденное ритмомъ, сообщается и сознанію; оно живѣе, энергичнѣе, чѣмъ въ обыкновенное время. Приливающая и не расходуемая на работу сила ищетъ себѣ примѣненія; она естественно находитъ это примѣненіе въ *игрѣ*. Рабочая пѣсенка въ своей лучшей, поэтически-музыкальной части — игра сознанія, освобожденнаго отъ обязанности контролировать работу мускуловъ и возбужденнаго сопровождающимъ эту работу ритмомъ.

А разъ имѣется потребность творчества—за объектами творчества ходить не далеко. Они имѣются въ достаточномъ подборѣ, начиная объектомъ самой работы, продолжая участвующими и присутствующими, затѣмъ — чувствами работающаго и кончая его воспоминаніями.

Объектъ работы естественно возбуждаетъ участіе работающаго, если только онъ заинтересованъ въ его благополучіи, что бываетъ чаще всего при свободной, а не подневольной работѣ. Зависитъ это благополучіе не только отъ доброй воли

работающаго, но и отъ цѣлаго ряда случайностей, которыя первобытный человѣкъ склоненъ приписывать вліянію таинственныхъ силъ. Эти таинственные силы надлежитъ умиливать или запугать теперь же, во время возникновенія предмета, которому онѣ могутъ вредить; такимъ образомъ къ работѣ примѣшивается ворожба, изъ рабочей пѣсни вырастаетъ пѣсня-заговоръ, *carmen* превращается въ *charme*. Но это—слишкомъ важная статья, чтобы къ ней относиться легкомысленно; не всякій рабочій владѣетъ тайнами ворожбы; пожалуй, надежнѣе будетъ за деньги пригласить свѣдущаго человѣка, чтобы онъ пѣлъ за работой. Такъ-то рабочая пѣсенка отдѣляется отъ самого работающаго, порождается новое сословіе — сословіе пѣвцовъ; изъ античнаго міра намъ сохранена среди т.-наз. „гомерическихъ эпиграммъ“ внушительная пѣсня этого рода.

Если вы денегъ дадите, спую, гончары, я вамъ пѣсню.

Вземли молитвамъ, Аенна; десницею печь охраняя,

Дай, чтобы вышли на славу горшки и бутылки и миски,

Чтобъ обожглись хорошенько и прибыли дали довольно.

Чтобъ продавались бойко на рынкѣ, на улицахъ бойко,

Чтобъ отъ той прибыли жирной за пѣсню и насъ наградили.

Если-жъ, безстыжее племя, пѣвца обмануть вы хотите,

Тотчасъ же всѣхъ созову суиостатовъ я печи гончарной:

Эй, Разбивака, Трескунъ, Горшкоколъ, Сыроглинникъ коварный,

Эй, Нетушимъ, что искусству тому столько бѣдъ ужъ надѣлалъ!

Бей и жаровню, и домъ, вверхъ дномъ опрокидывай печку,

Все разноси, гончары же пусть крикомъ избу оглашаютъ!

Какъ лошадиная челюсть скрежещеть, такъ печь да скрежещеть,

Въ дребезги всѣ разбивая горшки и бутылки, и миски!

Также и ты, дочь Солнца, царица колдуній, Цирцея,

Зелѣя подбрось имъ лихого, чтобъ съ мастеромъ дѣло погибло!

Также и Хиронъ-владыка своихъ пусть приводитъ кентавровъ

(Тѣхъ, что избѣгли десницы Геракла, и тѣхъ, что побиты);

Все истопчите кругомъ, пусть съ трескомъ обрушится печка,

Пусть они съ жалобнымъ стономъ на лютое бѣдствіе смотрятъ!

Буду, смѣясь, любоваться на долю лихую злодѣевъ!

Если жъ спасать кто захочетъ—тому пусть голову пламя

Всю обожжетъ, и послужитъ другимъ его участь наукой!

Таково соприкосновеніе чародѣйства съ рабочей пѣсней. Мы не можемъ, конечно, утверждать, что пѣсня-заговоръ и пѣсня-молитва непременно развились изъ нея, что онѣ не

имѣли своего самостоятельнаго корня; достаточно того, что доказана возможность такого развитія.

Кромѣ объекта работы, возбужденная и творческая мысль работающаго могла остановиться и на работающихъ, и присутствующихъ. Если присутствуетъ хозяинъ и работодатель, то его особа отѣсняла всѣ прочія; его славили, если онъ этого заслуживалъ, но и стыдили и поносили, если онъ своею скупостью давалъ къ этому поводъ. Товарищей обыкновенно дразнили—товарокъ, разумѣется, еще больше. Это могло происходить поочередно; тогда получалась пѣсня-діалогъ. А пѣсня-діалогъ—это зародышъ драмы.

Нерѣдко, однако, характеръ работы или настроеніе работающихъ было таково, что внѣшній міръ не привлекалъ ихъ вниманія; тогда творческой потребности давалъ пищу внутренній міръ. То, что полусознательно скрывалось въ тайникахъ души въ качествѣ ли радостнаго или грустнаго чувства, то теперь, подъ вліяніемъ возбуждающаго ритма, облекалось въ слова и звуки, переходило въ пѣсню. Такъ возникла любовная пѣсенка, но и пѣсня-думка; послѣдняя, будучи посвящена воспоминаніямъ, естественно имѣетъ лирико-элегическій характеръ. Все сказанное здѣсь подтверждается массой примѣровъ; несомнѣнно, всѣ отрасли поэзіи могли возникнуть изъ рабочей пѣсни.

Но, чтобы это могло случиться, для этого былъ нуженъ дальнѣйшій шагъ—эманципація рабочей пѣсни.

VI.

Если мы, исходя отъ развитыхъ типовъ поэзіи, зададимся цѣлью прослѣдить въ восходящемъ порядкѣ ихъ развитіе и, поскольку это возможно, ихъ возникновеніе, то мы неизбежно всякій разъ натолкнемся на единую и неразлучную тріаду, составляющую зерно всякой поэзіи; эта тріада—сочетаніе словъ, напѣва и пляски. Чѣмъ древнѣе поэзія, тѣмъ болѣе въ ней музыка преобладаетъ надъ текстомъ и пляска надъ обоими; эта послѣдняя—самый старинный элементъ тріады. Она же первая была отброшена; освобожденная отъ этого громоздкаго элемента, пѣсня, какъ таковая, т.-е. какъ рядъ пѣтыхъ стиховъ, начала новую, болѣе вольную жизнь. Второй отпала

музыка, сначала какъ аккомпаниментъ, а потомъ и какъ пѣніе; пѣсня превратилась въ стихотвореніе, которое можно было распространять не только устно, но и письменно. Но характерный элементъ стихотворенія, размѣръ, былъ только пережиткомъ музыки и пляски; съ ихъ паденіемъ онъ пересталъ быть нужнымъ — стихотворная форма переходитъ въ прозаическую.

Итакъ, если мы желаемъ доискаться происхожденія поэзіи, мы должны держаться ея соединенія съ пляской. Теперь спрашивается, что такое пляска? Если исходить, какъ это требуется темой, отъ древнѣйшей и первобытной ея формы, то придется сказать, что пляска—это ритмическія движенія тѣла, а не однѣхъ только ногъ. Изъ этого опредѣленія ясно, что пляска непосредственно родственна физической работѣ; она отличается отъ нея только отсутствіемъ объекта, на который она была направлена, т.-е. смысломъ, а не формой. Сѣятель во время работы равномерно, въ опредѣленномъ ритмѣ переступаетъ съ ноги на ногу, запускаетъ руку въ мѣшокъ, затѣмъ, быстро ее выпрямляя, бросаетъ зерна. Это — работа, такъ какъ цѣль всѣхъ описанныхъ движеній—обсѣменить поле. Устраните эту цѣль, отнимите у сѣятеля мѣшокъ, но заставьте его продѣлывать тѣ же движенія,—и передъ вами будетъ не работа, а пляска. Эту пляску мы называемъ мимической, такъ какъ мысль о сѣяніи сопровождается пляшущаго и насъ, его зрителей, но не трудно представить себѣ постепенное исчезновеніе этой сопровождающей мысли. Послѣдствіемъ будетъ постепенное измѣненіе и упрощеніе характерныхъ именно для сѣянія движеній, ихъ такъ называемая стилизація, совершенно аналогичная той, которой подвергаются въ орнаментикѣ растительные мотивы; мимическая пляска превращается въ простую, лишенную сопровождающей мысли, а слѣдовательно, содержанія.

Есть основаніе предполагать, что всѣ пляски произошли именно такимъ путемъ; а если это такъ, то мы намѣтили также путь перехода рабочей пѣсни въ „хорическую“. Правда, неподготовленному читателю этотъ путь можетъ показаться довольно страннымъ; съ какой стати сѣятель будетъ производить всѣ движенія сѣянія, кромѣ какъ съ цѣлью обсѣмененія нивы? Казалось бы, разумная работа достаточно утомительна; къ чему

повторять ее безъ цѣли? Это соображеніе было бы вполнѣ правильно, если бы не то обстоятельство, о которомъ была рѣчь выше: характеръ игры, присущій работѣ первобытнаго человѣка, въ силу котораго она, помимо своей цѣли, представляется ему самоинтересной; вотъ этотъ-то непосредственный интересъ и побуждалъ къ повторенію. Съ одной стороны, пріятное возбужденіе, обусловленное ритмомъ работы, служило стимуломъ и наградой исполняющимъ также и работу-пляску людямъ; съ другой стороны, такое же чувство удовлетворенія предполагалось и у боговъ-хранителей работы. Ихъ-то и было всего естественнѣе чувствовать мимическими плясками, изображающими состоящія подъ ихъ охраной работы.

Въ этомъ и заключалось то, что мы назвали выше эманципаціей рабочей пѣсни; съ ея превращеніемъ въ „хорическую“ для нея было открыто широкое поле, на которомъ она могла расти и развиваться вполнѣ. Игра ради игры создала поэзію ради поэзиі—создала то „излишнее“, необходимость котораго, признанная извѣстной французской поговоркой, никогда не оспаривалась людьми, имѣющими хоть какое-нибудь представленіе объ этнологическихъ и культурно-историческихъ фактахъ.

VII.

Эманципація рабочей пѣсенки была однако лишь однимъ изъ обонхъ направленій, въ которомъ происходило ея развитіе; другимъ направленіемъ было, напротивъ, ея *закабаленіе*.

Работа-игра была лишь фазисомъ въ развитіи человѣчества. Дикіе народы на этомъ фазисѣ остановились; но для культурныхъ долженъ былъ наступить прогрессъ, поведшій—хотя и не во всѣхъ областяхъ равномерно и одновременно—къ дифференціаціи. И вотъ „порвалась цѣпь старинная“: работа-игра выдѣлила изъ себя, съ одной стороны—чистую игру, взявшую отнынѣ подъ свою охрану поэзію, съ другой стороны, работу-кабалу. А вмѣстѣ съ работой была закабалена и ея товарка и утѣшительница, рабочая пѣсенка.

Я уже сказалъ, что этотъ процессъ совершался неравномерно. Въ иныхъ областяхъ труда метаморфоза, о которой мы

говоримъ, наступила очень рано; говоря, напимѣръ, о работѣ мукомоловъ, мы не можемъ указать фазиса, въ которомъ эта работа не была бы подневольной; вотъ почему она вездѣ или почти вездѣ исполняется женщинами или рабами. Но въ другихъ областяхъ добροхотный трудъ можетъ быть указанъ рядомъ съ кабалнымъ; и тутъ-то стоитъ обратить вниманіе на различный характеръ рабочей пѣсенки въ томъ и другомъ случаѣ. Въ удостовѣреніи этого различнаго характера и заключается одна изъ главныхъ заслугъ Бюхера; касается это главнымъ образомъ полевой работы.

Ясный и несомнѣнный фактъ, что нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ могутъ при одинаковой затратѣ времени и труда продѣлать большую массу физической работы, чѣмъ если бы каждый работалъ отдѣльно, повелъ къ ассоціаціи труда. Въ области полевыхъ работъ этотъ принципъ выражался двояко: либо въ видѣ доброхотной ассоціаціи, либо въ видѣ подневольной, причемъ подъ послѣдней мы должны разумѣть и рабскій трудъ, и барщину, и наемную работу, такъ какъ при всемъ своемъ различіи въ остальномъ, эти три разновидности съ той точки зрѣнія, которая насъ интересуетъ, равносильны.

Доброхотная ассоціація съ цѣлью помочь крестьянину скорѣе убрать хлѣбъ существуетъ главнымъ образомъ въ славянскихъ земляхъ; у насъ она называется *помочью* или *толокой*. Участвующие—молодежь обоого пола; платы не полагается, но само собой разумѣется, что хозяинъ долженъ расщедриться на угощеніе. Характеръ толоки, вслѣдствіе этого, праздничный; какъ парни, такъ и дѣвушки надѣваютъ свои лучшіе наряды; у кого такого нѣтъ, тому остается только повторять жалобу малорусской дивчины:

На тымъ боци, на толоци
Вси хороши хлопци;
Мене-жъ маты не пуцае,
Бо въ черной сороци.

Неудивительно поэтому, что и рабочая пѣсня, сопровождающая этотъ родъ работы, носитъ веселый, праздничный характеръ. При непринужденности труда, помимо ритма и совместное участіе обоихъ половъ дѣйствуетъ возбуждающе; фан-

тазія охотно гуляетъ по запретнымъ, по соблазнительнымъ тропинкамъ вольной и беззаботной любви. Рабочія пѣсни „помочанъ“ полны намековъ и картинокъ въ этомъ родѣ.

Подневольная работа тоже имѣетъ свою пѣсню, только напѣвъ ея иной. „Трудъ нашихъ рукъ, пшеница, наша пища, идетъ къ другому; жена и дѣти дома голодаютъ, некому о нихъ заботиться. Ихъ пищу беретъ другой, слезы проливаетъ молодая мать; ея грудь вянетъ отъ голода, и плачетъ слабый младенецъ“—такъ поется въ грузинской пѣснѣ. „Я—бѣдная раба,—поетъ эстонка,—за плату служу, цѣпами скованная невольница. Всегда я должна идти, всегда былъ первой, хотя бы небо дышало огнемъ, хотя бы дождь меня молотилъ“. Такихъ примѣровъ можно подобрать много. Свое оживляющее дѣйствіе пѣсня проявляетъ и здѣсь; она даетъ исходъ полусознательному чувству, которое безъ нея продолжало бы глухо ныть въ тайникахъ души. Но характеръ чувства сообщается и ей; выросшая подъ гнетомъ насилія,—политическаго или экономическаго, все равно—она стала хилой и безцвѣтной, подобно ползущему подъ камнемъ растенію. Нѣтъ игры, нѣтъ и веселья; работа-пытка родила пѣсню-стонъ.

VIII.

Хронологическій подсчетъ тутъ невозможенъ; если бы даже удалось экономической исторіи установить время возникновенія подневольности въ каждой области труда, все же мы не имѣли бы достаточно надежныхъ данныхъ для интересующаго насъ здѣсь вопроса, такъ какъ намъ не удалось бы приурочить сохранившіяся рабочія пѣсенки къ тому или другому времени. Одно можно сказать съ увѣренностью: что та работа, которая сама въ себѣ носитъ характеръ пытки и въ позднѣйшемъ времени служила наказаніемъ, никогда добродетельной не была. „Среди всѣхъ работъ, которыхъ требуетъ хозяйство первобытныхъ народовъ, нѣтъ тяжелѣе и скучнѣе работы мукомла“, говоритъ Бюхеръ; здѣсь, поэтому, пѣсня-стонъ слышится вездѣ и всегда. „Работайте, мелите живо!“ поютъ работницы въ восточномъ Суданѣ; „Джеллабахи сильны; если мы не будемъ работать, они побьютъ насъ палками“. На то они дикари; въ

соотвѣтственныхъ пѣсняхъ цивилизованныхъ народовъ палка не такъ откровенно даетъ о себѣ знать. Тѣмъ не менѣе ея присутствіе чувствуется; перечитывая рабочія пѣсни мукомоловъ, мы легко понимаемъ, что вызвавшая ихъ работа—работа изъ-подъ палки.

Но, странное дѣло! Почему этотъ привкусъ совершенно не слышится въ той лезбосской пѣсенкѣ, съ которой мы начали свой очеркъ?

Мели, мельница, мели:
Вѣдь и Питтакъ нашъ молодой,
Что великой Митиловой нынѣ править!

„Онъ былъ тѣмъ же, чѣмъ мы теперь—значить, и мы можемъ стать тѣмъ же, чѣмъ сталъ теперь онъ“—вотъ что хочетъ намъ сказать эта древнѣйшая изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ рабочихъ пѣсенокъ. И намъ вспоминается утѣшительное вѣрованіе древнихъ грековъ, согласно которому

Всѣ на Олимпѣ удалились блаженные, землю покинуть;
Только Надежда живетъ духомъ добра средь людей.

Только надежда можетъ облегчить бремя тяжелого подневольнаго труда; какъ бы ни былъ густъ окружающій насъ мракъ—онъ перестаетъ быть невыносимымъ, если виднѣется свѣтлая точка, обещающая намъ выходъ изъ него на свѣтъ, на свободу. Пусть она—очень далеко, пусть ея достиженіе для насъ такъ же невѣроятно, какъ была невѣроятна для лезбосскихъ мукомоловъ царская участь; ничто не мѣшаетъ намъ, если мы только умѣемъ надѣяться, представлять себѣ нашъ идеалъ и близкимъ, и достижимымъ. На завтра счастье, скажемъ мы себѣ, а пока—„мели, мельница, мели“.

НИТЦШЕ И АНТИЧНОСТЬ.

Кто отъ черни, того память восходитъ до дѣда; съ дѣдомъ же прекращается время.

Этимъ все прошлое отдано на смарку; возможно, вѣдь, что когда-нибудь чернь станетъ властвовать, и всѣ времена потонутъ въ ея мелкой водѣ.

Заратустра 292.

I.

Не безъ удивленія прочелъ я недавно на столбцахъ „Сѣвернаго Курьера“ заявленіе, что Фр. Нитцше, какъ романтикъ, ничѣмъ не обязанъ своему филологическому образованію, кромѣ извѣстнаго отношенія къ античной красотѣ. Удивила меня не столько неправильность самаго сужденія и легшее ему въ основу превратное пониманіе античности—къ нему намъ не привыкать стать—сколько имя его автора, который несомнѣнно не „отъ черни“. Это знаменіе... не знаю, времени или мѣста, но скорѣе мѣста. Мы не замѣчаемъ античности даже тамъ, гдѣ ея наличность для всякаго знакомаго съ ней очевидна; этимъ мы лишаемъ себя, сознательно или безсознательно, лучшаго средства разобраться въ исторической этиологіи. Отсюда—ошибочный діагнозъ, безпутная терапія... и дальнѣйшее.

И дальнѣйшее. Но это дальнѣйшее, къ счастью для насъ, дѣло будущаго; для настоящаго же указанный путь очень и очень соблазнителенъ. Я говорю здѣсь, спѣшу это замѣтить,

не о почтенномъ авторѣ вышеприведеннаго замѣчанія, а о самомъ явленіи, очень распространенномъ въ нашей наукѣ. Мы—народъ нетерпѣливый; мы еще въ дѣтскомъ возрастѣ, какъ это давно удостовѣрено, любимъ исправлять карты звѣзднаго неба; выросши, мы продолжаемъ дѣйствовать по принципу наименьшей затраты энергіи. На это имѣется, какъ оказывается теперь, и физиологическая причина: наши гигиенисты увѣряютъ насъ, что у насъ нервная система слабѣе, чѣмъ у народовъ запада. Какъ же быть? Потягаться-то вѣдь съ Европой хочется.—Какъ быть? Тягался же Балда-работникъ съ медвѣдемъ. Силой не справишься—надо уменьшить сопротивленіе. Попробуемъ увѣрить себя и другихъ, что девятнадцатый вѣкъ ничѣмъ не обязанъ античности; это такъ легко и такъ плодотворно! Прежде всего легко: мы и такъ ее плохо знаемъ, эту античность, и поэтому не узнаемъ ея слѣдовъ даже тамъ, гдѣ она полуаршинной колеей врѣзалась въ современную мысль. А разъ мы ея вліянія не видимъ, разъ его, стало быть, нѣтъ — то къ чему ее изучать? Пусть корпятъ надъ ней народы запада, а мы употребимъ сбереженную силу на то, чтобъ исправлять составленные ими звѣздныя и другія карты. Положимъ, исправленія выйдутъ рискованныя; но кто же насъ проверитъ? Итакъ, долой балластъ античности—это прежде всего. А тамъ можно будетъ отправить ей вслѣдъ и средневѣковье, а тамъ...

А тамъ назрѣетъ поколѣніе, которое потопитъ всѣ времена въ мелкой водѣ своего пониманія.

II.

„Но Нитцше былъ романтикомъ“. Согласенъ; онъ былъ имъ во многихъ отношеніяхъ. Но развѣ романтизмъ и античность—противоположности? Кто отождествляетъ античность съ гуманизмомъ, а гуманизмъ съ классицизмомъ — тотъ можетъ смѣло, послѣдовательно упрощая свою задачу, отождествить классицизмъ со школьнымъ классицизмомъ, а этотъ послѣдній — съ *extempore*. Гуманизмъ—это міровоззрѣніе; классицизмъ—это стиль; что же касается античности, то я не знаю такой пары антитезъ, которая бы не находила въ ней своего полного и общаго синтеза. Пытливый умъ Бѣлинскаго находилъ эле-

менты романтизма у Гомера и наивно удивлялся имъ, будучи и самъ приученъ отождествлять античность съ классицизмомъ; Д. Штраусъ, отлично ее знавшій, называлъ ея воскресителя Юліана Отступника „романтикомъ на престолѣ цезарей“; основатели романтической школы въ Германіи—братья Шлегели—были именно какъ романтики всѣми фибрами своей души привязаны къ античности и сами это сознавали. Освободите только романтизмъ отъ его чисто внѣшняго союза со средневѣковьемъ (съ которымъ у Нитцше ничего общаго нѣтъ)—и онъ цѣликомъ войдетъ въ античность, какъ одинъ изъ ея составныхъ элементовъ.

Послушаемъ, однако, самого Нитцше. Въ своемъ „Рожденіи трагедіи изъ духа музыки“, этой книгѣ-программѣ, онъ различаетъ въ античности два элемента: первый—спокойно-пластическій, созерцательный, интеллектуальный; второй—бурно-экстатическій, инстинктивный, волевой. Первый онъ называетъ аполлоновскимъ, второй—діонисическимъ. Не трудно убѣдиться, что то, что мы называемъ романтизмомъ Нитцше, приблизительно совпадаетъ съ его діонисическимъ элементомъ. Его-то онъ вполне сознательно воплотилъ въ себѣ. Если не считать средняго, „раціоналистическаго“ періода его творчества (1875—1882, отъ „Человѣческое, слишкомъ человѣческое“ до „Веселой науки“), когда этотъ идеалъ былъ отодвинутъ на задній планъ,—то вся его философская дѣятельность была исканіемъ діонисическихъ нормъ жизни; недаромъ послѣдняя часть его „Переоцѣнки всѣхъ цѣнностей“, этотъ синтезъ всей его философіи, должна была носить заглавіе „Діонисъ“.

„Но, скажутъ, Діонисъ Нитцше имѣетъ такъ же мало общаго съ античнымъ, какъ и его Заратустра съ древне-персидскимъ“. Какъ много общаго онъ имѣлъ съ нимъ, объ этомъ судить гораздо легче теперь, чѣмъ было тогда; легче потому, что античный Діонисъ и его оргіазмъ нашелъ себѣ достойнаго истолкователя въ лицѣ (недавно скончавшагося) филолога Эрв. Роде. Роде былъ товарищемъ и другомъ Нитцше, его союзникомъ въ спорѣ изъ-за „Рожденія трагедіи“; для правильнаго пониманія его философіи необходимо прочесть посвященные Діонису страницы изъ послѣдняго творенія его друга—столь же ученой, сколь и увлекательной „Psyche“.

Мнѣ лично извѣстно, что Нитцше имѣлъ въ виду современнымъ обнаружить нити, связывающія его философію съ античностью; несчастная болѣзнь, помрачившая его духъ, не дала ему увѣнчать свое твореніе также и этимъ историческимъ вѣнцомъ.

III.

Фридрихъ Нитцше—послѣднее по времени дѣтище Фауста и Елены, послѣдняя аватара античнаго Діониса; его философія — послѣдній крупный вкладъ античности въ современную мысль. Когда-нибудь и кѣмъ-нибудь будетъ, надѣюсь, написана книга о „Возрожденіи Діониса“ и съ нею дана историческая разгадка всего нитцшіанства; написать же можетъ ее только филологъ, не философъ, такъ какъ элементы античности, опредѣлившіе міросозерцаніе Нитцше, лежатъ большею частью внѣ того спеціальнаго круга античной словесности, которымъ привыкли интересоваться философы.

Пока же этой книги нѣтъ, будетъ небезполезно развить зависимость Нитцше отъ античности на одномъ образчикѣ, достаточно крупномъ, чтобъ дозволить обобщающій выводъ, и въ то же время не настолько громоздкомъ, чтобъ не умѣститься въ настоящей статьѣ.

IV.

Было въ Греціи время, когда та „оцѣнка цѣнностей“, которую мы кладемъ въ основу своей морали, еще не была общепризнанной нормой и лишь медленно всачивалась въ совершенно чуждую ей систему оцѣнки — ту самую, которую можно назвать біологической. Это было время, послѣдовавшее за эпохой переселеній и смѣлыхъ колоніальныхъ предпріятій. Тѣ, кто тогда выдвинулись изъ среды равныхъ себѣ и, восторжествовавъ надъ врагами, оставили своимъ дѣтямъ упроченное положеніе въ общинѣ — называли себя и были называемы „добрыми“; тѣмъ качествамъ, благодаря которымъ они выдвинулись и восторжествовали, было присвоено имя „добродѣтелей“. Были же это, разумѣется, разновидности тѣлесной

и духовной силы: „добрый“ могъ быть въ то же время и „злымъ“ — тутъ не было ничего непримиримаго. Не „злые“ противопологались „добрымъ“, а „худые“.

Эти термины создавались сами собою; сама жизнь опредѣляла ихъ содержаніе: нравственная оцѣнка, именно вслѣдствіе естественности своего возникновенія, должна была совпасть съ біологической. Произошло это, разумѣется, не въ одной Греціи, а вездѣ; но одна только Греція надъ этимъ явленіемъ призадумалась и оставила намъ памятники своихъ думъ; эти памятники — поэзія VI и V вѣковъ до Р. Х., въ особенности Пиндаръ, Теогида и недавно воскресшій Вакхилидъ.

„Добродѣтелей“ много, какъ много качествъ, дающихъ людямъ побѣду въ борьбѣ за жизнь; дѣло каждаго человѣка — узнать ту „добродѣтель“, которую въ него вложило божество, и развить ее. „Сдѣлайся тѣмъ, что ты есть, узнавъ это“ — таковъ, въ неуклюжемъ буквальномъ переводѣ, неподражаемо краткій и мѣткій совѣтъ Пиндара царю Іерону (*genoí'hoios essi mathón*). Отсюда проповѣдь индивидуализма. Но какъ же влагаетъ божество „добродѣтель“ въ человѣка? И на это давала отвѣтъ біологія: путемъ наслѣдственности. А если такъ, то „добрый“ долженъ непременно взять за себя жену изъ „добрыхъ“ же: біологическій индивидуализмъ ведетъ обязательно къ аристократизму. Вотъ мѣсто изъ посланій Теогида къ его молодому другу Кирну во всей его грубой біологической откровенности:

Всѣ благородныхъ коней мы заводимъ, ословъ и барановъ,
Кирнъ, и для случки мы къ нимъ добрыхъ допустимъ однихъ;
Дочь же худого худую женой не гнушается добрый
Сдѣлать своей, лишь бы горсть злата ему принесла.
Такъ не дивись же, о, другъ мой, что гражданъ мельчаетъ порода:
Плутость царитъ; это онъ добрыхъ съ худыми смѣшалъ.

И такъ, все отъ плоти; духъ—о, безъ сомнѣнія, это великое, всепобѣждающее начало (Греція не была бы Греціей, если бы она когда-либо могла въ этомъ усумниться); но и онъ, какъ мы сказали бы теперь, функція плоти. Отсюда понятенъ и культъ плоти, выразителемъ котораго были олимпійскія и другія игры, а пророками — чѣвцы олимпійскихъ побѣдителей,

Пиндаръ, Вакхилидъ и другіе. Біологическій аристократизмъ всегда имѣетъ своимъ основаніемъ—хотя и не всегда сознаваемымъ—извѣстнаго рода матеріалистическій витализмъ.

V.

Какъ было сказано выше, въ эпоху, о которой мы говоримъ, мораль совершенно другого характера стала просачиваться въ описанную біологическую мораль; это была мораль нравственнаго долга, мораль „добра“ и „зла“. Ея зарожденіе въ міръ сознанія—загадка: такая же загадка, какъ и зарожденіе самого сознанія въ міръ организмовъ, какъ и зарожденіе самого организма въ міръ матеріи. Правда, есть люди, увѣряющіе, что они понимаютъ эту загадку, но они-то всего менѣе ее понимаютъ. Понятна только біологическая мораль.

Не первый, но главный представитель этой новой морали—Сократъ.

О ней мы говорить не будемъ. Вся жизнь Нитцше была борьбою съ этой сократовской моралью. И онъ вовсе не скрываетъ имя своего противника: начиная съ „Рожденія трагедіи“, онъ называетъ его ясно, громко, безпрестанно, какъ человѣка, отравившаго нравственное сознаніе сначала греческаго народа, а послѣ него и черезъ него—всѣхъ остальныхъ.

Относительно Сократа никто, полагаю я,—даже у насъ—не станетъ сомнѣваться, что онъ принадлежитъ античности. Теперь позвольте поставить вопросъ: мало ли обязанъ античности боецъ, который обязанъ ей своимъ главнымъ и лучшимъ противникомъ?

VI.

Но это не все: отрицая сократовскую мораль добра и зла, Нитцше противопоставляетъ ей греческую же до-сократовскую, біологическую мораль, мораль „добрыхъ“, восторжествовавшихъ надъ „худыми“, мораль, царящую „по ту сторону добра и зла“. Замѣчу по этому поводу, что Нитцше не только былъ филологомъ-классикомъ по призванію, ученикомъ цари филологіи Ричля—работою, доставившею ему, еще въ его бытность студентомъ, базельскую филологическую профессуру, была именно

работа о Теогнидѣ, этомъ главномъ представителѣ біологической морали „добрыхъ“.

Стоитъ ли теперь доказывать, что эта мораль цѣликомъ вошла въ мораль Нитцше-Заратустры? „Тѣмъ, кто презираетъ плоть, хочу я сказать свое слово... Плоть — это великій разумъ, множество съ однимъ смысломъ... Орудіемъ твоей плоти является, мой братъ, также твой малый разумъ, то, что ты называешь духомъ“. Бракъ—это огорождъ... но не угодно ли перевести по-русски слова Нитцше: *Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf! dazu helfe dir der Garten der Ehe*. Совершенствованіе породы путемъ брака... но для этого нужно, чтобы человѣкъ былъ „породистымъ“; и вотъ Нитцше спрашиваетъ вступающаго въ бракъ: „принадлежишь ли ты къ тѣмъ, которые имѣютъ право желать себѣ потомства?“ Это—біологическій аристократизмъ. „Этотъ мужъ казался мнѣ достойнымъ и зрѣлымъ для смысла земли; но когда я увидѣлъ его жену, земля показалась мнѣ обителью обезсмысленныхъ. Да, я хотѣлъ бы, чтобы земля металась въ судорогахъ каждый разъ, когда герой совокупляется съ гусыней“. И послѣдствія налицо: родъ человѣческой мельчаетъ. „Все стало мельче! Вездѣ я вижу низкія ворота; люди моей породы могутъ еще пройти черезъ нихъ, но должны нагибаться!“

Мораль „добра и худа“ и ея побѣда надъ моралью „добра и зла“—это ось всей нравственной философіи Нитцше, основа его индивидуализма. Индивидуалистъ же онъ всѣмъ своимъ существомъ: не въ массѣ, а въ отдѣльныхъ совершенныхъ личностяхъ смыслъ земли. Онъ же и „добрыя“: къ нимъ обращенъ девизъ философа „сдѣлайся тѣмъ, что ты есть!“ (*werde, der du bist!*)—а чьи это были слова, этого читатель, надѣюсь, не забудь. И никого онъ такъ не ненавидѣлъ, какъ людей массы, этихъ „слишкомъ многихъ“ (*die Vielzuvielen*), о которыхъ такъ нѣжно печется социализмъ.

VII.

Индивидуализмъ и социализмъ—другими словами, Нитцше и Лассаль. По странной прихоти судьбы... нѣтъ, по разумному и непреложному закону развитія умственной культуры, отцы

обѣихъ главныхъ идей, которыми живетъ наше общество, были непосредственными учениками античности. И Лассаль вѣдь началъ свою научную и писательскую карьеру какъ филологъ-классикъ, сочиненіемъ о Гераклитѣ Темномъ; и онъ свою социалистическую мораль воздвигъ на философіи природы Гераклита, точно такъ же какъ Нитцше въ основу своей индивидуалистической морали взялъ біологическое міровоззрѣніе Теогнида и его единомышленниковъ. И подобно тому, какъ Нитцше въ своихъ базельскихъ лекціяхъ мѣриломъ умственной зрѣлости человѣка объявлялъ его отношеніе къ античности—точно такъ же и Лассаль оплотомъ противъ манчестерской теоріи буржуазнаго либерализма признавалъ изученіе античности, или, какъ онъ выражался (въ его странѣ это можно было дѣлать безбоязненно), классическое образованіе.

Пусть же „слишкомъ многіе“ сколько угодно, радѣя о своей нервной системѣ, отворачиваются отъ античности; этимъ они откажутся только отъ своей собственной будущности. Всякій разъ, когда предстояло совершиться великому кризису въ области умственной культуры, геній человѣчества водружалъ надъ горизонтомъ знамя античности: *in hoc signo vinces*.

Такъ было, такъ будетъ всегда.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОМЕДИИ.

I.

Въ исторіи комедіи еще сильнѣе, чѣмъ въ исторіи ея серьезной старшей сестры, сказывается зависимость новѣйшаго творчества отъ античности. Если мы постараемся прослѣдить въ восходящей линіи развитіе современнаго комическаго репертуара — мы безъ труда замѣтимъ, что онъ произошелъ отъ сліянія двухъ раздѣльныхъ струй, изъ коихъ одна ведетъ свое начало отъ Мольера, другая отъ Шекспира. Но Шекспиръ въ своей первой комедіи, той, на которой онъ самъ изучилъ приемы комической техники, въ „Комедіи ошибокъ“, воспроизвелъ фабулу и мотивы комедіи Плавта „Менехмы“; еще яснѣе зависимость Мольера отъ его римскихъ образцовъ, Плавта и Теренція, которымъ онъ сознательно подражалъ, измѣняя и осложняя ихъ интригу въ духѣ болѣе требовательныхъ по части *esprit* временъ Людовика XIV. Такимъ образомъ Плавтъ и Теренцій по справедливости могутъ быть названы отцами новѣйшей комедіи.

Но и Плавтъ съ Теренціемъ не были оригинальными поэтами; ихъ образцомъ была шутливая комедія нравовъ, расцвѣтшій въ Аѳинахъ въ реалистическую эпоху греческой поэзіи, въ 3 в. до Р. Х., и связанная съ именами Менандра и Филемона. Эта такъ называемая новоаттическая комедія, разумѣется, тоже не была вполнѣ самобытнымъ литературнымъ

явленіемъ: она органически развилась изъ среднеаттической комедіи 4 в., которая въ свою очередь была дѣтищемъ древнеаттической, процвѣтавшей во 2-ую пол. 5-го вѣка. Ея главный представитель, Аристофанъ, въ то же время — самый древній поэтъ, отъ котораго намъ сохранились цѣльныя комедіи; со времени постановки самой ранней изъ нихъ, съ 425 г. до Р. Х., начинается для насъ исторія этой литературной отрасли. Это не значитъ еще, что мы лишены возможности отвѣтить на вопросъ, откуда произошла и какъ развивалась та комедія, которая достигла своего расцвѣта въ поэтическомъ творествѣ Аристофана; только этотъ отвѣтъ будетъ, въ силу естественныхъ условій самого дѣла, болѣе или менѣе гадателенъ.

Развитой только-что схемой содержаніе моего настоящаго очерка предначертано. Такъ какъ родоначальницей всѣхъ нашихъ комедій была поставленная въ 425 г. комедія Аристофана подъ не сразу вразумительнымъ заглавіемъ „Ахарняне“, то я прежде всего считаю полезнымъ познакомить читателей съ этимъ очень своеобразнымъ произведеніемъ греческаго гения. Моей второй задачей будетъ прослѣдить происхожденіе той комедіи, представительницей котораго является эта пьеса; третьей — развить дальнѣйшую ея исторію черезъ средне- и новоаттический періоды вплоть до того ея фазиса, въ которомъ она стала образцомъ для новѣйшихъ временъ, т.-е. до Плавта и Теренція.

II.

Комедія „Ахарняне“ представляетъ, какъ я сказалъ только-что, очень много своеобразныхъ чертъ; одна изъ самыхъ своеобразныхъ состоитъ въ томъ, что я не могу приступить къ изложенію ея содержанія, не изобразивъ предварительно хоть въ краткомъ эскизѣ политическаго положенія Аѣинъ въ ту минуту, когда она была поставлена.

Это было, согласно сказанному, въ 425 г., въ первые годы великой войны Аѣинъ со Спартой за первенство въ Греціи. Положеніе въ Аѣинахъ было тяжелое: рѣшившись опираться на море и не тратить своихъ силъ на безнадежную защиту страны, городъ Паллады всѣхъ жителей своихъ деревень со-

звалъ въ свои стѣны; ежегодно врагъ опустошалъ поля и виноградники, для осужденныхъ же на бездѣйствіе крестьянъ приходилось придумывать искусственную дѣятельность отчасти военного, отчасти административно-судебнаго характера, чтобы примирить ихъ съ идеей продолженія войны. Главою этой воинственной политики былъ демагогъ Клеонъ, ея самымъ ревностнымъ приверженцемъ — полководецъ Ламахъ; что касается крестьянъ, то часть ихъ съ нею мирилась, кто подъ соблазномъ легкаго и сравнительно хорошо оплачиваемаго труда, кто изъ ненависти къ опустошителямъ своей родины, другая же часть — специально крестьянская партія — тяготилась войной и ея невзгодами и постоянно требовала заключенія мира, который далъ бы ей возможность вернуться на свои поля и къ привычной деревенской работѣ. Вотъ къ этой-то крестьянской партіи и примкнулъ комическій поэтъ Аристофанъ; въ его комедіи „Ахарняне“ много смѣху, но смѣхъ этотъ — смѣхъ сквозь слезы о потерянномъ мирѣ, потерянной связи съ природой и матерью-землей.

Представителемъ своихъ идей поэтъ выводитъ крестьянина съ прозрачнымъ именемъ „Дикеополь“ (т.-е. „справедливый гражданинъ“); по гражданскому долгу онъ является къ разсвѣту въ народное собраніе, но его цѣль, о которой онъ насъ поучаетъ въ своемъ первомъ монологѣ, очень опредѣленна: производить сильную обструкцію противъ воинствующей партіи и всячески добиваться заключенія мира. Народное собраніе открывается; оно посвящено прежде всего выслушанію отчета пословъ, отправленныхъ въ Персію и Эракію для заключенія союзовъ въ видахъ продолженія войны. Дикеополь вздыхаетъ. Изъ отчета видно, что послы потерѣли полнѣйшее фіаско, но желаютъ скрыть его; съ этой цѣлью они привели съ собою вещественныя доказательства своего мнимаго успѣха: первый — знатнаго персидскаго сановника, „око царя“ по торжественной восточной титулатурѣ (причемъ комическій поэтъ не устоялъ противъ соблазна вывести на сцену это „око царя“ въ видѣ настоящаго чудовищныхъ размѣровъ глаза), а другой — воинственную эракійскую рать. Хитрость не удастся: сановникъ говорить совсѣмъ не то, что ему внушено, эракійская же рать оказывается чистѣйшею швалью, умѣющей только воровать; но

собраніе построено до того воинственно, что не замѣчаетъ даже обнаруженнаго обмана и утверждаетъ отчетъ пословъ. Дикеополь въ отчаяніи; когда же наконецъ заговорять о мирѣ? Его желаніе исполняется: на трибунѣ появляется какой-то юродивый изъ аристократовъ и рассказываетъ о порученіи, данномъ ему богами, заключить миръ со Спартой — порученіи, исполненію котораго мѣшаетъ только одно обстоятельство: ему прогоновъ не выдаютъ. Шансы его и теперь очень плохи: едва услышавъ слово „миръ“, начальство велитъ его увести съ трибуны. Но это уже слишкомъ; Дикеополь жадно хватается за эту соломинку и поручаетъ юродивому заключить спеціальныи миръ для него и его семьи. Нечего говорить, что эта идея частнаго мира — идея чисто фантастическая, воплоти приличествующая комедіи древнеаттическаго періода, которая не останавливалась передъ самыми неудобоисполнимыми затѣями.

Сцена мѣняется; до сихъ поръ мы были на площади собранія, теперь гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ; юродивый возвращается и приноситъ съ собою миръ въ видѣ трехъ пробъ вина — пятилѣтняго, десятилѣтняго и тридцатилѣтняго. Дикеополь, разумеется, выбираетъ послѣднюю. Но тотъ же юродивый рассказываетъ ему о новой бѣдѣ: къ наиболѣе пострадавшимъ отъ войны деревнямъ принадлежали Ахарны; такъ вотъ ея-то крестьяне, провѣдавъ о приносимомъ изъ Спарты мирѣ, побѣжали вслѣдъ за посломъ, чтобы побить его, какъ измѣнника, камнями. Дикеополь теперь море по колѣни; онъ благодаритъ юродиваго за его услуги, и они расстаются.

Опять мѣняется сцена: мы въ деревнѣ, передъ хижиной Дикеополя. Счастливый герой впервые послѣ шести лѣтъ войны справляетъ сельскій праздникъ Діонисій; къ сожалѣнію, его разстраиваютъ ахаряне, напавшіе на слѣдъ принесеннаго мира. Съ трудомъ удастся Дикеополю избѣгнуть смерти; ему разрѣшаютъ, наконецъ, сказать рѣчь въ свою защиту, но подъ угрозой казни въ случаѣ неуспѣха. Положеніе незавидное; защищать миръ со Спартой значитъ защищать Спарту, одному передъ толпой ея ненавистниковъ. Ему вспоминается, что у Еврипида есть такая точно сцена въ одной трагедіи; правда, тамъ ораторъ съумѣлъ разжалобить окружающихъ своимъ нищенскимъ одѣяньемъ; хорошо бы пріобрѣсть у Еврипида этотъ

костюмъ. Дикеополь отправляется къ Еврипиду, домъ котораго ради удобства предполагается тутъ же рядомъ. Начинается препотѣшная сцена. Еврипидъ наряжаетъ Дикеополя нищимъ царемъ-скитальцемъ, причемъ дѣло не обходится безъ извительныхъ насмѣшекъ по адресу этого нелюбимаго Аристофаномъ трагическаго поэта. Но вотъ метаморфоза кончена; начинается рѣчь — пародія политической рѣчи — въ которой доказывается, что въ войнѣ виноваты исключительно Аѣины и ихъ демагоги, а отнюдь не Спарта. Среди ахарянъ расколъ; одна половина дала себя убѣдить, другая упорствуетъ. Дѣло доходитъ до драки; упорствующіе призываютъ на помощь главнаго ревнителя войны, полководца Ламаха. Начинается споръ между Ламахомъ и Дикеополемъ о главной темѣ комедіи — войнѣ и мирѣ; доводы Дикеополя сильнѣе, ахаряне всѣ переходятъ на его сторону. Ламахъ, сконфуженный, уходитъ; Дикеополь, оправданный, можетъ вернуться къ своимъ мирнымъ занятіямъ. Этимъ кончается первая половина комедіи; хоръ ахарянъ, одинъ оставшійся на сценѣ, обращается къ зрителямъ съ такъ называемой „парабазой“ — увѣщаніями отчасти серьезнаго, отчасти шутившаго характера по поводу тогдашней политики Аѣинъ.

Вторая половина посвящена описанію послѣдствій заключеннаго Дикеополемъ частнаго мира. Площадка передъ его хижиной — порто-франко для торговцевъ со всей Эллады, подъ условіемъ однако, чтобы они продавали свой товаръ только Дикеополю, а никакъ не Ламаху, который — опять ради сценическаго удобства — предполагается его сосѣдомъ. Первымъ приходитъ торговецъ изъ Мегары, пограничнаго городка, совершенно захудалаго и разореннаго войной; за неимѣніемъ другого товара онъ собственныхъ дочекъ нарядилъ свинками и въ этомъ видѣ сбываетъ ихъ Дикеополю за пучекъ луковицъ и мѣрку соли, въ сценѣ, пересыпанной двусмысленностями самаго рискованнаго характера. За мегарцемъ — ѳиванецъ съ разными лабоствами, этотъ разъ уже подлинными; такъ какъ ему въ обмѣнъ нуженъ мѣстный, аѣинскій товаръ, то Дикеополь передаетъ ему случайно подвернувшагося „сикофанта“ (фигуру, родственную съ нашимъ „аблакатомъ“). Тѣмъ временемъ слухъ о мирѣ Дикеополя успѣлъ разойтись: многимъ становится завидно, и они просятъ героя подѣлиться съ ними

его благами. Но этотъ герой упрямъ; и посланецъ Ламаха, и крестьянинъ воинственной партіи уходятъ ни съ чѣмъ; только невѣстѣ, желающей насладиться своимъ медовымъ мѣсяцемъ и не отпускать жениха на войну, онъ исполняетъ ея желаніе „за то, что она женщина и въ войнѣ не виновата“. Но вотъ одновременно являются два вѣстника, одинъ къ Ламаху, другой къ Дикеополю; Ламаха начальство отправляетъ прогнать вторгшійся въ страну беотійскій отрядъ, Дикеополя жрецъ Діониса приглашаетъ на пирушку въ складчину. Параллельно оба снаряжаются, одинъ въ походъ, другой на пиръ, взаимно огрызаясь другъ на друга; наконецъ, ушли. Послѣ антракта оба возвращаются. Ламахъ—раненый, на носилкахъ, Дикеополь—пьяный, въ очень веселой компаніи; Ламахъ стонетъ, Дикеополь смѣется; этимъ потѣшнымъ дуэтомъ кончается комедія.

III.

Если присмотрѣться ближе къ этому причудливому произведенію греческой музы, то мы будемъ прежде всего поражены полнымъ отсутствіемъ тѣхъ элементовъ, которые считаются необходимымъ достояніемъ комедій новѣйшаго репертуара — интриги и психологіи характеровъ. Никакой интриги въ Ахарнянахъ нѣтъ, мотивы фабулы нанизываются одинъ на другой нескончаемой вереницей; всякій разъ по исчерпаніи даннаго мотива дѣйствіе кажется оконченнымъ, оно продолжается только благодаря произвольному введенію новаго. Въ самомъ дѣлѣ, припомнимъ развитіе дѣйствія. Тоска Дикеополя по мирѣ — первый мотивъ; онъ исчерпывается въ той сценѣ, гдѣ юродивый ему этотъ миръ приноситъ. Та же сцена вводитъ и новый мотивъ — враждебность ахарнянъ; но вотъ Дикеополю удастся ихъ переубѣдить — опять мотивъ исчерпанъ, мы не знаемъ, чего намъ ожидать отъ дальнѣйшихъ сценъ. Въ нихъ изображаются послѣдствія мира — приключенія Дикеополя съ мегарцемъ, еиванцемъ, крестьяниномъ, дружкой; тутъ, что ни сцена, то новый мотивъ, столь же быстро умирающій, какъ онъ и возникъ. Наконецъ параллельное отправленіе Дикеополя съ Ламахомъ — опять особый мотивъ, комедія въ комедіи. Какъ видно, нѣтъ общаго, центрального драматическаго мотива, кото-

рый господствовалъ бы надъ всей пьесой, какъ это принято въ нашей комедіи; выражаясь кратко, мы можемъ сказать, что мы у Аристофана имѣемъ *нанизывающій* драматизмъ, въ противоположность къ *централизирующему* драматизму современной комедіи. Я долженъ оговориться, что, приписывая централизирующій драматизмъ современной комедіи, я не думаю отрицать его существованіе въ комедіи древнихъ: мы находимъ его въ развитомъ видѣ у Плавта и Теренція, т.-е. у Менандра и Филемона, а его зачатки даже у Аристофана (въ *Облакахъ*, напр.). Но мы не находимъ его въ *Ахарнянахъ*, а эта комедія, какъ я уже сказалъ, типична для всего древнеаттического направленія.

Не находимъ мы въ нихъ равнымъ образомъ психологій характеровъ. Ничѣмъ не охарактеризована, прежде всего, центральная личность Дикееполя: это въ началѣ представитель политическаго принципа, а затѣмъ самый заурядный человѣчекъ, любящій поѣсть и попить и не выносящій походовъ съ ихъ лишеніями и невзгодами. Ярче обрисованы, правда, другіе персонажи—хвастливые ораторы-послы, юродивый, Ламахъ, Еврипидъ, обнищавшій мегарецъ и др.; но это не характеры, психологія въ ихъ обрисовкѣ вполнѣ отсутствуетъ; это даже не типы, а *карикатуры*. Карикатурность—опять отличительный признакъ древнеаттической комедіи, въ противоположность къ психологической характеристикѣ новой.

Идемъ дальше. Комизмъ ситуаций, бойкость діалога вполнѣ присущи уже и нашей комедіи; въ этомъ отношеніи дальнѣйшее развитіе состояло не въ прогрессѣ, а скорѣе въ нѣкоторомъ ослабленіи комической прыти Аристофана. Онъ можетъ быть вполнѣ реалистиченъ, если захочетъ; но онъ вовсе не считаетъ своимъ долгомъ жертвовать ради реализма могучимъ полетомъ своей фантазіи. Идея партикулярнаго мира съ портофранко при всей своей несбыточности ничуть не стѣсняетъ Аристофана; въ другой пьесѣ герой, выростивъ жука-навозника чудовищныхъ размѣровъ, улетаетъ на немъ на Олимпъ къ богамъ; въ третьей онъ отправляется къ птицамъ и убѣждаетъ ихъ основать единое птичье царство съ могучей столицей Тучекукуевскомъ. Комедія Аристофана въ своей основѣ *фантастична*; этимъ она отличается отъ реалистической комедіи позднѣйшихъ временъ и нашей.

И все-таки мы не коснулись еще главной отличительной черты аристофановой комедии — той, которая больше всего бросается въ глаза при ея чтеніи. Пересказу Ахарнянъ мнѣ пришлось предпослать краткое описаніе тогдашняго политическаго положенія Аѳинъ; дѣйствительно, предъ нами комедія *политическая*, ея центральная идея—идея о мирѣ со Спартой—принадлежитъ къ области политики, а не нравовъ и внѣшняго быта. Но это еще не все: проводя политическую идею, Аристофанъ не задумывается выводить на сцену своихъ недруговъ въ родѣ Ламаха въ карикатурномъ образѣ, а о другихъ открыто говорить безъ всякихъ стѣсненій: его комедія—не только политическая, но и *обличительная*.

Въ другихъ его комедіяхъ эта обличительная тенденція обрисовывается еще ярче: во Всадникахъ онъ изображаетъ въ карикатурномъ видѣ могучаго демагога Клеона, въ Облакахъ—Сократа, въ которомъ онъ видѣлъ врага древнеаѳинскихъ традицій, въ Лягушкахъ—Еврипида, котораго онъ ненавидѣлъ по причинамъ родственнаго характера. Замѣчу тутъ же, что этотъ обличительный характеръ древнеаттической комедіи повелъ къ ея гибели; но объ этомъ у насъ рѣчь будетъ впереди.

Теперь мы собрали главные черты аристофановой комедіи; можно будетъ поставить вопросъ объ ея возникновеніи. Итакъ, какъ же произошло и выросло это столь своеобразное твореніе аттической народной души—эта древнеаттическая комедія, нанизывающая и карикатурная по своей драматической Technikѣ, фантастическая и обличительная по своему содержанію?

IV.

Отвѣтить на этотъ вопросъ можно двумя путями: либо путемъ болѣе внимательнаго техническаго изслѣдованія самой комедіи, которая, какъ и каждый организмъ, въ себѣ самой сохранила слѣды своего возникновенія, либо путемъ анализа тѣхъ скудныхъ свидѣтельствъ о происхожденіи комедіи, которыя намъ сохранены изъ древности. Самое надежное будетъ, конечно, комбинировать оба метода.

Начнемъ съ перваго. Мы видѣли уже, что древнеаттическая комедія любитъ нанизывать мотивы; все же, въ приведен-

номъ мною образцѣ нанизанные мотивы не однородны, есть среди нихъ одинъ, занимающій среди прочихъ исключительное положеніе, это—мотивъ преслѣдованія мирносоца ахарянами. Выдѣляется этотъ мотивъ изъ числа прочихъ тѣмъ, что вводитъ въ дѣйствіе *хоръ* комедіи; въ самомъ дѣлѣ только здѣсь хоръ изъ ахарнскихъ крестьянъ принимаетъ дѣятельное участіе въ дѣйствіи, при всѣхъ дальнѣйшихъ сценахъ онъ присутствуетъ въ качествѣ простого зрителя, вовсе не будучи нуженъ для того, что происходитъ на сценѣ. Въ чемъ же заключается его участіе тамъ, гдѣ онъ выступаетъ дѣйствующимъ лицомъ? Во-первыхъ, онъ прибѣгаетъ на сцену съ явнымъ намѣреніемъ побить камнями виновника мира; во-вторыхъ, онъ вызываетъ защиту Дикеополя и его споръ съ Ламахомъ о войнѣ и мирѣ—споръ, которому предшествуетъ споръ обѣихъ половинъ самого хора, доходящій даже до драки; наконецъ, въ-третьихъ, онъ присуждаетъ побѣду Дикеополю и тутъ же обращается къ публикѣ съ наставленіями въ такъ называемой парабазѣ. Я долженъ прибавить, чего мой пересказъ передать не могъ, что эти три части также и по размѣру строго выдѣляются изъ прочихъ частей комедіи. Теперь полезно будетъ припомнить, что эти три части *хорической* комедіи, какъ я ее буду называть, встрѣчаются почти во всѣхъ драмахъ Аристофана—именно появленіе хора, споръ и парабазы, причемъ самой важной изъ нихъ является споръ, ведомый всегда на болѣе общія темы; здѣсь о войнѣ и мирѣ, во Всадникахъ о политикѣ Клеона, въ Облакахъ о старомъ и новомъ воспитаніи и т. д. А такъ какъ мы знаемъ, что по условіямъ греческаго театра хоръ былъ первоначальнымъ и самымъ существеннымъ элементомъ драмы—недаромъ многія комедіи, въ томъ числѣ и Ахарняне, именно отъ хора получили свое наименованіе,—то мы будемъ склонны признать въ хорической комедіи ядро древнеаттической комедіи вообще.

Теперь сравнимъ съ этой хорической комедіей другія сценки, въ которыхъ хоръ присутствуетъ только какъ зритель. Мегарецъ продалъ Дикеополю своихъ дочерей, наряженныхъ свинками: сикофантъ хочетъ помѣшать торгамъ; его Дикеополь бьетъ. Беотіецъ приноситъ ему свой товаръ; опять подвергается сикофантъ, герой его связываетъ и продаетъ беотійцу. Такихъ сценокъ у Аристофана масса, и многія изъ нихъ кон-

чаются тѣмъ, что герой колотить кого-нибудь къ вѣщшему удовольствію невзыскательной публики; мы узнаемъ здѣсь любимый мотивъ всѣхъ народныхъ фарсовъ до нашего Петрушки включительно. Итакъ, шутливыя сценки петрушечной комедіи, какъ мы позволимъ себѣ ее называть — второй элементъ въ комедіи Аристофана; въ немъ мы должны будемъ признать элементъ пришлый, такъ какъ онъ не требуетъ присутствія хора, этой исконной части аттической комедіи.

Такимъ образомъ, нашъ анализъ аристофановой комедіи научилъ насъ слѣдующему. Она произошла изъ сліянія двухъ элементовъ, одного — исконнаго и мѣстнаго, другого — пришлаго. Исконнымъ элементомъ была хорическая комедія собственно политическаго содержанія, пришлымъ — карикатурная петрушечная комедія. А теперь посмотримъ, что намъ скажутъ свидѣтельства древнихъ; къ нашему полному удовлетворенію и они говорятъ о двойномъ происхожденіи комедіи.

Одно изъ нихъ гласитъ такъ: „Комедія возникла по слѣдующей причинѣ. Крестьяне, обижаемые аѳинскими гражданами и желающіе обличить ихъ (прошу отмѣтить это слово), приходили въ городъ, около времени, когда люди ложатся спать, и, проходя по улицамъ, перечисляли обиды, которыя они терпѣли отъ нихъ, — т.-е., говоря явнѣе, кричали приблизительно слѣдующее: здѣсь живетъ человѣкъ, поступившій такъ-то и такъ-то съ крестьянами — такъ что сосѣди, услышавъ это, на слѣдующій день рассказывали другъ другу о ночныхъ жалобахъ крестьянъ. Это было позоромъ для обидчика и нерѣдко заставляло его отказаться отъ своего образа дѣйствій. Частое повтореніе значительно сократило число обидчиковъ; тогда городскія власти нашли, что эта затѣя комиковъ полезна для государства, онѣ ихъ отыскивали и предложили имъ повторить ее въ театрѣ“. Быть можетъ, дѣло произошло не такъ просто, какъ это полагалъ самъ авторъ въ своемъ романтическомъ оптимизмѣ, но ясно, что здѣсь говорится о возникновеніи исконно аѳинской обличительной хорической комедіи.

Другія свидѣтельства заводятъ насъ далеко внѣ Атики; намъ рассказываютъ о народныхъ увеселеніяхъ „маскированныхъ людей“ въ Спартѣ, изображавшихъ накрытаго на мѣстѣ преступленія воришку или какого-нибудь заморскаго шарла-

тана-врача. Очевидно, мы имѣемъ здѣсь нѣчто существенно отличное отъ только-что описанной обличительной комедіи, — насмѣшка направлена не противъ личностей, а противъ типовъ, изображаемыхъ въ карикатурномъ видѣ — и въ то же время родственное тѣмъ бытовымъ сценкамъ, которыя составляютъ второй элементъ комедіи Аристофана. Дѣйствительно, среди этихъ сценокъ мы находимъ одну, въ которой собесѣдникъ героя хочетъ украсть жертвенное мясо и за это награждается побоями, а шарлатаны — хотя и не врачи, а прорицатели, математики и т. д. — составляютъ излюбленный персоналъ этихъ сценокъ. Я уже сказалъ, что такого рода бытовая комедіи засвидѣтельствованы для Спарты: засвидѣтельствованы онѣ также и для другихъ, преимущественно дорическихъ городовъ Греціи. Это вполне гармонируетъ съ результатомъ анализа аристофановой комедіи, который намъ доказалъ, что этотъ второй элементъ былъ элементомъ не исконно-аттическимъ, а пришлымъ.

V.

Вотъ, стало быть, каковы были оба корня древнеаттической, а слѣдовательно и нашей комедіи. О развитіи перваго изъ нихъ — обличительной комедіи — до его соединенія со вторымъ въ литературной, т. е. аттической комедіи мы не имѣемъ опредѣленныхъ свѣдѣній; въ нѣсколько лучшихъ условіяхъ находимся мы относительно второго элемента, карикатурной бытовой сценки. Она и до и послѣ своего сліянія съ обличительной комедіей на аѳинской сценѣ имѣла свое особое самостоятельное развитіе, и это развитіе стоитъ того, чтобы съ нимъ вкратцѣ ознакомиться.

Отъ обличительной комедіи бытовая сценка отличалась своей значительно большей подвижностью. Обличительная насмѣшка обиженныхъ крестьянъ не была понятна внѣ того мѣста, гдѣ жилъ обидчикъ, она была къ нему прикрѣплена: напротивъ, тѣ „маскированные“ актеры, которые изображали приключенія и разочарованія воришекъ или шарлатановъ, вездѣ могли рассчитывать на успѣхъ, гдѣ только имѣлась невзыскательная публика, довольствующаяся обстановкой ихъ незатѣйливой сцены. И вотъ бытовая сценка разъѣзжаетъ по всему греческому міру;

съ теченіемъ времени она развиваетъ свой репертуаръ и вырабатываетъ постоянныя маски, о которыхъ мы кое-что знаемъ. Была тамъ прежде всего самая любимая маска—дурака, всѣми обманываемаго, хотя подчасъ и не лишеннаго нѣкоторой дурацкой хитрости; маска балаганнаго дѣда, плюгаваго старика, маска обжоры, маска интригана и т. д. Но дерзкая бытовая сценка не довольствуется человѣческой обстановкой: она завладѣваетъ и царствомъ боговъ, пародируя и карикируя родныя мифы; любимаго народнаго богатыря Геракла она превращаетъ въ типъ обжоры, румянаго Вакха въ типъ трусливаго щеголя; мало того, она не останавливается даже передъ отцомъ Зевсомъ, который со своими многочисленными любовными похождениями былъ дѣйствительно благодарнымъ комическимъ типомъ. Такъ зарождается особый литературный жанръ веселой трагедіи, который современемъ, благодаря Плавту, проникъ въ галантную французскую поэзію 17 вѣка и нашелъ свое послѣднее воплощеніе въ мифологической опереткѣ Оффенбаха.

Расцвѣтъ бытовой сценки съ мифологической пародіей вѣроятно связанъ съ однимъ* очень громкимъ именемъ—съ именемъ комическаго поэта *Эпихарма*, жившаго въ сицилійскомъ городѣ Сиракузахъ въ эпоху Эсхила; онъ ее облагородилъ, сдѣлавъ ее носительницей—какъ это ни кажется страннымъ—серьезныхъ философскихъ идей. Благодаря ему бытовая сценка проникла въ литературу; ею восторгались, начиная съ Платона, многіе самые серьезные греческіе писатели, отзывы которыхъ заставляютъ насъ быть высокаго мнѣнія объ этомъ раннемъ представителѣ драматургическаго искусства. Намъ было бы желательно провѣрить эти отзывы собственнымъ непосредственнымъ ознакомленіемъ съ Эпихармомъ; къ сожалѣнію, отъ него ни одной цѣльной драмы не сохранилось, отрывки же не очень многочисленные и, что хуже, малозначительные по объему не даютъ намъ достаточнаго представленія о немъ. Ихъ число не такъ давно обогатилось однимъ найденнымъ въ Египтѣ на клочкѣ папируса; онъ принадлежалъ къ комедіи, озаглавленной „Одиссей перебѣжчикъ“, и даетъ намъ нѣкоторое представленіе о построеніи фабулы въ этой комедіи. Еще гомеровская Одиссея знаетъ объ одномъ очень смѣломъ похожденіи героя подъ Троей, какъ онъ, переодѣвшись въ нищенское платье,

отправился во вражескій городъ на развѣдки. Его тогда узнала по старой памяти Елена, но выдать не пожелала, такъ какъ она тогда и сама, по ея словамъ, стосковалась по прежнемъ супругѣ и желала вернуться къ нему. Такъ вотъ этимъ приключеніемъ воспользовался Эпихармъ; но его комическій Одиссей слишкомъ благоразумевъ для того, чтобы серьезно подвергать себя такой опасности. У него есть средство гораздо проще, чтобы и зарекомендовать себя смѣльчакомъ передъ своими, и въ то же время сохранить свою особу въ цѣлости: онъ отправится яко бы въ Трою, на самомъ же дѣлѣ спрячется по пути въ какой-нибудь канавѣ, и затѣмъ, отсидѣвъ въ ней определенное время, вернется въ греческій станъ и расскажетъ о положеніи въ Троѣ, что Богъ ему на душу положить. — Какъ онъ исполнилъ это доблестное намѣреніе, этого мы сказать не можемъ — нашъ отрывокъ намъ этого не говорить. Все же эта находка была для насъ, филологовъ, радостнымъ сюрпризомъ: она доказала намъ, что Эпихарма въ Египтѣ читали довольно долго; а такъ какъ находки папирусовъ въ этой странѣ продолжаютъ, то есть надежда, что когда-нибудь всплыветъ наружу болѣе или менѣе цѣльная пьеса этого древнѣйшаго представителя литературной комедіи.

Съ Эпихармомъ мы встрѣчаемъ греческую комедію въ Сициліи, т.-е. въ колоніальной Греціи; но ея побѣдоносное шествіе здѣсь не остановилось, она прошла въ Италію — прежде всего, конечно, въ тамошнія греческія колоніи. И здѣсь мы встрѣчаемъ бытовую сценку вмѣстѣ съ ея разновидностью, мимологической пародіей; это касается главнымъ образомъ самаго крупнаго греческаго города въ Италіи, Тарента. А отъ грековъ она постепенно стала просачиваться и къ туземцамъ, къ италійцамъ; возникаетъ туземная комедія, перенимавшая отъ греческой ея типическія маски — дурака, старика, обжоры, интригана — отчасти въ ихъ греческой формѣ, отчасти въ переводѣ на туземный языкъ. Италійскій народъ отъ природы склоненъ къ шуткѣ и карикатурѣ; карикатурная сценка быстро къ нему привилась, она стала первымъ плодомъ туземнаго творчества, о которомъ мы знаемъ. И далѣе и далѣе шествовала эта поистинѣ народная комедія на сѣверъ, пока не попала наконецъ въ Римъ. Здѣсь она стала извѣстна подъ названіемъ *ателланской*

комедии (отъ имени кампанскаго города Ателлы, изъ котораго Римъ ее заимствовалъ); я долженъ замѣтить, что это случилось задолго до вторженія литературной комедии, связаннаго съ именами Плавта и Теренція. Та существовала сама по себѣ, привлекая главнымъ образомъ образованную публику; но рядомъ съ ней незатѣйливая, часто импровизованная ателлана съ ея потѣшными типическими масками продолжала забавлять простой народъ, пониманію котораго она, благодаря своей карикатурности, была гораздо доступнѣе. Пришло время, когда литературной комедии пришлось сойти со сцены и уступить свое мѣсто водевилю (миму) и балету (пантомимѣ)—ателлана по-прежнему пользовалась милостью простонародія, которое ни за что не хотѣло жертвовать своими безсмертными масками дурака и прочихъ. Пришло время, когда и водевилъ съ балетомъ пали подъ гнетомъ проклятія христіанской церкви—ателлана, благодаря своему скромному, малозамѣтному положенію, не испытала на себѣ тяжести этого проклятія: дуракъ и обжора съ интриганомъ продолжали по-прежнему смѣшивать христіанскую Италію, которая хотя и не безъ тайныхъ угрызений совѣсти, однако, не могла устоять противъ соблазна посмотреть на представленія отверженныхъ церковью, но любимыхъ народомъ скомороховъ и *giullari*. А когда наступили веселыя времена Возрожденія, то и старинная и безсмертная ателлана возродилась подъ именемъ *commedia dell'arte*, съ ея тоже типическими масками Панталона, Бригеллы и т. д.—масками, античное происхожденіе которыхъ не подлежитъ сомнѣнію. Столь живучей оказалась греческая бытовая сценка, перешедшая изъ настоящей Греціи въ Италію и быстро завоевавшая симпатіи владыки вселенной—Рима.

VI.

Но какъ ни было плодотворнымъ шествіе бытовой сценки по дорическимъ государствамъ и на западъ—гораздо важнѣе для развитія комедии было ея перенесеніе въ Аѳины. Здѣсь ея роль была двойная. Во-первыхъ, она, какъ самостоятельная и самодовлѣющая отрасль драматической литературы, пыталась развиваться сама по себѣ, вполне игнорируя тѣ зачатки комизма,

которые уже существовали на афинской почвѣ въ видѣ описанной мною раньше народной обличительной комедіи,—и дѣйствительно, мы встрѣчаемъ на афинской сценѣ чисто карикатурную комедію какъ бытового, такъ и мифологическаго характера, лишенную всякаго политическаго колорита. Но, во-вторыхъ, она вступила въ союзъ съ обличительной комедіей, слилась съ ней и породила ту политическую комедію, представителемъ которой является для насъ Аристофанъ. Мы видѣли, что союзъ этотъ былъ не совсѣмъ органическимъ: комическимъ писателямъ, при всей ихъ гениальности, не удавалось, или, по крайней мѣрѣ, не всегда удавалось слить оба разнородныхъ элемента въ одно однородное цѣлое; очень часто—какъ мы это видѣли на Ахарнянахъ—дѣло пошло не дальше нѣсколько механическаго наизыванія комическихъ мотивовъ. При всемъ томъ политическая комедія, именно какъ политическая, чувствовала себя неизмѣримо выше своей конкуррентки: было вѣдь гораздо почетнѣе творить судъ надъ могучими демагогами въ родѣ Клеона, чѣмъ выводить на сцену проказы какого-нибудь Ивана-дурака или разочарованія голоднаго Геркулеса, оставленнаго безъ обѣда. А затѣмъ—обличительная комедія была для афинянъ роднымъ, бытовая сценка—пришлымъ элементомъ; помимо всего прочаго, и патріотическая гордость заставляла отдавать преимущество политической отрасли. И дѣйствительно, въ комедіяхъ Аристофана мы находимъ не мало презрительныхъ намековъ на его конкуррентовъ, поэтовъ карикатурной бытовой комедіи съ ея проказниками рабами и голодными Геркулесами; въ противоположность къ нимъ онъ гордится тѣмъ, что онъ—какъ сказочные богатыри, поражавшіе змѣевъ—сразился съ этимъ столь опаснымъ и гибельнымъ стоглавымъ чудовищемъ, съ Клеономъ, что онъ былъ поборникомъ не иностраннаго, а родного правленія.

Безспорно, въ устахъ Аристофана эти гордые заявленія были вполне уместны. „Всадниками“ озаглавилъ онъ ту свою комедію, въ которой онъ вывелъ на сцену Клеона; здѣсь онъ поставилъ себѣ трудную задачу построить всю драму на обличительномъ началѣ, не прибѣгая вовсе къ эпизодическимъ сценкамъ бытового характера; это у него—единственный примѣръ. Идея комедіи—та, что такая безсовѣстная личность, какъ Кле-

онъ, можетъ быть побѣждена только еще болѣе безсовѣстной; для ея проведенія поэтъ воспользовался слѣдующей аллегорической обстановкой. Живетъ въ Аѳинахъ дряхлый, полоумный старикъ, по имени Народъ (Dêmos); есть у него рабъ-дворецкій, кожевникъ по ремеслу, который завладѣлъ всѣмъ его довѣріемъ и пользуется имъ для того, чтобы обижать другихъ рабовъ (явный намекъ на Клеона, который былъ именно кожевникомъ, или, по крайней мѣрѣ, владѣльцемъ кожевеннаго завода). Чтобы избавиться отъ него, двое обиженныхъ имъ рабовъ заручаются содѣйствіемъ нѣкоего колбасника, настоящаго fort de la halle — грязнаго, полуграмотнаго, но сильнаго и дерзкаго. Ему сочувствуетъ и содѣйствуетъ хоръ, состоящій изъ всадниковъ — членовъ аристократической корпораціи, ненавидящей Клеона и ненавидимой имъ. Въ цѣломъ рядъ сценъ происходитъ со всевозможными варіаціями поединковъ между кожевникомъ-Клеономъ и этимъ колбасникомъ, который вездѣ остается побѣдителемъ; это въ сущности — многократное повтореніе одного и того же мотива, но поэтъ до того изобрѣтателенъ въ частности, онъ такъ хорошо умѣетъ подмѣчать и пародировать — то подъ дымкой аллегоріи, то открыто — слабыя и смѣшныя стороны аѳинской политической жизни, что мы не чувствуемъ монотонности этого повторенія и вполне одобряемъ аѳинянъ, наградившихъ эту комедію первымъ призомъ.

Еще выше, съ нашей точки зрѣнія, уносится Аристофанъ въ слѣдующей по времени комедіи, въ Облакахъ, самомъ знаменитомъ изъ всѣхъ его твореній. Въ ней изображены бѣдствія нѣкоего аѳинскаго старика, Стрепсиада. Онъ изъ простыхъ, но женился на благородной, которая и ихъ сына воспитала въ атмосферѣ благородныхъ страстей и претензій; онъ сталъ лихимъ наѣзникомъ, но такъ какъ за его лошадей приходилось платить его отцу, то этотъ отецъ запутался въ долгахъ и теперь наканунѣ полнаго банкротства. Что тутъ дѣлать? Стрепсиадъ слышалъ, что поблизости живетъ умный человѣкъ, умѣющій въ процессахъ черное выставять бѣлымъ и наоборотъ; имя этому человѣку — Сократъ. Вотъ если бы у него поучиться, можно бы выиграть процессъ съ кредиторами и освободиться отъ долговъ. Начинается ученіе; на зовъ Сократа слетаются туманныя божества новой софистической вѣры, Облака, и бла-

гословляютъ старика на трудное дѣло. Но его слабая голова не можетъ обнять всей этой новомодной премудрости, на экзаменѣ онъ торжественно проваливается, и Сократъ его прогоняетъ. Нечего дѣлать, приходится отправить въ учение сына. Съ тѣмъ дѣло идетъ бойчѣе: вскорѣ краснощекій и простоватый кавалеристъ превращается въ блѣднолицаго крючкодѣя-адвоката и таковымъ возвращается къ отцу. Тотъ въ восторгѣ; кредиторамъ доказывается, что ихъ требованія съ точки зрѣнія высшей юриспруденціи совершенно неосновательны, и они, сконфуженные, уходятъ. Но вскорѣ показывается и обратная сторона медали: ученый сынъ пользуется преимуществами своей эрудиціи также и противъ отца и по поводу какого-то литературнаго спора вразумляетъ его побоями, а затѣмъ хладнокровно доказываетъ ему, что онъ имѣетъ полное право бить своего отца, да заодно и мать—недаромъ его научили черное выставять бѣлымъ. Тутъ доведенный до отчаянія Стрепсиадъ зоветъ своихъ рабовъ и съ ихъ помощью сжигаетъ домъ Сократа вмѣстѣ съ его обитателями.—Въ этой комедіи насъ неприятно поражаетъ, что представителемъ безнравственнаго софистическаго воспитанія выведенъ врагъ софистовъ и отецъ греческой и нашей морали, Сократъ; но иначе быть не могло. Сознательная мораль Сократа не могла не показаться опасной для традиціонной староаѣинской морали; въ лицѣ Аристофана старыя Аѣины отбивались отъ того, кто основалъ общечеловѣческую нравственность на развалинахъ національнаго аттическаго міросозерцанія.

Пропускаемъ второстепенныя драмы Осы и Миръ: переходимъ къ Птицамъ, этому новому, едва ли не самому блестящему проявленію смѣлой фантазіи нашего поэта. Здѣсь Аристофану пришлось бороться съ трудностями цензурнаго, такъ сказать, характера: подъ гнетомъ войны аѣиняне запретили обличительную комедію, надо было поэтамъ какъ-нибудь изворачиваться. При такихъ условіяхъ сверстники Аристофана нерѣдко переходили отъ политической комедіи къ бытовой—Аристофанъ этого не сдѣлалъ; онъ воспользовался мотивами родныхъ сказокъ и построилъ на нихъ причудливую и шутливую фавулу, пересыпавъ ее въ частностяхъ массой политическихъ намековъ. Двое аѣинянъ уходятъ изъ родины на поиски блаженнаго цар-

ства, указать его долженъ имъ уродъ, который по мифологiи былъ превращеннымъ въ птицу царемъ и въ качествѣ такового приходился сродни аѳинянамъ—причемъ предполагается, что онъ, именно въ качествѣ бывшаго человѣка, еще не забылъ говорить и понимать по-гречески. И дѣйствительно, онъ принимаетъ ихъ ласково; изъ разговоровъ съ нимъ выясняется, что блаженное царство недалеко, это—царство птичье. И вотъ у одного изъ аѳинянъ возникаетъ гениальная мысль: что если всѣхъ птицъ организовать и основать единое, могучее птичье государство? Занимая среднее положеніе между небомъ и землею, оно несомнѣнно подчинило бы себѣ и боговъ и людей: боговъ можно бы въ случаѣ сопротивленія съ ихъ стороны морить голодомъ, не допуская къ нимъ жертвеннаго дыма черезъ воздушное пространство; что касается людей, то они, конечно, предпочтутъ поклоняться птицамъ, какъ болѣе близкимъ и могучимъ существамъ, чѣмъ далекимъ и безучастнымъ богамъ. Планъ удастся; основывается птичья столица Тучекукуевскъ; боги послѣ краткаго сопротивленія принуждены сдаться и предпріимчивый аѳинянинъ, какъ настоящий сказочный герой, получаетъ въ жены, вмѣстѣ съ царствомъ, дочь Зевса Василию—родоначальницу всѣхъ Василисъ-премудрыхъ нашихъ народныхъ сказокъ.

Запрещеніе вскорѣ было снято съ обличительной комедіи: въ слѣдующей драмѣ, Лисистратѣ, мы опять встрѣчаемъ нашего поэта на политической почвѣ, и опять, какъ въ Ахарнянахъ, миръ составляетъ центральную идею его пьесы. Только обстановка теперь уже другая; на мужчинъ, хотя бы даже и юродивыхъ, Аристофанъ болѣе не надѣется,—женщины берутъ дѣло мира въ свои руки, супруги и матери воиновъ всей Эллады, аѳинянки, спартанки, коринѳянки, еиванки; ихъ вдохновительница, разумѣется, аѳинянка—героиня нашей драмы, Лисистрата. Составляется тайный заговоръ представительницъ эллинскихъ городовъ—я долженъ замѣтить, что при существованіи въ Греціи исключительно женскихъ праздниковъ общій фонъ для тайныхъ заговоровъ былъ данъ какъ нельзя лучше. Участницы даютъ страшную клятву—отказывать своимъ мужьямъ во всякой ласкѣ до тѣхъ поръ, пока они не прекратятъ войны. Не могу тутъ рассказывать всѣхъ частныхъ этой оригинальной

забастовки: долженъ ограничиться замѣчаніемъ, что муза Аристофана и тутъ осталась вѣрна своей обычной откровенности и использовала вслѣдствіе своей смѣлой до невозможнаго тему. Въ концѣ концовъ дѣло кончается полнымъ торжествомъ женщинъ, и Лисистратъ поручается арбитражъ между воюющими сторонами.

Пропускаемъ опять одну пьесу; переходимъ прямо къ литературно-критической комедіи Аристофана, къ его *Лягушкамъ*. Она была написана подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ почти одновременной смерти двухъ великихъ аѳинскихъ трагиковъ, Софокла и Еврипида. Какъ приверженецъ староаѳинской культуры, Аристофанъ былъ поклонникомъ строгой трагедіи Эсхила съ ея глубокой религіозностью и непоколебимой традиціонной моралью; къ Софоклу онъ относился безразлично, но Еврипидъ съ его психологіей и софистикой страсти былъ ему прямо антипатиченъ. Теперь послѣ смерти послѣднихъ членовъ великаго триумvirата трагической сцены настало время подвести итоги его дѣятельности; эту задачу и исполнилъ Аристофанъ въ своихъ *Лягушкахъ*. Основная мысль фабулы такая: богъ-покровитель аѳинской драмы, Діонисъ (Вакхъ), опечаленный оскуднѣніемъ трагедіи, рѣшаетъ отправиться въ преисподнюю, чтобы такъ или иначе извлечь оттуда своего любимца Еврипида. На пути туда онъ испытываетъ множество приключеній въ духѣ извѣстныхъ намъ уже карикатуръ бытовой комедіи: надо было позабавить зрителей, которымъ предстояло выслушать не мало серьезныхъ разсужденій въ дальнѣйшемъ ходѣ драмы. Но вотъ наконецъ цѣль достигнута, онъ у воротъ дворца царя тѣней; вдругъ изнутри доносится страшный шумъ. Что случилось? — Дѣло въ томъ, что въ подземномъ царствѣ существуетъ особаго рода академія при дворѣ Плутона; въ этой академіи трагическую каѳедру занималъ съ давнихъ поръ Эсхиль. Софоклъ ничего противъ этого не имѣлъ; но когда въ обитель мертвыхъ сошелъ Еврипидъ, то этотъ безпокойный человѣкъ тотчасъ поставилъ свою кандидатуру, и Эхилу пришлось съ нимъ сразиться. Діонисъ, такимъ образомъ, пришелъ какъ разъ во-время: ему, какъ лицу компетентному, поручается роль судьи. И вотъ начинается диспутъ между Эхиломъ и Еврипидомъ, диспутъ, занимающій всю вторую половину комедіи. Драмы

разбираются всесторонне, начиная съ идеи и тенденціи и кончая самыми спеціальными техническими подробностями; читая этотъ древнѣйшій образчикъ литературно-эстетической критики, мы удивляемся умственному развитію аѳинской публики, которой можно было преподносить со сцены, и притомъ съ комической сцены, такія серьезныя и пространныя критическія разсужденія. Результатъ спора, разумѣется, тотъ, что Діонисъ убѣждается въ превосходствѣ поэзіи Эсхила и его беретъ съ собою въ Аѳины; а на время его отсутствія вакантное кресло въ академіи передается Софоклу.

Лягушки—последняя комедія 5 вѣка, но не последняя комедія Аристофана вообще: отъ него сохранились еще двѣ, принадлежащія уже 4 вѣку, въ нихъ однако замѣтно значительное ослабленіе обличительнаго задора. Мы займемся вскользь лишь первой изъ нихъ, озаглавленной „Женщины въ народномъ собраніи“; онѣ интересны для насъ какъ отголосокъ тѣхъ феминистическихъ утопій, безъ которыхъ не могла обходиться умственная жизнь такого интеллигентнаго общества, какъ аѳинское. Женщины, собравшись вмѣстѣ по поводу одного женскаго праздника, приходятъ къ рѣшенію, что имъ слѣдуетъ при первой возможности отнять политическую власть у мужчинъ, какъ доказавшихъ свою полную къ ней неприспособленность, и захватить ее въ свои руки. Чтобы исполнить это постановленіе, онѣ, переодѣтыя мужчинами, проникаютъ въ народное собраніе и голосуютъ въ немъ по всѣмъ формальностямъ закона: результатъ голосованія, разумѣется, тотъ, что власть передается женщинамъ; зачинщица всего плана, Праксагора, избирается „полководицей“. Она тотчасъ энергично принимается за требуемыя реформы. Общество перестраивается на коммунистическихъ началахъ, но этого мало: проблема брака и любви тоже должна быть рѣшена. Какъ она рѣшается, удобнѣе прочесть у самого Аристофана; могу только сказать, что смѣлостью ея рѣшенія Аристофанъ перещеголялъ всѣхъ утопистовъ вплоть до нашихъ дней. Нечего говорить, что заполняющія последнюю часть комедіи сценки бытового характера и знакомой намъ уже техники всецѣло посвящены именно этой проблемѣ.

VII.

Нельзя было не остановиться подробнѣе на политической комедіи Аристофана, этомъ самомъ оригинальномъ и смѣломъ произведеніи человѣческаго духа; какъ таковое, она была вѣрнымъ символомъ Аѳинъ въ самую самобытную эпоху ихъ существованія, во 2 половину 5 вѣка, когда мысль не знала предѣловъ себѣ и своему творчеству, а политическая воля считала возможнымъ перенести въ дѣйствительность всякое порожденіе мысли. Въ такія эпохи народъ живетъ не для себя: разрывая нити традиціи, воля совершаетъ ошибку за ошибкой, нагромождая этимъ запасъ опыта для потомства, но ведя постепенно къ гибели себя и своихъ носителей. Аѳинская воля довела государство до полного разгрома къ концу 5 вѣка; послѣ этого разгрома городъ Паллады, слабый и приниженный, убѣдился въ необходимости жить наконецъ для себя. Для этого надлежало смиренно возстановить традицію и предать анаѳемѣ слишкомъ смѣлый полетъ писательской и философской мысли; это и было сдѣлано къ началу 4 в.—эпохѣ, съ которой Аѳины начинаютъ терять интересъ для насъ. Нѣкогда политическая комедія и Сократъ были врагами; теперь они оба въ одинаковой степени показались врагами благоразумной политической жизни. Приблизительно въ одно и то же время оба были обречены на гибель: Сократа заставили выпить чашу съ ядомъ, а на политическую комедію былъ наложенъ окончательный запретъ.

Вотъ чѣмъ кончилась полувѣковая борьба между политической и карикатурной комедіей: съ исчезновеніемъ первой, вторая осталась полной владычицей аѳинской сцены. Карикатурная комедія, какъ мы видѣли, въ хорѣ не нуждалась, онъ былъ для нея неорганическимъ прибавленіемъ, вызваннымъ обязательнымъ единообразіемъ общихъ сценическихъ условій; теперь, когда ея конкуррентки, обличительной *хорической* комедіи, не стало, хоръ и въ карикатурной комедіи легко могъ быть упраздненъ. Его и упразднили: этимъ былъ сдѣланъ значительный шагъ впередъ на пути къ знакомому намъ типу комедіи.

Карикатурная комедія, согласно сказанному выше, распа-

далась на двѣ отрасли — бытовую и мифологическую; обѣ усердно культивируются въ эпоху *среднеаттической* комедіи, какъ мы называемъ, со словъ древнихъ, аттическую комедію четвертаго вѣка. Мы знаемъ это по значительному числу заглавій и отрывковъ, которые намъ сохранились; цѣльной комедіи до насъ не дошло, но зато дошла латинская передѣлка одной комедіи этой эпохи — неизвѣстнаго автора — а именно Амфитріонъ Плавта. Какъ видно уже по заглавію, это — комедія мифологическая; а такъ какъ это — единственный сохранный намъ образецъ этой драматургической отрасли, дающій если не исчерпывающее, то во всякомъ случаѣ довольно ясное представленіе о ней, то будетъ небезынтересно остановиться нѣсколько на его содержаніи.

Въ сущности, сюжетъ Амфитріона — сюжетъ очень серьезный; такъ, по крайней мѣрѣ, къ нему относилась вѣрующая Греція. Въ его центрѣ стоитъ мифъ о рожденіи Геракла (или Геркулеса), сына Зевса и смертной женщины Алкмены, супруги оиванскаго царя Амфитріона. Не простое любовное похищеніе одного изъ „легкоживущихъ“ олимпійскихъ боговъ видѣла вѣрующая Греція въ этомъ мифѣ: согласно древнѣйшей религіи, царству Зевса, воздвигнутому на развалинахъ царства Земли, грозила гибель отъ силъ этой приниженной и порабощенной богини, спасти его могъ только смертный божественнаго сѣмени, не связанный договоромъ боговъ и прокладывающій себѣ собственной силой свой тяжелый жизненный путь. Кто знакомъ съ Нибелунгами Вагнера, тотъ по аналогичной роли Вотана и Зигфрида можетъ себѣ составить представленіе о томъ, чѣмъ былъ для религіи Зевса мифъ о рожденіи Геракла. Именно для того, чтобы дать міру его спасителя, Зевсъ въ образѣ Амфитріона нисходитъ къ его супругѣ, цѣломудренной Алкменѣ, и дѣлаетъ ее матерью перваго богатыря среди людей. Конечно, съ приходомъ настоящаго Амфитріона обманъ обнаруживается. Алкмена въ отчаяніи — но тутъ самъ Зевсъ за нее заступается, раскрываетъ обоимъ супругамъ смыслъ происшедшаго, и Амфитріонъ смиренно и радостно преклоняется передъ нимъ, гордый въ сознаніи, что онъ удостоенъ быть пѣстуномъ Зевсова сына, намѣченнаго спасителя міра. Именно въ этомъ смиреніи и этой гордости заключается отличительная черта серьезнаго

отношенія къ мѣу, какъ творенію народной души.— Позднѣе, въ лицѣ Еврипида, трагедія ухватилась за этотъ сюжетъ. Для нея, понятно, интересъ заключался въ другомъ: ея вниманіе привлекала психологія Алкмены, этой цѣломудренной и все-таки фактически невѣрной супруги. Наконецъ, нашъ сюжетъ попалъ въ руки мѣологической комедіи; она сдѣлала изъ него вотъ что.

Узнавъ объ отсутствіи Амфитріона, отправившагося въ походъ противъ враговъ, Зевсъ вздумалъ воспользоваться имъ для галантнаго приключенія съ его женой, царицей Алкменой. Для этого онъ принимаетъ образъ Амфитріона и, сопровождаемый своимъ постояннымъ слугой Гермесомъ (Меркуріемъ), отправляется къ ней. На бѣду настоящій Амфитріонъ выигралъ рѣшительное сраженіе и какъ разъ къ этому времени выслалъ впередъ своего раба Сосія, глунаго, трусливаго и пьяницу, достойнаго представителя типической маски дурака древнѣйшей карикатурной комедіи. Ясное дѣло, что Сосій своимъ рассказомъ погубить все дѣло: надобно поэтому не дать ему войти въ домъ. Эту роль беретъ на себя Гермесъ: принявъ образъ Сосія, онъ встрѣчаетъ настоящаго Сосія какъ самозванца, доказывая ему, что онъ-то, Гермесъ, и есть рабъ Амфитріона Сосій. Его доказательства настолько убѣдительны, что на Сосія подъ конецъ находятъ сомнѣніе, онъ ли онъ или не онъ; а такъ какъ Гермесъ не прочь подкрѣпить свои доказательства подзатыльниками, то онъ считаетъ за болѣе благоразумное удалиться. Но, конечно, этимъ забавнымъ интермедцо опасность только отсрочена; Амфитріонъ возвращается, дѣла принимаютъ трагическій оборотъ. Зевсъ не отказывается себѣ въ удовольствіи довести путаницу до крайнихъ размѣровъ, появляясь въ образѣ Амфитріона то Алкменѣ, то домашнимъ; подъ конецъ онъ дастъ увидѣть себя въ присутствіи самого Амфитріона, причемъ никто не можетъ разобрать, который изъ нихъ настоящій. Но вотъ приближается моментъ родовъ Алкмены: раскаты грома привѣтствуютъ рожденіе Зевсова младенца. Амфитріонъ убѣждается, что его ослѣпило чудо; въ этой вѣрѣ его подкрѣпляетъ Зевсъ, являясь ему въ своемъ настоящемъ образѣ. Обманутый супругъ преклоняется передъ волей бога— въ этомъ благоговѣйномъ заключеніи сказывается наслѣдіе древней религіозности.

Какъ извѣстно, Амфитріонъ Плавта былъ обработанъ Мольеромъ; тутъ древняя и новая комедія явно подають другъ другу руку. А съ легкой руки Мольера мифологическая комедія пошла въ гору, причемъ Зевсъ или Юпитеръ, часто подъ фамиліарнымъ именемъ *Jupin*, сталъ настоящимъ типомъ влюбчиваго *grand seigneur*, а Амфитріонъ превратился въ обыкновеннаго смѣшного и жалкаго соси. А мифологическая комедія дала новые ростки въ сравнительно недавнее время въ видѣ мифологической оперетки Оффенбаха и его сверстниковъ: тутъ опошленіе греческаго Олимпа было доведено до послѣднихъ предѣловъ, источникъ столькихъ религіозныхъ и эстетическихъ вдохновеній былъ окончательно загрязненъ и изгаженъ. Конечно, починъ этому сдѣлали сами греки въ своей мифологической комедіи; но они могли это сдѣлать безопасно, такъ какъ ихъ эпосъ и трагедія, скульптура и живопись представляли имъ въ серьезныхъ образахъ то прекрасное, которымъ была такъ богата ихъ родная вѣра. У современнаго общества такого эстетическаго противовѣса не было и нѣтъ; для него, поэтому, смѣхъ, вызываемый опереткой Оффенбаха—нездоровый смѣхъ, разрушитель красоты, источникъ душевнаго оскудѣнія и пустоты сердца. Этотъ смѣхъ, согласно закону вырожденія, вызвалъ то бабье нытье, которымъ такъ любить пробавляться драматическая сцена нашихъ дней.

VIII.

Мы видѣли, какова была мифологическая отрасль средне-аттической комедіи; передѣлка Плавта дала намъ возможность составить себѣ о ней довольно точное представленіе. Далеко не въ столь благоприятномъ положеніи находимся мы относительно чисто бытовой отрасли: заглавій и отрывковъ сохранилось много, но всѣ они вмѣстѣ взятые не замѣняютъ намъ одной цѣльной комедіи. Одно, впрочемъ, для насъ ясно: свое вдохновеніе поэтъ черпалъ изъ жизни золотой молодежи тѣхъ временъ; пирушки богатыхъ юношей, проматывавшихъ съ изящными гетерами и остроумными паразитами отцовскія денежки, поставляли добрую половину темъ. Отсюда любимыя фигуры: молодой повѣса, прелестница, паразитъ, поварь... Роль

первого болѣе пріятна, чѣмъ благодарна въ сценическомъ отношеніи; но остальные много принесли своего. Вотъ гетера, съ любовью на устахъ, съ расчетомъ въ сердцѣ... было представлено христіанской апологетикѣ дать ей тотъ эпитетъ, котораго она заслуживала, эпитетъ „несчастной“—древности позволительно было беззаботно любоваться поддѣльнымъ румянцемъ ея щекъ „и дѣвы-розы пить дыханье, быть можетъ—полное чумы“. Вотъ паразитъ, балагуръ и обжора; цѣль его честолюбія—сытнѣйшій обѣдъ, средство—всѣ блестины остроумія, которымъ располагало тогдашнее блестящее общество современниковъ Платона. Вотъ поваръ; его роль, казалось бы, самая матеріальная, но нѣтъ—пристроившись къ умнымъ людямъ, онъ отвыкъ называть ухватъ ухватомъ и сковороду сковородой и изобрѣлъ такой „драгоценный стиль“, какой не снился человѣчеству вплоть до временъ Сирано-де-Бержерака. Таковы герои и ихъ способности; а ихъ дѣянія? Ну, разумеется, пиррушки и попойки, фейерверки остроумія, веселая философія, загадки и прибаутки.—Это съ одной стороны. А съ другой—флиртъ, самый невзыскательный изъ всѣхъ, флиртъ богатыхъ юнцовъ съ гетерами, очень дешевый съ психологической, хотя и дорогой съ матеріальной точки зрѣнія, игра шальныхъ денегъ съ продажными ласками. А впрочемъ, постойте: на фонѣ этой мишурной жизни возможны и мишурныя страсти, нѣчто въ родѣ любви, нѣчто въ родѣ ревности... и ужъ совершенно не мишурныя столкновенія съ болѣе счастливыми соперниками. Говорятъ, что одному изъ поэтовъ этого направленія, Антифану, выпало на долю счастье прочесть одну изъ своихъ комедій Александру Великому. Въ этомъ контрастѣ игрушечной и реальной жизни первой не посчастливилось; на Александра чтеніе нагнало скуку, но аттическій поэтъ съ благодушіемъ своихъ героевъ-паразитовъ сумѣлъ перенести свое пораженіе. „Меня это ничуть не удивляетъ, царь“, сказалъ онъ: „смаковать подобныя вещи можетъ только человѣкъ, самъ нерѣдко пировавшій въ складчину и изъ-за гетеръ дравшійся съ соперниками“.

Все ли этимъ сказано? Нѣтъ, не все. Въ парниковой атмосферѣ мишурной жизни, въ которой такъ любили вращаться поэты среднеаттической комедіи, были выхолены два цвѣтка, которые затѣмъ, пересаженные на вольный воздухъ, привились

и окрѣпили и въ настоящее время кажутся намъ столь здоровыми дѣтьми нашего климата, что мы и не подозреваемъ ихъ искусственнаго происхожденія. Боюсь, что мое заявленіе покажется парадоксальнымъ; тѣмъ не менѣе оно соотвѣтствуетъ фактамъ: однимъ цвѣткомъ былъ *языкъ любви*, другимъ же то, что французы называютъ *esprit*, мы же очень несовершенно передаемъ словомъ „остроуміе“. Да, какъ это ни странно, какъ это ни больно—творцомъ языка любви была гетера, творцомъ остроумія (въ принятомъ нами смыслѣ)—паразитъ среднеаттической комедіи; самые нѣжные и благородные порывы нашего сердца, самыя тонкія проявленія нашего ума говорятъ языкомъ, созданнымъ продажными ремесленниками той и другой области. Знакомые съ эволюціей умственной культуры этому удивляться не будутъ: выработка всякой техники бываетъ дѣломъ ремесленниковъ, но затѣмъ эта техника дѣлается достояніемъ общества и тогда только находитъ достойное себя содержаніе. Человѣчество любило и мыслило, не зная ни языка любви, ни языка остроумія; выработать тотъ и другой было предоставлено людямъ, у которыхъ не было другого дѣла, кромѣ остроумія и любви, паразитамъ и гетерамъ; они-то и научили насъ говорить. Стыдиться этого дара намъ нечего: мы получили его не отъ нихъ непосредственно, а черезъ многія промежуточныя инстанціи, въ очищенномъ и облагороженномъ видѣ.

Начало этого облагороженія совпадаетъ—по крайней мѣрѣ для языка любви—съ тѣмъ моментомъ, когда въ описанное выше общество впервые попадаетъ *дѣвушка*, носительница и предметъ уже не мишурной, а настоящей любви. Традиція древнихъ соединяетъ этотъ моментъ съ именемъ поэта среднеаттической комедіи Анаксандрида; но такъ какъ этотъ поэтъ былъ однимъ изъ древнѣйшихъ поэтовъ этого періода—начало его дѣятельности примыкаетъ къ концу дѣятельности Аристофана—то мы не можемъ сказать, былъ ли этотъ мотивъ его характернымъ достояніемъ, или нѣтъ; возможно вѣдь, что онъ встрѣчался вообще у поэтовъ средней комедіи, и что Анаксандридъ названъ его чиномъ начальникомъ именно какъ древнѣйшій изъ нихъ. Какъ бы то ни было, мотивъ какъ таковой заслуживаетъ нашего вниманія—ему суждено было имѣть длинную исторію, и его послѣднимъ отпрыскомъ была извѣстная комедія Остров-

скаго „Безъ вини виноватые“, всецѣло на немъ построенная. Его формула гласитъ вкратцѣ такъ. Молодой человѣкъ обольщаетъ честную дѣвушку и, обольстивъ, покидаетъ ее. Дѣвушка дѣлается матерью; не будучи въ силахъ вынести позоръ, она своего ребенка подкидываетъ, оставляя ему материнское благословеніе въ видѣ какой-нибудь бездѣлушки. Всѣ теряютъ другъ друга изъ виду; затѣмъ, черезъ 15—20 лѣтъ судьба ихъ опять сводитъ, они узнаютъ другъ друга—мать своего ребенка, благодаря оставленной бездѣлушкѣ—и все кончается благополучно. Этотъ мотивъ „обольщенія и признанія“, какъ его называли древніе (*phthora kai anagnorismos*) попалъ, повторяю, въ комедию благодаря Анаксандриду; но въ литературѣ онъ существовалъ и раньше, только какъ трагическій, а не комическій мотивъ. Мы имѣемъ его въ „Іонѣ“ Еврипида, очень интересной и важной для исторіи драматическихъ мотивовъ трагедіи: Еврипидъ былъ настоящимъ вдохновителемъ среднеаттической комедіи.

Можетъ показаться страннымъ, какимъ это образомъ столь серьезный мотивъ, какъ нашъ, могъ найти себѣ мѣсто въ комедіи; дѣйствительно, оба поэта, стоящіе на противоположныхъ концахъ многовѣковой цѣпи—Еврипидъ и Островскій—воспользовались имъ именно какъ серьезнымъ мотивомъ. Разгадка заключалась въ слѣдующемъ. Аттическая комедія уже въ силу своего незначительнаго объема была лишена возможности представить на сценѣ и обольщеніе, и признаніе—она ограничивалась послѣднимъ, обольщеніе же предполагалось прошедшимъ уже давно, и уже вслѣдствіе своей давности не могло омрачать дѣйствія комедіи. Дѣйствіе было веселымъ, зрители съ возрастающимъ интересомъ слѣдили за игрой прихотливой Судьбы—какъ она, нагромождая въ началѣ препятствія и затрудненія, мгновенно ихъ затѣмъ устраняла благодаря неожиданному, чудесному „признанію“... Впрочемъ, мы уже затрогиваемъ область фабулы, а о ней мы—кромѣ самаго мотива, о которомъ идетъ рѣчь,—ничего не знаемъ; все извѣстное намъ относится уже не къ средней, а къ новой аттической комедіи.

IX.

Нѣтъ строгой границы, отдѣляющей новый періодъ аттической комедіи отъ средняго; принято вообще относить первый къ третьему, второй къ четвертому вѣку до Р. Х., но это лишь приблизительные и къ тому же произвольные термины. На межѣ между древнимъ и среднимъ періодами мы находимъ настоящія литературно-историческія событія, упраздненіе хора и запрещеніе политической насмѣшки; здѣсь ничего подобнаго—новая комедія органически вырастаетъ изъ средней. Въ виду этого послѣдняго обстоятельства нѣкоторыми новѣйшими учеными было даже предложено слить среднюю комедію съ новой въ одинъ сплошной періодъ, противопоставляемый древнему—противъ этого однако вполне справедливо былъ заявленъ протестъ: уже коли сами древніе, читавшіе цѣликомъ и Анаксандрида, и Антифана и др. съ одной стороны, Менандра, Филемона и пр. съ другой, относили ихъ къ двумъ качественно различнымъ періодамъ,—то не намъ, конечно, ихъ учить. Но фактъ тѣмъ не менѣе остается фактомъ: насколько намъ дозволено имѣть сужденіе, достоинствомъ новоаттической комедіи было лишь усовершенствованіе того, что въ зародышѣ имѣлось уже въ среднеаттической.

Учителями новоаттиковъ были въ этомъ отношеніи двое не принадлежавшіе къ ихъ цеху; это—во-первыхъ, названный уже Еврипидъ, во-вторыхъ, Аристотель и его школа.

У Еврипида было чему позаимствоваться комедіи и помимо мотива обольщенія и признанія, о которомъ рѣчь была выше. Этотъ гениальный, но безпокойный и прихотливый трагикъ въ поискахъ за новыми путями обогатилъ трагедію такимъ элементомъ, который ей былъ совершенно не къ лицу—элементомъ *интриги*. Орестъ находитъ въ Тавридѣ свою сестру Ифигенію; узнавъ ее, онъ условливается съ нею о томъ, какъ бы имъ вмѣстѣ бѣжать изъ земли таврическаго царя, обманувъ его ревнивую бдительность. Гете, воспроизводя въ своей „Ифигеніи“ фабулу своего греческаго предшественника, элементъ интриги, однако, отбросилъ: у него Ифигенія *убѣждаетъ* царя, чтобы онъ отпустилъ ихъ добровольно, интригу

замѣняетъ конфликтъ между эгоистической и благородной натурой царя. Дѣйствительно, насколько психологическій конфликтъ свойственъ трагедіи, настолько интрига, т.-е. торжество ума (хотя и хитраго) надъ глупостью, приличествуетъ комедіи. Еврипидъ повелъ трагедію по ложному пути, вводя въ нее интригу; но этимъ самымъ онъ сдѣлался учителемъ комедіи, которой осталось только приобщить его находку къ своему арсеналу, чтобы придать своему дѣйствию захватывающій интересъ.

Но интрига различно дѣйствуетъ на насъ, смотря по тому, кто является ея жертвой. Въ „Ревизорѣ“ и въ „Свадьбѣ Кречинскаго“ герои другъ друга стоятъ; тѣмъ не менѣе мы душевно рады успѣху интриги въ первой комедіи, между тѣмъ какъ во второй именно ея неудача вызываетъ въ насъ чувство удовлетворенія. Почему такая разнища? Потому, что тамъ жертвой интриги дѣлаются люди, заслуживающіе этой участи, между тѣмъ какъ здѣсь она грозитъ бѣдой простодушнымъ, но хорошимъ людямъ. Вотъ почему развитіе интриги само собою ведетъ къ отгнѣнію, къ тщательной разработкѣ характеровъ; и здѣсь-то учителями новой комедіи стали Аристотель и его школа. Особенность этого философскаго направленія заключалась въ томъ, что оно объявило предметомъ наблюденія и изученія всю окружающую насъ жизнь, не исключая и характеровъ тѣхъ, кто принимаетъ въ ней участіе; ближайшій другъ и ученикъ Аристотеля, Теофрастъ, посвятилъ этимъ характерамъ обширное изслѣдованіе, изъ котораго намъ сохранилось очень интересное извлеченіе. Конечно, такая „этиология“, дѣйствующая по методамъ зоологіи и прочихъ описательныхъ наукъ, не могла обойтись безъ извѣстнаго схематизма, а схематизмъ безъ упрощенія дѣйствительности: сложнымъ натурамъ здѣсь не мѣсто, главное вниманіе обращается на *faculté maitresse*, какъ ее называетъ Тэнъ, и на ея проявленіе въ отдѣльныхъ случаяхъ. Но комедіи именно это и было на руку — по крайней мѣрѣ тѣмъ ея представителямъ, которые сосредоточили свой интересъ на фабулѣ. Заимствованные изъ средней комедіи типы перерабатываются въ духѣ характеровъ новой этиологіи и соотвѣтственно дифференцируются; прибавляются новые характеры, которые уже не трудно было

найти въ окружающей жизни и художественно оформить, послѣ того какъ эта самая эволюція научила поэтовъ сознательно ее утилизировать. Вообще можно сказать: типы уступаютъ мѣсто характерамъ—въ этомъ заключается главное различіе между средней и новой комедіей. Давно уже было замѣчено, что гетера въ новой комедіи значительно ступеньвается передъ дѣвушкой; конечно, она встрѣчается нерѣдко, но уже не какъ главное лицо, не какъ руководительница комической интриги. Поваръ подавно оставляетъ сцену; „драгоцѣнный стиль“, такъ умѣстный въ мишурной жизни средней комедіи, уже не идетъ къ той реальной, которую старается воспроизвести комедія нашего періода. Паразитъ—онъ же и „сикофантъ“—побѣдоносно отстоялъ свое мѣсто также и въ новой комедіи, какъ главный носитель интриги; но и онъ преобразовался и изъ безличнаго балагура превратился въ очень ярко очерченный характеръ рыцаря легковѣй. Но, разумѣется, это далеко не все.

Я нарочно подчеркнул, говоря только-что о характеристикахъ въ новой комедіи, то ея направленіе, которое сосредоточивало свой интересъ на фабулѣ и, въ виду этого, довольствовалось простыми, прямолинейными характерами; дѣйствительно, къ этому направленію принадлежало большинство представителей новой комедіи; насколько мы можемъ судить—всѣ, кромѣ Менандра. Прежде чѣмъ перейти къ этому послѣднему, одиноко царящему на недостижимой высотѣ, охарактеризуемъ на одномъ примѣрѣ комедію фабулы, какъ ее можно вкратцѣ назвать. Возьмемъ для этого одну изъ самыхъ бойкихъ пьесъ всего репертуара—„Epidikazomenos“ Аполлодора Каристскаго, сохраненную намъ въ передѣлкѣ Теренція подъ заглавіемъ „Форміонъ“ и послужившую, благодаря этому, косвенно образцомъ для одной изъ самыхъ веселыхъ комедій Мольера—„Les fourberies de Scapin“.

Живутъ въ Аѳинахъ два брата, Хреметъ и Демофонтъ; оба они богаты, но старшій, Хреметъ, разбогатѣлъ благодаря женитбѣ на богатой наслѣдницѣ Навсистратѣ, младшій—благодаря собственному трудолюбію и дѣловитости. Хреметъ, получивъ за женой крупныя помѣстья на островѣ Лемносѣ, часто отлучался туда по дѣламъ; тамъ онъ однажды познакомился съ одной небогатой дѣвушкой, сблизился съ нею подѣ чужимъ

именемъ и прижить съ ней дочку. Впрочемъ, онъ своей новой лемносской семьи не покинулъ, а продолжалъ содержать ее, но—и въ этомъ заключалась неловкость его положенія—за счетъ доходовъ съ жениныхъ помѣстій. Въ Аѳинахъ же у него былъ, много старше той лемносской дочки, законный сынъ отъ Навсисстраты, по имени Федрій, славный малый и порядочный шелопай.—Но вотъ дочка выросла; настало время подумать о томъ, чтобы ее выдать. Да, но за кого? За чужого? Нельзя: пришлось бы открыть ему тайну и этимъ закабалить себя зятю. Онъ рѣшается довѣриться брату; у того тоже остался сынъ отъ покойной жены, Антифонтъ, тихій, скромный паренекъ; они рѣшаютъ женить Антифонта на его незнакомой двоюродной сестрѣ. Съ этой цѣлью Хреметъ отправляется на Лемнось.

Случилось, однако, что—одновременно съ отъѣздомъ Хремета—и его брату Демофонту пришлось по дѣламъ отправиться въ далекое плаваніе: такъ-то оба юноши остались безъ надзора. Положимъ, старики приняли свои мѣры: денежки всѣ были припрятаны, а молодымъ людямъ назначенъ въ дядьки вѣрный рабъ Демофонта, Гета; но понятно, что положеніе этого послѣдняго между волей настоящаго и прихотью будущаго хозяина было довольно щекотливо. Старшимъ изъ юношей былъ Федрій; воспользовавшись отсутствіемъ отца, онъ тотчасъ завелъ пашни съ одной киваристкой, невольницей промышлявшаго ея красотой и талантомъ „ленона“ — который, къ слову сказать, тоже принадлежалъ къ излюбленнымъ типамъ новой, вѣроятно и средней комедіи. Пашни, впрочемъ, были довольно невиннаго характера, благодаря отсутствію денегъ съ одной и свободы съ другой стороны. Тѣмъ временемъ Антифонтъ, присматриваясь къ приключеніямъ брата, и самъ сталъ учиться уму-разуму: скоро дѣло коснулось и его.

Случай свелъ его съ одной очень красивой дѣвушкой, плакавшей у трупа матери; дѣвушка оказалась приѣзжей, Фаніей, безъ всякихъ знакомыхъ въ Аѳинахъ, кромѣ своей старой няни. Съ перваго же раза онъ влюбился въ нее безъ ума; но такъ какъ ей было не до флирта, то онъ сталъ подумывать о томъ, чтобы на ней жениться. Надеждъ было мало: правда, дѣвушка была бы не прочь выйти за хорошаго молодого чело-

вѣка, но зато было ясно, что отецъ никогда не согласится взять въ домъ безприданницу.—Вотъ тутъ-то и начинается роль паразита и сикофанта Форміона: зная въ частности всѣ лазейки закона, онъ находитъ средство женить Антифонта на Фаніи противъ воли отца. А именно: законодатель, имѣя въ виду участь оставшихся безъ родителей и братьевъ дѣвушекъ-гражданокъ, опредѣлялъ, чтобы таковыхъ брали за себя ближайшіе родственники; если они этого не хотѣли, они имѣли право откупиться приличной суммой, которая составляла приданое дѣвушки. Основываясь на этомъ законѣ, Форміонъ выдаетъ себя за друга покойнаго отца Фаніи и за ея естественнаго покровителя: онъ сочиняетъ генеалогію, по которой оказывается, что Фанія—троюродная сестра Антифонта, и требуетъ, чтобы тотъ на ней женился. Антифонтъ для виду отказывается; тогда Форміонъ вчиняетъ къ нему искъ (такіе иски относительно женитьбы называются по-гречески *epidikasiai*; отсюда заглавіе комедіи). Антифонта требуютъ къ отвѣту; а такъ какъ онъ не оспариваетъ вымышленной Форміономъ генеалогіи, откупиться же деньгами не можетъ — родитель ихъ крѣпко припрятать — то судьи заставляютъ его жениться на Фаніи. Онъ это и дѣлаетъ, якобы поневолѣ, на дѣлѣ же радостно; Фанія вступаетъ законной его супругой въ домъ Демофонта. Но счастье медовыхъ дней длится недолго — пріѣзжаетъ отецъ. — Здѣсь начинается дѣйствіе комедіи.

Смиранный юноша не въ силахъ вынести встрѣчу съ разгнѣваннымъ отцомъ; онъ поручаетъ Фанію брату и дядкѣ и бѣжить. Зато тѣ двое знаютъ свою роль хорошо. Въ чемъ же, въ сущности, провинился Антифонтъ? Какъ образованный юноша, онъ приготовилъ и заучилъ защитительную рѣчь (представительства сторонъ аѣнское судопроизводство не допускало), но ему ли тягаться съ сикофантомъ! Онъ смутился, его и осудили. Дядька же и подавно ни въ чемъ не виноватъ; онъ — рабъ, судъ его участія не допускаетъ. Дѣлать нечего. Единственная надежда теперь на Форміона; пусть онъ возьметъ отступного, сколько слѣдуетъ, и уведетъ свою питомицу. Посылаютъ за Форміономъ; тотъ не прочь сразиться со старикомъ. Сраженіе происходитъ, но Форміонъ опять побѣждаетъ: „если ты посмѣешь оскорбить ее — я подамъ на тебя въ судъ жалобу, да

какую!“ Демофонтъ не знаетъ, что ему и дѣлать; друзья ничего путнаго посоветовать не могутъ. Эхъ, кабы братъ скорѣе вернулся! Пока же заключается вѣчто въ родѣ перемирія.

Но пока всѣ ждутъ Хремета, дѣло осложняется по милости сына послѣдняго, Федрія. Его киваристка продана какому-то богатому любителю сихъ дѣлъ, всѣ мольбы его напрасны, ему дѣлается только одна уступка: если онъ принесетъ деньги раньше новаго покупателя, то она будетъ выдана ему. Но откуда взять эти деньги? Сердобольные товарищи обѣщали сложиться, но это дѣло многихъ дней, а ленокъ долѣе сутокъ ждать не намѣренъ: что дѣлать? Гета, къ счастью, надумалъ средство: то отступное, которое Демофонтъ, очевидно, не прочь бы выдать Форміону. Если бы можно было устроить дѣло такъ: Форміонъ эти деньги получить съ обязательствомъ взять Фанію за себя и выдать ихъ Федрію, но, разумѣется, съ исполненіемъ обязательства торопиться не будетъ; тѣмъ временемъ друзья Федрія возвратятъ ему полученную сумму, которую онъ и отнесетъ Демофонту съ извиненіями—жениться, дескать, не могу, боги не велятъ...

Вотъ, однако, привѣзжаетъ въ Аѣины Хреметъ; Демофонтъ его встрѣчаетъ: „Что же, привезъ съ собою дочь?“ Нѣтъ, не привезъ: онѣ не дождались его прибытія и сами отправились къ нему въ Аѣины. Это—первая неудача; вторая — женитьба Антифонта, лишающая его надежды пристроить дочь за нимъ. Къ счастью, приближается спаситель въ образѣ Геты: онъ рассказываетъ о мнимомъ своемъ разговорѣ съ Форміономъ; оказывается, послѣдній согласенъ принять отступное и расторгнуть бракъ Антифонта съ Фаніей—правда, онъ требуетъ ужъ чересчуръ крупной суммы. Демофонтъ возмущается, но Хреметъ, обрадованный вновь мелькнувшей надеждой на исполненіе своей заветной мысли, его уговариваетъ; оба брата складываются, и Демофонтъ идетъ выдать требуемое Форміону: Федрій и его киваристка спасены. Спасенъ и Хреметъ; но чтобы осуществить свой планъ, ему нужно предварительно найти вторую жену и дочь. Случай ему помогаетъ: на встрѣчу ему выбѣгаетъ старушка, въ которой онъ узнаетъ няню своей дочери... Читатель, конечно, уже догадался, что эта дочь—не кто иная, какъ Фанія: въ аттической комедіи прихотямъ Судьбы отведено очень

почетное мѣсто, какъ мы могли убѣдиться уже раньше, по поводу мотива „обольщенія и признанія“. Итакъ, то, къ чему онъ такъ страстно стремился, исполнилось само собой безъ его участія: Антифонтъ женатъ на его дочери, той самой, которую онъ хотѣлъ за него выдать. Онъ входитъ къ ней, въ домъ своего брата, происходитъ трогательная сцена свиданія—внезапно онъ вспоминаетъ о деньгахъ, о томъ несчастномъ отступномъ, которое они рѣшились выдать Форміону. Эхъ, кабы можно было захватить Демофонта! Но уже поздно: деньги въ рукахъ у хитраго паразита; Гета, быстро пронюхавъ въ чемъ дѣло, сообщилъ ему важную новость, что Фанія оказалась дочерью Хремета, и старикъ теперь уже ни за что не согласится на расторженіе ея брака. Теперь Форміонъ хозяинъ положенія: съ миной глубоко честнаго человѣка онъ идетъ къ Демофонту и требуетъ Фанію себѣ въ жены. Деньгами-де онъ распорядился по уговору, удовлетворилъ кредиторовъ, купилъ что нужно для обстановки — все готово, можно приступить къ свадьбѣ. Дѣло ясно: махнуть рукой на деньги и отвязаться отъ Форміона. Но стариковъ одолѣла жадность: они требуютъ отъ Форміона обратно денегъ, велятъ его схватить — тогда Форміонъ рѣшается на отчаянный шагъ. Своимъ зычнымъ голосомъ онъ вызываетъ изъ сосѣдняго дома Навсисстрату, супругу Хремета. Та является: въ чемъ дѣло? Хреметъ чувствуетъ недоброе; Форміонъ злорадствуетъ; со сладкимъ сознаніемъ того зла, которое онъ дѣлаетъ, онъ рассказываетъ Навсисстратѣ все, что узналъ отъ Геты о второмъ бракѣ ея супруга и, убивъ его окончательно, заключаетъ признаніемъ о любви ея сына къ кляристикѣ. Моментъ выбранъ удачно; правда, Хреметъ не прочь по отечески пожурить сына, но Навсисстрата ему затыкаетъ ротъ: „что же тутъ страннаго, что твой молодой сынъ завелъ одну любовницу, когда ты завелъ двухъ женъ?“ Приходится покориться: Федрію обезпечена его любовь, а Форміону — даровой столъ у обоихъ его молодыхъ друзей.

Таково содержаніе нашей комедіи; пришлось передать его нѣсколько пространнѣе, чтобы читатель могъ самъ убѣдиться, какъ замысловато здѣсь построена фабула. Какъ далеки мы тутъ отъ безыскусности той прежней, нанизывающей техники, при которой мотивы бесконечной вереницей выростали одинъ

изъ другого, ничѣмъ не связанные, кромѣ личности героя! Тутъ дѣйствіе строго централизовано; правда, интрига не простая, а двойная—къ той, которая вызвана любовью Антифонта, прибавляется другая, имѣющая свой корень въ приключеніяхъ Федрія,—но обѣ онѣ ловко сплетены одна съ другой и имѣютъ общую развязку. Положительно, по продуманности фабула не заставляетъ желать ничего лучшаго: нѣтъ ничего лишняго, всѣ сцены держатся одна за другую; нѣтъ равнымъ образомъ ничего неправдоподобнаго, если не считать прихотливой игры Судьбы. Но о ней самой въ тѣ безпокойныя времена думали иначе, чѣмъ теперь, въ нашъ вѣкъ паспортовъ и телеграфовъ. Неожданность царя въ жизни людей, поэту было позволительно изъ множества безсмысленныхъ случайностей, которыми онъ былъ окруженъ, выбирать для своихъ пьесъ тѣ, въ которыхъ сказывалось подобіе разумаго плана и доброжелательной воли.

X.

Правда, именно по этой причинѣ въ нашъ вѣкъ паспортовъ и телеграфовъ замысловатостью фабулы перестали интересоваться; пусть ею восхищаются дѣти, для которыхъ ни того, ни другого не существуетъ,—мы, взрослые, къ ней относимся свысока. Намъ нужны характеристики—характеристики индивидуальныя, или, еще лучше, характеристики массы или среды. Съ этой точки зрѣнія Аполлodorъ и всѣ прочіе поступаютъ, пожалуй, очень благоразумно, что спать безмятежнымъ, вѣчнымъ сномъ; но столь же благоразумно поступаетъ ихъ корифей, „свѣтило новоаттической комедіи“, *Менандръ*, обнаруживающій именно теперь признаки пробужденія. Дѣйствительно, онъ за послѣднее время часто заставлялъ говорить о себѣ; то и дѣло изслѣдователи-филологи находятъ, преимущественно на египетскихъ папирусахъ, сцены изъ его комедій; такіа славныя въ древности комедіи, какъ „Видѣніе“, „Отрѣзанная коса“, „Крестьянинъ“, перестали быть для насъ пустыми именами—онѣ облекаются въ плоть и въ кровь. Конечно, Менандръ и раньше былъ намъ болѣе или менѣе извѣстенъ—Теренцій передѣлалъ по-латыни четыре его пьесы, „Андріанку“, „Евнуха“,

„Самонистязателя“ и „Братьевъ“, но передѣлалъ вольно, сшивал ради осложненія фабулы по двѣ комедіи своего оригинала вмѣстѣ; кромѣ того онъ, за невозможностью передать по-латыни „аттическую соль“ Менандра, нерѣдко жертвовалъ оттѣнками въ характеристикахъ — однимъ словомъ, онъ старался приблизить его къ уровню прочихъ комиковъ, вмѣсто того, чтобы уловить то, чѣмъ онъ возвышался надъ ними. Это мы могли подозрѣвать и раньше — недаромъ еще Цезарь, умѣвшій цѣнить и аттическую, и всякую другую соль, называлъ Теренція „полуменандромъ“, — но только послѣднія находки дали намъ возможность дополнить до нѣкоторой степени ту половину Менандра, которую Теренцій оказался не въ силахъ воспроизвести.

Въ чемъ состоитъ эта половина — объ этомъ читателю не трудно догадаться послѣ сказаннаго выше; говорить объ этомъ не приходится, такъ какъ это завело бы насъ за предѣлы нашей темы. Наша тема — происхожденіе комедіи, комедіи новой Европы, происходящей на прямой линіи изъ комедіи античной. Менандръ принадлежитъ сюда лишь постольку, поскольку онъ былъ воспроизведенъ римской комедіей, представители которой сохранились и могли поэтому дѣйствовать и вліять на комедію нашихъ временъ. А объ этой части его естества — искусной фабулѣ при простыхъ характерахъ — уже была рѣчь выше; ею Менандръ мало отличается отъ Аполлодора, Филемона и прочихъ, онъ не оправдываетъ парадоксальнаго возгласа Аристофана Византійскаго: „о Менандръ и жизнь, кто изъ васъ кому подражалъ?“

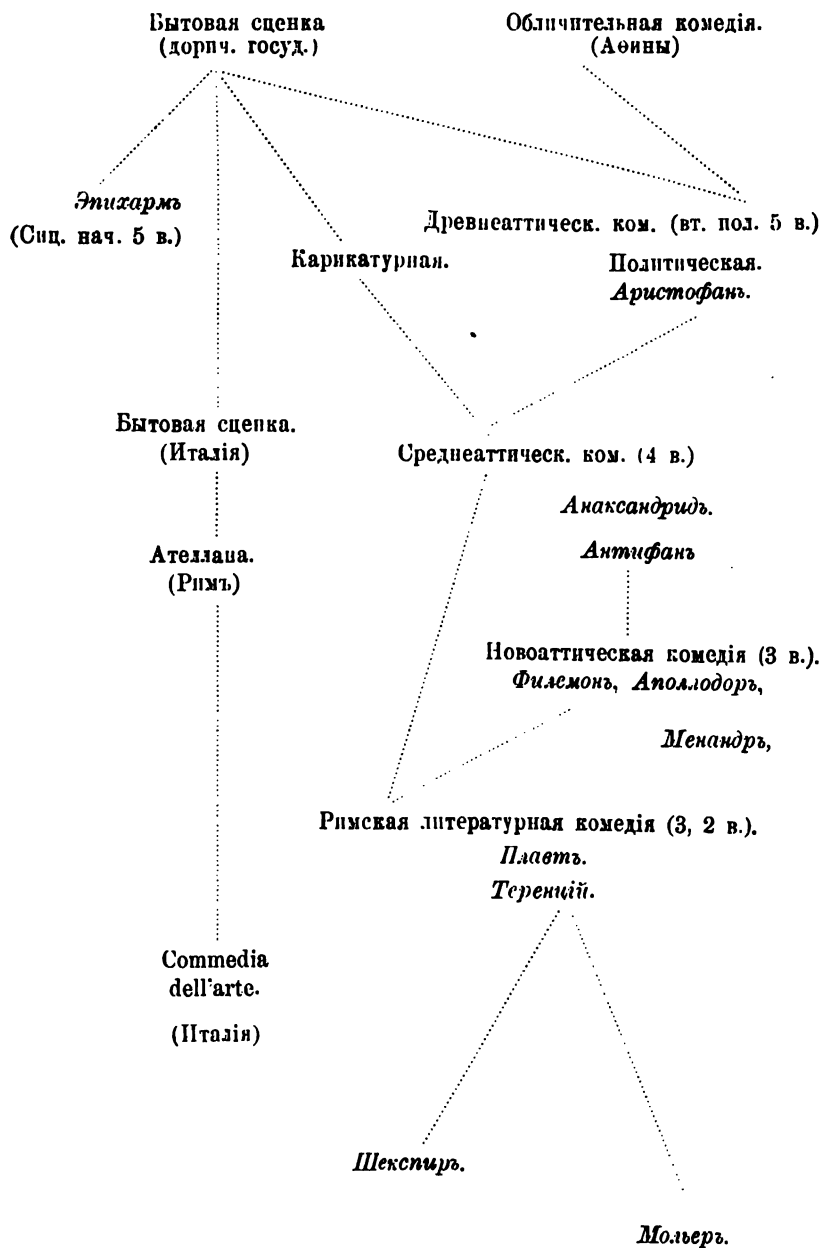
Но то былъ филологъ, цѣнитель и знатокъ; что же касается современниковъ Менандра, то они отнеслись къ нему довольно холодно — побѣдъ онъ получалъ мало, гораздо меньше, чѣмъ его соперникъ Филемонъ. Онъ остался въ сторонѣ отъ общаго движенія, одинокимъ, какъ было сказано выше, на недосигаемой высотѣ. Комедія же его сверстниковъ — комедія мудреной фабулы и прямолинейныхъ характеристикъ — черезъ два-три поколѣнія исчерпала свои сюжеты и выдохлась; конечно, и послѣ середины третьяго вѣка были въ Аѳинахъ комики и комедіи, но именъ между ними уже не было.

Зато это было какъ разъ время, когда комедія перешла въ Римъ. Ателлана уже раньше нашла тамъ убѣжище; теперь

очередь дошла и до литературной комедии. Сначала римляне пробовали-было перенести на свою почву веселую трагедию ближайшаго къ нимъ центра эллинизма, Тарента — отпрыскъ великой вѣтви дорической комедии; это случилось именно около середины третьяго вѣка. Но вскорѣ они открыли аттическую комедию, — комедию средняго и новаго періодовъ, — и передъ нею Тарентъ ступевался окончательно. Въ лицѣ римскихъ комиковъ третьяго и втораго вѣковъ — мы ограничиваемся именами Плавта и Теренція, такъ какъ только ихъ комедии сохранины — комедія еще разъ возродилась, но возродилась не надолго; достойныхъ преемниковъ Теренцій не имѣлъ. Весь республиканскій Римъ увлекался ихъ твореніями, или, говоря правильнѣе, ихъ передѣлками греческихъ твореній; что же касается имперіи, то она серьезной комедіей не интересовалась, водевилъ и балетъ привлекали вниманіе любителей сценическаго искусства. Затѣмъ настали средніе вѣка; ихъ смѣнило Возрожденіе, призвавшее къ новой жизни также и спасенныхъ римскихъ комиковъ — ихъ и читали и ставили на сценѣ, въ оригиналѣ и въ переводахъ; такъ-то съ ними познакомились отцы новой литературной комедии Шекспиръ и Мольеръ.

Таково генеалогическое древо комедии; для удобства читателей прилагаемъ его схему тутъ же. И пусть онъ не думаетъ, что времена измѣнили ее до неузнаваемости: конечно, неопытному взгляду трудно будетъ открыть родственныя черты въ представительницахъ ея различныхъ поколѣній — но только на первыхъ порахъ. А впрочемъ, кое-что и на первыхъ порахъ совершенно ясно. О мотивѣ „обольщенія и признанія“ уже была рѣчь выше; конечно, это не единственный образчикъ. Всѣмъ знакома шустрая служаночка Таня изъ „Плодовъ просвѣщенія“; но многіе ли знаютъ, что они имѣютъ передъ собой перелицованную на русскій ладъ Лизетту Мольера, которая въ свою очередь, черезъ посредство Плавта и Теренція, восходитъ къ Доридамъ и Пигиадамъ аттической комедии? И такъ во многихъ случаяхъ; конечно, филогеническая эволюція происходитъ и здѣсь, но гораздо медленнѣе, чѣмъ это склоненъ думать онтогенически эволюционирующій духъ отдѣльнаго индивидуума.

Генеалогія комедіи.



ГЕЙДЕЛЬБЕРГЪ.

I.

Темная ночь. Многотысячная толпа высыпала на правый берегъ Неккара и тѣснится подъ его каштанами, наполняя собою всю длинную набережную по обѣ стороны Старого моста; всѣ напряженно смотрятъ на противоположный берегъ рѣки. Тутъ внизу горятъ огни города, котящагося на узкой полосѣ между рѣкой и подножіемъ горъ; вверху — мириады звѣздъ, заливающихъ своимъ свѣтомъ глубокую синеву лѣтняго неба; вся середина — если не считать немногихъ освѣщенныхъ пунктовъ — образуетъ одну сплошную, темную стѣну. Эта стѣна — возвышающаяся надъ городомъ цѣпь горъ; и въ ней привычный взглядъ обывателей уже намѣтилъ то мѣсто, которое будетъ центромъ всеобщаго вниманія. „Вы не такъ стали, здѣсь вамъ дерево будетъ мѣшать; лучше отойдите на нѣсколько шаговъ и смотрите вотъ туда, налѣво отъ моста. Видите это темное пятно, вотъ подъ тѣмъ огонькомъ? Это и есть Schlossberg“.

Но событіе заставляетъ себя ждать, вниманіе отвлекается рѣкой и тѣмъ, что на ней происходитъ. Она вся кишитъ яликами всевозможныхъ формъ и размѣровъ; ярко освѣщенные бѣлыми лампіонами, они снуютъ взадъ и впередъ по рѣкѣ, не безъ труда преодолевая ея быстрое, стремительное теченіе. Впрочемъ, ни усилій гребцовъ, ни даже ихъ самихъ не видно;

передъ нами только рой бѣлыхъ огней, со всѣхъ сторонъ окружающихъ свою матку—большую барку, тоже увѣшанную лампіонами. На ней играетъ музыка, раздается смѣхъ и шумный говоръ, поются пѣсни — знакомыя веселыя пѣсни: „O alte Burschenherrlichkeit“, „Stosst an! Heidelberg lebe!“, „Gaudemus“. Нѣтъ сомнѣнія, это—гейдельбергскіе студенты справляютъ свою венеціанскую ночь въ ожиданіи общаго событія на Замковой горѣ. При свѣтѣ лампіоновъ мелькаютъ ихъ бѣлыя фуражки, развѣвается ихъ бѣло-зелено-черное знамя; это — „саксоторуссы“, самая значительная корпорація въ столицѣ „веселаго Палатината“.

II.

Но вотъ раздался пушечный выстрѣлъ. Мгновенно воцаряется глубокая тишина; умолкла музыка; умолкъ говоръ, ничего не слышно, кромѣ теченія Неккара, сердито бурлящаго подъ каменными сводами Старого моста. И вдругъ то темное пятно, на которое намъ велѣно было смотрѣть, озаряется багровымъ свѣтомъ. Передъ нами вырисовывается, точно красный призракъ среди черной ночи, вся величавая развалина замка съ его полуразрушенными башнями и узорчатыми фронтонами. Различаемъ все до мельчайшихъ подробностей, даже плющъ, обвивающій окна дворца пфальцграфа Фридриха, даже кустарники, выросшіе изъ расщелинъ „восьмиугольной башни“.

Въ то же время оживилась и бѣлая барка на Неккарѣ: грянула музыка, и—подхваченная сотней молодыхъ голосовъ—раздалась любимая пѣсня гейдельбергскихъ студентовъ, пѣсня въ честь ихъ прекрасной и привѣтливой alma mater:

Alt Heidelberg, du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine
Kein andre kommt dir gleich..

И мы стоимъ, среди многотысячной толпы, на берегу этого самаго Неккара и внимаемъ сливающимся съ его журчаніемъ торжественнымъ и веселымъ аккордамъ студенческой пѣсни: въ листьѣ каштана шумить ночной вѣтеръ, принося намъ ду-

шистую прохладу съ лѣсистыхъ высотъ Святой горы, а тамъ, передъ нами, высоко надъ рѣкой, высоко надъ городомъ горить и дымится въ багровомъ сіяніи старинный замокъ, точно повисшій въ воздухѣ миражъ, точно пылающая Вальгалла изъ „Гибели боговъ“.

III.

„Это“, скажутъ, „игра и болѣе ничего; праздная забава безъ всякаго дѣльнаго, серьезнаго содержанія“.

Разумѣется. И разумѣется, не ради забавы гостилъ я около мѣсяца въ Гейдельбергѣ. Меня привлекала своими сокровищами библіотека гейдельбергскаго университета, знаменитая Palatina, столь же часто опустошаемая, какъ и ея собратъ на Замковой горѣ, и все же, подобно ему, неисчерпаемо богатая и поучительная. Работы предстояло не мало, время было рассчитано въ обрѣзъ; но, какъ ни старался я использовать каждый часъ — „забава“ преслѣдовала меня повсюду. Разъ выхожу я послѣ закрытія библіотеки на улицу, вижу — на всей Hauptstrasse толпится народъ. Очевидно, кого-то ждуть; но кого? — императора? великаго герцога? шаха персидскаго? — Нѣтъ: тѣ же „саксоторуссы“ празднуютъ какую-то свою годовщину. И дѣйствительно: бѣло-зелено-черные флаги свѣшиваются во множествѣ съ фасадовъ домовъ наравнѣ съ желто-красными — баденскими и черно-бѣло-красными — имперскими. Вскорѣ начинается торжественный выѣздъ: впереди группа студентовъ верхами въ своихъ историческихъ костюмахъ, среди нихъ знаменосецъ — красивый, статный юноша; далѣе — десятка два музыкантовъ, наряженныхъ трубачами XVIII вѣка, тоже верхами; затѣмъ — нескончаемая вереница колясокъ, въ каждой по три человека: одинъ изъ числа хозяевъ, и двое почетныхъ гостей, либо изъ своихъ бывшихъ членовъ, либо изъ представителей другихъ корпорацій. Особенно милое зрѣлище представляли коляски съ этими послѣдними: двѣ пунцовыя фуражки и одна бѣлая, двѣ зеленыя и одна бѣлая, двѣ желтыя и одна бѣлая и т. д. Не отсутствовали и корпораціонные псы (Corpsshunde), чинно сидѣвшіе въ своей коляскѣ подъ присмотромъ браваго „фукса“. Само собою разумѣется, что все это отпиралось за

городъ въ одну изъ многочисленныхъ пригородныхъ кнейпъ, и что вечеръ будетъ проведенъ довольно шумно; а затѣмъ—черезъ день или два вы встрѣтите тѣ же бѣлыя, зеленые, желтые фуражки на университетскомъ дворѣ, входящими и выходящими черезъ узкія двери стариннаго, мрачнаго университетскаго зданія. И наполненные аудиторіи, частые экзамены и „промоціи“, усердные засѣданія студенческихъ ученыхъ обществъ докажутъ вамъ, что университетская молодежь такъ же хорошо учится, какъ и веселится, что, несмотря на все, первую роль играетъ здѣсь дѣло, а не забава.

IV.

Забава, дѣло... Поживите съ недѣлю въ Гейдельбергѣ и вы усумнитесь въ правильности этого разграниченія. Забава перестаетъ быть забавой тамъ, гдѣ она окружаетъ весь бытъ человѣка своей живительной, бодрящей атмосферой; тутъ она является радостью, является красотой. Есть много городовъ праздной красоты — Ницца, Неаполь, Ялта; Гейдельбергъ я назвалъ бы городомъ красоты трудящейся. Здѣсь человѣкъ вкушаетъ красоту между дѣломъ, въ тѣ необходимыя паузы, которыя обуславливаются разстояніемъ, временемъ дня или утомленіемъ. Вы призадумались надъ книгой — вашъ взоръ скользитъ поверхъ густой листвы каштановъ, упирается въ зеленую стѣну Святой горы, вы ясно различаете дорожку, ведущую на ея вершину, такъ называемый Philosophenweg. Что это за философы, давшіе имя этой восхитительной дорожкѣ? Этого мнѣ въ Гейдельбергѣ сказать не сумѣли, но ясно одно: кто бы они ни были—пессимистами они быть не могли. Наступилъ полдень, пора домой, обѣдать... я допускаю, что вы ради лѣтнаго времени поселились за городомъ, скажемъ — у такъ называемаго „Волчьего родника“ (Wolfsbrunnen), въ прохладномъ ущельѣ Königstuhl'я надъ Неккаромъ. Оставивъ библиотеку, вы уже черезъ нѣсколько минутъ очутились въ лѣсной глуши, подъ зелеными сводами буковъ, осѣняющихъ горную тропинку Wolfsbrunnenweg. Вы идете дальше, вдыхая душистую лѣсную прохладу, а стѣва то и дѣло открываются виды на долину Неккара и на Оденвальдъ. Вотъ Святая гора съ

уединенной церковкой на ея вершинѣ, вотъ, нѣсколько ниже, живописный монастырь Нейбургъ съ его бѣлыми стѣнами, эффектно выдѣляющимися на зеленомъ фонѣ горы, вотъ подале, точно на ладони, вся романтическая долина Mausbachtal съ ея полями и хуторами, а еще дальше — необозримое море лѣсистыхъ высотъ, прославленный въ нѣмецкой сагѣ „Лѣсъ Одина“ (Odenwald). Быстро проходитъ время, вскорѣ вы дома, подъ раскидистыми лианами „Волчьяго родника“, вамъ приносятъ обѣдъ — вкусный, сытный, дешевый — приносятъ кружку прохладнаго пфальцскаго вина. По воскресеньямъ здѣсь довольно шумно, но въ будни никто васъ не тревожить, только птицы съ сосѣднихъ деревьевъ слетаются подбирать крохи съ вашего стола... Не воробьи, какъ у насъ, а настоящія лѣсныя птички: зяблики, овсянки, горихвостки. Эта доверчивость имѣетъ свою особую причину: въ Гейдельбергѣ есть „общество охраны птицъ“, а „Волчій родникъ“ — одна изъ учрежденныхъ имъ Futterstellen. И вотъ, благодарные питомцы и съ своей стороны содѣйствуютъ распространенію радости и красоты, услаждая прелестью своего легкаго существованія полуденный отдыхъ гостя, наравнѣ съ горнымъ вѣтромъ, шумящимъ въ листьѣ вѣковыхъ липъ, наравнѣ съ журчаніемъ родника, стекающаго въ каменный бассейнъ изъ пасти бронзоваго волка.

V.

Кстати объ этомъ родникѣ: „Волчьимъ“ онъ названъ не просто. Вдумчивая и поэтическая Греція создала множество мифовъ, ради выясненія „причины“ какого-нибудь обряда, обычая, названія и т. д.; такіе „причинные“ мифы у специалистовъ называются „этіологическими“. Нашъ Волчій родникъ тоже имѣетъ свой этіологическій мифъ, и при томъ довольно оригинальный. Рассказываютъ, что въ былыя времена, когда замка еще не было, на позднѣйшей Замковой горѣ жила прекрасная чародѣйка Гетта. Своими чарами она подчинила себѣ всѣхъ дикихъ звѣрей Оденвальда; но они не могли охранить ее отъ болѣе могущественныхъ чаръ любви. Она назначила своему милому свиданіе у родника въ дикомъ ущельѣ своей

горы; спалъ волшебный плащъ съ плечъ дѣвы, отошла отъ нея ея чудодѣйственная сила. Вдругъ огромный волкъ выбѣжалъ изъ лѣсной чащи; юноша спасся бѣгствомъ, Иетта же, не зная объ исчезновеніи своей силы, осталась на мѣстѣ и была растерзана звѣремъ. И вотъ, на память объ этомъ назидательномъ событіи родникъ и поныиѣ называется „Волчьимъ“.

Я привелъ это преданіе скорѣе какъ образчикъ: вся атмосфера Гейдельберга насыщена, если можно такъ выразиться, элементомъ саги—и въ этомъ, на мой взглядъ, состоитъ значительная часть прелести этого единственного въ своемъ родѣ города. Недаромъ онъ расположенъ на древней, исторической почвѣ—тамъ, гдѣ сооруженная римлянами дорога, соединявшая Аргенторатъ (Страсбургъ) съ Могунціакомъ (Майнцомъ), пересѣкала Неккаръ. Соприкосновеніе съ римской культурой повело, такъ сказать, къ кристаллизаци саги. Такъ окружающія Гейдельбергъ лѣсистыя горы стали „лѣсомъ Одина“, театромъ событій, прославленныхъ въ древнегерманскомъ эпосѣ о Нибелунгахъ: здѣсь былъ убитъ Зигфридъ, намѣченный рокомъ спаситель царства Одина и его боговъ; здѣсь стоялъ замокъ короля Гунтера и прекрасной Кримгильды. Что же касается самого Одина, то онъ, при всемъ томъ, не погибъ. Будучи вынужденъ отступить передъ христіанствомъ, онъ скрылся въ своемъ лѣсу, гдѣ живетъ и поныиѣ подъ именемъ „дикаго охотника“. Когда, весною, южный вѣтеръ, спустившись съ альпійскихъ ледниковъ, бушуетъ на высотахъ Оденвальда, срывая деревья и запружая горные потоки, — это „дикій охотникъ“ гарцуетъ на черномъ конѣ во главѣ своего вѣрнаго отряда.

VI.

Со своимъ богатствомъ природныхъ и культурныхъ красотъ, со своимъ волшебнымъ покровомъ преданій, сотканыхъ исторіей и сагой, со своей наукой и—своимъ виномъ, Гейдельбергъ издавна просился подъ перо поэта; онъ нашелъ его въ лицѣ (не такъ давно скончавшагося) I. В. Шеффеля. Имя Шеффеля почти неизвѣстно внѣ Германіи и читатель будетъ, вѣроятно, не мало удивленъ, узнавъ, что ему не только поста-

вленъ памятникъ въ Гейдельбергѣ (кому ихъ не ставятъ!), но что существуетъ общество, въ его честь издающее посвященный культу его поэзіи ежегодникъ, и что его имя произносится многими съ такимъ же благоговѣніемъ—если не съ большимъ—какъ и имя Гёте. Причина этой различной оцѣнки заключается въ томъ, что Шеффель—спеціально нѣмецкій поэтъ; юморъ, составляющій главную прелесть его стихотвореній, непонятенъ большинству иностранцевъ, даже свободно владѣющихъ нѣмецкимъ языкомъ. Онъ замѣчательнъ не столько объемомъ, сколько силой своего таланта; избравъ себѣ довольно узкую и даже, если хотите, не особенно возвышенную область, онъ воздѣлалъ ее такъ оригинально и мило, какъ никто до него. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ всѣхъ чертъ, составляющихъ фیزیономію Гейдельберга, первую роль у него играетъ та, которой я въ началѣ этого отрывка отвелъ последнее мѣсто—вино: съ вполне сознательнымъ, а потому и обезоруживающимъ критика юморомъ, онъ и исторію, и міеологію, и геологію, и юриспруденцію и всю вообще природу и культуру преломляетъ въ кружкѣ хорошаго пфальцскаго вина. Не избѣгъ общей участи и грозный владыка Оденвальда. Уже въ народныхъ повѣріяхъ „дикій охотникъ“ отождествлялся то съ тѣмъ, то съ другимъ великимъ грѣшникомъ, осужденнымъ послѣ смерти на вѣчное скитаніе; Шеффель его воспѣлъ какъ безпокойнаго рыцаря фонъ-Роденштейна, нѣкогда владѣльца трехъ деревень въ Оденвальдѣ. Двѣ изъ нихъ онъ благополучно пропилъ, третьей не успѣлъ; умирая, онъ завѣщаетъ свою жажду „господамъ студентамъ“, но сознаніе недовершеннаго дѣла не даетъ ему покоя и въ могилѣ, и вотъ онъ разбѣзжаетъ по ночамъ со своимъ отрядомъ, опустошая попадающіеся на его пути винные погреба. Иною смертью почилъ его счастливый соперникъ, карликъ Пергео... впрочемъ, для выясненія этой личности требуется маленькое отступленіе. Дѣло въ томъ, что въ гейдельбергскомъ замкѣ хранится понынѣ, если позволительно такъ выразиться, „царь-бочка“, воздвигнутая во времена оны какимъ-то безпутнымъ пфальцграфомъ, конкретный символъ „веселаго Палатината“ (fröhlich Pfalz); тутъ же стоитъ и деревянное изображеніе придворнаго шута, карлика Пергео, съ бокаломъ вина въ рукахъ. Фантазія поэта

было предоставлено привести эти два предмета въ драматическую связь между собой; вышло вотъ что. Перкео былъ издавна поклонникомъ извѣстнаго принципа *in vino veritas*; когда же исполинская бочка была наполнена виномъ, то его призваніе, какъ искателя истины, стало для него вполне яснымъ: онъ задался цѣлью выпить ее до дна. Пятнадцать лѣтъ трудился онъ, но въ концѣ концовъ настоялъ на своемъ: бочка была осушена, и онъ умеръ въ гордомъ сознаніи, что онъ, будучи малъ, какъ Давидъ, сподобился сразить громаднаго Голиафа — жажду.

VII.

„Забава! — скажутъ опять: — „праздная забава!“ — Забава, да; но не праздная. Посмотрите, какимъ почетомъ пользуется память Шеффеля въ Гейдельбергѣ. О памятникѣ въ его честь уже было упомянуто: онъ стоитъ на террасѣ замковаго парка и изображаетъ поэта какъ странника, въ ботфортахъ и съ сумкой черезъ плечо, согласно его девизу „nicht rasten und nicht rosten“. Но этотъ памятникъ не болѣе, какъ ключевой камень въ триумфальной аркѣ его славы. Не очень важно и то, что двѣ самыя посѣщаемыя въ Гейдельбергѣ кнейпы названы, одна — zum Rodensteiner, другая — zum Perkeo, а третья (гдѣ, якобы, тоже подвизался неисправимый оденвальдскій кутила) въ честь самого поэта именуется Scheffelhaus. Важно то, что каждый нѣмецкій студентъ знаетъ наизусть всѣ его лучшія стихотворенія; эффектно положенныя на музыку, они вошли въ составъ всѣхъ коммерсбуховъ и поются на всѣхъ попойкахъ наравнѣ съ самыми популярными изъ прежнихъ. Что же касается той пѣсни въ честь Гейдельберга, первая строфа которой выписана выше — я забылъ сказать, что и она сочинена Шеффелемъ — то она преподносится вамъ въ Гейдельбергѣ на каждомъ шагѣ: ее играютъ оркестры, ее поютъ студенты, ее насвистываютъ уличные мальчишки, ее печатаютъ, вырѣзаютъ, малюютъ чуть ли не на всѣхъ гейдельбергскихъ сувенирахъ — если не всю, то хоть первую строфу или первый стихъ. Таково взаимоотношеніе между городомъ и его поэтомъ.

Основательна ли эта популярность?

Объ этомъ думаютъ различно, и, конечно, не современни-

камъ произнести окончательное сужденіе. Все же мы, полагаю я, не слишкомъ удалимся отъ правды, предлагая слѣдующее рѣшеніе.

Шеффель прежде всего—поэтъ студентовъ. Они его самые горячіе поклонники; за ними—тѣ, которые и въ дальнѣйшей жизни сохранили свое молодое, студенческое сердце, или, по крайней мѣрѣ (что, быть можетъ, еще лучше) способность воскрешать его въ данномъ случаѣ, при данной обстановкѣ. А время студенчества—я знаю, что даю идеальное опредѣленіе—это—время труда, окрыляемаго радостью и красотой. Трудъ, радость и красота—это и есть то здоровое, мощное трехзвучіе, которое одинаково гармонируетъ и со студенчествомъ, и съ его любимымъ городомъ, и съ его любимымъ поэтомъ.

Когда-нибудь, быть можетъ, психологія разъяснитъ намъ значеніе этого трехзвучія для личной жизни человѣка; за нею пошлется и гигиена, а тамъ, Богъ дастъ, и политическая экономія раздвинетъ свои не въ мѣру узкія рамки и признаетъ имя и значеніе экономическихъ силъ за тѣми невѣсомыми, которыя, по ея формулѣ, не должны имѣть вліянія на судьбу народовъ, и тѣмъ не менѣе, проклятыя, имѣютъ его на каждомъ шагѣ. Пока же приходится ограничиваться предположеніями.

И вотъ я предполагаю, что Гейдельбергъ въ силу всѣхъ тѣхъ условій, о которыхъ рѣчь была выше, и которыя могли показаться маловажными „серьезному“ читателю, долженъ быть признанъ однимъ изъ величайшихъ благодѣтелей Германіи—говорю „Германіи“, такъ какъ, увы, только о ней и приходится говорить. Полагаю, что учащемуся въ Гейдельбергѣ студенту легче, чѣмъ какому бы то ни было другому, застраховать себя отъ гибельныхъ вліяній дальнѣйшей, посвященной одному лишь „дѣлу“ жизни—отъ пошлаго самодовольства, отъ завистливой хандры, отъ склонности къ отрицанію и пытью. Недаромъ онъ въ теченіе мѣсяцевъ между дѣломъ вдыхалъ всѣми порами радость и красоту; придетъ критическая минута—воскреснетъ образъ Замковой горы, повѣетъ душистой прохладой съ Волчьего родника, проснется веселый напѣвъ гейдельбергской пѣсни—и его сердце, вмѣсто стона, откликнется тѣмъ мощнымъ, торжественнымъ трехзвучіемъ, зовущимъ къ бодрости и дѣлу.

Вотъ чему насъ учить Гейдельбергъ.

ЗОЛОТОЙ ВѢКЪ.

(Святки 1902 г.).

I.

Въ эти дни вездѣ, гдѣ только дана возможность, стоятъ въ домахъ обывателей рождественскія елки, горятъ рождественскіе огни. Ихъ свѣтъ золотымъ сіяніемъ разливается по темнымъ вѣтвямъ деревца, золотымъ туманомъ проникаетъ въ укромные его уголки, гдѣ искусно скрытые умѣлой рукой румяныя яблоки и золотистые апельсины заманчиво мелькаютъ изъ-подъ зеленой сѣни; онъ преломляется золотымъ бисеромъ въ граненомъ хрусталѣ прозрачныхъ бездѣлушекъ, отражается золотыми искрами въ волшебныхъ нитяхъ свѣтлаго „дожда“ и—въ радостно влажныхъ, смѣющихся глазахъ дѣтей. Тамъ, на дворѣ, зимній вѣтеръ хлещетъ прохожихъ въ лицо холодными иглами жесткаго, колючаго снѣга; но здѣсь, подъ сѣнью елки—золотое царство. Намъ, взрослымъ, докучливыя думы отравляютъ праздничный покой; но здѣсь, въ этихъ дѣтскихъ головкахъ, ненарушимо царитъ золотой вѣкъ.

Пріятно бываетъ, стряхнувъ докучливыя думы, смотрѣть на эту игру золотыхъ огней, скользить взоромъ по одной изъ этихъ искрящихся нитей съ вѣтки на вѣтку, вплоть до того мѣста, гдѣ она теряется въ зеленомъ полумракѣ; пріятно бываетъ также, объявъ его въ его цѣльности, этотъ золотой сонъ многострадальнаго людского рода, прослѣдить его судьбу отъ

поколѣнія къ поколѣнію, вплоть до того момента, гдѣ его нить теряется въ глубь вѣковъ. Это вовсе не будетъ несерьезнымъ занятіемъ; если вамъ нуженъ ученый терминъ—мы можемъ назвать его предметъ „филогеніей иллюзій“. Но лучше оставимъ на этотъ разъ ученость—намъ съ вами теперь не до нея; лучше позвольте попросту, въ угоду святочному времени, рассказать вамъ волшебную сказку про золотой вѣкъ.

II.

Это было очень давно. Христіанства, въ честь Основателя котораго учрежденъ нашъ праздникъ, тогда и въ поминѣ не было; Юпитера Капитолійскаго, кажется, тоже еще не было, а если онъ и былъ, то на него мало кто обращалъ вниманіе. Мыслящее человѣчество ютилось въ мудреномъ лабиринтѣ островковъ и побережій, окружающихъ голубое—тогда еще довольно грозное—Эгейское море; тамъ сыны Земли трудились и боролись, думали и мечтали подъ всевидящимъ окомъ Олимпійскаго Зевса. Нельзя сказать, чтобы люди были особенно довольны его царствомъ. Правда, его заслуга была очень велика: „онъ“, по словамъ позднѣйшаго поэта, „повелъ человѣка по стезѣ сознанія, онъ повелѣлъ имѣть силу слову: *страданіемъ учись!*“; но иначе судилъ объ этой заслугѣ поэтъ-мудрецъ, свысока смотрѣвшій на жизнь, иначе—бѣдный труженикъ, своимъ собственнымъ страданіемъ обогащавшій сокровищницу человѣческой науки. Съ завистью смотрѣлъ онъ на звѣря лѣсного, на птицу небесную: они, вотъ, не падаютъ и не сѣютъ, а все же для каждаго приготовлены и пища, и кровь заботами матери-Земли; чѣмъ же мы-то прогнѣвили свою родительницу? Или, можетъ быть, ее прогнѣвили нашъ вождь и богъ, Зевсъ Олимпійскій?... И вотъ фантазіи открывается просторъ: хорошо, вѣрно, было время, когда Зевса еще не было, міромъ же управлялъ его отецъ Кроносъ (онъ же и Сатурнъ); тогда еще не знали заповѣди *страданіемъ учись*: ни страданій, ни ученія не требовалось, всякое знаніе доставалось даромъ...

Жили боговъ они жизнью, не вѣдая въ сердцахъ печали,
Горькихъ не зная трудовъ; не грозила имъ старости немощь:

Вѣчно цвѣтушіе крѣпостью рукъ и колѣнъ быстрою,
 Смертные въ вѣчныхъ пирахъ беззаботно свой вѣкъ проживали,
 А умирали, что сномъ побѣжденные; всякаго вдоволь
 Было добра: отъ себя имъ рождала кормилица-нива
 Хлѣбъ въ изобиліи; они же, спокойствіе въ сердцѣ вкушавъ,
 Жили въ своихъ деревняхъ, окруженные счастья избыткомъ.

Таковъ былъ „золотой вѣкъ“; — такъ его и называетъ древній поэтъ Гесіодъ, у котораго мы позаимствовали выписанные стихи.

III.

Но эти стихи даютъ намъ только внѣшніе контуры картины; дописать частности было предоставлено позднѣйшимъ временамъ, когда лучи поэзіи и просвѣщенія, исходившіе отъ различныхъ очаговъ греческой культуры, сосредоточились въ Аѳинахъ. И что это было за письмо! Какая странная смѣсь идеальныхъ и матеріальныхъ, серьезныхъ и комическихъ элементовъ! Нашъ взоръ теряется въ этихъ причудливыхъ арабескахъ, мы готовы признать весь рисунокъ капризомъ ребенка или бредомъ безумца, — но вотъ мы замѣчаемъ, что всѣ эти потѣшныя узоры группируются, точно фигуры калейдоскопа, вокругъ общаго центра, общей идеи, настолько серьезной, что мы удивленно смотримъ въ лицо веселому краснобаю: да ты что же, собственно, хочешь сказать? И тутъ только мы различаемъ таинственный голубой огонекъ въ его смѣющихся глазахъ; да, конечно, это не былъ, а сказка; но въ сказкѣ — утопіи, а въ утопіи — пророчество. Что *было*, того не было; но чего не было, то *будетъ*.

Много стало хуже съ тѣхъ поръ, какъ Кроносъ-Сатурнъ былъ сверженъ Зевсомъ и золотое племя поглотила Земля; боги удалились въ свою небесную обитель, послѣднюю Дѣва-Правда покинула людей. Итакъ, при Сатурнѣ дѣва-Правда жила между нами; каково-то было людямъ тогда? Одно ясно: если была Правда, то ни насилія, ни рабства быть не могло; всѣ были равноправными дѣтьми одинаково всѣхъ любящей матери-Земли. А если и безъ рабства жилось хорошо, то, значитъ, природа сама брала на себя весь людской трудъ...

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что эта веселая наука читалась людямъ съ подмостковъ сцены въ праздники веселаго бога Діониса; фантазія учителей-поэтовъ свободно могла разгуливать по всей области невозможнаго. И вотъ какъ у одного изъ нихъ Сатурнъ (или родственное ему лицо) описываетъ прелести золотого царства (перевожу размѣромъ подлинника):

Послушайте, люди, про радость житы,
искони мною данную смертнымъ!
Тамъ миромъ дышала природа кругомъ;
постоянной онъ былъ ей стихіей.
Не страхъ, не болѣзни рождала Земля;
добровольно давала, что нужно.
Тамъ въ канавахъ златое струилось вино;
съ калачами тамъ сайки дрались,
Умоляя тебя: „что-жъ ты губы надулъ?
знай, бери изъ насъ ту, что бѣла!“
Захотѣлось—и рыба валила вамъ въ домъ
и, поджаривъ другъ дружкѣ румяно,
Къ вамъ взбиралась на столъ: „хлѣбъ да соль, господа!
вотъ, кушайте насъ на здоровье!“
А близъ стульевъ потоки похлебки неслись,
съ ними глыбы варенаго мяса;
Тутъ же съ трубъ водосточныхъ подливка текла:
вспрыснешъ кусъ свой—и вдвое вкуснѣе!..
А съ горныхъ деревъ, листопада порой,
все колбасы козы валились
Да стерлядушки жирныя—любо глядѣть! —
да поджаренныхъ дроздиновъ кучи.

Да, конечно, все это мало серьезно; но надо всѣми этими балаганными шутками, порожденными неукротимымъ аппетитомъ и разгульной фантазіей, носился чудный неземной аккордъ:

Ни раба тамъ міръ не видѣлъ,
Ни рабыни никогда...

IV.

Пропустимъ еще нѣсколько вѣковъ: мы въ Римѣ, столицѣ міра, подъ сѣнью могучей десницы Юпитера Капитолійскаго. Объединеніе народовъ стало дѣйствительностью, и хотя нельзя сказать, чтобы тамъ „миромъ дышала природа кругомъ“, все

же до этого вожделѣннаго времени, повидимому, недалеко. Но дѣва-Правда попрежнему пребываетъ среди небесныхъ свѣтилъ и грустно, со своимъ колосомъ въ рукѣ, смотритъ на людскія дѣла: шире распространилось рабство, круче стали его условія; днемъ на работѣ, ночью въ подземельѣ, и такъ изо-дня-въ-день, изъ-года-въ-годъ... Пусть солнце ежегодно „вступаетъ въ знакъ Дѣвы“; земля, видно, въ этотъ знакъ не вступить никогда.

Только одинъ разъ въ годъ эта картина мѣняется—въ декабрѣ мѣсяцѣ, отъ 17 до 23 числа. Эти дни были посвящены Сатурну; сближеніе Рима съ Греціей повело къ тому, что сказка про золотой вѣкъ стала популярна и (подъ вліяніемъ многихъ условій, о которыхъ можно и не распространяться) явилось желаніе превратить ее по мѣрѣ возможности въ дѣйствительность—хотя бы только на коротенькое время *Сатурналій*. Самой характерной чертой было то, что рабы на это время объявлялись свободными: „при Сатурнѣ вѣдь рабовъ не было“, поясняютъ наши авторы. Угощеніе полагалось общее; господа, кліенты, рабы—всѣ пировали за однимъ и тѣмъ же столомъ. Наказаній не должно было быть, вольное слово сходило даромъ,—такъ требовала установленная предками *libertas Decembris*. Конечно, чудесную щедрость Земли, даромъ все дарившей, возсоздать было невозможно; какъ слабое подражаніе ей былъ заведенъ обычай *подарковъ*. Дарили всякую спѣдь, преимущественно орѣхи, которыми можно было и лакомиться, и играть; затѣмъ также и тѣ предметы, которые стали нужными вслѣдствіе развитія культуры, начиная необходимой утварью и кончая произведеніями художниковъ; но особую важность—очевидно символическую—имѣли два рода подарковъ: во-первыхъ, *восковыя свѣчки*, во-вторыхъ, *дѣтскія игрушки*, особенно—куклы. Полагаютъ, что восковая свѣча имѣла касательство къ зимнему солнцезавороту, съ которымъ совпадали Сатурналіи, что „сатурнальскіе огни“ должны были распространять повсюду пріятную вѣсть о наступившемъ періодѣ возрастанія дня; полагаютъ затѣмъ, что куклы были первоначальнымъ жертвоприношеніемъ Сатурну со стороны хозяина, который ими какъ бы выкупалъ у зимняго бога себя и своихъ. Толкованія эти гадательны, но фактъ несомнѣненъ. Игрушки продавались въ теченіе всей недѣли и долѣе на одной изъ

улицъ Рима, которая отъ нихъ получила свое названіе; такъ-то Сатурналіи были преимущественно праздникомъ работъ и праздникомъ дѣтей.

V.

Популярность Сатурналій росла за все время процвѣтанія римской республики: первоначально однодневныя, онѣ въ первомъ вѣку до Р. Х. успѣли уже занять цѣлую педѣлю; проникая изъ центра римской жизни въ провинціи, онѣ повсюду распространяли иллюзію сказочнаго царства Сатурна и золотого вѣка. Этимъ онѣ способствовали возникновенію легенды—одной изъ самыхъ чудесныхъ, о которыхъ знаетъ исторія.

Подъ вліяніемъ съ одной стороны—таинственныхъ хронологическихъ вычисленій, съ другой—страшныхъ внутреннихъ и вѣншихъ катастрофъ, въ Римѣ первого вѣка до Р. Х. тѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе развивалась и крѣпла вѣра, что онъ доживаетъ свои послѣдніе дни, что не сегодня-завтра наступитъ нѣчто въ родѣ „свѣтопреставленія“. Несомнѣннымъ казалось, что великій періодъ времени истекаетъ; но будетъ ли его конецъ дѣйствительно окончательнымъ, или за нимъ послѣдуетъ новое начало—это было неясно. Въ первое время преобладало болѣе мрачное настроеніе; когда вскорѣ послѣ убійства Цезаря произошло затменіе солнца, испуганный народъ былъ убѣжденъ, что это вѣчная ночь настала. Но молодому и счастливому преемнику Цезаря удалось разогнать эти страхи; возникло мнѣніе, что по исходѣ послѣдняго изъ періодовъ постепеннаго ухудшенія человѣческаго рода опять должно воцариться то положеніе вещей, которое было въ началѣ—т.-е. новое царство Сатурна, царство правды и счастья, новый золотой вѣкъ. Основателемъ этого новаго міра будетъ не Августъ—онъ еще принадлежалъ старому,—а первый его потомокъ по крови. Привѣтствуя его ожидавшееся рожденіе, пѣвецъ этой эпохи, Вергилій, сосредоточиваетъ на немъ всѣ надежды, которыя народъ возлагалъ на предстоящую перемѣну; знамениты его пророческія слова:

Вотъ ужъ послѣднее время настало Сивиллиной пѣсни,
Новое жиди начало великой вѣковъ вереницъ;

Вскорѣ вернется и Дѣва, вернется Сатурново царство,
Вскорѣ съ небесныхъ высотъ снизойдетъ возжеланный Младенецъ!

Его рожденіе будетъ гранью между старымъ и новымъ міромъ.

Онъ, вѣдь, положитъ копецъ ненавистному вѣку желѣза,
Онъ до предѣловъ вселенной намъ племя взроститъ золотосъ.

Счастье этого новаго племени поэтъ нарочно описываетъ идиллическими красками, приноровляясь къ наивно-материалистической фантазіи народа, создавшей и выростившей сказку про золотой вѣкъ:

Козочки сами домой понесутъ отягченное вымя...

Сами, т.-е. безъ помощи пастуховъ-рабовъ, трудъ которыхъ станетъ, такимъ образомъ, пенуженъ.

Будутъ на львовъ-исполиновъ безъ страха коровы дивиться...

Вотъ онъ, тотъ „миръ“, которымъ „дышитъ природа кругомъ“...

Колосъ межъ тѣмъ золотистый унизкую стень украшаетъ,
Сочвая гроздь винограда средь терній колючихъ агеть,
Меда ятарнаго влага съ суроваго дуба стекаетъ.

Краски умѣренныя,—идилліи не пристала шаловливая вольность комедіи,—но содержаніе то же, что и въ выписанныхъ выше стихахъ греческаго краснобая.

Броситъ торговецъ ладью, перетанетъ обмѣну товаровъ
Судно служить: повсемѣство сама ихъ Земля производитъ.
Почвы не рѣжетъ соха, ужъ не рѣжетъ лозы виноградарь,
Связь ужъ и пахарь ярмо съ изстрадавшейся выи бычачьей...

Вѣчный миръ, вѣчное веселье, однимъ словомъ, — вѣчныя Сатурналии предстоятъ міру. И онъ это знаетъ:

Видишь? Отъ тверди небесной до дна безпредѣльнаго моря
Сладкая дрожь пробѣжала по тѣлу великому міра.
Видишь? Природа ликуетъ, грядущее счастье почувъ.

VI.

Младенецъ, рожденіе котораго было предвѣщено народамъ Вергиліемъ, не появился на свѣтъ; зато появился другой, гораздо болѣе чудесный младенецъ,—далеко на Востокѣ, на

берегахъ Иордана. Когда христіанство стало господствующей религіей на всемъ протяженіи Римскаго государства, пророчество римскаго поэта было отнесено къ его Основателю; Вергилій сталъ настоящимъ „пророкомъ язычников“, тѣмъ, который среди нихъ первый далъ свидѣтельство о Христѣ; Христосъ же сдѣлался „царемъ Сатурналіи“, тѣмъ, отъ котораго человѣчество стало ожидать осуществленія сказки про золотой вѣкъ, возвращенія дѣвы-Правды, водворенія свободы и мира на всѣ времена... Кстати: Рождество Христово было приурочено ко времени зимняго солнцеповорота; древнія Сатурналіи могли передать христіанскому празднику добрую часть своей обрядности—и угощеніе прислуги, и одареніе дѣтей, и лакомства, и игры, и даже восковыя свѣчи.

Да, пріятно бываетъ при свѣтѣ рождественскихъ огней слѣдить за золотой нитью легенды, тянущейся черезъ всѣ безъ малаго тридцать вѣковъ исторіи европейскаго человѣчества. Какая любовь къ нравственной идеѣ этого золотого сна, какаго вѣра въ его осуществимость, какая стойкая, неукоснительная надежда! Вотъ что значить символъ: пусть многіе передають его другъ другу, не понимая его значенія,—все же оно тлѣетъ въ немъ, какъ искра подъ золой; дайте коснуться его духу,—и тотчасъ оно вспыхнетъ яркимъ, золотымъ пламенемъ.

Такой именно символъ—рождественская елка; зажигая ее, мы воскрешаемъ на краткое время святочной недѣли древнѣйшія надежды многострадальнаго человѣческаго рода, его волшебную сказку про золотой вѣкъ, про свободу, правду и миръ. И хотя бы мы сами и извѣрили въ осуществимость этого золотого сна,—все же вѣра въ него будетъ горѣть для тѣхъ, чьи сердца еще согреваются полною, не отравленною сомнѣніями радостью, въ чьихъ головкахъ уже зарождаются свѣтлыя, не подрѣзанныя неудачами надежды. Пусть же они теперь всею душою наслаждаются святочнымъ весельемъ; и пусть они нѣкогда въ жизненной борьбѣ тверже насъ держатъ знамя золотого вѣка!

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
I. Идея нравственного оправданія	1
II. Ифигенія	44
III. Воскресшіе поэты.	52
1. Вакхилидъ, его оды и баллады	52
2. Геродъ и его бытовья сценки	95
3. Менандръ и его комедіи	125
IV. Антигона.	136
V. Первое свѣтопреставленіе.	144
VI. Про нечистую силу	196
VII. Античный міръ въ поэзіи А. Н. Майкова	206
VIII. Парламентаризмъ въ римской республикѣ.	228
IX. Новый памятникъ древне-римскаго быта	236
X. Остракологія	272
XI. Рабочая пѣсенка	280
XII. Нитцше и античность	296
XIII. Происхожденіе комедіи	304
XIV. Гейдельбергъ.	342
XV. Золотой вѣкъ	351

*PB-38848-SB

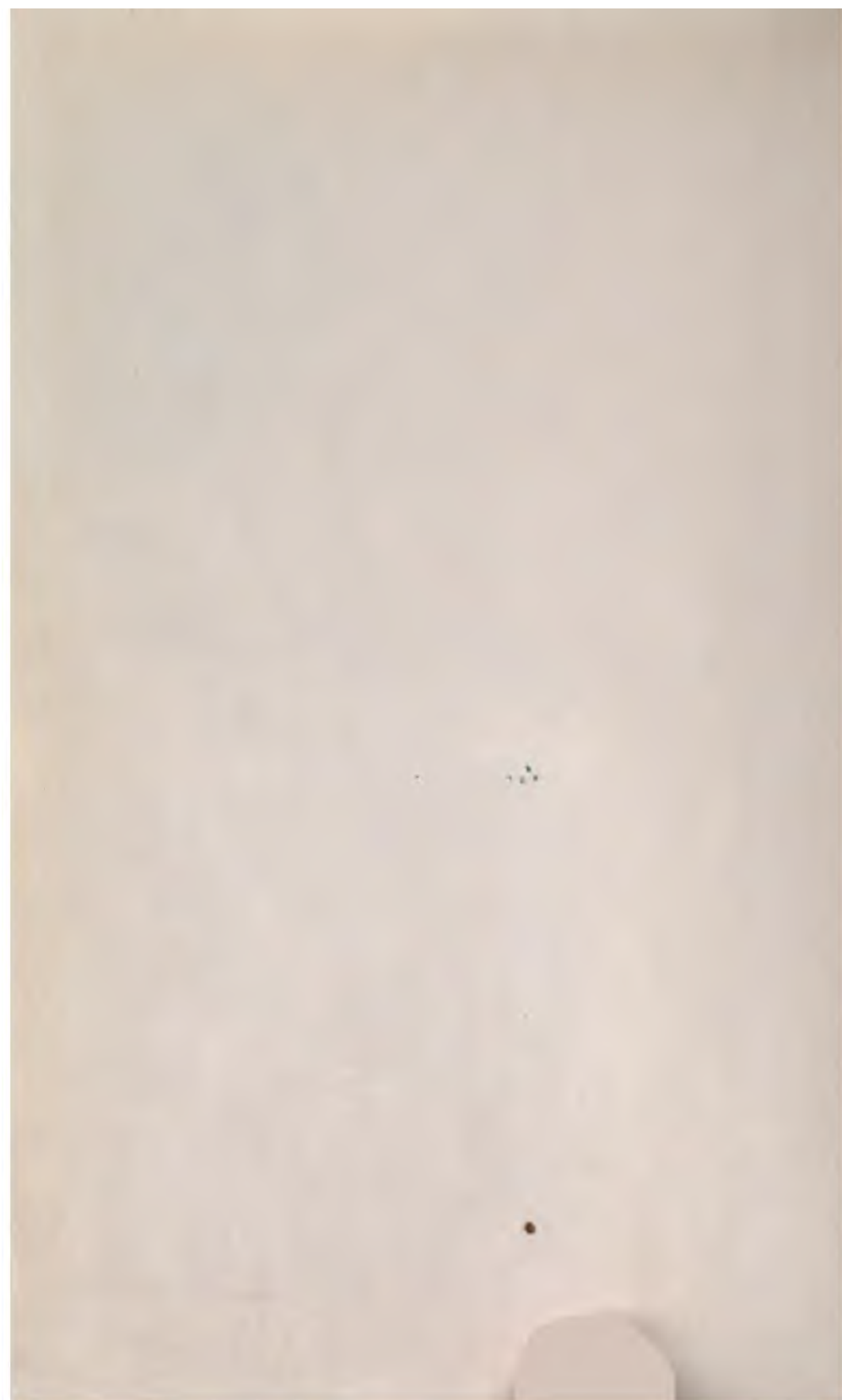
5-25

CC

B/T

8





DE
71
Z5

DE 71 .Z5
Iz zhizni idel

Stanford University Libraries



3 6105 041 438 677

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC APR 27 1994

DOC OCT 25 1995

DOC OCT 09 1995
OCT 25 1995

DOC FEB 08 1996

